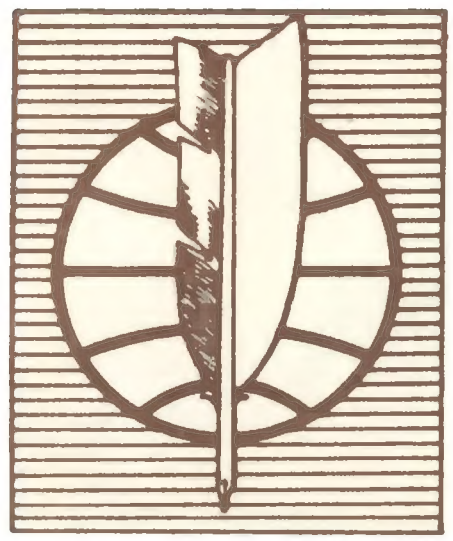
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С.МАРШАК

С. МАРШАК

СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ · СТИХОТВОРЕНИЯ · В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ



БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

С. МАРШАК

СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ

•

СТИХОТВОРЕНИЯ

•

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

Страницы воспоминаний

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1981

Scan by Tom Plate

Р 2
М 30

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

Предисловие
В. В. СМИРНОВОЙ

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и рисунки
В. В. ЛЕБЕДЕВА, В. А. ФАВОРСКОГО,
А. Ф. БИЛЛЬ, Г Г ФИЛИППОВСКОГО

М $\frac{70803—520}{М101(03)81}$ Подп. изд.

© Состав. Комментарии. Оформление.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1981 г.

Замечательный поэт советской страны, великолепный мастер стиха, человек высокой культуры и самых разнообразных интересов и знаний — Самуил Яковлевич Маршак всю жизнь был верным товарищем и добрым другом детей. Он подружил их с малых лет с поэзией, с мажорной музыкой стиха, со звонкой рифмой, показал им чудесную силу родного языка, научил радоваться красоте поэтического слова. Он показал, что стихами можно рисовать цветные картинки мира, рассказывать занимательные и поучительные истории и сказки, можно отлично высмеять врага и можно вызвать в человеке раздумье, сочувствие к несчастью, научить мечтать о будущем, весело и с толком работать.

Маршак сам всей своей жизнью мог быть примером удивительной работоспособности, сосредоточенности, настойчивости и неустанности в труде. Он не терпел пустого времяпрепровождения, не умел отдыхать; самым естественным и приятным для него было — работать. С утра садился он к своему письменному столу, и за полночь не гасла его рабочая лампа. На больших листах бумаги своим крупным красивым почерком он писал стихи и песни, веселые комедии для театра, статьи для газет и журналов, письма-ответы своим читателям.

А писем было множество. Каждый день почтальон приносил ему приветы со всех концов земли. Из многих стран приходили его собственные книжки, переведенные на разные языки. Иногда к нему в Москву приезжали экскурсии пионеров из разных республик и городов Советского Союза. Для всех он находил время, внимание и ласку.

Почти в конце своей жизни Самуил Яковлевич написал повесть о своём детстве. Он вспомнил маленький городок Острогожск, где провел свои детские годы, завод, на котором служил мастером его отец, большой пустынный двор, где он играл со своими братьями и сестрами. Семья была большая и дружная, отец с матерью работали с утра до вечера и старались вырастить детей образованными и трудолюбивыми. Будущий поэт рано полюбил стихи, четырех лет от роду он уже пытался сам сочинять

стихотворные строчки, а в одиннадцать лет, когда стал учиться в гимназии, он уже переводил древнеримского поэта Горация.

А потом неожиданно, как в сказке, судьба его изменилась: он очутился в Петербурге, в северной столице, в большом доме, где бывали самые знаменитые в то время художники, музыканты, писатели. Он увидел великолепные петербургские музеи, бывал на выставках, в концертах, в театрах, учился в лучшей столичной гимназии. Известный критик и искусствовед В. В. Стасов, с виду настоящий русский богатырь с серебряной бородой, полюбил одаренного мальчика и всячески помогал развитию его таланта. Он подарил ему целую библиотеку русских классиков, показывал его стихи Льву Николаевичу Толстому, познакомил его с Шаляпиным и с Горьким. Юный Маршак был слабого здоровья, петербургский климат был ему вреден, и Горький заботливо предложил ему поехать на юг, в Крым, и. поселиться в его семье, которая тогда жила в Ялте. Дружба Маршака с Горьким потом продолжалась всю жизнь, и Алексей Максимович очень много помог поэту, когда уже взрослым, после Октябрьской революции, Маршак стал писать для детей и собирать вокруг себя молодых советских писателей, чтобы создавать новые книги для детей Советской страны.

Совсем молодым человеком Маршак поехал учиться в Англию. Чтобы лучше изучить язык, чтобы слышать народную речь, он пешком совершил большое путешествие по английской провинции, жил некоторое время в лесной школе. Живя в Англии, он узнал и полюбил английскую поэзию и начал переводить английских поэтов и народные баллады и песни.

Маршак — один из лучших поэтов-переводчиков в нашей стране; его переводы великих английских поэтов Шекспира, Бернса впервые по-настоящему открыли нам их поэзию. Он много переводил и других прекрасных поэтов мира — и наших современников и поэтов далекого прошлого. В этой книге вы найдете много переводов баллад, песенок, сказок, загадок. Во время первой мировой войны и в первые годы революции Маршак жил на юге России, в Воронеже и в Краснодаре. Здесь было тогда много детей беженцев из тех краев, которые были заняты немцами, много беспризорных детей. Маршак вел большую работу по организации помощи детям. В Краснодаре Маршак организовал целый «Детский городок» — классы, мастерские, кружки и, в центре всего этого, детский театр, для которого он сам писал пьесы-сказки. Так началась его дружба с детьми, и он понял, что его настоящее дело в жизни — работать для детей, писать для них книжки, учить их, помогать им расти, радовать их, воспитывать их. Он хотел, чтобы дети вырастали умными, честными, добрыми, смелыми и просвещенными людьми, чтобы они любили книгу и книга помогала им жить. Маршак писал сам детские

книжки, собрал вокруг себя талантливых писателей и художников и помогал организовать в Советской стране первое в мире издательство детской книги. Он говорил, что в книжке для малышей «каждое слово должно быть взвешено и проверено. Ведь по этим коротеньким книжкам дети учатся мыслить и чувствовать и говорить».

И в стихах Маршака так точно выбрано и поставлено в строку каждое слово, как тончайший винтик или колесико в механизме часов. Оттого так четок, пружинист ритм стиха и так легко и весело произносить вслух эти звонкие строчки. Стихи Маршака — товарищи детских лет советских ребят, они сопровождают ребенка на всех дорожках его детства; едва научившись говорить, он перелистывает «Детки в клетке», повторяет веселые сказки, в школе он гордо заучивает наизусть «Наш герб» и «Мистера Твистера», читает «Быль-небылицу» — о дореволюционном прошлом нашей родины, в пионерском лагере он поет его песни в походах.

Но и выросши, советский человек не расстается с любимым поэтом, читая в его переводах стихи Бернса и Китса, сонеты Шекспира и задумчивую, классически чистую лирику самого Маршака.

Поэтический дар Маршака разносторонен и разнообразен: в годы Великой Отечественной войны его сатирические стихи, меткие, злые эпиграммы, фельетоны и пародии славно послужили как грозное и острое оружие слова против врагов-фашистов.

С. Я. Маршак прожил большую и славную трудовую жизнь, он умер 4 июня 1964 года, работая до последнего дня, в больнице правил корректуры, в последние часы жизни заботясь о том, чтобы с честью отвечать за каждое свое слово.

Родина высоко оценила литературные труды Маршака: он был награжден двумя орденами Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени и другими орденами и медалями, его книги отмечены Государственными премиями. В конце жизни он получил Ленинскую премию за стихи для детей и книгу лирики.

Вера Смирнова

О СЕБЕ[1]

Я родился в 1887 году 22 октября старого стиля (3 ноября нового) в городе Воронеже.

Написал я эту обычную для жизнеописаний фразу и подумал: как уместить на нескольких страницах краткой автобиографии долгую жизнь, полную множества событий? Один перечень памятных дат занял бы немало места...

Отец мой, Яков Миронович Маршак, работал мастером на заводах (потому-то мы и жили на фабричных окраинах). Но работа на мелких, кустарных заводишках не удовлетворяла одаренного человека, который самоучкой постиг основы химии и непрестанно занимался различными опытами. В поисках лучшего применения своих сил и знаний отец со всей семьей переезжал из города в город, пока наконец не устроился на постоянное жительство в Петербурге. Память об этих бесконечных и нелегких переездах сохранилась в стихах о моем детстве.

В Острогожске я поступил в гимназию. Выдержал экзамены на круглые пятерки, но принят был не сразу из-за существовавшей тогда для учеников-евреев процентной нормы. Сочинять стихи я начал еще до того, как научился писать. Многим обязан я одному из моих гимназических учителей, Владимиру Ивановичу Теплых, который стремился привить ученикам любовь к строгому и простому, лишенному вычурности и банальности языку.

Так бы я и прожил в маленьком, тихом Острогожске до окончания гимназии, если бы не случайный и совершенно неожиданный поворот в моей судьбе.

Вскоре после того как отец нашел работу в Питере, туда переехала и моя мать с младшими детьми. Но и в столице семья наша жила на окраинах, попеременно за всеми заставами — Московской, Нарвской и Невской.

Только я и мой старший брат остались в Острогожске. Перевестись в петербургскую гимназию нам было еще труднее, чем

---

[1] Автобиография-предисловие С. Я. Маршака, написанная им для сборника избранных стихов в серии «Библиотека советской поэзии» (М., 1964).

поступить в острогожскую. Случайно во время летних каникул я познакомился в Петербурге с известным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым. Он встретил меня необыкновенно радушно и горячо, как встречал многих молодых музыкантов, художников, писателей, артистов.

Помню слова из воспоминаний Шаляпина: «Этот человек как бы обнял меня душою своей».

Познакомившись с моими стихами, Владимир Васильевич подарил мне целую библиотечку классиков, а во время наших встреч много рассказывал о своем знакомстве с Глинкой, Тургеневым, Герценом, Гончаровым, Львом Толстым, Мусоргским. Стасов был для меня как бы мостом чуть ли не в пушкинскую эпоху. Ведь родился он в январе 1824 года, до восстания декабристов, в год смерти Байрона.

Осенью 1902 года я вернулся в Острогожск, а вскоре пришло письмо от Стасова, что он добился моего перевода в петербургскую 3-ю гимназию — одну из немногих, где после реформы министра Ванновского сохранилось в полном объеме преподавание древних языков. Эта гимназия была параднее и официальнее моей острогожской. В среде бойких и щеголеватых столичных гимназистов я казался — самому себе и другим — скромным и робким провинциалом. Гораздо свободнее и увереннее чувствовал я себя в доме у Стасова и в просторных залах Публичной библиотеки, где Владимир Васильевич заведовал художественным отделом. Кого только не встречал я здесь: профессоров и студентов, композиторов, художников и писателей, знаменитых и еще никому не известных. Стасов возил меня в музей Академии художеств смотреть замечательные рисунки Александра Иванова, а в библиотеке показывал мне собрание народных лубочных картинок с надписями в стихах и в прозе. Он же впервые заинтересовал меня русскими сказками, песнями и былинами.

На даче у Стасова, в деревне Старожиловке, в 1904 году я встретился с Горьким и Шаляпиным, и эта встреча повела к новому повороту в моей судьбе. Узнав от Стасова, что с переезда в Питер я часто болею, Горький предложил мне поселиться в Ялте. И тут же обратился к Шаляпину: «Устроим это, Федор?» — «Устроим, устроим!» — весело ответил Шаляпин.

А через месяц пришло от Горького из Ялты известие о том, что я принят в ялтинскую гимназию и буду жить в его семье, у Екатерины Павловны Пешковой...

Никогда не забуду, как приветливо встретила меня — в ту пору еще совсем молодая — Екатерина Павловна Пешкова. Алексея Максимовича в Ялте уже не было, но и до его нового приезда дом, где жила семья Пешковых, был как бы наэлектризован надвигавшейся революцией.

В 1905 году город-курорт нельзя было узнать. Здесь в пер-

вый раз увидел я на улицах огненные полотнища знамен, услышал под открытым небом речи и песни революции. Помню, как в Ялту приехал Алексей Максимович, незадолго до того выпущенный из Петропавловской крепости. За это время он заметно осунулся, побледнел и отрастил небольшую рыжеватую бороду. У Екатерины Павловны он читал вслух написанную им в крепости пьесу «Дети Солнца».

Вскоре после бурных месяцев 1905 года в Ялте начались повальные аресты и обыски. Здесь в это время властвовал свирепый градоначальник, генерал Думбадзе. Многие покидали город, чтобы избежать ареста. Вернувшись в Ялту из Питера в августе 1906 года после каникул, я не нашел здесь семьи Пешковых.

Я остался в городе один. Снимал комнатку где-то на Старом базаре, давал уроки. В эти месяцы одиночества я запоем читал новую, неизвестную мне до того литературу — Ибсена, Гауптмана, Метерлинка, Эдгара По, Бодлера, Верлена, Оскара Уайльда, наших поэтов-символистов. Разобраться в новых для меня литературных течениях было нелегко, но они не поколебали той основы, которую прочно заложили в моем сознании Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Фет, Толстой и Чехов, народный эпос, Шекспир и Сервантес.

Зимой 1906 года меня вызвал к себе директор гимназии. Под строгим секретом он предупредил меня, что мне грозит исключение из гимназии и арест, и посоветовал покинуть Ялту как можно незаметнее и скорее.

И вот я снова очутился в Питере. Стасов незадолго до того умер, Горький был за границей. Как и многим другим людям моего возраста, мне пришлось самому, без чьей-либо помощи, пробивать себе дорогу в литературу. Печататься я начал с 1907 года в альманахах, а позднее в только что возникшем журнале «Сатирикон» и в других еженедельниках...

Среди поэтов, которых я и до того знал и любил, особое место занял в эти годы Александр Блок. Помню, с каким волнением читал я ему в его скромно обставленном кабинете свои стихи. И дело было тут не только в том, что передо мною находился прославленный, уже владевший умами молодежи поэт. С первой встречи он поразил меня своей необычной — открытой и бесстрашной — правдивостью и какой-то трагической серьезностью. Так обдуманны были его слова, так чужды суеты его движения и жесты. Блока можно было часто встретить в белые ночи одиноко шагающим по прямым улицам и проспектам Петербурга, и он казался мне тогда как бы воплощением этого бессонного города. Больше всего образ его связан в моей памяти с питерскими Островами. В одном из стихотворений я писал:

Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад — Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский...

В самом начале 1912 года я заручился согласием нескольких редакций газет и журналов печатать мои корреспонденции и уехал учиться в Англию. Вскоре по приезде я и моя молодая жена, Софья Михайловна, поступили в Лондонский университет: я — на факультет искусств (по-нашему — филологический), жена — на факультет точных наук.

На моем факультете основательно изучали английский язык, его историю, а также историю литературы. Особенно много времени уделялось Шекспиру. Но, пожалуй, больше всего подружила меня с английской поэзией университетская библиотека. В тесных, сплошь заставленных шкафами комнатах, откуда открывался вид на деловитую, кишевшую баржами и пароходами Темзу, я впервые узнал то, что переводил впоследствии,— сонеты Шекспира, стихи Вильяма Блейка, Роберта Бернса, Джона Китса, Роберта Браунинга, Киплинга. А еще набрел я в этой библиотеке на замечательный английский детский фольклор, полный причудливого юмора. Воссоздать на русском языке эти трудно поддающиеся переводу классические стихи, песенки и прибаутки помогло мне мое давнее знакомство с нашим русским детским фольклором.

Так как литературных заработков нам едва хватало на жизнь, мне с женой довелось жить в самых демократических районах Лондона — сначала в северной его части, потом в самой бедной и густо населенной — восточной, и только под конец мы выбрались в один из центральных районов поблизости от Британского музея, где жило много таких же студентов-иностранцев, как и мы.

А на каникулах мы совершали пешие прогулки по стране, измерили шагами два южных графства (области) — Девоншир и Корнуолл. Во время одной из далеких прогулок мы познакомились и подружились с очень интересной лесной школой в Уэльсе («Школой простой жизни»), с ее учителями и ребятами.

Все это оказало влияние на мою дальнейшую судьбу и работу.

В ранней молодости, когда я больше всего любил в поэзии лирику, а в печать отдавал чаще всего сатирические стихи, я и представить себе не мог, что со временем переводы и детская литература займут большое место в моей работе. Одно из первых моих стихотворений, помещенных в «Сатириконе» («Жалоба»), было эпиграммой на переводчиков того времени, когда у нас печаталось много переводов из французской, бельгийской, скан-

динавской, мексиканской, перуанской и всяческой другой поэзии. Тяга ко всему заграничному была тогда так велика, что многие стихотворцы щеголяли в своих стихах иностранными именами и словечками, а некий литератор даже избрал для себя звучный, похожий на королевское имя псевдоним — «Оскар Норвежский».

Только лучшие поэты того времени заботились о качестве своих переводов. Бунин перевел «Гайавату» Лонгфелло так, что этот перевод мог занять место рядом с его оригинальными стихами. То же можно сказать о переводах Брюсова из Верхарна и армянских поэтов, о некоторых переводах Бальмонта из Шелли и Эдгара По, Александра Блока из Гейне. Можно назвать еще нескольких талантливых и вдумчивых переводчиков. А большинство стихотворных переводов было делом рук литературных ремесленников, часто искажавших и оригинал, с которого переводили, и родной язык.

Руками ремесленников делалась в то время и наиболее ходкая литература для детей. Золотым фондом детской библиотеки была классика, русская и зарубежная, фольклор и те повести, рассказы и очерки, которые время от времени дарили детям лучшие современные писатели, популяризаторы науки и педагоги. Преобладали же в предреволюционной детской литературе (особенно в журналах) слащавые и беспомощные стишки и сентиментальные повести, героями которых были, по выражению Горького, «отвратительно прелестные мальчики» и такие же девочки.

Не удивительно то глубокое предубеждение, которое я питал тогда к детским книжкам в тисненных золотом переплетах или в дешевых пестрых обложках.

Переводить стихи я начал в Англии, работая в нашей тихой университетской библиотеке. И переводил я не по заказу, а по любви — так же, как писал собственные лирические стихи. Мое внимание раньше всего привлекли английские и шотландские народные баллады, поэт второй половины XVIII и первой четверти XIX века Вильям Блейк, прославленный и зачисленный в классики много лет спустя после смерти, и его современник, умерший еще в XVIII веке, народный поэт Шотландии Роберт Бернс.

Над переводом стихов обоих поэтов я продолжал работать и по возвращении на родину. Мои переводы народных баллад и стихов Вордсворта и Блейка печатались в 1915—1917 годах в журналах «Северные записки», «Русская мысль» и др.

А к детской литературе я пришел позже — после революции.

Вернулся я из Англии на родину за месяц до первой мировой войны. В армию меня не взяли из-за слабости зрения, но я надолго задержался в Воронеже, куда в начале 1915 года поехал

призываться. Здесь я с головою ушел в работу, в которую постепенно и незаметно втянула меня сама жизнь. Дело в том, что в Воронежскую губернию царское правительство переселило в это время множество жителей прифронтовой полосы, преимущественно из беднейших еврейских местечек. Судьба этих беженцев всецело зависела от добровольной общественной помощи. Помню одно из воронежских зданий, в котором разместилось целое местечко. Здесь нары были домами, а проходы между ними — улочками. Казалось, будто с места на место перенесли муравейник со всеми его обитателями. Моя работа заключалась в помощи детям переселенцев.

Интерес к детям возник у меня задолго до того, как я стал писать для них книжки. Безо всякой практической цели бывал я в петербургских начальных школах и приютах, любил придумывать для ребят фантастические и забавные истории, с увлечением принимал участие в их играх. Еще теснее сблизился я с детьми в Воронеже, когда мне пришлось заботиться об их обуви, пальтишках и одеялах.

И все же помощь, которую мы оказывали ребятам-беженцам, носила оттенок благотворительности.

Более глубокая и постоянная связь с детьми установилась у меня только после революции, которая открыла широкий простор для инициативы в делах воспитания.

В Краснодаре (ранее Екатеринодаре), где служил на заводе мой отец и куда летом 1917 года переселилась вся наша семья, я работал в местной газете, а после восстановления Советской власти заведовал секцией детских домов и колоний областного отдела народного образования. Здесь же, с помощью заведующего отделом М. А. Алексинского, я и еще несколько литераторов, художников и композиторов организовали в 1920 году один из первых в нашей стране театров для детей, который скоро вырос в целый «Детский городок» со своей школой, детским садом, библиотекой, столярной и слесарной мастерскими и различными кружками.

Вспоминая эти годы, не знаешь, чему больше удивляться: тому ли, что в стране, истощенной интервенцией и гражданской войной, мог возникнуть и существовать несколько лет «Детский городок», или же самоотверженности его работников, довольствовавшихся скудным пайком и заработком. А ведь в коллективе театра были такие работники, как Дмитрий Орлов (впоследствии народный артист РСФСР, актер Театра Мейерхольда, а потом МХАТа), как старейший советский композитор В. А. Золотарев и другие.

Пьесы для театра писали по преимуществу двое — я и поэтесса Е. И. Васильева-Дмитриева. Это и было началом моей поэзии для детей, которой отведено значительное место в этом сборнике.

Оглядываясь назад, видишь, как с каждым годом меня все больше и больше захватывала работа с детьми и для детей. «Детский городок» (1920—1922), Ленинградский театр юного зрителя (1922—1924), редакция журнала «Новый Робинзон» (1924—1925), детский и юношеский отдел Ленгосиздата, а потом «Молодой гвардии» и, наконец, ленинградская редакция Детгиза (1924—1937).

Журнал «Новый Робинзон» (носивший сначала скромное и неприхотливое название «Воробей») сыграл немаловажную роль в истории нашей детской литературы. В нем были уже ростки того нового и оригинального, что отличает эту литературу от прежней, предреволюционной. На его страницах впервые стали печататься Борис Житков, Виталий Бианки, М. Ильин, будущий драматург Евгений Шварц.

Еще более широкие возможности открылись передо мною и другими сотрудниками журнала, когда мы начали работать в издательстве. За тринадцать лет этой работы менялись издательства, в ведении которых редакция находилась, но не менялась — в основном — сама редакция, неустанно искавшая новых авторов, новые темы и жанры художественной и познавательной литературы для детей. Работники редакции были убеждены в том, что детская книга должна и может быть делом высокого искусства, не допускающего никаких скидок на возраст читателя.

Здесь выступили со своими первыми книгами Аркадий Гайдар, М. Ильин, В. Бианки, Л. Пантелеев, Евг. Чарушин, Т. Богданович, Д. Хармс, А. Введенский, Елена Данько, Вяч. Лебедев, Н. Заболоцкий, Л. Будогоская и многие другие писатели. Здесь же вышла и книга Алексея Толстого «Приключения Буратино».

Мы и не знали в то время, как внимательно следил за нашей работой находившийся тогда в Италии А. М. Горький, придававший первостепенное значение детской литературе. Еще в самые первые годы революции он основал журнал для детей «Северное сияние», а потом редактировал при участии Корнея Чуковского и Александра Бенуа веселый и праздничный детский альманах «Елка».

Мое общение с Алексеем Максимовичем прервалось еще со времени его отъезда за границу в 1906 году.

И вот в 1927 году я получил от него из Сорренто письмо, в котором он с похвалой отзывался о книгах Бориса Житкова, Виталия Бианки и моих, а также о рисунках В. В. Лебедева, который работал в нашей редакции рука об руку со мной. С тех пор от внимания Горького не ускользала ни одна сколько-нибудь выдающаяся книга для детей. Он радовался появлению повести Л. Пантелеева и Г. Белых «Республика Шкид», выходу «Рассказа о великом плане» и книги «Горы и люди» М. Ильина. В альманахе, печатавшемся под его редакцией, он поместил вы-

шедшую у нас детскую книгу известного физика М. П. Бронштейна «Солнечное вещество».

А когда в 1929—1930 годах на меня и на всю нашу редакцию ополчились соединенные силы наиболее непримиримых рапповцев и догматиков от педологии, Алексей Максимович выступил с гневной отповедью всем гонителям фантазии и юмора в детской книге (статьи «Человек, уши которого заткнуты ватой», «О безответственных людях и о детской книге наших дней» и др.).

Помню, как после одного из совещаний о детской литературе Горький спросил меня своим мягким, приглушенным баском:

«— Ну, что, позволили наконец разговаривать чернильнице со свечкой?

И добавил, покашливая, совершенно серьезно:

— Сошлитесь на меня. Я сам слышал, как они разговаривали. Ей-богу!»

В 1933 году Горький пригласил меня к себе в Сорренто, чтобы наметить в общих чертах программу будущего — как мы его тогда называли — Детиздата и поработать над письмом (докладной запиской) в ЦК партии об организации первого в мире и небывалого по масштабам государственного издательства детской литературы.

Когда же в 1934 году в Москве собрался Первый всесоюзный съезд советских писателей, Алексей Максимович предложил, чтобы мое выступление («О большой литературе для маленьких») было заслушано на съезде сейчас же после его доклада, как содоклад. Этим он хотел подчеркнуть значительность и важность детской книги в наше время.

Последнее мое свидание с Горьким было в Тессели (в Крыму) месяца за два до его кончины. Он передал мне намеченные им для издания списки книг для детей младшего и среднего возраста, а также проект раздвижной географической карты и геологического глобуса.

В следующем, 1937 году наша редакция в том составе, в каком она работала в предшествовавшие годы, распалась. Вскоре я переехал в Москву.

Редакция отнимала у меня много сил и оставляла мало времени для собственной литературной работы, и все же я вспоминаю ее с удовлетворением и с чувством глубокой благодарности к моим товарищам по работе, так самоотверженно и самозабвенно преданных делу. Этими товарищами были замечательный художник В. В. Лебедев, талантливые писатели-редакторы Тамара Григорьевна Габбе, Евгений Шварц, А. Любарская, Леонид Савельев, З. Задунайская.

Тесную связь с литературой для детей я сохранил доныне, но с тех пор, как перестал работать в редакции и целиком

отдался своей собственной литературной работе (а мне было тогда пятьдесят лет), я успел написать несравненно больше, чем до того времени.

За последние двадцать пять лет я написал две пьесы — сказку «Двенадцать месяцев» (поставленную МХАТом и во многих театрах у нас и за рубежом), «Горя бояться — счастья не видать» (Театр имени Вахтангова), перевел сонеты Шекспира, а также песни и баллады Бернса, стихи Гейне, Джона Китса, Киплинга, Эдварда Лира, Родари, югославского поэта-классика Змая и многих других поэтов; написал вышедший отдельной книгой очерк о поэзии Александра Твардовского; печатал в журналах статьи о поэтическом мастерстве, составившие впоследствии сборник «Воспитание словом»; выступал в печати с эпиграммами и сатирическими стихотворениями. Чаще всего они появлялись в газете «Правда» и на боевых плакатах времен Отечественной войны. Навсегда осталась в моей памяти дружная совместная работа в военные годы и после них с художниками Кукрыниксами — М. В. Куприяновым, П. Н. Крыловым и Н. А. Соколовым.

Сатирические стихи послевоенных лет были обращены, главным образом, против сил, враждебных миру.

Делу мира посвящен и текст оратории, который я написал для композитора Сергея Прокофьева. С ним же я работал над контатой «Зимний костер».

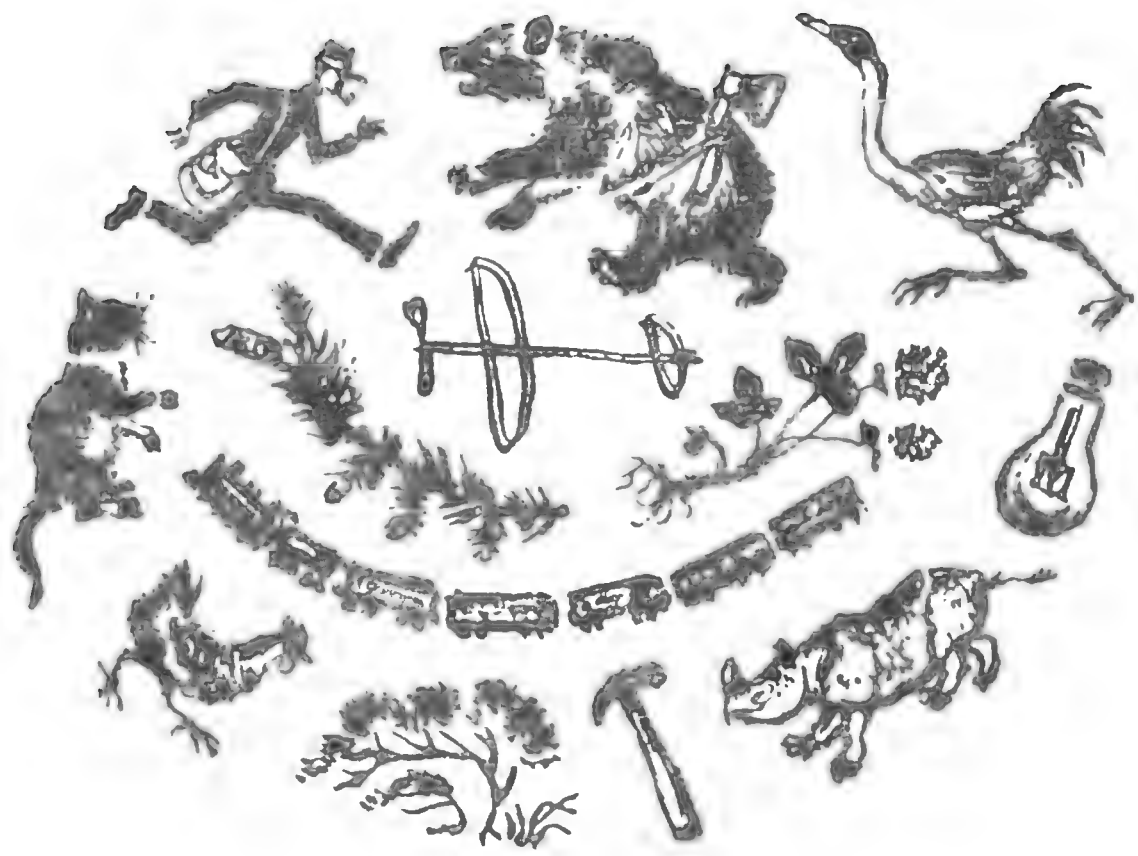
И наконец, в 1962 году впервые вышла моя «Избранная лирика».

Сейчас я продолжаю работать в жанрах, в которых работал и раньше. Пишу лирические стихи, написал новые детские книги в стихах, перевожу Бернса и Блейка, работаю над новыми статьями о мастерстве, а в последнее время вернулся к драматургии — написал комедию-сказку «Умные вещи».

С. Маршак

Ялта, 1963

Сказки, песни, загадки



НАЧИНАЕТСЯ РАССКАЗ

ВЕЛИКАН

Раз,
Два,
Три,
Четыре,
Начинается рассказ:
В сто тринадцатой квартире
Великан живет у нас.

На столе он строит башни,
Строит город в пять минут.
Верный конь и слон домашний
Под столом его живут.

Вынимает он из шкафа
Длинноногого жирафа,
А из ящика стола —
Длинноухого осла.

Полон силы богатырской,
Он от дома до ворот
Целый поезд пассажирский
На веревочке ведет.

А когда большие лужи
Разливаются весной,
Великан во флоте служит
Самым младшим старшиной.

У него бушлат матросский,
На бушлате якоря.
Крейсера и миноноски
Он ведет через моря.

Пароход за пароходом
Он выводит в океан.
И растет он с каждым годом,
Этот славный великан!

МЯЧ

Мой
Веселый,
Звонкий
Мяч,
Ты куда
Помчался
Вскачь?

Желтый,
Красный,
Голубой,
Не угнаться
За тобой!

Я
Тебя
Ладонью
Хлопал.
Ты
Скакал
И звонко
Топал.

Ты
Пятнадцать
Раз
Подряд
Прыгал
В угол
И назад.

А потом
Ты покатился
И назад
Не воротился.

Покатился
В огород,
Докатился
До ворот,
Подкатился
Под ворота,
Добежал
До поворота.

Там
Попал
Под колесо.
Лопнул,
Хлопнул —
Вот и все!

УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ

Жила-была девочка. Как ее звали?
Кто звал,
Тот и знал.
А вы не знаете.

Сколько ей было лет?
Сколько зим,
Столько лет,—
Сорока́ еще нет.
А всего четыре года.

И был у нее... Кто у нее был?
Серый,
Усатый,
Весь полосатый.
Кто это такой? Котенок.

Стала девочка котенка спать укладывать.

— Вот тебе под спинку
Мягкую перинку.

Сверху на перинку
Чистую простынку.

Вот тебе под ушки
Белые подушки.

Одеяльце на пуху
И платочек наверху.

Уложила котенка, а сама пошла ужинать.

Приходит назад,— что такое?

Хвостик — на подушке,
На простынке — ушки.

Разве так спят? Перевернула она котенка, уложила, как надо:

Под спинку —
Перинку.

На перинку —
Простынку.

Под ушки —
Подушки.

А сама пошла ужинать. Приходит опять,— что такое?

Ни перинки,
Ни простынки,
Ни подушки
Не видать,
А усатый,
Полосатый
Перебрался
Под кровать.

Разве так спят? Вот какой глупый котенок!

Захотела девочка котенка выкупать.

Принесла
Кусочек
Мыла
И мочалку
Раздобыла
И водицы
Из котла
В чайной
Чашке
Принесла.

Не хотел котенок мыться —
Опрокинул он корытце
И в углу за сундуком
Моет лапку языком.

Вот какой глупый котенок!

Стала девочка учить котенка говорить:

— Котик, скажи: мя-чик.
А он говорит: мяу!

— Скажи: ло-шадь.
А он говорит: мяу!

— Скажи: э-лек-три-че-ство.
А он говорит: мяу-мяу!

Все «мяу» да «мяу»! Вот какой глупый котенок!

Стала девочка котенка кормить.

Принесла овсяной кашки —
Отвернулся он от чашки.

Принесла ему редиски —
Отвернулся он от миски.

Принесла кусочек сала.
Говорит котенок: — Мало!

Вот какой глупый котенок!

Не было в доме мышей, а было много карандашей. Лежали они на столе у папы и попали котенку в лапы. Как помчался он вприпрыжку, карандаш поймал, как мышку.

И давай его катать —
Из-под стула под кровать,
От стола до табурета,
От комода до буфета.
Подтолкнет — и цап-царап!
А потом загнал под шкап.

Ждет на коврике у шкапа
Притаился, чуть дыша...
Коротка кошачья лапа —
Не достать карандаша!

Вот какой глупый котенок!

Закутала девочка котенка в платок и пошла с ним в сад.

Люди спрашивают: — Кто это у вас?

А девочка говорит: — Это моя дочка.

Люди спрашивают: — Почему у вашей дочки серые щечки?

А девочка говорит: — Она давно не мылась.

Люди спрашивают: — Почему у нее мохнатые лапы, а усы, как у папы?

Девочка говорит: — Она давно не брилась.

А котенок как выскочит, как побежит,— все и увидели, что это котенок — усатый, полосатый.

Вот какой глупый котенок!

А потом,
А потом
Стал он умным котом.

А девочка тоже выросла, стала еще умнее и учится в первом классе сто первой школы.

ВАНЬКА-ВСТАНЬКА

Уснули телята, уснули цыплята,
Не слышно веселых скворчат из гнезда.
Один только мальчик — по имени Ванька,
По прозвищу Встанька — не спит никогда.

У Ваньки, у Встаньки — несчастные няньки:
Начнут они Ваньку укладывать спать,
А Ванька не хочет — приляжет и вскочит,
Уляжется снова и встанет опять.

Укроют его одеялом на вате —
Во сне одеяло отбросит он прочь,
И снова, как прежде, стоит на кровати,
Стоит на кровати ребенок всю ночь.

Лечил его доктор из детской больницы.
Больному сказал он такие слова:
— Тебе, дорогой, потому не лежится,
Что слишком легка у тебя голова!

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ

ЗООСАД

Рано, рано мы встаем,
Громко сторожа зовем:
— Сторож, сторож, поскорей
Выходи кормить зверей!

Вышел сторож из сторожки,
Подметает он дорожки,
Курит трубку у ворот,
Нам обедать не дает.

Долго, долго у решетки
Мы стоим, разинув глотки.
Знаем, знаем без часов,
Что обед для нас готов.

За обедом, за обедом
Не болтаем мы с соседом,
Забываем обо всем
И жуем, жуем, жуем.

Это трудная работа —
Щеки лóснятся от пота.

После пищи нужен сон.
Прислонившись, дремлет слон.

Показав себя народу,
Бегемот уходит в воду.
Спит сова, вцепившись в пень,
Спит олень, и спит тюлень.

Темно-бурый медвежонок
Про себя ворчит спросонок,
Только пони и верблюд
Принимаются за труд.

На верблюде, на верблюде,
Как в пустыне, ездят люди,

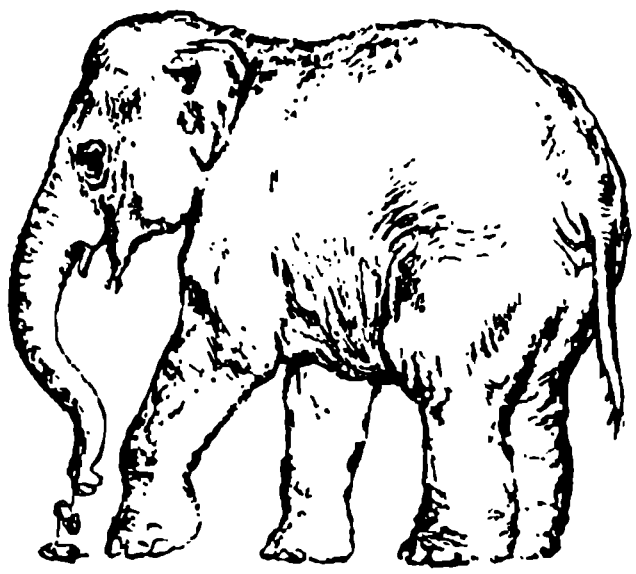
Проезжают мимо рва,
За которым видят льва,
Проезжают мимо клетки,
Где орлы сидят на ветке.
Неуклюж, косматый и худ,
Ходит по́ саду верблюд.

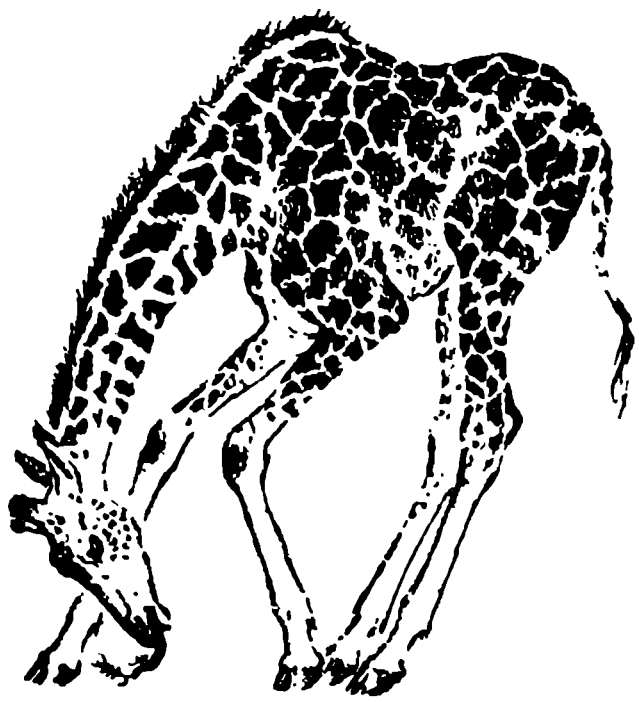
А по кругу, на площадке,
Черногривые лошадки
Мчатся рядом и гуськом,
Машут челкой и хвостом.

Но вот наступает прохлада.
Чужие уходят из сада.
Горят за оградой огни,
И мы остаемся одни.

СЛОН

Дали туфельки слону.
Взял он туфельку одну
И сказал: — Нужны пошире,
И не две, а все четыре!





ЖИРАФ

Рвать цветы легко и просто
Детям маленького роста,
Но тому, кто так высок,
Нелегко сорвать цветок!

ТИГРЕНОК

Эй, не стойте слишком близко —
Я тигренок, а не киска!

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ

У нас просторный водоем.
Мы с братом плаваем вдвоем.

Вода прохладна и свежа.
Ее меняют сторожа.

Мы от стены плывем к стене
То на боку, то на спине.

Держись правее, дорогой,
Не задевай меня ногой!

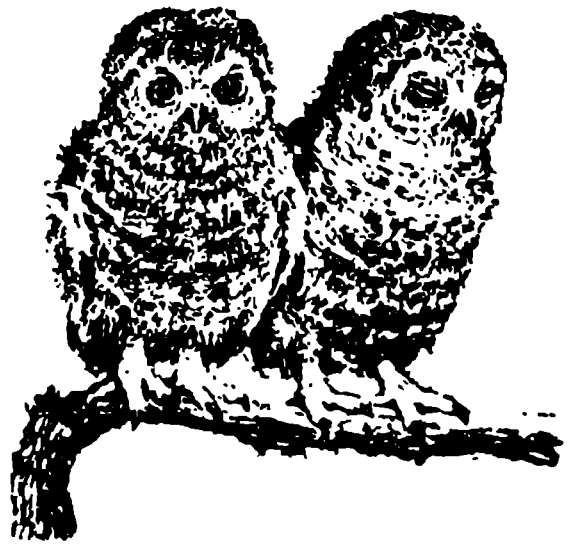
ЗЕБРЫ

Полосатые лошадки,
Африканские лошадки,
Хорошо играть вам в прятки
На лугу среди травы!

Разлинованы лошадки,
Словно школьные тетрадки,
Разрисованы лошадки
От копыт до головы.

СОВЯТА

Взгляни на маленьких совят —
Малютки рядышком сидят.
Когда не спят,
Они едят.
Когда едят,
Они не спят.



СТРАУСЕНОК

Я — страусенок молодой,
Заносчивый и гордый.
Когда сержусь, я бью ногой
Мозолистой и твердой.

Когда пугаюсь, я бегу,
Вытягивая шею.
А вот летать я не могу,
И петь я не умею.

ПИНГВИН

Правда, дети, я хорош?
На большой мешок похож.

На морях в былые годы
Обгонял я пароходы.

А теперь я здесь в саду
Тихо плаваю в пруду.

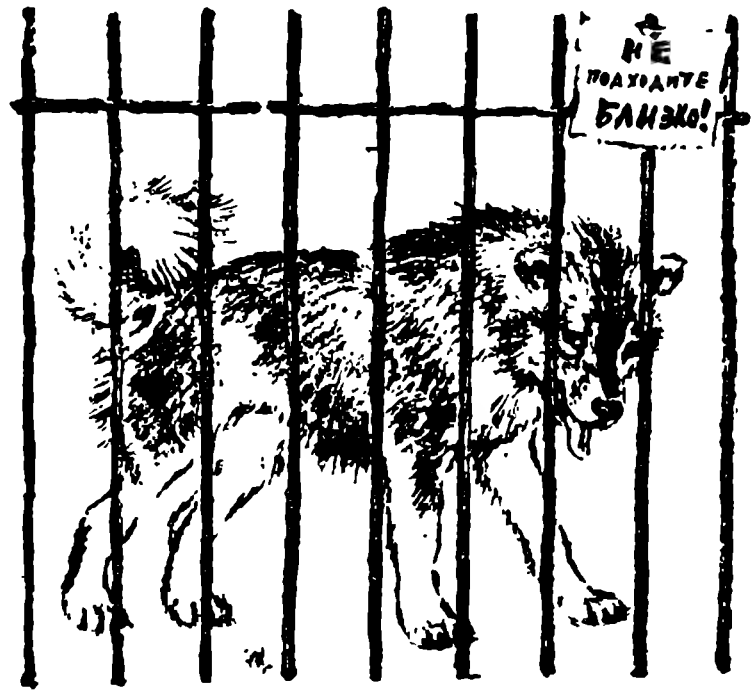
ЛЕБЕДЕНОК

Отчего течет вода
С этого младенца?
Он недавно из пруда,
Дайте полотенце!

ВЕРБЛЮД

Бедный маленький верблюд:
Есть ребенку не дают.
Он сегодня съел с утра
Только два таких ведра!

ЭСКИМОССКАЯ СОБАКА



На прутике записка:
«Не подходите близко!»

Записке ты не верь —
Я самый добрый зверь.

За что сижу я в клетке,
Я сам не знаю, детки.

СОБАКА ДИНГО

Нет, я не волк и не лиса,
Вы приезжайте к нам в леса,
И там увидите вы пса —
Воинственного динго.

Пусть вам расскажет кенгуру,
Как в австралийскую жару
Гнал по лесам его сестру
Поджарый, тощий динго.

Она в кусты — и я за ней,
Она в ручей — и я в ручей,
Она быстрей — и я быстрей,
Неутомимый динго.

Она хитра, и я не прост.
С утра бежали мы до звезд,
Но вот поймал ее за хвост
Неумолимый динго.

Теперь у всех я на виду
В зоологическом саду,
Верчусь волчком и мяса жду,
Неугомонный динго.

ЛЬВЯТА

Вы разве не знаете папы —
Большого рыжего льва?
У него тяжелые лапы
И косматая голова.

Он громко кричит — басом,
И слышно его далеко.
Он ест за обедом мясо,
А мы сосем молоко.

ОБЕЗЬЯНА

Приплыл по океану
Из Африки матрос,
Малютку-обезьяну
В подарок нам привез.

Сидит она, тоскуя,
Весь вечер напролет
И песенку такую
По-своему поет:

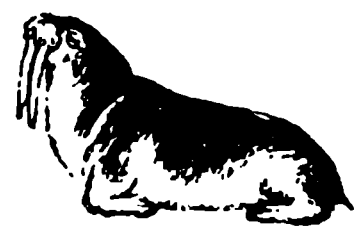
«На дальнем жарком юге,
На пальмах и кустах,
Визжат мои подруги,
Качаясь на хвостах.

Чудесные бананы
На родине моей.
Живут там обезьяны
И нет совсем людей».

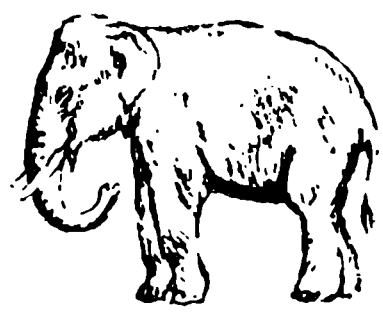
ГДЕ ОБЕДАЛ, ВОРОБЕЙ?

— Где обедал, воробей?
— В зоопарке у зверей.

Пообедал я сперва
За решеткою у льва.



Подкрепился у лисицы.
У моржа попил водицы.



Ел морковку у слона.
С журавлем поел пшена.

Погостил у носорога,
Отрубей поел немного.

Побывал я на пиру
У хвостатых кенгуру.

Был на праздничном обеде
У мохнатого медведя.

А зубастый крокодил
Чуть меня не проглотил.

ФОМКА

Перед бассейном в зоопарке —
Медвежьи мокрые следы.
С тяжелым плеском в полдень жаркий
Медведь выходит из воды.

Еще в костях он очень тонок,
Еще и ростом невелик.
Он не медведь, а медвежонок,
Но белоснежен, как старик.

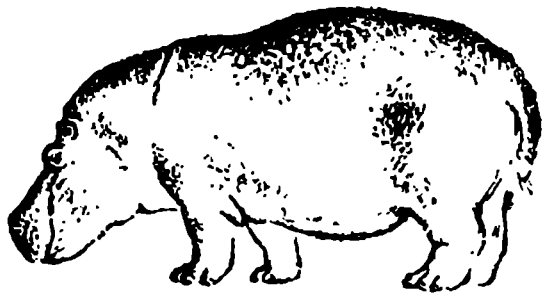
Легко узнать по белой шкуре
Бродягу ледяных полей.
Слыхал он посвист зимней бури
На дальней родине своей.

Встречался с вьюгой и поземкой,
Ночуя с матерью на льду.
Теперь его прозвали Фомкой
И жить заставили в саду.

Он здесь ночует не на льдине,
А на асфальтовой горе.
Его тревожит крик павлиний,
Рычанье тигра на заре.

Он ищет днем прохладной тени
И, не найдя ее нигде,
Томясь от скуки и от лени,
Беззвучно шлепает к воде.

Рычит на сторожа негромко...
Но не рычи,— придет зима,
Вернутся вьюга и поземка —
И будешь ты уже не Фомка,
А матерой медведь Фома!



ПРО ГИППОПОТАМА

Уговорились я и мама
Дождаться выходного дня
И посмотреть ги-ги-топама...

Нет, ги-попо́-тото́-попама...
Нет, ги-тото-попо-потама...
Пусть мама скажет за меня!

Вошли в открытые ворота
И побежали мы вдвоем
Взглянуть на ги... на бегемота!
Мы чаще так его зовем.

Он сам имен своих не знает:
Как ни зовите,— все равно
Он из воды не вылезает,
Лежит, как мокрое бревно.

Нам не везло сегодня с мамой.
Его мы ждали целый час.
А он со дна глубокой ямы
Не замечал, должно быть, нас.

Лежал он гладкий, толстокожий,
В песок уткнувшись головой,
На кожу ветчины похожий
В огромной миске суповой.

По целым дням из водоема
Он не выходит,— там свежей.
— Есть у него часы приема? —
Спросили мы у сторожей.

— Да, есть часы приема пищи.
Его мы кормим по часам.—
И вдруг, блестя, как голенище,
Поднялся сам.
Гиппопотам.

Должно быть, у него промокли
Мозги от постоянных ванн,
Глаза посажены в бинокли,
А рот раскрыт, как чемодан.

Он оглядел стоявших рядом
Гостей непрошеных своих,
К решетке повернулся задом,
Слегка нагнулся — и бултых!

Я думаю, гиппопотама
Зовут так трудно для того,
Чтоб сторож из глубокой ямы
Пореже вызывал его!..

«МЯЧ»

СКАЗКИ, ПРИСКАЗКИ

СКАЗКА О ГЛУПОМ МЫШОНКЕ

Пела ночью мышка в норке:
— Спи, мышонок, замолчи!
Дам тебе я хлебной корки
И огарочек свечи.

Отвечает ей мышонок:
— Голосок твой слишком тонок.
Лучше, мама, не пищи,
Ты мне няньку поищи!

Побежала мышка-мать,
Стала утку в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя утка,
Нашу детку покачать.

Стала петь мышонку утка:
— Га-га-га, усни, малютка!
После дождика в саду
Червяка тебе найду.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Слишком громко ты поёшь!

Побежала мышка-мать,
Стала жабу в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя жаба,
Нашу детку покачать.—

Стала жаба важно квакать:
— Ква-ква-ква, не надо плакать!
Спи, мышонок, до утра,
Дам тебе я комара.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Очень скучно ты поёшь!

Побежала мышка-мать
Тетю лошадь в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя лошадь,
Нашу детку покачать.

— И-го-го! — поет лошадка.—
Спи, мышонок, сладко-сладко,
Повернись на правый бок,
Дам овса тебе мешок.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Очень страшно ты поёшь!

Побежала мышка-мать
Тетю свинку в няньки звать.
— Приходи к нам, тетя свинка,
Нашу детку покачать.

Стала свинка хрипло хрюкать,
Непослушного баюкать:
— Баю-баюшки, хрю-хрю.
Успокойся, говорю.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Очень грубо ты поёшь!

Стала думать мышка-мать:
Надо курицу позвать.
— Приходи к нам, тетя клуша,
Нашу детку покачать.—

Закудахтала наседка:
— Куд-куда! Не бойся, детка!
Забирайся под крыло:
Там и тихо и тепло.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Этак вовсе не уснешь!

Побежала мышка-мать,
Стала щуку в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя щука,
Нашу детку покачать.

Стала петь мышонку щука —
Не услышал он ни звука:
Разевает щука рот,
А не слышно, что поет...

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Нет, твой голос нехорош.
Слишком тихо ты поёшь!

Побежала мышка-мать,
Стала кошку в няньки звать:
— Приходи к нам, тетя кошка,
Нашу детку покачать.

Стала петь мышонку кошка:
— Мяу-мяу, спи, мой крошка!
Мяу-мяу, ляжем спать,
Мяу-мяу, на кровать.

Глупый маленький мышонок
Отвечает ей спросонок:
— Голосок твой так хорош.
Очень сладко ты поёшь!

Прибежала мышка-мать,
Поглядела на кровать,
Ищет глупого мышонка,
А мышонка не видать...

СКАЗКА ОБ УМНОМ МЫШОНКЕ

Унесла мышонка кошка
И поет:— Не бойся, крошка.
Поиграем час-другой
В кошки-мышки, дорогой!

Перепуганный спросонок,
Отвечает ей мышонок:
— В кошки-мышки наша мать
Не велела нам играть.

— Мур-мур-мур,— мурлычет кошка,—
Поиграй, дружок, немножко.—
А мышонок ей в ответ:
— У меня охоты нет.

Поиграл бы я немножко,
Только, пусть, я буду кошкой.
Ты же, кошка, хоть на час
Мышкой будь на этот раз!

Засмеялась кошка Мурка:
— Ах ты, дымчатая шкурка!
Как тебя ни называть,
Мышке кошкой не бывать.

Говорит мышонок Мурке:
— Ну, тогда сыграем в жмурки!
Завяжи глаза платком
И лови меня потом.

Завязала кошка глазки,
Но глядит из-под повязки,
Даст мышонку отбежать
И опять бедняжку — хвать!

Говорит он хитрой кошке:
— У меня устали ножки,
Дай, пожалуйста, чуть-чуть
Мне прилечь и отдохнуть.

— Хорошо,— сказала кошка,—
Отдохни, коротконожка,
Поиграем, а затем
Я тебя, голубчик, съем!—

Кошке — смех, мышонку — горе...
Но нашел он щель в заборе.
Сам не знает, как пролез.
Был мышонок — да исчез!

Вправо, влево смотрит кошка:
— Мяу-мяу, где ты, крошка? —
А мышонок ей в ответ:
— Там, где был, меня уж нет!

Покатился он с пригорка,
Видит: маленькая норка.
В этой норке жил зверек —
Длинный, узенький хорек.

Острозубый, остроглазый,
Был он вором и пролазой
И, бывало, каждый день
Крал цыплят из деревень.

Вот пришел хорек с охоты,
Гостя спрашивает: — Кто ты?
Коль попал в мою нору,
Поиграй в мою игру!

— В кошки-мышки или в жмурки? —
Говорит мышонок юркий.
— Нет, не в жмурки. Мы, хорьки,
Больше любим «уголки».

— Что ж, сыграем, но сначала
Посчитаемся, пожалуй:
Я — зверек,
И ты — зверек,
Я — мышонок,
Ты — хорек,
Ты хитер,
А я умен,
Кто умен,
Тот вышел вон!

— Стой! — кричит хорек мышонку
И бежит за ним вдогонку,
А мышонок — прямо в лес
И под старый пень залез.

Стали звать мышонка белки:
— Выходи играть в горелки!
— У меня,— он говорит,—
Без игры спина горит!

В это время по дорожке
Шел зверек страшнее кошки,
Был на щетку он похож.
Это был, конечно, еж.

А навстречу шла ежиха
Вся в иголках, как портниха.

Закричал мышонку еж:
— От ежей ты не уйдешь!
Вот идет моя хозяйка,
С ней в пятнашки поиграй-ка,

А со мною — в чехарду.
Выходи скорей — я жду!

А мышонок это слышал,
Да подумал и не вышел.
— Не хочу я в чехарду,—
На иголки попаду!

Долго ждали еж с ежихой,
А мышонок тихо-тихо
По тропинке меж кустов
Прошмыгнул — и был таков!

Добежал он до опушки.
Слышит — квакают лягушки:
— Караул! Беда! Ква-ква!
К нам сюда летит сова!

Поглядел мышонок: мчится
То ли кошка, то ли птица,
Вся рябая, клюв крючком,
Перья пестрые торчком.

А глаза горят, как плошки,—
Вдвое больше, чем у кошки.

У мышонка замер дух.
Он забился под лопух.

А сова — все ближе, ближе,
А сова — все ниже, ниже
И кричит в тиши ночной:
— Поиграй, дружок, со мной!

Пропищал мышонок: — В прятки? —
И пустился без оглядки,
Скрылся в скошенной траве.
Не найти его сове.

До утра сова искала.
Утром видеть перестала.
Села, старая, на дуб
И глазами луп да луп.

А мышонок вымыл рыльце
Без водицы и без мыльца
И пошел искать свой дом,
Где остались мать с отцом.

Шел он, шел, взошел на горку
И внизу увидел норку.

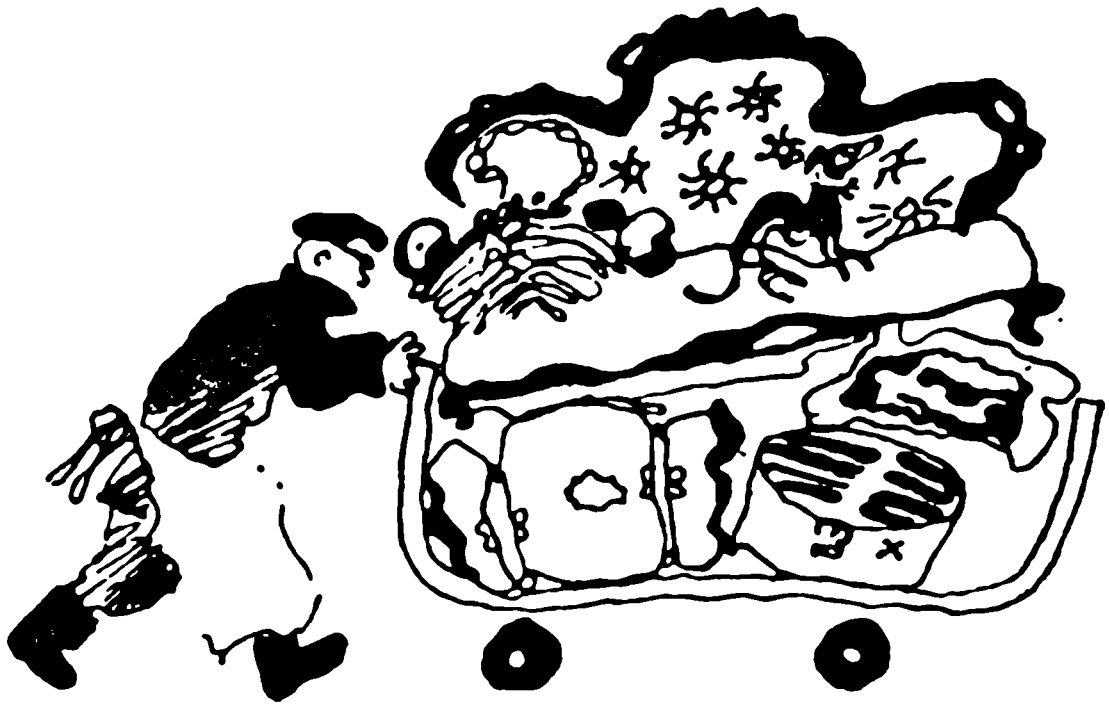
То-то рада мышка-мать!
Ну мышонка обнимать!
А сестренки и братишки
С ним играют в мышки-мышки.

ДРЕМОТА И ЗЕВОТА

Бродили по дороге Дремота и Зево́та.
Дремота забега́ла в калитки и ворота,
Заглядывала в окна
И в щелочки дверей
И детям говорила:
— Ложитесь поскорей!

Зевота говорила: кто спать скорее ляжет,
Тому она, Зевота, спокойной ночи скажет,

А если кто не ляжет
Сейчас же на кровать,
Тому она прикажет
Зевать, зевать, зевать!



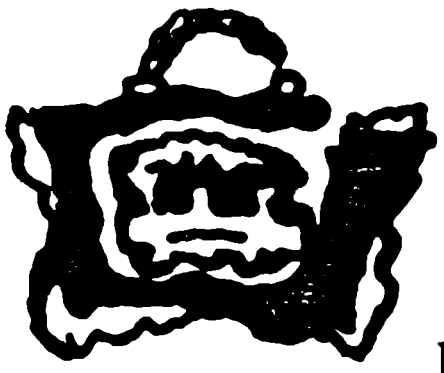
БАГАЖ

Дама сдавала в багаж
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.

Выдали даме на станции
Четыре зеленых квитанции
О том, что получен багаж:

Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.

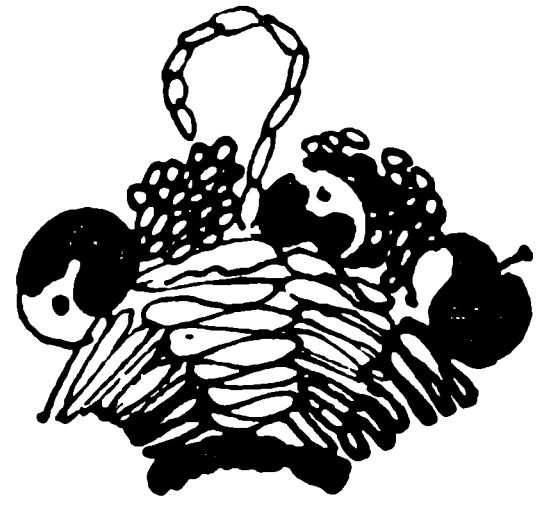
Вещи везут на перрон.
Кидают в открытый вагон.
Готово. Уложен багаж:



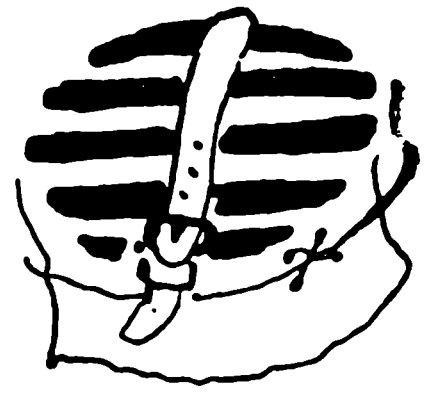
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.

Но только раздался звонок,
Удрал из вагона щенок.

Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно.
В испуге считают багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка...
— Товарищи! Где собачонка?

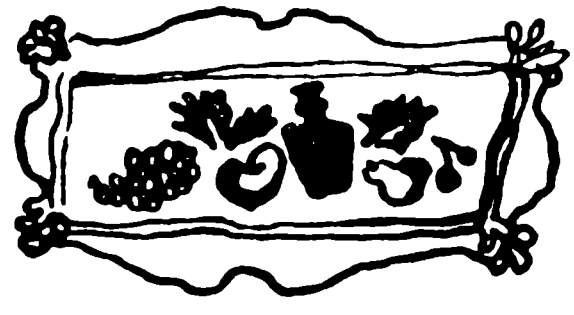


Вдруг видят: стоит у колес
Огромный, взъерошенный пес.



Поймали его — и в багаж,
Туда, где лежал саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка,
Где прежде была собачонка.

Приехали в город Житомир.
Носильщик пятнадцатый номер
Везет на тележке багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку,
А сзади ведут собачонку.



Собака-то как зарычит,
А барыня как закричит:
— Разбойники! Воры! Уроды!
Собака — не той породы!

Швырнула она чемодан,
Ногой отпихнула диван,
Картину,
Корзину,
Картонку...
— Отдайте мою собачонку!

— Позвольте, мамаша! На станции,
Согласно багажной квитанции,
От вас получили багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.

Однако
За время пути
Собака
Могла подрасти!

ПОЖАР

На площади базарной,
На каланче пожарной
Круглые сутки
Дозорный у будки
Поглядывал вокруг —
На север,
На юг,
На запад,
На восток,—
Не виден ли дымок.

И если видел он пожар,
Плывущий дым угарный,
Он поднимал сигнальный шар
Над каланчой пожарной.

И два шара,
И три шара
Взвивались вверх, бывало.
И вот с пожарного двора
Команда выезжала.

Тревожный звон будил народ,
Дрожала мостовая.
И мчалась с грохотом вперед
Команда удалая.

Теперь не надо каланчи,—
Звони по телефону
И о пожаре сообщи
Ближайшему району.

Пусть помнит каждый гражданин
Пожарный номер: ноль-один!

В районе есть бетонный дом —
В три этажа и выше —
С большим двором и гаражом
И с вышкою на крыше.

Сменяясь, в верхнем этаже
Пожарные сидят,
А их машины в гараже
Мотором в дверь глядят.

Чуть только — ночью или днем —
Дадут сигнал тревоги,
Лихой отряд борцов с огнем
Несется по дороге...

Мать на рынок уходила,
Дочке Лене говорила:
— Печку, Леночка, не тронь.
Жжется, Леночка, огонь!

Только мать сошла с крылечка,
Лена села перед печкой,
В щелку красную глядит,
А в печи огонь гудит.

Приоткрыла дверцу Лена —
Соскочил огонь с полена,
Перед печкой выжег пол,
Влез по скатерти на стол,
Побежал по стульям с треском,
Вверх пополз по занавескам,
Стены дымом заволок,
Лижет пол и потолок.

Но пожарные узнали,
Где горит, в каком квартале.
Командир сигнал дает,
И сейчас же — в миг единый —
Вырываются машины
Из распахнутых ворот.

Вдаль несутся с гулким звоном.
Им в пути помехи нет.
И сменяется зеленым
Перед ними красный свет.

В пять минут автомобили
До пожара докатили,
Стали строем у ворот,
Подключили шланг упругий,
И, раздувшись от натуги,
Он забил, как пулемет.

Заклубился дым угарный.
Гарью комната полна.
На руках Кузьма-пожарный
Вынес Лену из окна.

Он, Кузьма,— пожарный старый,
Двадцать лет тушил пожары,
Сорок душ от смерти спас,
Бился с пламенем не раз.

Ничего он не боится,
Надевает рукавицы,
Смело лезет по стене.
Каска светится в огне.

Вдруг на крыше из-под балки
Чей-то крик раздался жалкий,
И огню наперерез
На чердак Кузьма полез.

Сунул голову в окошко,
Поглядел...— Да это кошка!
Пропадешь ты здесь в огне.
Полезай в карман ко мне!..

Широко́ бушует пламя...
Разметавшись языками,
Лижет ближние дома.
Отбивается Кузьма.

Ищет в пламени дорогу,
Кличет младших на подмогу,
И спешат к нему на зов
Трое рослых молодцов.

Топорами балки рушат,
Из брандспойтов пламя тушат.
Черным облаком густым
Под ногами вьется дым.

Пламя ежится и злится,
Убегает, как лисица.
А струя издалека
Гонит зверя с чердака.

Вот уж бревна почернели...
Злой огонь шипит из щели:
— Пощади меня, Кузьма,
Я не буду жечь дома!

— Замолчи, огонь коварный! —
Говорит ему пожарный.—
Покажу тебе Кузьму!
Посажу тебя в тюрьму!

Оставайся только в печке,
В старой лампе и на свечке!

На скамейке у ворот
Лена горько слезы льет.

На панели перед домом —
Стол, и стулья, и кровать...
Отправляются к знакомым
Лена с мамой ночевать.

Плачет девочка навзрыд,
А Кузьма ей говорит:
— Не зальешь огня слезами,
Мы водой потушим пламя.
Будешь жить да пожи́вать.
Только чур — не поджигать!
Вот тебе на память кошка.
Посуши ее немножко!

Дело сделано. Отбой.
И опять по мостовой
Понеслись автомобили,
Затрубили, зазвонили.

Мчится лестница, насос.
Вьется пыль из-под колес.

Вот Кузьма в помятой каске.
Голова его в повязке,
Лоб в крови, подбитый глаз,—
Да ему не в первый раз.
Поработал он недаром —
Славно справился с пожаром!

ПОЧТА

БОРИСУ ЖИТКОВУ

1

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой 5 на медной бляшке,
В синей форменной фуражке?
Это он,
Это он,
Ленинградский почтальон.

У него
Сегодня много
Писем
В сумке на боку —
Из Ташкента,
Таганрога,
Из Тамбова
И Баку.

В семь часов он начал дело,
В десять сумка похудела,
А к двенадцати часам
Все разнес по адресам.

2

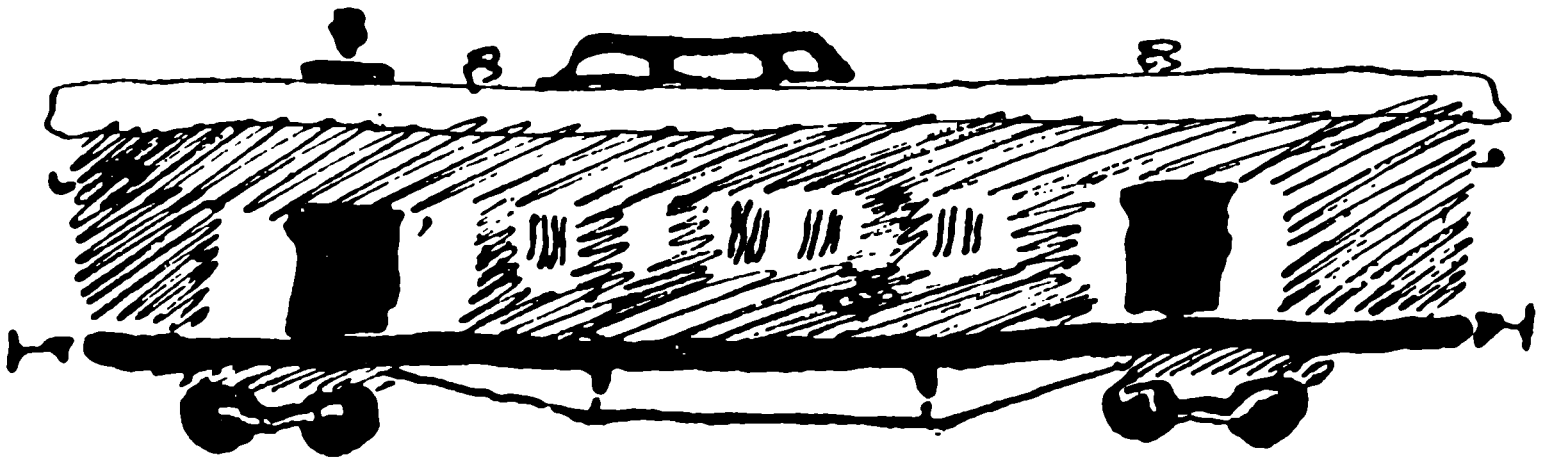
— Заказное из Ростова
Для товарища Житкова!

— Заказное для Житкова?
Извините, нет такого!

— Где же этот гражданин?
— Улетел вчера в Берлин.

3

Житков за границу
По воздуху мчится —
Земля зеленеет внизу.
А вслед за Житковым
В вагоне почтовом
Письмо заказное везут.



Пакеты по полкам
Разложены с толком,
В дороге разборка идет,
И два почтальона
На лавках вагона
Качаются ночь напролет.

Открытка —
В Дубровку,
Посылка —
В Покровку,
Газета —
На станцию Клин.
Письмо —
В Бологое.
А вот заказное
Пойдет за границу — в Берлин.

4

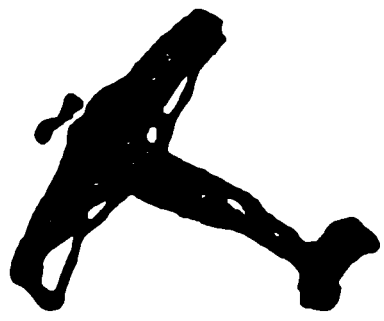
Идет берлинский почтальон,
Последней почтой нагружен.
Одет таким он франтом:
Фуражка с красным кантом.

На темно-синем пиджаке
Лазурные петлицы.
Идет и держит он в руке
Письмо из-за границы.

Кругом прохожие спешат.
Машины шинами шуршат,
Одна другой быстрее,
По Липовой аллее.

Подходит к двери почтальон.
Швейцару старому поклон.
— Письмо для герр Житкова
Из номера шестого!

— Вчера в одиннадцать часов
Уехал в Англию Житков!



5

Письмо
Само
Никуда не пойдет,
Но в ящик его опусти —
Оно пробежит,
Пролетит,
Проплывет
Тысячи верст пути.

Нетрудно письму
Увидеть свет·
Ему
Не нужен билет.

На медные деньги
Объедет мир
Заклеенный
Пассажир.

В дороге
Оно
Не пьет и не ест
И только одно
Говорит:

— Срочное.
Англия.
Лондон.
Вест,
14, Бобкин-стрит.

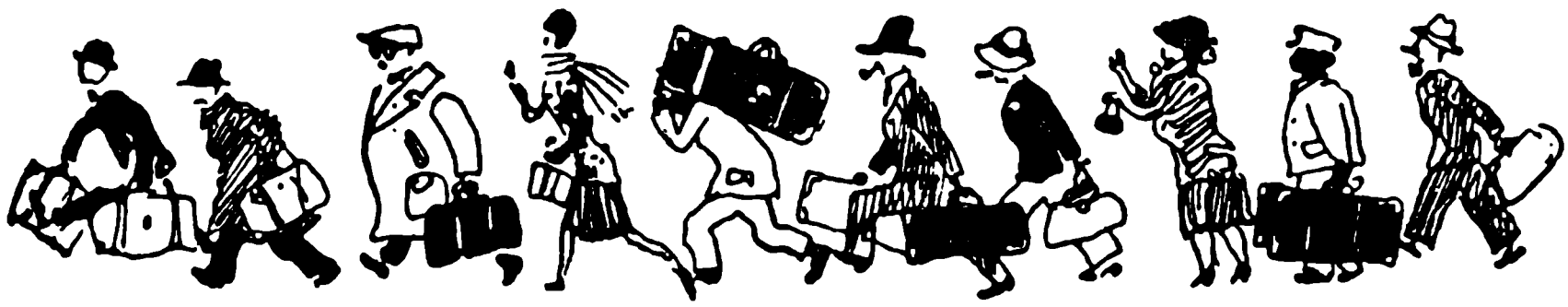
6

Бежит, подбрасывая груз,
За автобу́сом автобу́с.
Качаются на крыше
Плакаты и афиши.

Кондуктор с лесенки кричит:
— Конец маршрута! Бобкин-стрит!

По Бобкин-стрит, по Бобкин-стрит
Шагает быстро мистер Смит
В почтовой синей кепке,
А сам он вроде щепки.

Идет в четырнадцатый дом,
Стучит висячим молотком
И говорит сурово:
— Для мистера Житкова.



Швейцар глядит из-под очков
На имя и фамилию
И говорит: — Борис Житков
Отправился в Бразилию!

7

Пароход
Отойдет
Через две минуты.
Чемоданами народ
Занял все каюты.

Но в одну из кают
Чемоданов не несут.
Там поедет вот что:
Почтальон и почта.

8

Под пальмами Бразилии,
От зноя утомлен,
Шагает дон Базилио,
Бразильский почтальон.

В руке он держит странное,
Измятое письмо.
На марке — иностранное
Почтовое клеймо.

И надпись над фамилией
О том, что адресат
Уехал из Бразилии
Обратно в Ленинград.

9

Кто стучится в дверь ко мне
С толстой сумкой на ремне,
С цифрой 5 на медной бляшке,
В синей форменной фуражке?
Это он,
Это он,
Ленинградский почтальон.

Он протягивает снова
Заказное для Житкова.
— Для Житкова?
Эй, Борис,
Получи и распишись!

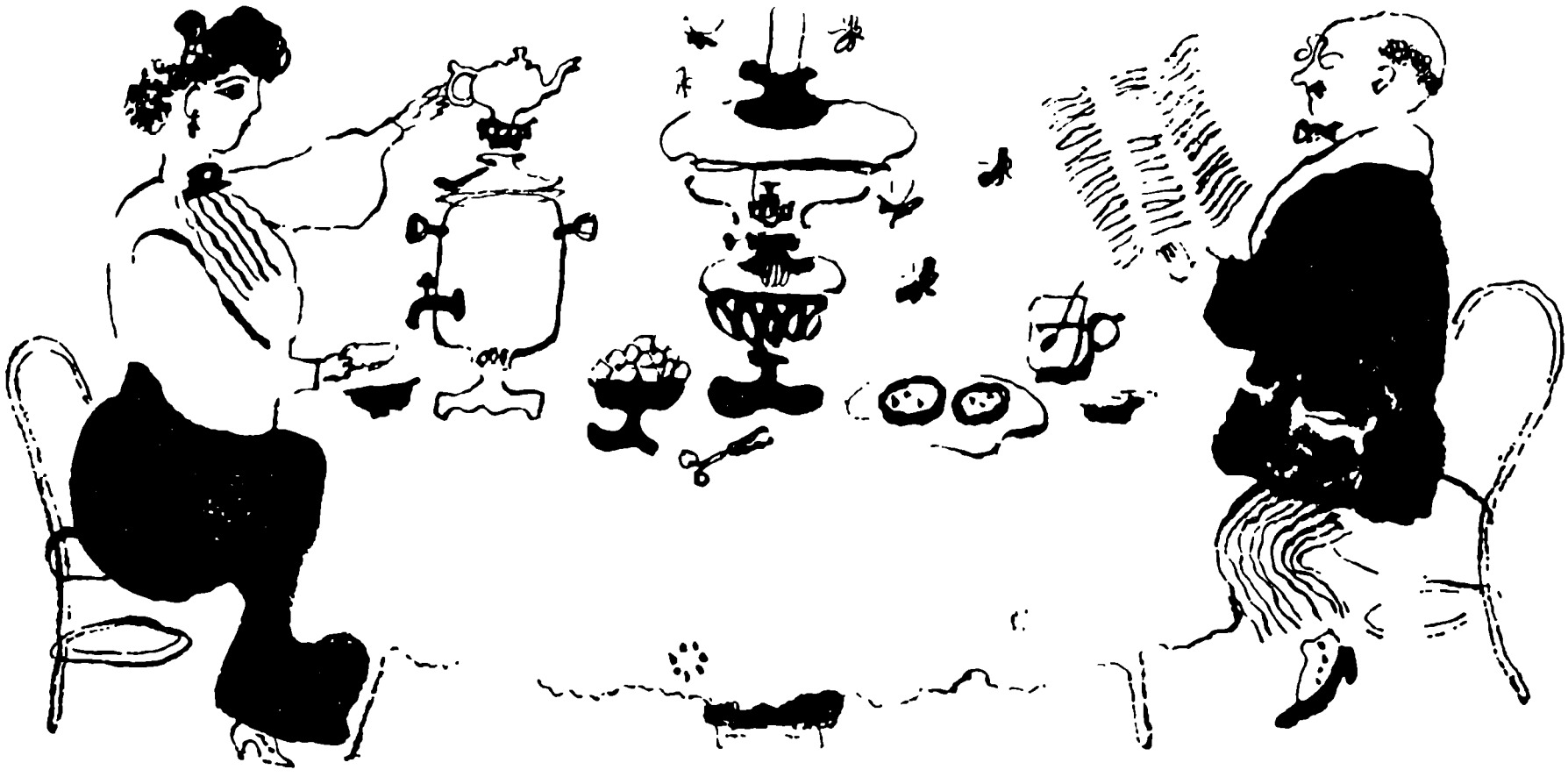
10

Мой сосед вскочил с постели:
— Вот так чудо в самом деле!
Погляди, письмо за мной
Облетело шар земной.
Мчалось по́ морю вдогонку,
Понеслось на Амазонку.
Вслед за мной его везли
Поезда и корабли.

По морям и горным склонам
Добрело оно ко мне.

Честь и слава почтальонам,
Утомленным, запыленным.

Слава честным почтальонам
С толстой сумкой на ремне!



ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

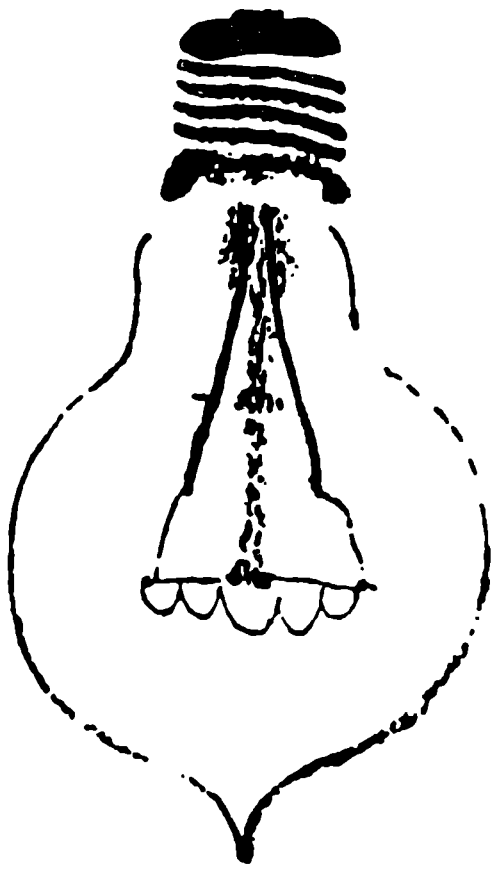
Лампа керосиновая,
Свечка стеариновая,
Коромысло с ведром
И чернильница с пером.

1

Лампа плакала в углу,
За дровами на полу:
— Я голодная,
Я холодная!
Высыхает мой фитиль.
На стекле густая пыль.
Почему —
Я не пойму —
Не нужна я никому?

А бывало, зажигали
Ранним вечером меня.
В окна бабочки влетали
И кружились у огня.

Я глядела сонным взглядом
Сквозь туманный абажур,
И шумел со мною рядом
Старый медный балагур.



Познакомилась в столовой
Я сегодня с лампой новой.
Говорили, будто в ней
Пятьдесят горит свечей.

Ну и лампа! На́ смех курам!
Пузырек под абажуром.
В середине пузырька —
Три-четыре волоска.

Говорю я: — Вы откуда,
Непонятная посуда?
Любопытно посмотреть,
Как вы будете гореть.
Пузырек у вас запаян.
Как зажжет его хозяин?

А гражданка мне в ответ
Говорит: — Вам дела нет!

Я, конечно, загудела:
— Почему же нет мне дела?
В этом доме десять лет
Я давала людям свет
И ни разу не коптела!
Почему же нет мне дела?

Да при этом,— говорю,—
Я без хитрости горю.
По старинке, по привычке,
Зажигаюсь я от спички,
Вот как свечка или печь.
Ну, а вас нельзя зажечь.

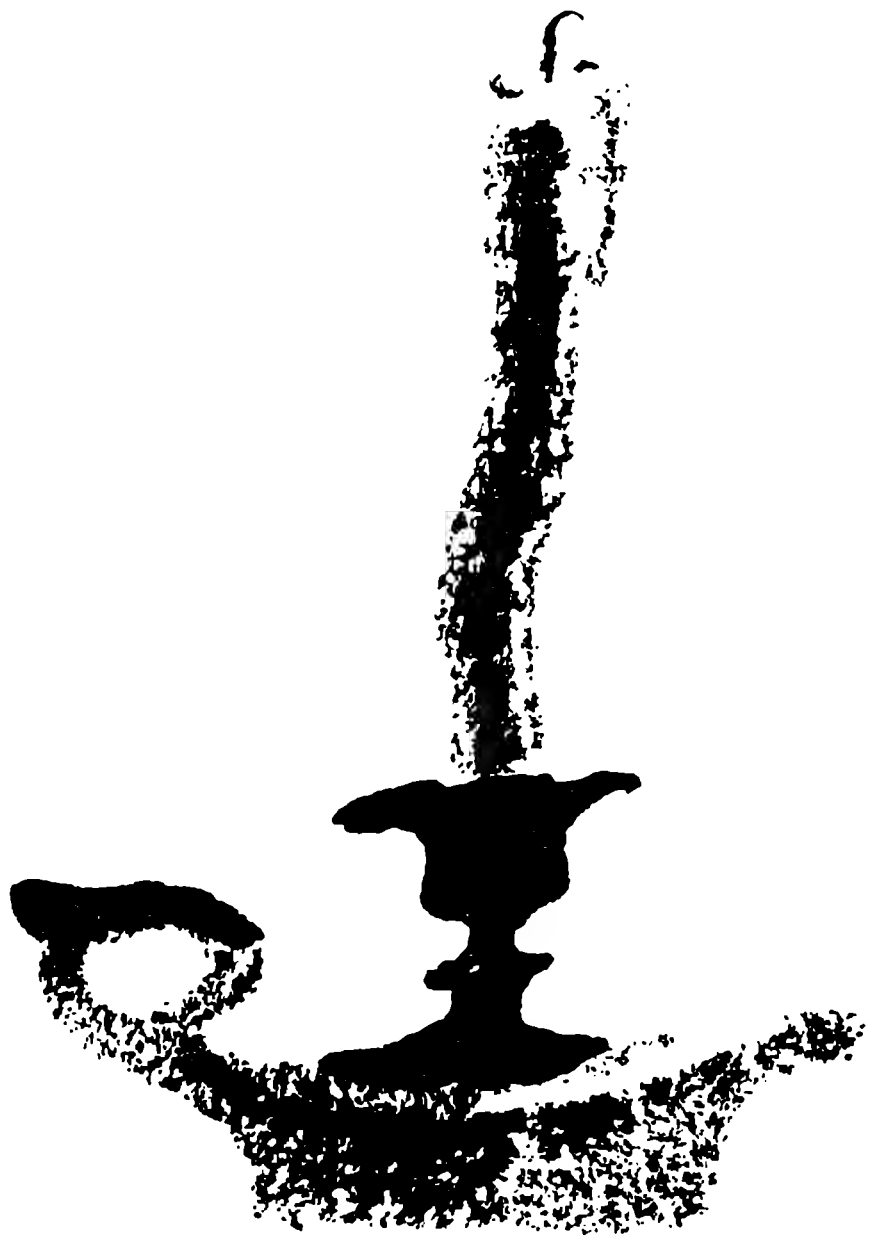
Вы, гражданка,— самозванка!
Вы не лампочка, а склянка!

А она мне говорит:
— Глупая вы баба!
Фитилек у вас горит
Чрезвычайно слабо.
Между тем как от меня
Льется свет чудесный,
Потому что я родня
Молнии небесной!

Я — электрическая
Экономическая
Лампа!

Мне не надо керосина.
Мне со станции машина
Шлет по проволоке ток.
Не простой я пузырек!

Если вы соедините
Выключателем две нити,
Зажигается мой свет.
Вам понятно или нет?



2

Стеариновая свечка
Робко вставила словечко:
— Вы сказали, будто в ней
Пятьдесят горит свечей?
Обманули вас бесстыдно:
Ни одной свечи не видно!

3

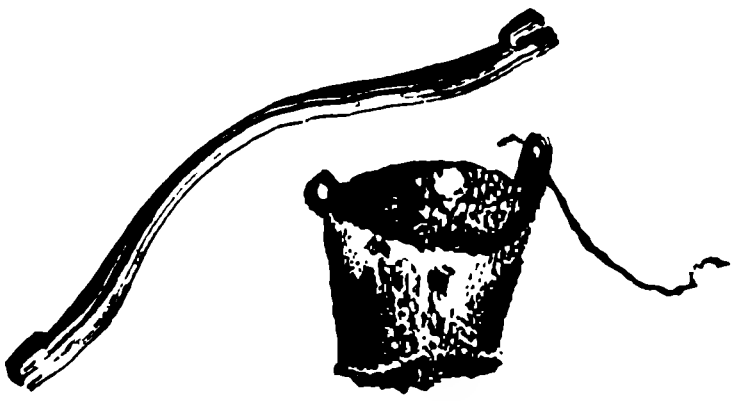
Перо в пустой чернильнице,
Скрипя, заговорило:
— В чернильнице-кормилице
Кончаются чернила.

Я, старое и ржавое,
Живу теперь в отставке.
В моих чернилах плавают
Рогатые козявки.

У нашего хозяина
Теперь другие перья.
Стучат они отчаянно,
Палят, как артиллерия.

Запятые,
Точки,
Строчки —
Бьют кривые молоточки.

Вдруг разъедется машина —
Едет вправо половина...
Что такое? Почему?
Ничего я не пойму!



4

Коромысло с ведром
Загремело на весь дом:

— Никто по́ воду не ходит,
Коромысла не берет.
Стали жить по новой моде —
Завели водопровод.

Разленились нынче бабы.
Али плечи стали слабы?

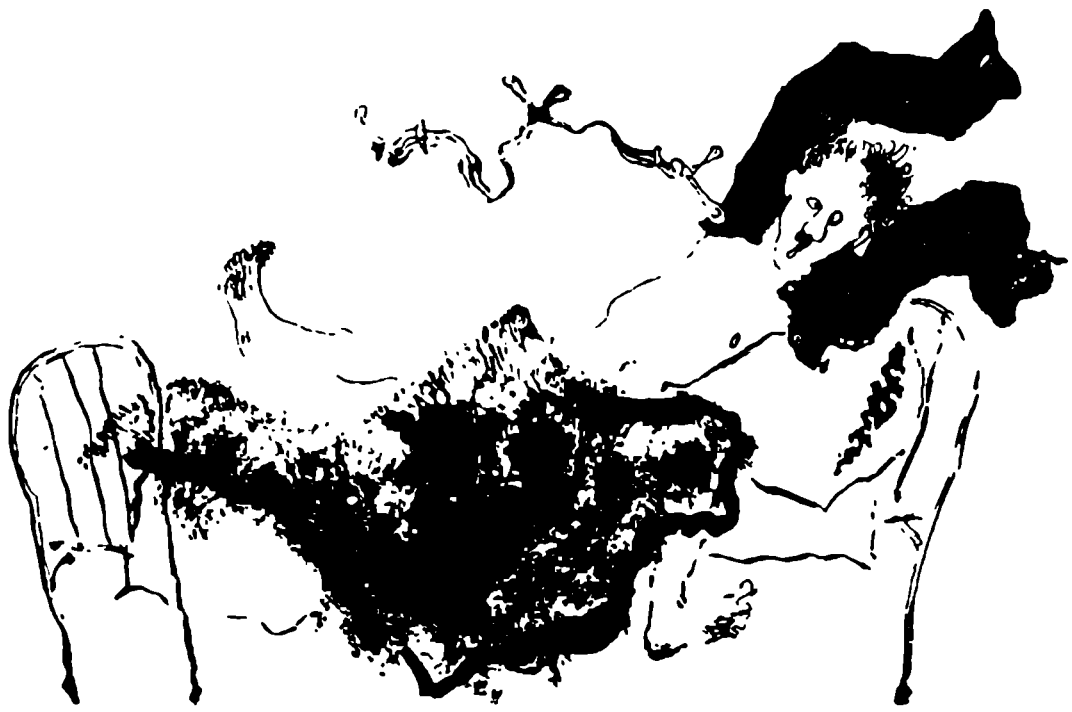
Речка спятила с ума —
По домам пошла сама!

А бывало, с перезвоном
К берегам ее зеленым
Шли девицы за водой
По улице мостовой.

Подходили к речке близко,
Речке кланялися низко:
— Здравствуй, речка, наша мать,
Дай водицы нам набрать!

А теперь двухлетний внучек
Повернет одной рукой
Ручку крана, точно ключик,—
И вода бежит рекой...

Нынче в людях мало смысла,—
Пропадает коромысло!



ВОТ КАКОЙ РАССЕЯННЫЙ

Жил человек рассеянный
На улице Бассейной.

Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,
В рукава просунул руки —
Оказалось, это брюки.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Надевать он стал пальто —
Говорят ему: не то.

Стал натягивать гамаши —
Говорят ему: не ваши.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Вместо шапки на ходу
Он надел сковороду.

Вместо валенок перчатки
Натянул себе на пятки.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Однажды на трамвае
Он ехал на вокзал
И, двери открывая,
Вожатому сказал:

— Глубокоуважаемый
Вагоноуважатый!
Вагоноуважаемый
Глубокоуважатый!
Во что бы то ни стало
Мне надо выходить.
Нельзя ли у трамвала
Вокзай остановить?

Вожатый удивился —
Трамвай остановился.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Он отправился в буфет
Покупать себе билет.
А потом помчался в кассу
Покупать бутылку квасу.

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

Побежал он на перрон,
Влез в отцепленный вагон,
Внес узлы и чемоданы,
Рассовал их под диваны,
Сел в углу перед окном
И заснул спокойным сном...

— Это что за полустанок? —
Закричал он спозаранок.
А с платформы говорят:
— Это город Ленинград.

Он опять поспал немножко
И опять взглянул в окошко,
Увидал большой вокзал,
Удивился и сказал:

— Это что за остановка,
Бологое иль Поповка? —
А с платформы говорят:
— Это город Ленинград.

Он опять поспал немножко
И опять взглянул в окошко.
Увидал большой вокзал,
Потянулся и сказал:

— Что за станция такая,
Дибуны или Ямская? —
А с платформы говорят:
— Это город Ленинград.

Закричал он: — Что за шутки!
Еду я вторые сутки,
А приехал я назад,
А приехал в Ленинград!

Вот какой рассеянный
С улицы Бассейной!

ВОЛК И ЛИСА

Серый волк в густом лесу
Встретил рыжую лису.

— Лисавета, здравствуй!
— Как дела, зубастый?

— Ничего идут дела.
Голова еще цела.

— Где ты был?
— На рынке.
— Что купил?
— Свининки.

— Сколько взяли?
— Шерсти клок,

Ободрали
Правый бок,
Хвост отгрызли в драке!
— Кто отгрыз?
— Собаки!
— Сыт ли, милый куманек?
— Еле ноги уволок!

КРУГЛЫЙ ГОД

ЯНВАРЬ

Открываем календарь —
Начинается январь.

В январе, в январе
Много снегу на дворе.

Снег — на крыше, на крылечке.
Солнце в небе голубом.
В нашем доме топят печки.
В небо дым идет столбом.

ФЕВРАЛЬ

Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко.
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.

Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья.
Это празднует февраль
Армии рожденье.

МАРТ

Рыхлый снег темнеет в марте.
Тают льдинки на окне.
Зайчик бегает по парте
И по карте
На стене.

АПРЕЛЬ

Апрель, апрель!
На дворе звенит капе́ль.

По полям бегут ручьи,
На дорогах лужи.
Скоро выйдут муравьи
После зимней стужи.

Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.

МАЙ

Распустился ландыш в мае
В самый праздник — в первый день.

Май цветами провожая,
Распускается сирень.

ИЮНЬ

Пришел июнь.
«Июнь! Июнь!» —
В саду щебечут птицы...
На одуванчик только дунь —
И весь он разлетится.

ИЮЛЬ

Сенокос идет в июле,
Где-то гром ворчит порой.
И готов покинуть улей
Молодой пчелиный рой.

АВГУСТ

Собираем в августе
Урожай плодов.
Много людям радости
После всех трудов.

Солнце над просторными
Нивами стоит.
И подсолнух зернами
Черными
Набит.

СЕНТЯБРЬ

Ясным утром сентября
Хлеб молотят села,
Мчатся птицы за моря —
И открылась школа.

ОКТЯБРЬ

В октябре, в октябре
Частый дождик на дворе.

На лугах мертва трава,

Замолчал кузнечик
Заготовлены дрова
На́ зиму для печек.

НОЯБРЬ

День седьмого ноября —
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно́.

Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.

Весь народ — и млад и стар —
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!

ДЕКАБРЬ

В декабре, в декабре
Все деревья в серебре.

Нашу речку, словно в сказке,
За́ ночь вымостил мороз,
Обновил коньки, салазки,
Елку из лесу привез.

Елка плакала сначала
От домашнего тепла.
Утром плакать перестала,
Задышала, ожила.

Чуть дрожат ее иголки,
На ветвях огни зажглись.
Как по лесенке, по елке
Огоньки взбегают ввысь.

Блещут золотом хлопушки.
Серебром звезду зажег
Добежавший до верхушки
Самый смелый огонек.

Год прошел, как день вчерашний.
Над Москвою в этот час
Бьют часы Кремлевской башни
Свой салют — двенадцать раз.

ПЕСНЯ О ЕЛКЕ

Что растет на елке?
Шишки да иголки.
Разноцветные шары
Не растут на елке.

Не растут на елке
Пряники и флаги,
Не растут орехи
В золотой бумаге.

Эти флаги и шары
Выросли сегодня
Для советской детворы
В праздник новогодний.

В городах страны моей,
В селах
И поселках
Столько вспыхнуло огней
На веселых
Елках!

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Вот портфель,
Пальто и шляпа.
День у папы
Выходной.
Не ушел
Сегодня
Папа.
Значит,
Будет он со мной.

«УСАТЫЙ-ПОЛОСАТЫЙ»

Что мы нынче
Делать будем?
Это вместе
Мы обсудим.
Сяду к папе
На кровать —
Станем вместе
Обсуждать.

Не поехать ли
Сегодня
В ботанический музей?
Не созвать ли нам
Сегодня
Всех знакомых и друзей?

Не отдать ли
В мастерскую
Безголового коня?
Не купить ли нам
Морскую
Черепаху для меня?

Или можно
Сделать змея
Из бумажного листа,
Если есть
Немного клея
И мочалка
Для хвоста.

Понесется змей гремучий
Выше
Крыши,
Выше тучи!..

— А пока,—
Сказала мать,—
Не пора ли
Вам вставать?..

— Хорошо! Сейчас встаем! —
Отвечали мы вдвоем.

Мы одеты
И обуты.
Мы побрились
В две минуты.

(Что касается
Бритья —
Брился папа,
А не я!)

Мы постель убрали сами.
Вместе с мамой пили чай.
А потом сказали маме:
— До свиданья! Не скучай!

Перед домом на Садовой
Сели мы в троллейбус новый.
Из открытого окна
Вся Садовая видна.

Мчатся стаями «Победы»,
«Москвичи», велосипеды.
Едет с почтой почтальон.

Вот машина голубая
Разъезжает, поливая
Мостовую с двух сторон.

Из троллейбуса
Я вылез,
Папа выпрыгнул за мной.

А потом
Мы прокатились
На машине легковой.

А потом
В метро спустились
И помчались
Под Москвой.

А потом
Стреляли в тире
В леопарда
Десять раз:
Папа — шесть,
А я — четыре:
В брюхо,
В ухо,
В лоб
И в глаз!

Голубое,
Голубое,
Голубое
В этот день
Было небо над Москвою,
И в садах цвела сирень.

Мы прошлись
По зоопарку.
Там кормили сторожа́
Крокодила
И цесарку,
Антилопу
И моржа.

Сторожа́
Давали свеклу
Двум
Задумчивым
Слонам.
А в бассейне
Что-то мокло...
Это был гиппопотам!

Покатался я
На пони,—
Это маленькие
Кони.
Ездил прямо
И кругом,
В таратайке
И верхом.

Мне и папе
Стало жарко.
Мы растаяли, как воск.
За оградой зоопарка
Отыскали мы киоск.

Из серебряного крана
С шумом
Брызнуло ситро.
Мне досталось
Полстакана,
А хотелось бы —
Ведро!

Мы вернулись
На трамвае,
Привезли домой
Сирень.
Шли по лестнице,
Хромая,—
Так устали
В этот день!

Я нажал звонок знакомый —
Он ответил мне, звеня,
И затих...
Как тихо дома,
Если дома нет меня!

КАРУСЕЛЬ

Под шатром широким кругом
Мчатся кони друг за другом,
Стройные, точеные,
Сбруи золоченые.

Едут девочки в санях,
Руки в муфты прячут.
А мальчишки на конях
За санями скачут.

Едут девочки в санях,
Лаковых, узорных,
А мальчишки — на конях,
Серых или черных.

— Вот я шпоры дам коню,
Ваши санки догоню!
— Не гоните вы коня,
Не догоните меня!

В блеске пестрых фонарей,
В удалой погоне
Пролетают все быстрей
Всадники и кони.

А кругом бегут дома,
Тумбы и панели.
Площадь движется сама
Вроде карусели...

ЦИРК

Впервые на арене
Для школьников Москвы —
Ученые тюлени,
Танцующие львы.

Жонглеры-медвежата,
Собаки-акробаты,
Канатоходец-слон,
Всемирный чемпион.

Единственные в мире
Атлеты-силачи
Подбрасывают гири,
Как детские мячи.

Летающие
Кони,
Читающие
Пони.

Выход борца
Ивана Огурца.

Веселые сцены,
Дешевые цены.
Полные сборы.
Огромный успех.

Кресло — полтинник.
Ложи
Дороже.
Выход обратно —
Бесплатно
Для всех!

1

Начинается программа!
Два ручных гиппопотама,
Разделивших первый приз,
Исполняют вальс-каприз.

2

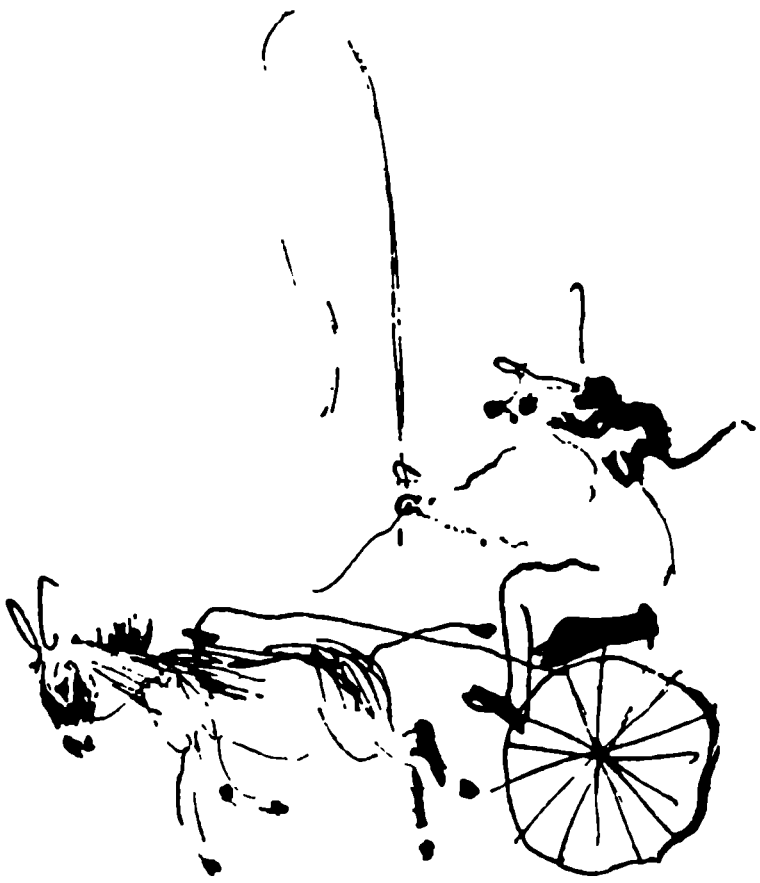
В четыре руки обезьяна
Играет на фортепьяно.

3

Под свист и щелканье бичей
На лошади по кругу
Хвостатый маленький жокей
Несется с перепугу.

4

По проволоке дама
Идет, как телеграмма.



5

Зайцы, соболи и белки
Бьют в литавры и тарелки.

Машет палочкой пингвин,
Гражданин полярных льдин.

В черный фрак пингвин одет,
В белый галстук и жилет.

С двух сторон ему еноты
Перелистывают ноты.

6

На зубах висит гимнаст,
До чего же он зубаст!

Вот такому бы гимнасту
Продавать зубную пасту!

7

Мамзель Фрикасе́
На одном колесе.

8

Ухитрились люди в цирке
Обучить медведя стирке.
А морскую черепаху —
Гладить мытую рубаху.

9

Вот слон, индийский гастролер,
Канатоходец и жонглер!

Подбрасывает сразу
И ловит он шутя
Фарфоровую вазу,
Бутылку и дитя.

10

Белый шут и рыжий шут
Разговор такой ведут:

— Где купили вы, синьор,
Этот красный помидор?

— Вот невежливый вопрос!
Это собственный мой нос.

11

Негритянка Мэри Грей —
Дрессировщица зверей.

Вот открылись в клетку двери.
Друг за другом входят звери.

Мэри щелкает хлыстом.
Лев сердито бьет хвостом.

Мэри спрашивает льва:
— Сколько будет дважды два?

Лев несет четыре гири.
Значит, дважды два — четыре!

МОРОЖЕНОЕ

По дороге — стук да стук —
Едет крашеный сундук.
Старичок его везет,
На всю улицу орет:

— Отличное
Земляничное
Морожено!..

Мы, ребята, босиком
Ходим вслед за сундуком.
Остановится сундук —
Все становятся вокруг.

Сахарно
Морожено
На блюдечки
Положено,
Густо и сладко,
Ешь без остатка!

Дали каждому из нас
Узенькую ложечку,
И едим мы целый час,
Набирая всякий раз
С краю понемножечку.

По дороге — стук да стук —
Едет крашеный сундук.

Летним утром в сундуке
Едет зимний холод —
Синий лед, что на реке
Был весной расколот.

Банки круглые во льду
Тараторят на ходу.
От стоянки до стоянки
Разговаривают банки:
«Будет пир
На весь мир.
Мы везем для вас пломбир
И клубничное,

Земляничное
Мороженое!»

К сундуку бежит толстяк,
От жары он весь размяк,
Щеки, как подушки,
Шляпа на макушке.

— Эй! — кричит он.— Поскорей
Положи на пять рублей!

Взял мороженщик лепешку,
Сполоснул большую ложку,
Ложку в банку окунул,
Мягкий шарик зачерпнул,
По краям пригладил ложкой
И накрыл другой лепешкой.

Зачерпнул десяток раз.
— Получайте свой заказ!

Не моргнул толстяк и глазом,
Съел мороженое разом,
А потом кричит опять:

— Дай ещё на двадцать пять
Да в придачу на полтинник —
Я сегодня именинник!

— Ради ваших именин
Получайте, гражданин,
Именинное
Апельсинное
Мороженое!

По дороге — стук да стук —
Едет медленно сундук,
Тарахтит, почти пустой,
А толстяк хрипит: — Постой!
Дай мороженого ложку,
Только ложку на дорожку
Ради праздничного дня:
День рожденья у меня!

— Ради вашего рожденья
Получайте угощенье —
Прекрасное
Ананасное
Мороженое!

Не сказал толстяк ни слова.
Покупает на целковый,
А потом на целых три.
Все кричат ему: — Смотри,
У тебя затылок синий,
На бровях белеет иней,
Как на дереве в лесу,
И сосулька на носу!..

А толстяк молчит — не слышит,
Ананасным паром дышит.

На спине его сугроб.
Побелел багровый лоб.

Посинели оба уха.
Борода белее пуха.

На затылке — снежный ком.
Снег на шляпе колпаком.

Он стоит и не шевéлится,
А кругом шумит метелица...

Как у нашего двора
Нынче выросла гора.
Вся дорога загорожена,
Катит в саночках народ.
Под полозьями не лед,
А клубничное,
Земляничное,
Именинное
Апельсинное,
Прекрасное
Ананасное
Мороженое!

РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА

Эта страница зеленого цвета,
Значит, на ней постоянное лето.
Если бы здесь уместиться я мог,
Я бы на этой странице прилег.

Бродят в траве золотые букашки.
Вся голубая, как бирюза,
Села, качаясь, на венчик ромашки,
Словно цветной самолет, стрекоза.

Вон темно-красная божья коровка,
Спинку свою разделив пополам,
Вскинула крылья прозрачные ловко
И полетела по божьим делам.

Вот в одинаковых платьях, как сестры,
Бабочки сели в траву отдыхать.
То закрываются книжечкой пестрой,
То, раскрываясь, несутся опять...

СИНЯЯ СТРАНИЦА

А эта страница — морская,
На ней не увидишь земли.
Крутую волну рассекая,
Проходят по ней корабли.

Дельфины мелькают, как тени,
Блуждает морская звезда,
И листья подводных растений
Качает, как ветер, вода.

На дне этой синей страницы
Темно, как в глубинах морей.
Здесь рыбы умеют светиться
Во мраке, где нет фонарей...

ЖЕЛТАЯ СТРАНИЦА

Вы любите, ребята,
Пересыпать песок.
В руках у вас лопата,
Ведерко и совок.

Как нитка золотая,
У вас из кулака
Бежит струя густая
Прохладного песка.

Садовая дорога
Усыпана песком.
Но плохо, если много
Песка лежит кругом.

Вот желтая страница —
Пустынная страна.
Песок по ней кружи́тся,
Несется, как волна.

Неведомо откуда,
Неведомо куда
Бредут по ней верблюды —
Степные поезда.

Идут они в кочевье
Под музыку звонков.
Лежачие деревья
Растут среди песков.

Безлиственные сучья
К сухой земле пригнул
Живучий и колючий
Кустарник саксаул.

А ветер носит тучи
Горячего песка.
Идет песок летучий
На приступ, как войска...

БЕЛАЯ СТРАНИЦА

Это — снежная страница.
Вот прошла по ней лисица,
Заметая след хвостом.

Тут вприпрыжку по странице
В ясный день гуляли птицы,
Оставляя след крестом.

Здесь проехали полозья —
И сверкает на морозе
Серебристый гладкий след.

Там на утренней пороше
Отпечатались калоши,—
Это бродят внук и дед.

Цепь следов на снежной глади
Остается, как строка
В чистой, новенькой тетради
Первого ученика.

КРАСНАЯ СТРАНИЦА

Эта страница
Красного цвета.

Красное солнце.
Красное лето.

Красная площадь
Флаги полощет.

Что же на свете
Лучше и краше?

Разве что дети
Веселые наши!

НОЧНАЯ СТРАНИЦА

Пред вами — страница ночная.
Столица окутана тьмой.
Уходят на отдых трамваи,
Троллейбусы мчатся домой.

Спешат на ночлег пешеходы,
Нигде не увидишь ребят.
И только вокзалы, заводы,
Часы и машины не спят.

Скользят огоньки по аллее,
Спускаясь с московских холмов,
И с каждой минутой тусклее
Бессчетные окна домов.

Встречаясь на всех перекрестках,
Бегут фонари через мост.
А небо над городом — в блестках
Далеких, чуть видимых звезд.

Над старой зубчатой стеною,
Над всею Советской страною
Горят, как огни корабля,
Рубины на башнях Кремля.

ВЕСЕЛАЯ АЗБУКА

ПРО ВСЕ НА СВЕТЕ

Азбука в стихах

Аист с нами прожил лето,
А зимой гостил он где-то.

Бегемот разинул рот:
Булки просит бегемот.

Воробей просил ворону
Вызвать волка к телефону.

Гриб растет среди дорожки,—
Голова на тонкой ножке.

Дятел жил в дупле пустом,
Дуб долбил, как долотом.

Ель на ежика похожа:
Еж в иголках, елка — тоже.

Жук упал и встать не может.
Ждет он, кто ему поможет.

Звезды видели мы днем
За рекою, над Кремлем...

Иней лег на ветви ели,
Иглы за́ ночь побелели.

Кот ловил мышей и крыс.
Кролик лист капустный грыз.

Лодки по́ морю плывут,
Люди веслами гребут.

Мед в лесу медведь нашел,—
Мало меду, много пчел.

Носорог бодает рогом.
Не шутите с носорогом!

Ослик был сегодня зол:
Он узнал, что он осел.

Панцирь носит черепаха,
Прячет голову от страха.

Роет землю серый крот —
Разоряет огород.

Спит спокойно старый слон —
Стоя спать умеет он.

Таракан живет за печкой,—
То-то теплое местечко!

Ученик учил уроки —
У него в чернилах щеки.

Флот плывет к родной земле.
Флаг на каждом корабле.

Ходит по́ лесу хорек,
Хищный маленький зверек.

Цапля важная, носатая,
Целый день стоит, как статуя.

Часовщик, прищурив глаз,
Чинит часики для нас.

Школьник, школьник, ты силач:
Шар земной несешь, как мяч!

Щеткой чищу я щенка,
Щекочу ему бока.

Эта кнопка и шнурок —
Электрический звонок.

Юнга — будущий матрос —
Южных рыбок нам привез.

Ягод нет кислее клюквы.
Я на память знаю буквы.

ВЕСЕЛЫЙ СЧЕТ

От одного до десяти

Вот один иль единица,
Очень тонкая, как спица.

А вот это цифра два.
Полюбуйся, какова:

Выгибает двойка шею,
Волочится хвост за нею.

А за двойкой — посмотри —
Выступает цифра три.

Тройка — третий из значков —
Состоит из двух крючков.

За тремя идут четыре,
Острый локоть оттопыря.

А потом пошла плясать
По бумаге цифра пять.

Руку вправо протянула,
Ножку круто изогнула.

Цифра шесть — дверной замочек:
Сверху крюк. внизу кружочек.

Вот семерка — кочерга.
У нее одна нога.

У восьмерки два кольца
Без начала и конца.

Цифра девять иль девятка —
Цирковая акробатка:

Если на́ голову встанет,
Цифрой шесть девятка станет.

Цифра вроде буквы О —
Это ноль иль ничего.

Круглый ноль такой хорошенький,
Но не значит ничегошеньки!

Если ж слева, рядом с ним
Единицу примостим,
Он побольше станет весить,
Потому что это — десять.

Эти цифры по порядку
Запиши в свою тетрадку.
Я про каждую сейчас
Сочиню тебе рассказ.

1

В задачнике жили
Один да один.
Пошли они драться
Один на один.

Но скоро один
Зачеркнул одного.
И вот не осталось
От них ничего.

А если б дружили
Они меж собою,
То долго бы жили
И было б их двое!

2

Две сестрицы — две руки
Рубят, строят, роют,
Рвут на грядке сорняки
И друг дружку моют.

Месят тесто две руки —
Левая и правая,
Воду моря и реки
Загребают, плавая.

3

Три цвета есть у светофора,
Они понятны для шофера:

Красный свет —
Проезда нет.
Желтый —
Будь готов к пути,
А зеленый свет — кати!

4

Четыре в комнате угла.
Четыре ножки у стола.
И по четыре ножки
У мышки и у кошки.

Бегут четыре колеса,
Резиною обуты.
Что ты пройдешь за два часа,
Они — за две минуты.

5

Пред тобой — пятерка братьев.
До́ма все они без платьев.
А на улице зато
Нужно каждому пальто.

6

Шесть
Котят
Есть
Хотят.
Дай им каши с молоком.
Пусть лакают языком,
Потому что кошки
Не едят из ложки.

7

Семь ночей и дней в неделе.
Семь вещей у вас в портфеле:
Промокашка и тетрадь,
И перо, чтобы писать,
И резинка, чтобы пятна
Подчищала аккуратно,
И пенал, и карандаш,
И букварь — приятель ваш.

8

Восемь кукол деревянных
Круглолицых и румяных
В разноцветных сарафанах
На столе у нас живут.
Всех Матрешками зовут.
Кукла первая толста,
А внутри она пуста.

Разнимается она
На две половинки.
В ней живет еще одна
Кукла в серединке.

Эту куколку открой —
Будет третья во второй.

Половинку отвинти,
Плотную, притертую,—
И сумеешь ты найти
Куколку четвертую.

Вынь ее да посмотри,
Кто в ней прячется внутри.

Прячется в ней пятая
Куколка пузатая,
А внутри пустая.
В ней живет шестая.
А в шестой —
Седьмая,
А в седьмой —
Восьмая.

Эта кукла меньше всех,
Чуть побольше, чем орех.

Вот, поставленные в ряд,
Сестры-куколки стоят.

— Сколько вас? — у них мы спросим,
И ответят куклы: — ВОСЕМЬ!

К девяти без десяти,
К девяти без десяти,
К девяти без десяти
Надо в школу вам идти.
В девять слышится звонок.
Начинается урок.

К девяти без десяти
Детям спать пора идти.
А не ляжете в кровать —
Носом будете клевать!

0

Вот это ноль иль ничего.
Послушай сказку про него.

Сказал веселый, круглый ноль
Соседке-единице:
— С тобою рядышком позволь
Стоять мне на странице!

Она окинула его
Сердитым, гордым взглядом:
— Ты, ноль, не сто́ишь ничего.
Не стой со мною рядом!

Ответил ноль: — Я признаю,
Что ничего не сто́ю,
Но можешь стать ты десятью,
Коль буду я с тобою.

Так одинока ты сейчас,
Мала и худощава,
Но будешь больше в десять раз,
Когда я стану справа.

Напрасно думают, что ноль
Играет маленькую роль.

Мы двойку в двадцать превратим.
Из троек и четверок
Мы можем, если захотим,
Составить тридцать, сорок.

Пусть говорят, что мы ничто,—
С двумя нолями вместе
Из единицы выйдет сто,
Из двойки — целых двести!

ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕД НАМИ?

ЗАГАДКИ

1

Шумит он в поле и в саду,
А в дом не попадет.
И никуда я не иду,
Покуда он идет. *(дождь)*

2

Что такое перед нами:
Две оглобли за ушами,

На глазах по колесу
И седёлка на носу?

(пкно)

3

Синий домик у ворот.
Угадай, кто в нем живет.

Дверца узкая под крышей —
Не для белки, не для мыши,
Не для вешнего жильца,
Говорливого скворца.

В эту дверь влетают вести,
Полчаса проводят вместе.
Вести долго не гостят —
Во все стороны летят!

(почтовый ящик)

4

Принялась она за дело,
Завизжала и запела.
Ела, ела
Дуб, дуб,
Поломала
Зуб, зуб.

(пила)

5

Всегда шагаем мы вдвоем,
Похожие, как братья.
Мы за обедом — под столом,
А ночью — под кроватью.

(сапоги)

6

Бьют его рукой и палкой.
Никому его не жалко.

А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут!

(ник)

7

Под Новый год пришел он в дом
Таким румяным толстяком.

Но с каждым днем терял он вес
И наконец совсем исчез.

(колобок)

8

Мы ходим ночью,
Ходим днем,
Но никуда
Мы не уйдем.

Мы бьем исправно
Каждый час.
А вы, друзья,
Не бейте нас!

(часы)

9

В Полотняной стране
По реке Простыне
Плывет пароход
То назад, то вперед
А за ним такая гладь —
Ни морщинки не видать!

(утюг)

10

Самый бойкий я рабочий
В мастерской.
Колочу я что есть мочи
День-деньской.

Как завижу лежебоку,
Что валяется без проку,
Я прижму его к доске
Да как стукну по башке!

В доску спрячется бедняжка —
Чуть видна его фуражка.

(молоток и гвоздь)

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ДЕТИ НАШЕГО ДВОРА

Дети нашего двора,
Вы — его хозя́ева,
На дворе идет игра
В конницу Чапаева.

Едет по двору отряд,
Тянет пулеметы.
Что за кони у ребят —
Собственной работы!

Что за шашки на боку!
Взмахом этой шашки
Лихо срубишь на скаку
Голову ромашки.

Если б можно было мне
Сделаться моложе,—
Я за вами на коне
Поскакал бы тоже!

Суховат и суковат
Этот конь сосновый,
Но я слышу, как стучат
Все его подковы!..

Дети нашего двора,
Чкаловского дома,
Улетали вы вчера
Вдаль с аэродрома.

Мчалась вихрем через двор
Ваша эскадрилья,—

Каждый — сам себе мотор,
И штурвал, и крылья.

Вы стрелой взлетали ввысь,
Заломив пилотки,
Или по́ морю неслись
На моторной лодке.

Видно, двор у нас такой —
Вам во всем послушный:
То он вам — простор морской,
То простор воздушный...

На дворе у нас живут
Многие герои.
Но ребята признают
Правило такое:

Ты гордись своим отцом,
Знатным гражданином,
Но и сам будь молодцом,
А не только сыном.

Есть Чапаев на дворе.
Но своим Чапаем
Мы пока еще в игре
Не его считаем.

А Егоров Николай —
Из всего отряда
Самый истинный Чапай,
Лучшего не надо.

Он — боец передовой,
Бьется он геройски.
А Чапаев — рядовой
У Чапая в войске.

Пусть он прежде подрастет,—
Так мы рассуждаем,—
И придет ему черед
Быть у нас Чапаем!

Дети нашего двора,
Крепнут ваши крылья,

И вчерашняя игра
Завтра станет былью.

Тот, кто водит самолет
Дома по паркету,
Завтра в небо поведет
Самолет-ракету.

Кто построил на дворе
Мост через канаву,—
Мост на Волге, на Днепре
Выстроит на славу.

Дети нашего двора,
Крепнут ваши крылья.
Ваша детская игра
Завтра станет былью.

Вы готовитесь в игре
Строить Днепрострои.
Вы растете на дворе,
Где живут герои.

В нашем доме с давних пор
Чкалов жил Валерий.
Выходил он к нам во двор
Вот из этой двери.

Поглядев на небосвод,
Подзывал он сына
И шагал с ним до ворот,
Где ждала машина.

Долго будет эта дверь
Гордостью квартала.
Наша улица теперь
Чкаловскою стала.

Дети нашего двора,
Моряки, пилоты,
И для вас придет пора
Боевой работы.

И, взлетая на простор
Или во́лны роя,
Вы припомните тот двор,
Где живут герои!

УРОК РОДНОГО ЯЗЫКА

В классе уютном, просторном
Утром стоит тишина.
Заняты школьники делом —
Пишут по белому черным,
Пишут по черному белым,
Перьями пишут и мелом:
«Нам не нужна
Война!»

Стройка идет в Ленинграде,
Строится наша Москва.
А на доске и в тетради
Школьники строят слова.
Четкая в утреннем свете,
Каждая буква видна.
Пишут советские дети:
«Мир всем народам на свете.
Нам не нужна
Война!»

Мир всем народам на свете.
Всем есть простор на планете,—
Свет и богат и велик.
Наши советские дети
Так изучают язык.

ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ

ДРУЗЬЯ-ТОВАРИЩИ

День стоял веселый
Раннею весной.
Шли мы после школы —
Я да ты со мной.

Куртки нараспашку,
Шапки набекрень,—
Шли куда попало
В первый теплый день.

Шли куда попало —
Просто наугад,
Прямо и направо,
А потом назад.

А потом обратно,
А потом кругом,
А потом вприпрыжку,
А потом бегом.

Весело бродили
Я да ты со мной,
Весело вернулись
К вечеру домой.

Весело расстались —
Что нам унывать?
Весело друг с другом
Встретимся опять!

КОТ И ЛОДЫРИ

Собирались лодыри
На урок,
А попали лодыри
На каток.

Толстый ранец с книжками
На спине,
А коньки под мышками
На ремне.

Видят, видят лодыри:
Из ворот
Хмурый и ободранный
Кот идет.

Спрашивают лодыри
У него:
— Ты чего нахмурился,
Отчего?

Замяукал жалобно
Серый кот:
— Мне, коту усатому,
Скоро год.

И красив я, лодыри,
И умен,
А письму и грамоте
Не учен.

Школа не построена
Для котят.
Научить нас грамоте
Не хотят.

А теперь без грамоты
Пропадешь,
Далеко без грамоты
Не уйдешь.

Не попить без грамоты,
Не поесть,
На воротах номера
Не прочесть!

Отвечают лодыри:
— Милый кот,
Нам пойдет двенадцатый
Скоро год.

Учат нас и грамоте
И письму,
А не могут выучить
Ничему.

Нам учиться, лодырям,
Что-то лень.
На коньках катаемся
Целый день.

Мы не пишем грифелем
На доске,
А коньками пишем мы
На катке!

Отвечает лодырям
Серый кот:
— Мне, коту усатому,
Скоро год.

Много знал я лодырей
Вроде вас,
А с такими встретился
В первый раз!

ПУДЕЛЬ

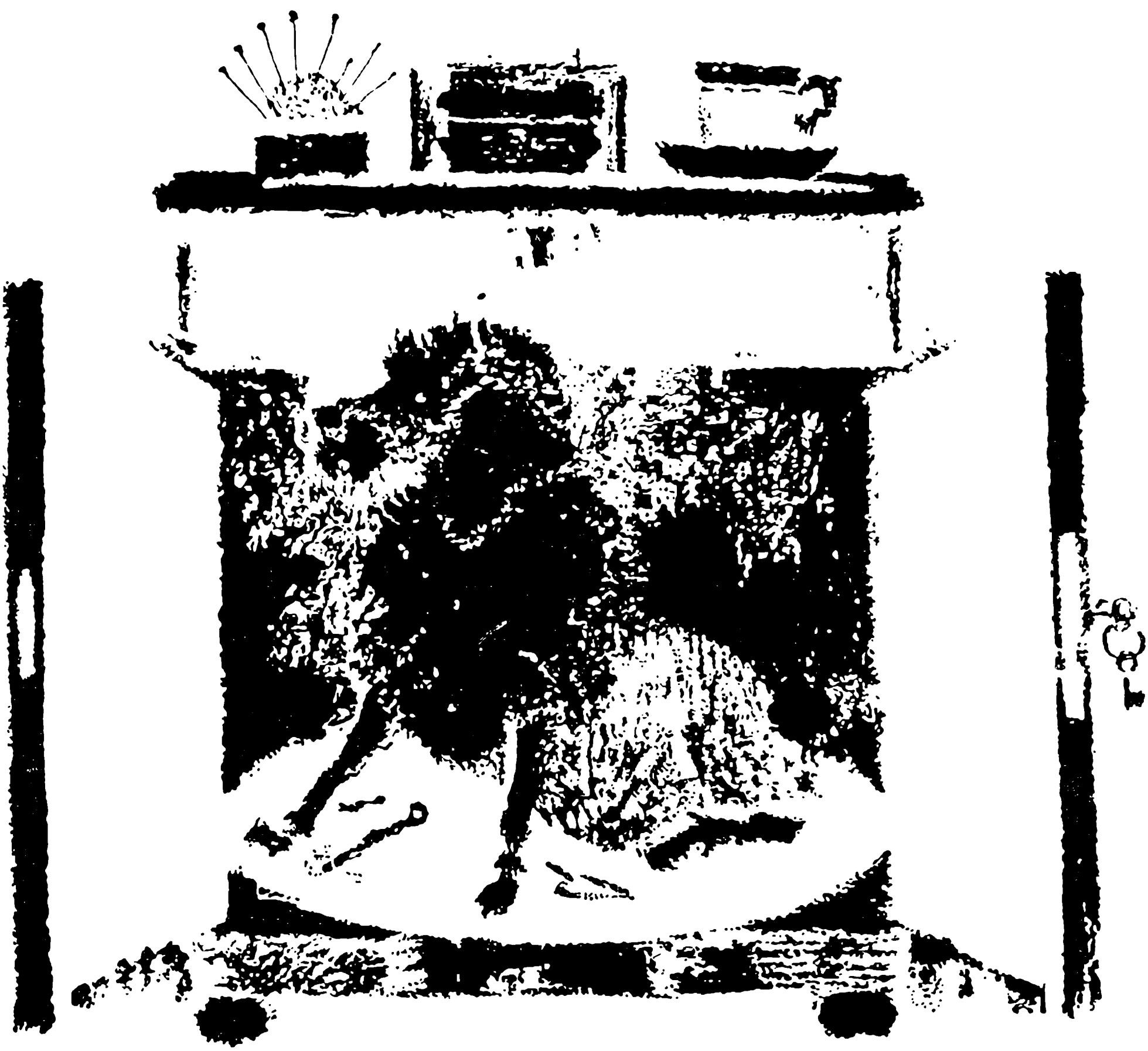
На свете старушка
Спокойно жила,
Сухарики ела
И кофе пила.

И был у старушки
Породистый пес,
Косматые уши
И стриженый нос.

Старушка сказала:
— Открою буфет
И косточку
Пуделю
Дам на обед.

Подходит к буфету,
На полку глядит,
А пудель
На блюде
В буфете сидит.

Однажды
Старушка
Отправилась в лес.
Приходит обратно,
А пудель исчез.



Искала старушка
Четырнадцать дней,
А пудель
По комнате
Бегал за ней.

Старушка на грядке
Полола горох.
Приходит с работы,
А пудель издох.

Старушка бежит
И зовет докторов.
Приходит обратно,
А пудель здоров.

По скользкой тропинке
В метель и мороз
Спускаются с горки
Старушка и пес.

Старушка в калошах,
А пес — босиком.
Старушка вприпрыжку,
А пес — кувырком!

По улице
Курица
Водит цыплят.
Цыплята тихонько
Пищат и свистят.

Помчался вдогонку
За курицей пес,
А курица пуделя
Клюнула в нос.

Старушка и пудель
Смотрели
В окно,
Но скоро на улице
Стало темно.

Старушка спросила:
— Что делать, мой пес? —
А пудель подумал
И спички принес.

Смотала старушка
Клубок для чулок,
А пудель тихонько
Клубок уволок.

Весь день по квартире
Катал да катал,
Старушку опутал,
Кота обмотал.

Старушке в подарок
Прислали кофейник,
А пуделю — плетку
И медный ошейник.

Довольна старушка,
А пудель не рад
И просит подарки
Отправить назад.

ПОРОСЯТА

Весной поросята ходили гулять.
Счастливей не знал я семьи.
«Хрю-хрю»,— говорила довольная мать,
А детки визжали: «И-и!»

Но самый визгливый из всех поросят
Сказал им: «О, братья мои!
Все взрослые свиньи «хрю-хрю» говорят,
Довольно визжать вам «и-и»!

Послушайте, братья, как я говорю.
Чем хуже я взрослой свиньи?»
Бедняжка! Он думал, что скажет «хрю-хрю»,
Но жалобно взвизгнул: «И-и!»

С тех пор перестали малютки играть,
Не рылись в грязи и в пыли.
И все оттого, что не смели визжать,
А хрюкать они не могли!

Мой мальчик! Тебе эту песню дарю.
Рассчитывай силы свои.
И, если сказать не умеешь «хрю-хрю»,—
Визжи, не стесняясь: «И-и!»

ПРО ОДНОГО УЧЕНИКА И ШЕСТЬ ЕДИНИЦ

Пришел из школы ученик
И запер в ящик свой дневник.

— Где твой дневник? — спросила мать.
Пришлось дневник ей показать.

Не удержалась мать от вздоха,
Увидев надпись: «Очень плохо».

Узнав, что сын такой лентяй,
Отец воскликнул: — Шалопай!

Чем заслужил ты единицу?
— Я получил ее за птицу.

В естествознании я слаб:
Назвал я птицей баобаб.

— За это,— мать сказала строго,—
И единицы слишком много!

— У нас отметки меньше нет! —
Промолвил мальчик ей в ответ.

— За что вторая единица? —
Спросила старшая сестрица.

— Вторую, если не совру,
Я получил за кенгуру.

Я написал в своей тетрадке,
Что кенгуру растут на грядке.

Отец воскликнул: — Крокодил,
За что ты третью получил?!

— Я думал, что гипотенуза —
Река Советского Союза.

— Ну, а четвертая за что? —
Ответил юноша: — За то,

Что мы с Егоровым Пахомом
Назвали зебру насекомым.

— А пятая? — спросила мать,
Раскрыв измятую тетрадь.

— Задачу задали у нас.
Ее решал я целый час,

И вышло у меня в ответе:
Два землекопа и две трети.

— Ну, а шестая, наконец? —
Спросил рассерженный отец.

— Учитель задал мне вопрос:
Где расположен Канин Нос?

А я не знал, который Канин,
И указал на свой и Ванин...

— Ты очень скверный ученик,—
Вздохнув, сказала мать.—
Возьми ужасный свой дневник
И отправляйся спать!

Ленивый сын поплелся прочь,
Улегся на покой.
И захрапел. И в ту же ночь
Увидел сон такой.

Жужжали зебры на кустах
В июльскую жару.
Цвели, качаясь на хвостах,
Живые кенгуру.

В сыром тропическом лесу
Ловил ужей и жаб
На длинном Ванином Носу
Крылатый баобаб.

А где-то меж звериных троп,
Среди густой травы,
Лежал несчастный землекоп
Без ног, без головы.

На это зрелище смотреть
Никто не мог без слез...

— Кто от него отрезал треть? —
Послышался вопрос.

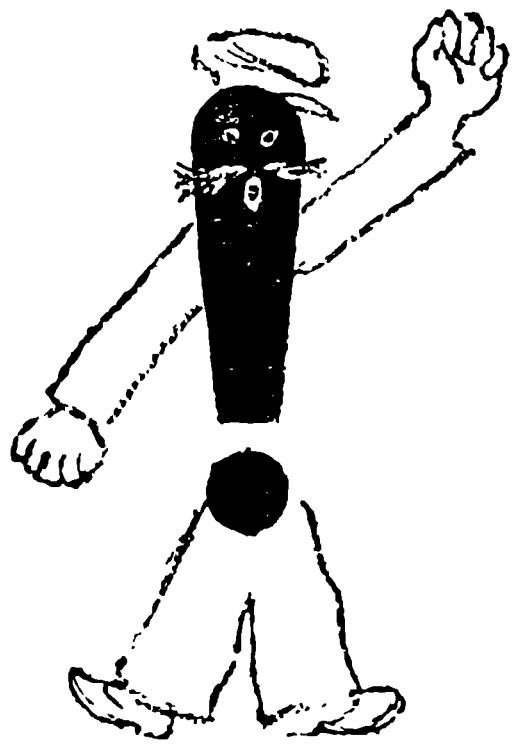
— От нас разбойник не уйдет.
Найдем его следы! —
Угрюмо хрюкнул бегемот
И вылез из воды.

— Я в порошок его сотру! —
Воскликнул кенгуру.
— Он не уйдет из наших лап! —
Добавил баобаб.

Вскочил с постели ученик
В шестом часу утра.
Пред ним лежал его дневник
На стуле, как вчера...

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ

У последней
Точки
На последней
Строчке
Собралась компания
Знаков препинания.



Прибежал
Чудак —
Восклицательный знак.
Никогда он не молчит,
Оглушительно кричит:

— Ура!
Долой!
Караул!
Разбой!

Притащился кривоносый
Вопросительный знак.
Задает он всем вопросы:

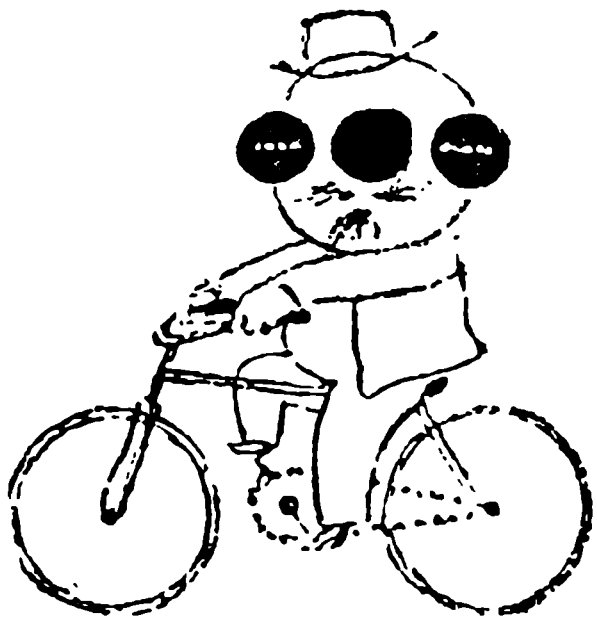
— Кто?
Кого?
Откуда?
Как?

Явились запятые,
Девицы завитые.
Живут они в диктовке
На каждой остановке.

Прискакало двоеточие,
Прикатило многоточие
И прочие,
И прочие,
И прочие...

Заявили запятые:
— Мы особы занятые.
Не обходится без нас
Ни диктовка, ни рассказ.

— Если нет над вами точки,
Запятая — знак пустой! —



Отозвалась с той же строчки
Тетя точка с запятой;

Двоеточие, мигая,
Закричало: — Нет, постой!
Я важней, чем запятая
Или точка с запятой,

Потому что я в два раза
Больше точки одноглазой.
В оба глаза я гляжу,
За порядком я слежу.

— Нет...— сказало многоточие,
Еле глазками ворочая,—
Если вам угодно знать,
Я важней, чем прочие.
Там, где нечего сказать,
Ставят многоточие...

Вопросительный знак
Удивился: — То есть как? —
Восклицательный знак
Возмутился: — То есть как!

— Так,— сказала точка,
Точка-одиночка.—
Мной кончается рассказ.
Значит, я важнее вас.

МАСТЕР-ЛОМАСТЕР

Я учиться не хочу.
Сам любого научу.
Я — известный мастер
По столярной части!

У меня охоты нет
До поделки
Мелкой.
Вот я сделаю буфет,—
Это не безделка.

Смастерю я вам буфет —
Простоит он сотню лет.

Вытешу из елки
Новенькие полки.

Наверху у вас — сервиз,
Чайная посуда.
А под ней — просторный низ
Для большого блюда.

Полки средних этажей
Будут для бутылок.
Будет ящик для ножей,
Пилок, ложек, вилок.

У меня, как в мастерской,
Все, что нужно, под рукой:
Плоскогубцы и пила,
И топор, и два сверла,
Молоток,
Рубанок,
Долото,
Фуганок.

Есть и доски у меня.
И даю вам слово,
Что до завтрашнего дня
Будет все готово!

Завизжала
Пила,
Зажужжала,
Как пчела.

Пропилила полдоски,
Вздрогнула и стала,
Будто в крепкие тиски
На ходу попала.

Я гоню ее вперед,
А злодейка не идет.
Я тяну ее назад —
Зубья в дереве трещат...

Не дается мне буфет.
Сколочу я табурет,
Не хромой, не шаткий,
Чистенький и гладкий.

Вот и стал я столяром,
Заработал топором.
Я по этой части
Знаменитый мастер!

Раз, два —
По полену.
Три, четыре —
По колену.

По полену,
По колену,
А потом
Врубился в стену.

Топорище — пополам,
А на лбу остался шрам.

Обойдусь без табурета.
Лучше — рама для портрета.

Есть у дедушки портрет
Бабушкиной мамы.
Только в доме нашем нет
Подходящей рамы.

Взял я несколько гвоздей
И четыре планки.
Да на кухне старый клей
Оказался в банке.

Будет рама у меня
С яркой позолотой.
Заглядится вся родня
На мою работу.

Только клей столярный плох:
От жары он пересох.
Обойдусь без клея.
Планку к планке я прибью,
Чтобы рамочку мою
Сделать попрочнее.

Как ударил молотком,—
Гвоздь свернулся червяком.

Забивать я стал другой,
Да согнулся он дугой.

Третий гвоздь заколотил —
Шляпку набок своротил.

Плохи гвозди у меня —
Не вобьешь их прямо.
Так до нынешнего дня
Не готова рама...

Унывать я не люблю!
Из своих дощечек
Я лучинок наколю
На́ зиму для печек.

Щепочки колючие,
Тонкие, горючие
Затрещат, как на пожаре,
В нашем старом самоваре.

То-то весело горят!
А ребята говорят:
— Иди,
Столяр,
Разводи
Самовар.
Ты у нас не мастер,
Ты у нас ломастер!

ГДЕ ТУТ ПЕТЯ, ГДЕ СЕРЕЖА?

Друг на друга так похожи
Комаровы-братья.
Где тут Петя, где Сережа,—
Не могу сказать я.

Только бабушка и мать
Их умеют различать.

Не могу я вам сказать,
Кто из них моложе.

Пете скоро будет пять
И Сереже
Тоже.

Петя бросил снежный ком
И попал в окошко.
Говорят: в стекло снежком
Угодил Сережка.

Это кто разбил мячом
Чашку на буфете?
Петя был тут ни при чем,
А попало Пете.

Доктор смешивает их,—
Так они похожи!
Пьет касторку за двоих
Иногда Сережа.

В праздник папа всю семью
Угощал мороженым.
Петя долю съел свою,
А потом — Сережину.

Поступили в детский сад
Петя и Сережа.
Пете новенький халат
Выдали в прихожей.

А Сереже говорят:
— Жадничаешь больно!
Получил один халат,
И с тебя довольно!

Няня Петю без конца
Мягкой губкой мыла,
Чтобы смыть с его лица
Синие чернила.

Смыла губкой полосу́
На щеке и на носу.
Только кончила купать —
Весь в чернилах он опять!

Няня мальчика журит:
— Петя! Это что же?!
А Сережа говорит:
— Няня, я Сережа!

К парикмахеру идут
Петя и Сережа.
Петю за́ руку ведут
И Сережу тоже.
Парикмахер через миг
Петю на́голо остриг.

Голова его теперь
На арбуз похожа.
Только вышел он за дверь,
В дверь вошел Сережа...

Парикмахер говорит:
— Ты ж недавно был обрит!

Я еще твоих волос
Не стряхнул с халата,
А уж ты опять оброс.
Вон какой лохматый!

Видно, волосы растут
У тебя за пять минут!

Парикмахерских для вас
Хватит ли на свете,
Если в час по десять раз
Стричься будут дети?

Вот однажды к ним во двор
Перелез через забор
Озорной мальчишка —
Перепелкин Гришка.

Гришка — парень лет восьми,
Этакий верзила! —
А пред младшими детьми
Хвастается силой.

Говорит он: — Эй, малькú!
Побежим вперегонкú!

Объявляю летний кросс —
От крыльца к сараю.
Три щелчка мне дайте в нос,
Если проиграю!

Или я, ребята, вам
Три щелчка на память дам!

Любит Гришка обижать
Тех, кто помоложе.
Но согласен с ним бежать
Комаров Сережа.

А уж Петя Комаров
У ворот сарая
Притаился между дров,
Гришку поджидая.

Раз-два-три-четыре-пять!
Гришка бросился бежать.

Добежал он, чуть дыша,
Обливаясь по́том,
И увидел малыша,
Подбежав к воротам.

Был он очень удивлен,
Даже скорчил рожу,
Оттого что принял он
Петю за Сережу.

— Слишком тихо ты бежишь! —
Говорит ему малыш.—
Сядь-ка, длинноногий,
Отдохни с дороги!

— Не хочу я отдыхать,
Побежим с тобой опять!
В десять раз быстрее
Бегать я умею!

— Ладно! — Петя говорит.—
Добежим до дома.
Кто кого опередит,
Даст щелчка другому!

Раз-два-три-четыре-пять!
Гришка кинулся бежать.

Все быстрей и все быстрей
Мчится он вприпрыжку...
А Сережа у дверей
Поджидает Гришку.

— Ну-ка, Гришка, где твой нос?
Проиграл ты этот кросс!

Говорят, что с этих пор
Не ходил ни разу
К братьям маленьким во двор
Гришка долговязый.

ЕЖЕЛИ ВЫ ВЕЖЛИВЫ

Ежели вы
Вежливы
И к совести
Не глухи,
Вы место
Без протеста
Уступите
Старухе.

Ежели вы
Вежливы
В душе, а не для виду,
В троллейбус
Вы поможете
Взобраться
Инвалиду.

И ежели вы
Вежливы,
То, сидя на уроке,
Не будете
С товарищем
Трещать, как две сороки.

И ежели вы
Вежливы,
Поможете
Вы маме
И помощь ей предложите
Без просьбы —
То есть сами.

И ежели вы
Вежливы,
То в разговоре с тетей,
И с дедушкой,
И с бабушкой
Вы их не перебьете.

И ежели вы
Вежливы,
То вам, товарищ, надо
Всегда без опоздания
Ходить на сбор отряда.

Не тратить же
Товарищам,
Явившимся заранее,
Минуты на собрание,
Часы на ожидание!

И ежели вы вежливы,
То вы в библиотеке
Некрасова и Гоголя
Возьмете не навеки.

И ежели вы
Вежливы,
Вы книжечку вернете
В опрятном, не измазанном
И целом переплете.

И ежели вы
Вежливы,—
Тому, кто послабее,
Вы будете защитником,
Пред сильным не робея.

Знал одного ребенка я.
Гулял он с важной нянею.
Она давала тонкое
Ребенку
Воспитание.

Был вежлив
Этот мальчик
И, право, очень мил:
Отняв у младших
Мячик,

Он их благодарил,
«Спасибо!» — говорил.

Нет, ежели вы
Вежливы,
То вы благодарите,
Но мячика
У мальчика
Без спросу
Не берите!

КНИЖКА ПРО КНИЖКИ

1

У Скворцова
Гришки
Жили-были
Книжки —
Грязные,
Лохматые,
Рваные,
Горбатые,
Без конца
И без начала,
Переплеты —
Как мочала,
На листах —
Каракули.
Книжки
Горько
Плакали.

2

Дрался Гришка с Мишкой.
Замахнулся книжкой,
Дал разок по голове —
Вместо книжки стало две.

3

Горько жаловался Гоголь:
Был он в молодости щеголь,
А теперь, на склоне лет,
Он растрепан и раздет.

У бедняги Робинзона
Кожа содрана с картона,
У Крылова вырван лист,
А в грамматике измятой
На странице тридцать пятой
Нарисован трубочист.

В географии Петрова
Нарисована корова
И написано: «Сия
География моя.
Кто возьмет ее без спросу,
Тот останется без носу!»

4

— Как нам быть? — спросили книжки.—
Как избавиться от Гришки?

И сказали братья Гримм:
— Вот что, книжки, убежим!

Растрепанный задачник,
Ворчун и неудачник,
Прошамкал им в ответ:
— Девчонки и мальчишки
Везде калечат книжки.
Куда бежать от Гришки?
Нигде спасенья нет!

— Умолкни, старый минус,—
Сказали братья Гримм,—
И больше не серди нас
Брюзжанием своим!

Бежим в библиотеку,
В свободный наш приют,—
Там книжки человеку
В обиду не дают!

— Нет,— сказала «Хижина
Дяди Тома»,—
Гришкой я обижена,
Но останусь дома!

— Идем! — ответил ей Тимур.—
Ты терпелива чересчур!

— Вперед! — воскликнул Дон-Кихот.
И книжки двинулись в поход.

5

Беспризорные калеки
Входят в зал библиотеки.

Светят лампы над столом,
Блещут полки за стеклом.

В переплетах темной кожи,
Разместившись вдоль стены,
Словно зрители из ложи,
Книжки смотрят с вышины.

Вдруг
Задачник-
Неудачник
Побледнел
И стал шептать:

— Шестью восемь —
Сорок восемь,
Пятью девять —
Сорок пять!

География в тревоге
К двери кинулась дрожа.
В это время на пороге
Появились сторожа.

Принесли они метелки,
Стали залы убирать,
Подметать полы и полки,
Переплеты вытирать.

Чисто вымели повсюду.
И за вешалкой, в углу,
Книжек порванную груду
Увидали на полу —

Без конца и без начала,
Переплеты — как мочала,
На листах — каракули...
Сторожа заплакали:

— Разнесчастные вы книжки,
Истрепали вас мальчишки!
Отнесем мы вас к врачу,
К Митрофану Кузьмичу.

Он вас, бедных, пожалеет,
И подчистит, и подклеит,
И обрежет, и сошьет,
И оденет в переплет!

ПЕСНЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ КНИГ

К нам, беспризорные
Книжки-калеки,
В залы просторные
Библиотеки!

Книжки-бродяги,
Книжки-неряхи,
Здесь из бумаги
Сошьют вам рубахи.

Из коленкора
Куртки сошьют,
Вылечат скоро
И паспорт дадут.

К нам, беспризорные
Книжки-калеки,
В залы просторные
Библиотеки!

7

Вышли книжки из больницы,
Починили им страницы,
Переплеты, корешки,
Налепили ярлыки.

А потом в просторном зале
Каждой полку указали:

Стал задачник в сотый ряд,
Где задачники стоят.

А Тимур — с командой вместе —
Занял полку номер двести.

Словом, каждый старый том
Отыскал свой новый дом.

8

А у Гришки неудача:
Гришке задана задача.
Стал задачник он искать.
Заглянул он под кровать,

Под столы, под табуретки,
Под диваны и кушетки.
Ищет в печке, и в ведре,
И в собачьей конуре.

Гришке горько и обидно,
А задачника не видно.

Что тут делать? Как тут быть?
Где задачник раздобыть?

Остается — с моста в ре́ку
Иль бежать в библиотеку!

9

Говорят, в читальный зал
Мальчик маленький вбежал

И спросил у строгой тети:
— Вы тут книжки выдаете?

А в ответ со всех сторон
Закричали книжки: — Вон!

10

ОТ АВТОРА

Написал я эту книжку
Много лет тому назад,
А на днях я встретил Гришку
По дороге в Ленинград.

Он давно уже не Гришка,
А известный инженер.
У него растет сынишка,
Очень умный пионер.

Побывал у них я дома,
Видел полку над столом.
Пятьдесят четыре тома
Там стояли за стеклом.

В переплетах — в куртках новых,
Дружно выстроившись в ряд,
Блещут книги двух Скворцовых,
Точно вышли на парад.

А живется им не худо,—
Их владельцы берегут.
Никогда они отсюда
Никуда не убегут!

ИЗ ЛЕСНОЙ КНИГИ

ПРАЗДНИК ЛЕСА

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Мачты и реи —
Держать паруса,
Рубку и палубу,
Ребра и киль —
Странствовать
По морю
В бурю и штиль.

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Легкие крылья —
Лететь в небеса.
Стол, за которым
Ты будешь писать.
Ручку,
Линейку,
Пенал
И тетрадь.

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Чащу,
Где бродят
Барсук и лиса.

Чащу,
Где белка
Скрывает бельчат,
Чащу,
Где пестрые
Дятлы
Стучат.

Что мы сажаем,
Сажая
Леса?
Лист,
На который
Ложится роса,
Свежесть лесную,
И влагу,
И тень,—
Вот что сажаем
В сегодняшний день.

ОТКУДА СТОЛ ПРИШЕЛ?

Берете книгу и тетрадь,
Садитесь вы за стол.
А вы могли бы рассказать,
Откуда стол пришел?

Недаром пахнет он сосной.
Пришел он из глуши лесной.
Вот этот стол — сосновый стол —
К нам из́ лесу пришел.

Пришел он из глуши лесной —
Он сам когда-то был сосной.
Сочилась из его ствола
Прозрачная смола.

У нас под ним — паркетный пол,
А там была земля.
Он много лет в лесу провел,
Ветвями шевеля.

Он был в чешуйчатой коре,
А меж его корней
Барсук храпел в своей норе
До первых вешних дней.

Видал он белку, этот стол.
Она карабкалась на ствол,
Царапая кору.

Он на ветвях качал галчат
И слышал, как они кричат,
Проснувшись поутру.

Но вот горячая пила
Глубо́ко в ствол его вошла.
Вздохнул он — и упал...

И в лесопилке над рекой
Он стал бревном, он стал доской.
Потом в столярной мастерской
Четвероногим стал.

Он вышел из рабочих рук,
Устойчив и широк.
Где был на нем рогатый сук,
Виднеется глазок.

Домашним жителем он стал,
Стоит он у стены.
Теперь барсук бы не узнал
Родной своей сосны.

Медведь бы в логово залез,
Лису объял бы страх,
Когда бы стол явился в лес
На четырех ногах!..

Но в лес он больше не пойдет —
Он с нами будет жить.
День изо дня, из года в год
Он будет нам служить.

Стоит чернильница на нем,
Лежит на нем тетрадь.
За ним работать будем днем,
А вечером — читать.

На нем чертеж я разложу,
Когда пора придет,
Чтобы потом по чертежу
Построить самолет.

ПЕСНЯ О ЖЕЛУДЕ

С колпачком на голове,
Будто в путь готовый,
Он скрывается в листве
Дуба золотого.

Но, простившись со своей
Веткой-колыбелью,
Он уйдет на много дней
В сумрак подземелья.

Под землей он будет спать
В не́погодь и стужу,
А когда-нибудь опять
Выбьется наружу.

В этот гладкий коробок
Бронзового цвета
Спрятан маленький дубок
Будущего лета.

Коль его не разгрызет
Белка острым зубом,
Сотни лет он проживет
Коренастым дубом.

Коль свинья его не съест,
Рылом землю роя,
Он деревьям наших мест
Будет старшиною.

Пусть растет он до небес,
С каждым годом выше.
Пусть раскинет свой навес
Многоскатной крышей.

Темно-бурый, как медведь,
Дюжий — в три обхвата,—
Будет он листвой шуметь
Вырезной, зубчатой.

БУДУЩИЙ ЛЕС

В лесу я видел огород.
На грядках зеленели
Побеги всех родных пород:
Березы, сосны, ели.

И столько было здесь лесной
Кудрявой, свежей молоди!
Дубок в мизинец толщиной
Тянулся вверх из желудя.

Он будет крепок и ветвист,
Вот этот прут дрожащий.
Уже сейчас раскрыл он лист —
Дубовый, настоящий.

Вот клены выстроились в ряд
Вдоль грядки у дорожки,
И нежный лист их красноват,
Как детские ладошки.

Касаясь ветками земли,
В тени стояли елки.
На ветках щеточкой росли
Короткие иголки.

Я видел чудо из чудес:
На грядках огорода
Передо мной качался лес
Двухтысячного года.

Подмосковье,
Лесной питомник

ПОВЕСТИ В СТИХАХ

БЫЛЬ-НЕБЫЛИЦА

Разговор в парадном подъезде

Шли пионеры вчетвером
В одно из воскресений,
Как вдруг вдали ударил гром
И хлынул дождь весенний.

От градин, падавших с небес,
От молнии и грома
Ушли ребята под навес —
В подъезд чужого дома.

Они сидели у дверей
В прохладе и смотрели,
Как два потока все быстрей
Бежали по панели,

Как забурлила в желобах
Вода, сбегая с крыши,
Как потемнели на столбах
Вчерашние афиши...

Вошли в подъезд два маляра,
Встряхнувшись, точно утки,—
Как будто кто-то из ведра
Их окатил для шутки.

Вошел старик, очки протер,
Запасся папиросой
И начал долгий разговор
С короткого вопроса:

— Вы, верно, жители Москвы?
— Да, здешние — с Арбата.
— Ну, так не скажете ли вы,
Чей это дом, ребята?

— Чей это дом? Который дом?
— А тот, где надпись «Гастроном»
И на стене газета.

— Ничей,— ответил пионер.
Другой сказал: — СССР.—
А третий: — Моссовета.

Старик подумал, покурил
И не спеша заговорил:

— Была владелицей его
До вашего рожденья
Аделаида Хитрово́.—
Спросили мальчики: — Чего?

Что это значит — «Хитрово́»?
Какое учрежденье?

— Не учрежденье, а лицо! —
Сказал невозмутимо
Старик и выпустил кольцо
Махорочного дыма.—

Дочь камергера Хитрово
Была хозяйкой дома.
Его не знал я самого,
А дочка мне знакома.

К подъезду не пускали нас,
Но, озорные дети,
С домовладелицей не раз
Катались мы в карете.

Не на подушках рядом с ней,
А сзади — на запятках.
Гонял оттуда нас лакей
В цилиндре и в перчатках.

— Что значит, дедушка, «лакей»? —
Спросил один из малышей.

— А что такое «камергер»? —
Спросил постарше пионер.

— Лакей господским был слугой,
А камергер — вельможей,
Но тот, ребята, и другой —
Почти одно и то же.

У них различье только в том,
Что первый был в ливрее,
Второй — в мундире золотом,
При шпаге, с анненским крестом.
С Владимиром на шее.

— Зачем он, дедушка, носил
Владимира на шее?..—
Один из мальчиков спросил,
Смущаясь и краснея.

— Не понимаешь? Вот чудак!
«Владимир» был отличья знак.
«Андрей», «Владимир», «Анна» —
Так назывались ордена
В России в эти времена...—
Сказали дети: — Странно!

— А были, дедушка, у вас
Медали с орденами?
— Нет, я гусей в то время пас
В деревне под Ромна́ми.

Мой дед привез меня в Москву
И здесь пристроил к мастерству.
За это не медали,
А тумаки давали!..—

Тут грозный громовой удар
Сорвался с небосвода.
— Ну и гремит! — сказал маляр.
Другой сказал: — Природа!..

Казалось, вечер вдруг настал,
И стало холоднее,
И дождь сильнее захлестал,
Прохожих не жалея.

Старик подумал, покурил
И, помолчав, заговорил:

— Итак, опять же про него,
Про господина Хитрово.

Он был первейшим богачом
И дочери в наследство
Оставил свой московский дом,
Имения и средства.

— Да неужель жила она
До революции одна
В семиэтажном доме —
В авторемонтной мастерской,
И в парикмахерской мужской,
И даже в «Гастрономе»?

— Нет, наша барыня жила
Не здесь, а за границей.
Она полвека провела
В Париже или в Ницце,
А свой семиэтажный дом
Сдавать изволила внаем.

Этаж сенатор занимал,
Этаж — путейский генерал,
Два этажа — княгиня.

Еще повыше — мировой,
Полковник с матушкой-вдовой,
А у него над головой —
Фотограф в мезонине.

Для нас, людей, был черный ход.
А ход парадный — для господ.

Хоть нашу братию подчас
Людьми не признавали,
Но почему-то только нас
Людьми и называли.

Мой дед арендовал
Подвал.
Служил он у хозяев.
А в «Гастрономе» торговал
Тит Титыч Разуваев.

Он приезжал на рысаке
К семи часам, не позже,
И сам держал в одной руке
Натянутые вожжи.

Имел он знатный капитал
И дом на Маросейке.
Но сам за кассою считал
Потертые копейки.

— А чаем торговал Перлов,
Фамильным и цветочным! —
Сказал один из маляров.
Другой ответил: — Точно!

— Конфеты были Ландрина́,
А спички были Лапшина,
А банею торговой
Владели Сандуновы.

Купец Багров имел затон
И рыбные заводы.
Гонял до Астрахани он
По Волге пароходы.

Он не ходил, старик Багров,
На этих пароходах,
И не ловил он осетров
В привольных волжских водах.

Его плоты сплавлял народ,
Его баржи́ тянул народ,
А он подсчитывал доход
От всей своей флотилии
И самый крупный пароход
Назвал своей фамилией.

На белых ведрах вдоль бортов,
На каждой их семерке,
Была фамилия «Багров» —
По букве на ведерке.

— Тут что-то, дедушка, не так:
Нет буквы для седьмого!
— А вы забыли твердый знак! —
Сказал старик сурово.—

Два знака в вашем букваре.
Теперь не в моде твердый,
А был в ходу он при царе,
И у Багрова на ведре
Он красовался гордо.

Была когда-то буква «ять»...
Но это — только к слову.
Вернуться надо нам опять
К покойному Багрову.

Скончался он в холерный год,
Хоть крепкой был породы,
А дети продали завод,
Затон и пароходы...

— Да что вы, дедушка! Завод
Нельзя продать на рынке.
Завод — не кресло, не комод,
Не шляпа, не ботинки!

— Владелец волен был продать
Завод кому угодно,
И даже в карты проиграть
Он мог его свободно.

Все продавали господа:
Дома, леса, усадьбы,
Дороги, рельсы, поезда,—
Лишь выгодно продать бы!

Принадлежал иной завод
Какой-нибудь компании:
На Каме трудится народ,
А весь доход — в Германии.

«ЦИРК»

Не знали мы, рабочий люд,
Кому копили средства.
Мы знали с детства только труд
И не видали детства.

Нам в этот сад закрыт был вход.
Цвели в нем розы, лилии.
Он был усадьбою господ —
Не помню по фамилии...

Сад охраняли сторожа.
И редко — только летом —
В саду гуляла госпожа
С племянником-кадетом.

Румяный маленький кадет,
Как офицерик, был одет
И хвастал перед нами
Мундиром с галунами.

Мне нынче вспомнился барчук,
Хорошенький кадетик,
Когда суворовец — мой внук —
Прислал мне свой портретик.

Ну, мой скромнее не в пример,
Растет не по-кадетски.
Он тоже будет офицер,
Но офицер советский.

— А может, выйдет генерал,
Коль учится примерно,—
Один из маляров сказал.
Другой сказал: — Наверно!

— А сами, дедушка, в какой
Вы обучались школе?
— В какой?
В сапожной мастерской
Сучил я дратву день-деньской
И натирал мозоли.

Я проходил свой первый класс,
Когда гусей в деревне пас.

Второй в столице я кончал,
Когда кроил я стельки
И дочь хозяйскую качал
В скрипучей колыбельке.

Потом на фабрику пошел,
А кончил забастовкой,
И уж последнюю из школ
Прошел я под винтовкой.

Так я учился при царе,
Как большинство народа,
И сдал экзамен в Октябре
Семнадцатого года!

Нет среди вас ни одного,
Кто знал во время о́но
Дом камергера Хитрово
Или завод Гужона...

Да, изменился белый свет
За столько зим и столько лет!
Мы прожили недаром.
Хоть нелегко бывало нам,
Идем мы к новым временам
И не вернемся к старым!

Я не учен. Зато мой внук
Проходит полный курс наук.

Не забывает он меня
И вот что пишет деду:
«Пред лагерями на три дня
Гостить к тебе приеду.

С тобой ловить мы будем щук,
Вдвоем поедем в Химки...»
Вот он, суворовец — мой внук,—
С товарищем на снимке!

Прошибла старика слеза,
И словно каплей этой
Внезапно кончилась гроза.
И солнце хлынуло в глаза
Струей горячей света.

МИСТЕР ТВИСТЕР

Приехав в страну, старайтесь соблюдать ее законы и обычаи во избежание недоразумений...

(Из старого путеводителя)

1

Есть
За границей
Контора
Кука.
Если
Вас
Одолеет
Скука
И вы захотите
Увидеть мир —
Остров Таити,
Париж и Памир,—

Кук
Для вас
В одну минуту
На корабле
Приготовит каюту,
Или прикажет
Подать самолет,
Или верблюда
За вами
Пришлет,

Даст вам
Комнату
В лучшем отеле,
Теплую ванну
И завтрак в постели.

Горы и недра,
Север и юг,
Пальмы и кедры
Покажет вам Кук.

2

Мистер
Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер,
Делец и банкир,
Владелец заводов,
Газет, пароходов,
Решил на досуге
Объехать мир

— Отлично! —
Воскликнула
Дочь его Сюзи.—
Давай побываем
В Советском Союзе!

Я буду питаться
Зернистой икрой,
Живую ловить осетрину,
Кататься на тройке
Над Волгой-рекой
И бегать в колхоз
По малину!

— Мой друг, у тебя удивительный вкус!—
Сказал ей отец за обедом.—
Зачем тебе ехать в Советский Союз?
Поедем к датчанам и шведам.

Поедем в Неаполь, поедем в Багдад! —
Но дочка сказала: — Хочу в Ленинград! —
А то, чего требует дочка,
Должно быть исполнено. Точка.

3

В ту же минуту
Трещит аппарат:

— Четыре каюты
Нью-Йорк — Ленинград,
С ванной,
Гостиной,

Фонтаном
И садом.
Только смотрите,
Чтоб не было
Рядом
Негров,
Малайцев
И прочего
Сброда.
Твистер
Не любит
Цветного народа!

Кук
В телефон
Отвечает:
— Есть!
Будет исполнено,
Ваша честь.

Ровно
За десять
Минут
До отхода
Твистер
Явился
На борт парохода.

Рядом —
Старуха
В огромных очках,
Рядом —
Девица
С мартышкой в руках.

Следом
Четыре
Идут
Великана,
Двадцать четыре
Несут чемодана.

5

Плывет пароход
По зеленым волнам,
Плывет пароход
Из Америки к нам.

Плывет он к востоку
Дорогой прямой.
Гремит океан
За высокой
Кормой.

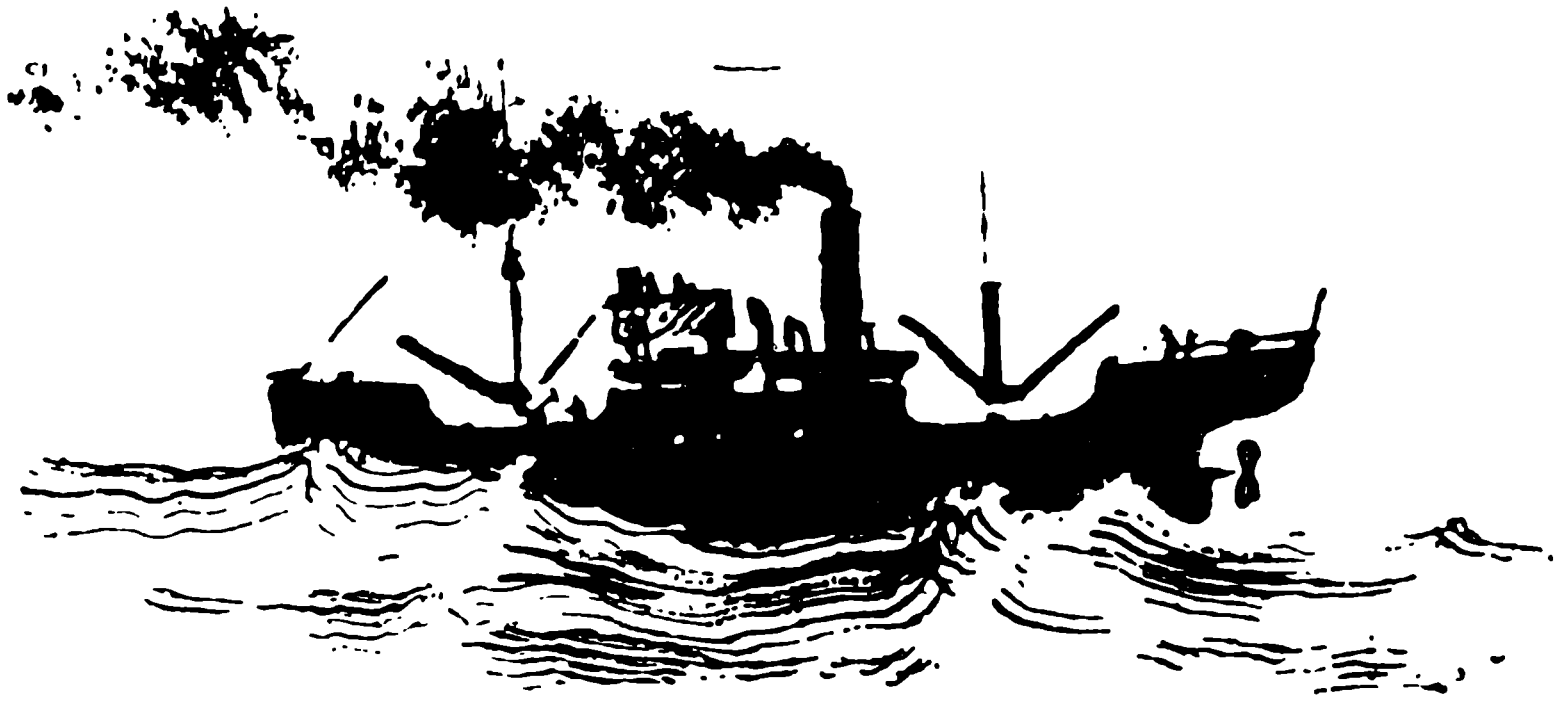
Мистер
Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер,
Банкир и богач,
Владелец заводов,
Газет, пароходов,
На океане
Играет в мяч.

Часть парохода
Затянута сеткой.
Бегает мистер
И машет ракеткой.

В полдень, устав от игры и жары,
Твистер, набегавшись вволю,
Гонит киём костяные шары
По биллиардному полю.

Пенятся волны, и мчится вперед
Многоэтажный дворец-пароход.

В белых каютах
Дворца-парохода
Вы не найдете
Цветного народа:
Негров,
Малайцев
И прочий народ
В море качает
Другой пароход.



Неграм,
Малайцам
Мокро и жарко.
Брызжет волна,
И чадит кочегарка.

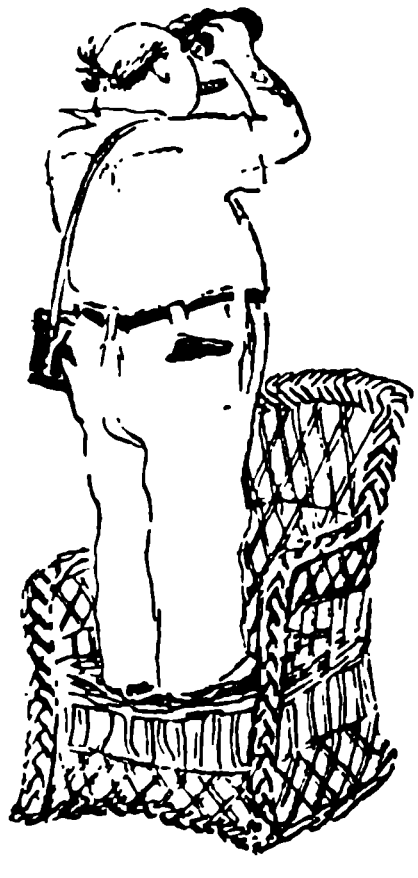
6

Мистер
Твистер,
Миллионер,
Едет туристом
В СССР.

Близится шум
Ленинградского
Порта.
Город встает
Из-за правого
Борта.

Серые воды,
Много колонн.
Дымом заводы
Темнят небосклон.

Держится мистер
Рукою за шляпу,
Быстро
На пристань
Сбегает
По трапу



Вот, оценив
Петропавловский
Шпиль,
Важно
Садится
В автомобиль.

Дамы усажены.
Сложены вещи.
Автомобиль
Огрызнулся зловеще
И покатил,
По асфальту
Шурша,
В лица прохожим
Бензином
Дыша.

7

Мистер
Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер,
Миллионер,
Владелец заводов,
Газет, пароходов,
Входит в гостиницу
«Англетер».

Держит во рту
Золотую сигару
И говорит
По-английски
Швейцару:

— Есть ли
В отеле
У вас номера?
Вам
Телеграмму
Послали
Вчера.

— Есть,—
Отвечает
Привратник усатый,—
Номер
Девятый
И номер
Десятый.
Первая лестница,
Третий этаж.
Следом за вами
Доставят багаж!

Вот за швейцаром
Проходят
Цепочкой
Твистер
С женой,
Обезьянкой
И дочкой.

В клетку зеркальную
Входят они.
Вспыхнули в клетке
Цветные огни,
И повезла она плавно и быстро
Кверху семью отставного министра.

8

Мимо зеркал
По узорам ковра
Медленным шагом
Идут в номера
Строгий швейцар
В сюртуке
С галунами,
Следом —
Приезжий
В широкой панаме.
Следом —
Старуха
В дорожных очках,
Следом —
Девица
С мартышкой в руках.

Вдруг иностранец
Воскликнул: — О боже!
— Боже! — сказали
Старуха и дочь.
Сверху по лестнице
Шел чернокожий,
Темный, как небо
В безлунную ночь.

Шел
Чернокожий
Громадного
Роста
Сверху
Из номера
Сто девяносто.

Черной
Рукою
Касаясь
Перил,
Шел он
Спокойно
И трубку
Курил.

А в зеркалах,
Друг на друга
Похожие,
Шли
Чернокожие,
Шли
Чернокожие...

Каждый
Рукою
Касался
Перил,
Каждый
Короткую
Трубку
Курил.

Твистер
Не мог
Удержаться от гнева.

Смотрит
Направо
И смотрит
Налево...

— Едем! —
Сказали
Старуха и дочь.—
Едем отсюда
Немедленно прочь!
Там, где сдают
Номера
Чернокожим,
Мы на мгновенье
Остаться
Не можем!

Вниз
По ступеням
Большими
Прыжками
Мчится
Приезжий
В широкой панаме.
Следом —
Старуха
В дорожных очках,
Следом —
Девица
С мартышкой в руках...

Сели в машину
Сердитые янки,
Хвост прищемили
Своей обезьянке.

Строгий швейцар
Отдает им поклон,
В будку идет
И басит в телефон:

— Двадцать-ноль-двадцать,
Добавочный триста.
С кем говорю я?..
С конторой «Туриста»?

Вам сообщу я
Приятную весть:
К вашим услугам
Два номера есть —
С ванной, гостиной,
Приемной, столовой.
Ждем приезжающих.
Будьте здоровы!

9

Вьется по улице
Легкая пыль.
Мчится по улице
Автомобиль.

Рядом с шофером
Сидит полулежа
Твистер
На мягких
Подушках из кожи.

Слушает шелест бегущих колес,
Туго одетых резиной,
Смотрит, как мчится
Серебряный пес —
Марка на пробке машины.

Сзади трясутся старуха и дочь.
Ветер им треплет вуали.
Солнце заходит, и близится ночь.
Дамы ужасно устали.

Улица Гоголя,
Третий подъезд.
— Нет,— отвечают,—
В гостинице мест.

Улица Пестеля,
Первый подъезд.
— Нет,— отвечают,—
В гостинице мест.

Площадь Восстания,
Пятый подъезд.

— Нет,— отвечают,—
В гостинице мест.
Прибыло
Много
Народу
На съезд.
Нет, к сожаленью,
В гостинице
Мест!

Правая
Задняя
Лопнула шина.
Скоро
Мотору
Не хватит бензина...

10

Мистер Твистер,
Бывший министр,
Мистер Твистер,
Миллионер,
Владелец заводов,
Газет, пароходов,
Вернулся в гостиницу
«Англетер».

Следом —
Старуха
В дорожных очках,
Следом —
Девица
С мартышкой в руках.

Только они
Позвонили
У двери,—
Вмиг осветился
Подъезд в «Англетере».
Пробило
Сверху
Двенадцать
Часов.
Строгий швейцар
Отодвинул засов.

— Поздно! —
Сказал им
Привратник
Усатый.—
Занят
Девятый,
И занят
Десятый.
Международный
Готовится
Съезд.
Нету свободных
В гостинице
Мест!

— Что же мне делать?
Я очень устала! —
Мистеру
Твистеру
Дочь прошептала.—
Если ночлега
Нигде
Не найдем,
Может быть,
Купишь
Какой-нибудь
Дом?

— Купишь! —
Отец
Отвечает,
Вздыхая.—
Ты не в Чикаго,
Моя дорогая.
Дом над Невою
Купить бы я рад...
Да не захочет
Продать Ленинград!

Спать нам придется
В каком-нибудь сквере! —
Твистер сказал
И направился к двери.

Дочку
И мать

Поразил бы удар,
Но их успокоил
Усатый швейцар.

Одну
Уложил он
В швейцарской на койку,
Другой
Предложил он
Буфетную стойку.

А Твистер
В прихожей
Уселся
На стул,
Воскликнул:
— О боже! —
И тоже
Уснул...

Усталый с дороги,
Уснул на пороге
Советской гостиницы
«Англетер»
Мистер
Твистер,
Бывший министр,
Мистер
Твистер,
Миллионер...

11

Спит —
И во сне
Содрогается он:
Снится ему
Удивительный сон.

Снится ему,
Что бродягой
Бездомным
Грустно
Он бродит
По улицам темным.

Вдруг
Самолета
Доносится стук —
С неба на землю
Спускается
Кук.

Твистер
Бросается
К мистеру
Куку,
Жмет на лету
Энергичную руку,
Быстро садится
К нему в самолет,
Хлопает дверью —
И к небу плывет.

Вот перед ними
Родная Америка —
Дом-особняк
У зеленого скверика.
Старый слуга
Отпирает
Подъезд.
— Нет,— говорит он,—
В Америке
Мест!

Плотно
Закрылись
Дубовые двери.
Твистер
Проснулся
Опять в «Англетере».

Проснулся в тревоге
На самом пороге
Советской гостиницы
«Англетер»
Мистер Твистер,
Бывший министр,
Мистер Твистер,
Миллионер...

Снял он пиджак
И повесил на стул.
Сел поудобней
И снова заснул.

12

Утром
Тихонько
Пришел
Паренек,
Ящик и щетки
С собой приволок.
Бодро и весело
За́нялся делом:
Обувь собрал,
Обойдя коридор,
Белые туфли
Выбелил мелом,
Черные —
Черною мазью натер.
Ярко, до блеска,
Начистил суконкой...

Вдруг на площадку,
Играя мячом,
Вышли из номера
Два негритенка —
Девочка Дженни
И брат ее Том.

Дети
На Твистера
Молча взглянули:
— Бедный старик!
Он ночует на стуле...

— Даже сапог
Он не снял
Перед сном! —
Тихо промолвил
Задумчивый Том.

Парень со щеткой
Ответил: — Ребята,

Это не бедный старик,
А богатый.

Он наотрез
Отказался вчера
С вами в соседстве
Занять номера.

Очень гордится
Он белою кожей —
Вот и ночует
На стуле в прихожей!

Так-то, ребята! —
Сказал паренек,
Вновь принимаясь
За чистку сапог —
Желтых и красных,
Широких и узких,
Шведских,
Турецких,
Немецких,
Французских...

Вычистил
Ровно
В назначенный срок
Несколько пар
Разноцветных сапог.

Только навел
На последние
Глянец —
Видит:
Со стула
Встает
Иностранец,
Смотрит вокруг,
Достает портсигар...

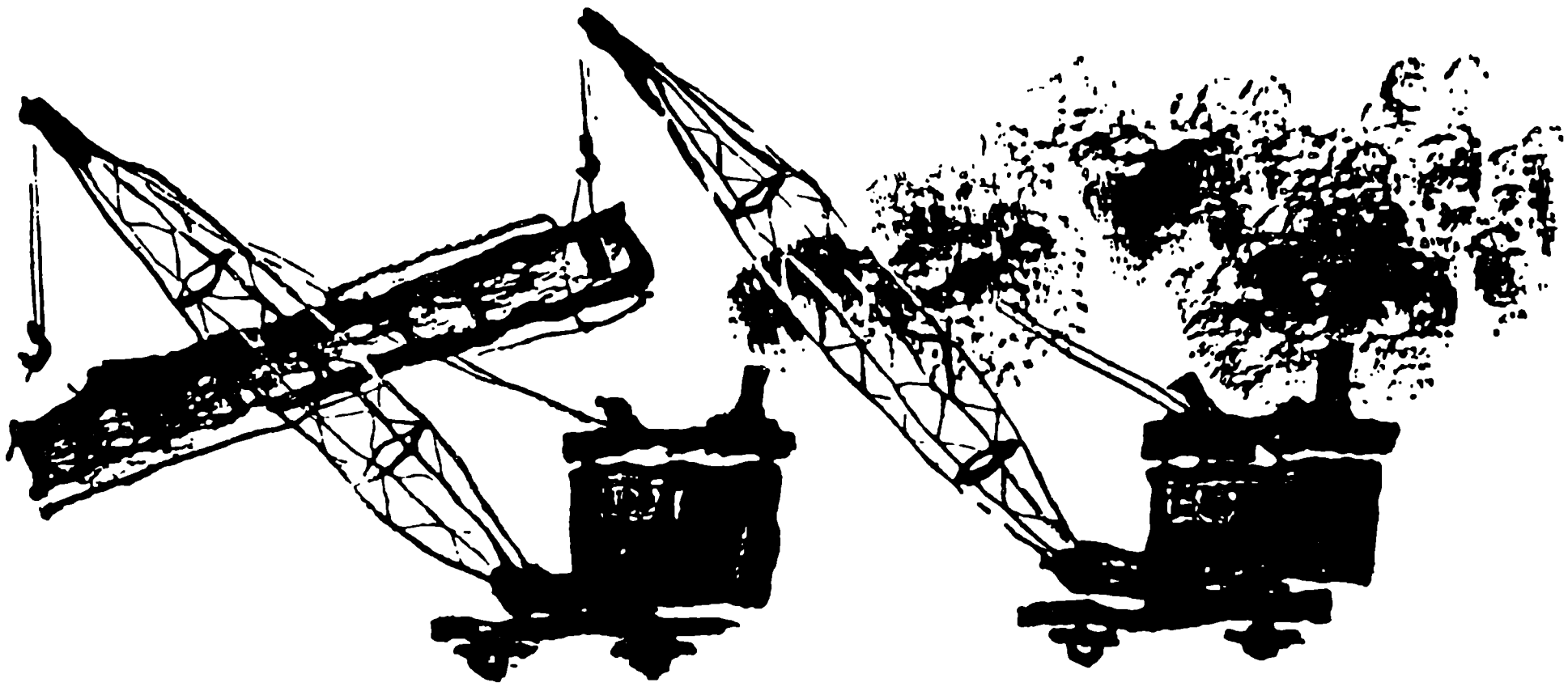
Вдруг
Из конторы
Выходит швейцар.

— Есть,—
Говорит он,—

Две комнаты рядом,
С ванной,
Гостиной,
Фонтаном
И садом.
Если хотите,
Я вас проведу,
Только при этом
Имейте в виду:
Комнату справа
Снимает китаец,
Комнату слева
Снимает малаец.
Номер над вами
Снимает монгол.
Номер под вами —
Мулат и креол!..

Миллионер
Повернулся
К швейцару,
Прочь отшвырнул
Дорогую сигару
И закричал
По-английски:
— О'кэй!
Дайте
От комнат
Ключи
Поскорей!

Взявши
Под мышку
Дочь
И мартышку,
Мчится
Вприпрыжку
По «Англетер»
Мистер Твистер,
Бывший министр,
Мистер Твистер,
Миллионер.



ВОЙНА С ДНЕПРОМ

Человек сказал Днепру:
— Я стеной тебя запру.
Ты
С вершины
Будешь
Прыгать,
Ты
Машины
Будешь
Двигать!

— Нет,— ответила вода,—
Ни за что и никогда!

———

И вот в реке поставлена
Железная стена.

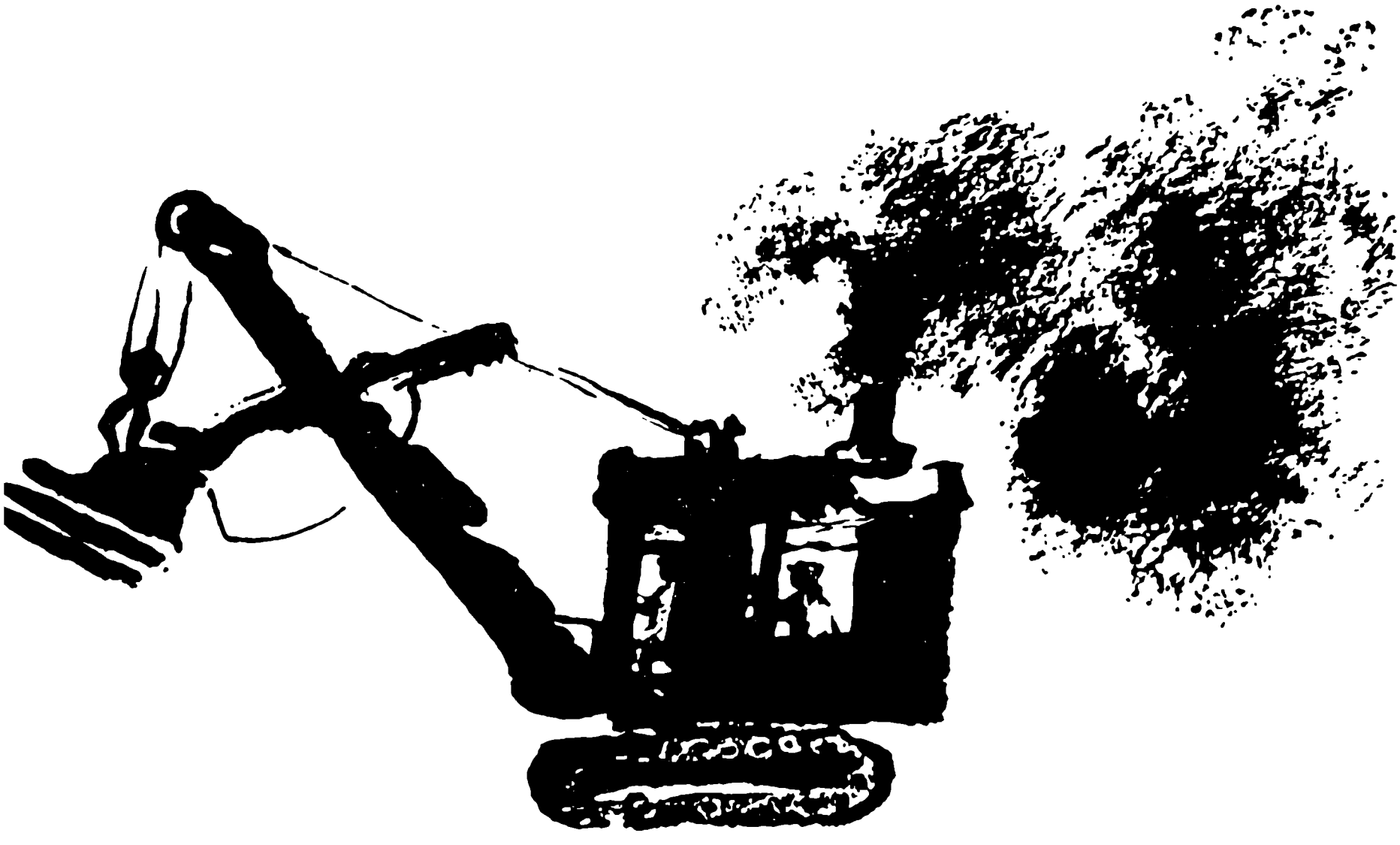
И вот реке объявлена
Война,
Война,
Война!

Выходит в бой
Подъемный кран,
Двадцатитонный
Великан,

Несет
В протянутой руке
Чугунный молот
На крюке.

Идет
Бурильщик,
Точно слон.
От ярости
Трясется он.
Железным хоботом
Звенит
И бьет без промаха
В гранит.

Вот экскаватор
Паровой.
Он роет землю
Головой,
И тучей
Носится за ним
Огонь,



И пар,
И пыль,
И дым.

Где вчера качались лодки,—
Заработали лебедки.

Где шумел речной тростник,—
Разъезжает паровик.

Где вчера плескались рыбы,—
Динамит взрывает глыбы.

На Днепре сигнал горит —
Левый берег говорит:

— Заготовили бетона
Триста тридцать три вагона,
Девятьсот кубов земли
На платформах увезли.
Просим вашего
Отчета:
Как у вас
Идет работа? —
За Днепром сигнал горит —
Правый берег говорит:

— Рапортует
Правый берег.
Каждый молот,
Каждый деррик,
Каждый кран
И каждый лом
Строят
Солнце
Над Днепром!

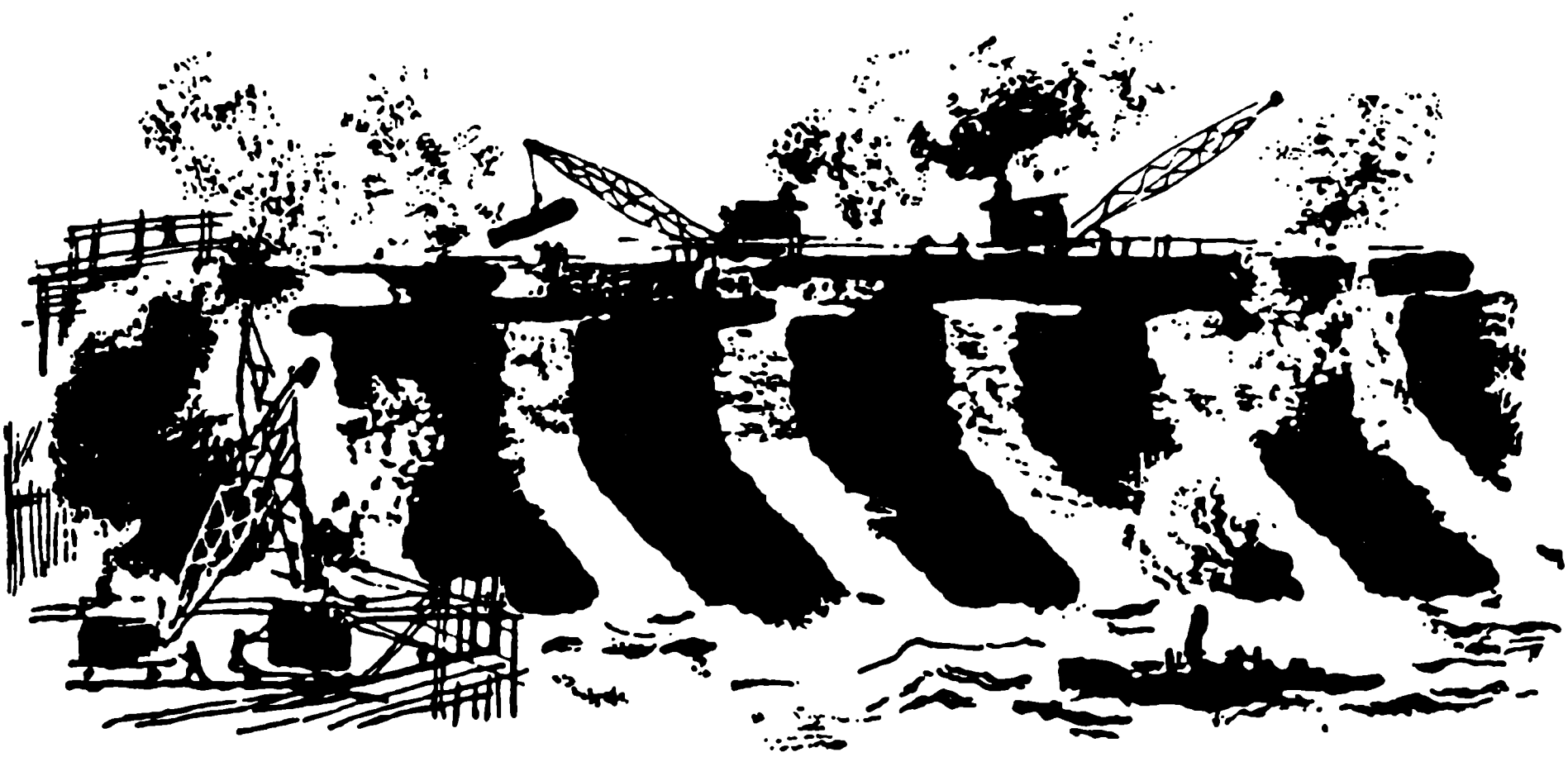
Дни
И ночи,
Дни
И ночи
Бой
С Днепром
Ведет
Рабочий.

И встают со дна реки
Крутобокие быки.

У быков бушует пена,—
Но вода им по колено...

Человек сказал Днепру:
— Я стеной тебя запру,
Чтобы,
Падая
С вершины,
Побежденная
Вода
Быстро
Двигала
Машины
И толкала
Поезда.

Чтобы
Столько
Полных
Бочек
Даром
Льющейся
Воды
Добывали
Для рабочих
Много хлеба
И руды.



Чтобы
Углем,
Сталью,
Рожью
Был богат
Наш край родной.

Чтобы солнце
Запорожья
Загорелось
Над страной!

Чтобы
Плуг
По чернозему
Электричество
Вело.
Чтобы
Улице
И дому
Было
Вечером
Светло!

РАССКАЗ О НЕИЗВЕСТНОМ ГЕРОЕ

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.

Многие парни
Плечисты и крепки,

Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков —
Каждый
К труду-обороне
Готов!

Кто же,
Откуда
И что он за птица —
Парень,
Которого
Ищет столица?
Что натворил он
И в чем виноват?

Вот что в народе
О нем говорят.

Ехал
Один
Гражданин
По Москве —
Белая кепка
На голове,—
Ехал весной
На площадке трамвая,
Что-то под грохот колес
Напевая...

Вдруг он увидел —
Напротив
В окне
Мечется кто-то
В дыму и огне.

Много столпилось
Людей на панели.
Люди в тревоге
Под крышу смотрели:
Там из окошка
Сквозь огненный дым
Руки
Ребенок
Протягивал к ним.

Даром минуты одной
Не теряя,
Бросился парень
С площадки трамвая —
Автомобилю
Наперерез —
И по трубе
Водосточной
Полез.

Третий этаж,
И четвертый,
И пятый...
Вот и последний,
Пожаром объятый.
Черного дыма
Висит пелена.
Рвется наружу
Огонь из окна.

Надо еще
Подтянуться немножко.
Парень,
Слабея,
Дополз до окошка,
Встал,
Задыхаясь в дыму,
На карниз,
Девочку взял
И спускается вниз.

Вот ухватился
Рукой
За колонну.
Вот по карнизу
Шагнул он к балкону...
Еле стоит
На карнизе нога,
А до балкона —
Четыре шага.

Видели люди,
Смотревшие снизу,
Как осторожно
Он шел по карнизу...
Вот он прошел

Половину
Пути.
Надо еще половину
Пройти.

Шаг. Остановка.
Другой. Остановка.
Вот до балкона
Добрался он ловко,
Через железный
Барьер перелез,
Двери открыл —
И в квартире исчез...

С дымом мешается
Облако пыли.
Мчатся пожарные
Автомобили,

Щелкают звонко,
Тревожно свистят,
Медные каски
Рядами блестят.

Миг — и рассыпались
Медные каски.
Лестницы выросли
Быстро, как в сказке.
Люди в брезенте —
Один за другим —
Лезут
По лестницам
В пламя и дым...

Пламя
Сменяется
Чадом угарным.
Гонит насос
Водяную струю.
Женщина,
Плача,
Подходит
К пожарным:
— Девочку,
Дочку
Спасите
Мою!

— Нет,—
Отвечают
Пожарные
Дружно,—
Девочка в здании
Не обнаружена.

Все этажи
Мы сейчас обошли,
Но никого
До сих пор
Не нашли!

Вдруг из ворот
Обгоревшего дома
Вышел
Один
Гражданин
Незнакомый.
Рыжий от ржавчины,
Весь в синяках,
Девочку
Крепко
Держал он в руках.

Дочка заплакала,
Мать обнимая.
Парень вскочил
На подножку трамвая,
Тенью мелькнул
За вагонным стеклом,
Кепкой махнул
И пропал за углом...

Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.

Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.

Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов!

БАЛЛАДА О ПАМЯТНИКЕ

1

Передают в горах такой рассказ:
Война пришла на Северный Кавказ,
И статую с простертою рукой
Увидел враг над пенистой рекой.

— Убрать! — сказал немецкий генерал
И бронзу переплавить приказал.

И вот на землю статуя легла.
А вечером, когда сгустилась мгла,

Немецких автоматчиков конвой
Ее увез в машине грузовой.

2

В ту ночь на склонах бушевал буран,
В ущельях гор скрывая партизан.

И там, где был дороги поворот,
Заговорил по-русски пулемет.

И эхо вторило ему в горах
На всех гортанных горских языках.

И выстрелами озарялась высь:
В теснинах гор за Ленина дрались.

И Ленин сам — с машины грузовой —
Смотрел на этот партизанский бой...

3

Проснулись утром люди в городке,
И вышли дети первыми к реке.

Они пошли взглянуть на пьедестал,
Где Ленин столько лет и зим стоял.

И видят: Ленин цел и невредим
И так же руку простирает к ним.

Как прежде, руку простирает к ним
И говорит: — Друзья, мы победим!

Он говорит — или шумит река,
Бегущая сюда издалека...

СКАЗКИ РАЗНЫХ НАРОДОВ

МЕЛЬНИК, МАЛЬЧИК И ОСЕЛ

Восточная сказка

Мельник
На ослике
Ехал
Верхом.
Мальчик
За мельником
Плелся
Пешком.

— Глянь-ка,—
Толкует
Досужий народ,—
Дедушка
Едет,
А мальчик
Идет!

Где это
Видано?
Где это
Слыхано? —
Дедушка
Едет,
А мальчик
Идет!

Дедушка
Быстро
Слезает
С седла,
Внука
Сажает
Верхом
На осла.

— Ишь ты! —
Вдогонку
Кричит
Пешеход.—
Маленький
Едет,
А старый
Идет!

Где это
Видано?
Где это
Слыхано? —
Маленький
Едет,
А старый
Идет!

Мельник
И мальчик
Садятся
Вдвоем —
Оба
На ослике
Едут
Верхом.

— Фу ты! —
Смеется
Другой
Пешеход.—
Деда
И внука
Скотина
Везет!

Где это
Видано?
Где это
Слыхано? —
Деда
И внука
Скотина
Везет!

Дедушка
С внуком
Плетутся
Пешком,
Ослик
На дедушке
Едет
Верхом.

— Тьфу ты! —
Хохочет
Народ у ворот.—
Старый
Осел
Молодого
Везет!

Где это
Видано?
Где это
Слыхано? —
Старый
Осел
Молодого
Везет!

«МАЛЬЧИК, МЕЛЬНИК И ОСЕЛ»

ОТЧЕГО КОШКУ НАЗВАЛИ КОШКОЙ?

Монгольская народная сказка

У старика и старухи
Был котеночек черноухий,
Черноухий
И белощекий,
Белобрюхий
И чернобокий.

Стали думать старик со старухой:
— Подрастает наш черноухий.
Мы вскормили его и вспоили,
Только дать ему имя забыли.

Назовем черноухого
«Тучей» —
Пусть он будет большой
И могучий.
Выше дерева,
Больше дома.
Пусть мурлычет он громче грома!

— Нет,— сказала, подумав, старуха,–
Туча легче гусиного пуха.
Гонит ветер огромные тучи,
Собирает их в серые кучи.

Свищет ветер
Протяжно и звонко.
Не назвать ли нам «Ветром»
Котенка?

— Нет, старуха,—
Старик отвечает,—
Ветер только деревья качает,
А стена остается в покое.
Не назвать ли котенка
«Стеною»?

Старику отвечает старуха:
— Ты лишился на старости слуха!
Вот прислушайся вместе со мною:
Слышишь, мышка шуршит за стеною?
Точит дерево мышка-воришка...
Не назвать ли нам кошку — «Мышка»?

— Нет, старуха,—
Старик отвечает,—
Кошка мышку со шкуркой съедает.
Значит, кошка
Сильнее немножко!
Не назвать ли нам кошку кошкой?..

СКАЗКА ПРО КОРОЛЯ И СОЛДАТА

Солдат заспорил с королем:
Кто старше, кто важней?
Король сказал: — Давай пойдем
И спросим у людей!

Вот вышли по́д вечер вдвоем
С парадного крыльца
Солдат под ручку с королем
Из летнего дворца.

Идет навстречу свинопас,
Пасет своих свиней.
— Скажи, приятель, кто из нас,
По-твоему, важней?

— Ну что ж,— ответил свинопас,—
Скажу я, кто важней из вас:
Из вас двоих важнее тот,
Кто без другого проживет!

Ты проживешь без королей? —
Солдат сказал: — Изволь!
— А ты без гвардии своей?
— Ну нет! — сказал король.

ПРО ДВУХ СОСЕДЕЙ

Кавказская народная сказка

Старик из нашего села
Пришел во двор к соседу.
— Сосед, не дашь ли мне осла?
На рынок я поеду.

— Осла сегодня дома нет.
С утра ушел куда-то! —
Соседу бедному в ответ
Сказал сосед богатый.

Пока беседа эта шла,—
Из ближнего сарая
Донесся громкий крик осла,
Дрожа и замирая.

— Ты мне солгал,— сказал старик.—
Осел твой нынче дома.
Я из сарая слышу крик,
Тебе и мне знакомый!

Но отвечал богач: — К чему
Мне лгать и лицемерить!
Ослу ты веришь моему,
А мне не хочешь верить?

Бедняк ушел от богача
И видит по дороге:
Стоит в овраге у ключа
Барашек тонконогий.

Томясь от жажды в жаркий день,
Отбился он от стада
И забежал туда, где тень,
И зелень, и прохлада.

Старик поймал его, связал,
Взвалил к себе на плечи
И по крутым уступам скал
Принес в свой хлев овечий.

Сосед-богач к нему пришел:
— Отдай-ка мне барашка.
Ты, говорят, его нашел
В кустах, на дне овражка.

— Здесь твоего барана нет,
Ищи его по следу! —
Сосед-бедняк сказал в ответ
Богатому соседу.

Богач хотел идти домой,
Но чуть за дверь он вышел,
Как вдруг за тонкою стеной
Бараний крик услышал...

— Я обнаружил твой обман,—
Сказал он, полон гнева,—
Я слышу, блеет мой баран
За изгородью хлева!

В ответ бедняк захлопнул дверь:
— Божиться я не стану.
Но ты соседу больше верь,
Чем глупому барану!

СТАРУХА, ДВЕРЬ ЗАКРОЙ!

Народная сказка

Под праздник, под воскресный день,
Пред тем как на́ ночь лечь,
Хозяйка жарить принялась,
Варить, тушить и печь.

Стояла осень на дворе,
И ветер дул сырой.
Старик старухе говорит:
— Старуха, дверь закрой!

— Мне только дверь и закрывать.
Другого дела нет.
По мне — пускай она стоит
Открытой сотню лет!

Так без конца между собой
Вели супруги спор,
Пока старик не предложил
Старухе уговор:

— Давай, старуха, помолчим.
А кто откроет рот
И первый вымолвит словцо,
Тот двери и запрет! —

Проходит час, за ним другой.
Хозяева молчат.
Давно в печи погас огонь.
В углу часы стучат.

Вот бьют часы двенадцать раз,
А дверь не заперта.
Два незнакомца входят в дом,
А в доме темнота.

— А ну-ка,— гости говорят,—
Кто в домике живет? —
Молчат старуха и старик,
Воды набрали в рот.

Ночные гости из печи
Берут по пирогу,
И потроха, и петуха,—
Хозяйка — ни гугу.

Нашли табак у старика.
— Хороший табачок! —
Из бочки выпили пивка.
Хозяева — молчок.

Все взяли гости, что могли,
И вышли за порог.
Идут двором и говорят:
— Сырой у них пирог!

А им вослед старуха: — Нет!
Пирог мой не сырой! —
Ей из угла старик в ответ:
— Старуха, дверь закрой!

СКАЗКА О ГЛУПОСТИ

Из Ивана Франко

Жила на воле птичка,
Да вдруг попала в сеть.
И говорит охотник:
— Должна ты умереть!

— Помилуй! — просит птичка.—
Я ростом с ноготок,
Всего комочек пуха
Да мяса на глоток.

Пусти меня на волю,
Доволен будешь сам.
Хороших три урока
Тебе за это дам.

Охотник удивился:
— Ты — пташка с ноготок.
Какой же человеку
Ты можешь дать урок?

Но ежели прибавишь
Ты мне ума чуть-чуть,
Пущу тебя на волю.
Лети в далекий путь!

— Начнем,— сказала птичка.—
Запомни мой совет:
Жалеть о том не надо,
Чего уж больше нет.

Сказал охотник: — Правда.
Разумен твой совет.
Жалеть о том не надо,
Чего уж больше нет.

— Затем,— щебечет птичка,—
Не сто́ит портить кровь,
Стараясь понапрасну
Вернуть былое вновь.

Сказал охотник: — Верно.
Не сто́ит портить кровь,
Стараясь понапрасну
Вернуть былое вновь.

Щебечет птичка: — Слушай
Последний мой совет:
Не верь досужим бредням.
Чудес на свете нет. —

Сказал охотник: — Дельно.
Запомню твой совет.
Не надо верить бредням.
Чудес на свете нет.

Спасибо за науку.
Счастливого пути.
Да в сети к птицелову
Опять не залети!

Вспорхнув на ветку, птичка
Промолвила: — Дурак!
Тебя я обманула,
А ты попал впросак.

Добыча дорогая
К тебе влетела в сеть.
Из-за меня, охотник,
Ты мог разбогатеть.

В моем брюшке таится
Награда для ловца:
Алмаз крупнее вдвое
Куриного яйца!

Охотник чуть не плачет.
Бормочет: — Как же так!
Несметное богатство
Я упустил, дурак!..

Сидит на ветке птичка
Не слишком высоко.
А до нее добраться
Совсем не так легко.

Охотник, не мигая,
С нее не сводит глаз.
Вот-вот она умчится,
А вместе с ней алмаз!

Зовет охотник: — Пташка!
Вернись ко мне скорей.
Отцом тебе я буду.
Ты — доченькой моей.

И ветку золотую
Тебе я закажу,
И в клетку золотую
Тебя я посажу!..

А птичка отвечает:
— Ты так же глуп, как был,
Все три моих урока
Сейчас же позабыл.

В награду за науку
Лететь ты мне велел,
А сам через минуту
Об этом пожалел.

Еще я не успела
Пуститься в дальний путь,
А ты уже задумал
Прошедшее вернуть.

И веришь небылице,
Что в птице есть алмаз
Крупнее этой птицы
Во много-много раз!

О ЧЕМ РАЗГОВАРИВАЛИ ЛОШАДИ, ХОМЯКИ И КУРЫ

Сказка о куриной слепоте

— Зачем вспахали этот луг
От края и до края? —
Сказала, поглядев вокруг,
Двухлетняя гнедая.—

Узор цветов был так хорош
До этой глупой вспашки.
А после вспашки не найдешь
Ни кашки, ни ромашки!

— Да,— отозвался вороной,—
Ковер наш изумрудный
Изрезал плугом, бороной
Хозяин безрассудный.

— Смешно, поистине смешно!
С ума сошел он, что ли? —
Сказали гуси.— Он зерно
Разбрасывает в поле!

Пробились первые ростки,
Становятся все выше...
— Живем! — сказали хомяки
И полевые мыши.

Но вот, когда поспела рожь,
Пшеница пожелтела,
Колосья жнейкой сняли сплошь,
И поле опустело.

— Как поживешь да поглядишь,
На свете мало толка! —
Друг другу жаловались мышь,
Хомяк и перепелка.

Пшеницу, рожь, овес, ячмень
Убрали люди с поля.
И было слышно в ясный день,
Как мельницы мололи...

— Зерно, отличное зерно
Отборнейшей культуры
Зачем-то в пыль превращено! —
Негодовали куры.

Читатель! Что ни делай ты,
Тебя осудит кто-то,
Взглянув на дело с высоты
Куриного полета.

НЕ ТАК

Сказка

Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

Начинает не сначала,
А кончает как попало.

С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,

Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,

Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,

И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,

Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.

Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

И не вовремя он рад,
И печален невпопад.

На пути встречает свадьбу —
Тут бы спеть и поплясать бы,

Он же слезы льет рекой
И поет заупокой.

Как схватили дурака,
Стали мять ему бока,

Били, били, колотили,
Чуть живого отпустили.

«Ишь ты,— думает дурак,—
Видно, я попал впросак.

Из сочувствия к невесте
Я поплакал с нею вместе.

Ладно, в следующий раз
Я пущусь на свадьбе в пляс!»

Вот бредет он по дороге,
А навстречу едут дроги.

Следом движется народ,
Словно очередь идет.

Поглядел дурак на пеших.
«Ну-ка,— думает,— утешь их,

Чтоб шагали веселей
За телегою своей!»

Сапожком дурак притопнул,
О ладонь ладонью хлопнул

Да как пустится плясать,
Ногу об ногу чесать!

Взяли люди дурака,
Стали мять ему бока,

Били, били, колотили,
Полумертвым отпустили.

«Вишь ты,— думает дурак,—
Я опять попал впросак.

Больше я плясать не стану
Да и плакать перестану.

Ладно, с завтрашнего дня
Не узна́ете меня!»

И ведь верно, с той минуты
Стал ходить дурак надутый.

То и дело он, дурак,
Говорит другим: — Не так!

Он не плачет и не пляшет,
А на все рукою машет.

Постороннему никак
Не узнать, что он дурак.

Дети буквы пишут в школе
Да и спросят: — Хорошо ли?

Поглядит в тетрадь дурак
Да и вымолвит: — Не так.—

Шьют портнихи на машинке,
Шьют сапожники ботинки.

Смотрит издали дурак
И бормочет: — Всё не так!

И не так селедок ловят,
И не так борщи готовят,

И не так мосты мостят,
И не так детей растят!

Видят люди, слышат люди,
Как дурак дела их судит,

И подумывают так:
«Что за умница дурак!»

ПЬЕСЫ

ПЕТРУШКА-ИНОСТРАНЕЦ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Петрушка.
Петрушкины
родители.
Инвалид.
Мороженщик.
Покупатель.
Милиционер.
Контролер.
Человек в
трусиках.
1-й Дворник.
2-й Дворник.

Родители

Здравствуйте, юные зрители!
Мы Петрушкины родители,
Старичок и старушка,
А это наш сын Петрушка.

Петрушка

Здравствуйте, юные зрители!
А подраться со мной не хотите ли?
Выходи человек сто —
Целым не уйдет никто,
Выходи человек двести —
Всех уложу на месте!

Родители

На часах девятый час.
Торопись, Петрушка, в класс.
Вот тебе книжки и тетрадки,
А вот тебе пирожок сладкий —
С маком и корицей,
С перцем и горчицей.

Петрушка

Я сегодня инвалид,
У меня живот болит.

Больно мне ворочаться —
В класс идти не хочется.

Родители

Если ты нездоров,
Позовем мы к тебе докторов.
Пропишут они тебе валерьянки,
Поставят банки,
Обложат ватой,
Накормят мятой,
Уложат в постель
На́ семь недель.

Петрушка

Не хочу я докторов —
Я совсем уже здоров.
Не желаю я лечиться,
Соглашаюсь я учиться!

Родители

До свиданья, милый Петя,
Ты один у нас на свете.
По дороге не зевай
Да не суйся под трамвай!

(Уходят.)

Петрушка

Ну, теперь я свободная птица —
Буду петь и веселиться.
Сумку школьную свою
Я надену на свинью.

Здоро́во, свинья,
Соседка моя!
Как твои делишки?
Вот тебе мои книжки.
Отнеси домой их,
Да не вываляй в помоях.
А я на часок пойду —
Погуляю в Летнем саду.

(Надевает на свинью ранец.)

Родители

Стой, Петрушка, не спеши!
Ты забыл карандаши,

Позабыл свои тетрадки,
Пирожок оставил сладкий!

Петрушка

Спасите меня, юные зрители!
Ищут меня родители!
Залезу на минутку
В табачную будку!

Инвалид

Эй, головорез,
Чего в мою будку залез?
Разве не видишь, кто в будке сидит?
Я — ленинградский инвалид,
Продаю сигареты «Прима».
Проходи, Петрушка, мимо!

Петрушка

Уступите мне, дяденька, место!
Я тоже из табачного треста.
Будем вместе торговать,
Папиросы продавать.

Инвалид

Больно тесен мой ларек —
Меньше метра поперек!

Петрушка

Ничего, авось вдвоем
Мы отлично заживем.
Торговать мы будем бойко.

Покупатель

Есть у вас, товарищ, «Тройка»?
Дайте «Тройки» двадцать штук,
Пачку спичек и мундштук.

Петрушка

Есть и «Тройка» и четверка,
Есть и спички и махорка.
Но какой же ты чудак!
Для чего курить табак?
Это вредно для здоровья.
Лучше масло ешь коровье!

Инвалид

Ах, негодный ты малыш!
Что за вздор ты говоришь!
Брось шутить со мною шутки!
Выметайся вон из будки!

(Борются. Будка падает и переворачивается.)

Появляются два Дворника со шлангами в руках.

1-й Дворник

Это что такое значит?
Сам ларек табачный скачет...

2-й Дворник

Дай-ка, братец, мы вдвоем
Из трубы его польем.

(Поливают будку.)

Петрушка

Ох, беда, беда, беда!
Очень мокрая вода...
Дождик, дождик, перестань,
Я поеду в Аристань!

Спасите меня, юные зрители!
Гонятся за мною родители,
Инвалиды с папиросами,
Дворники с насосами.

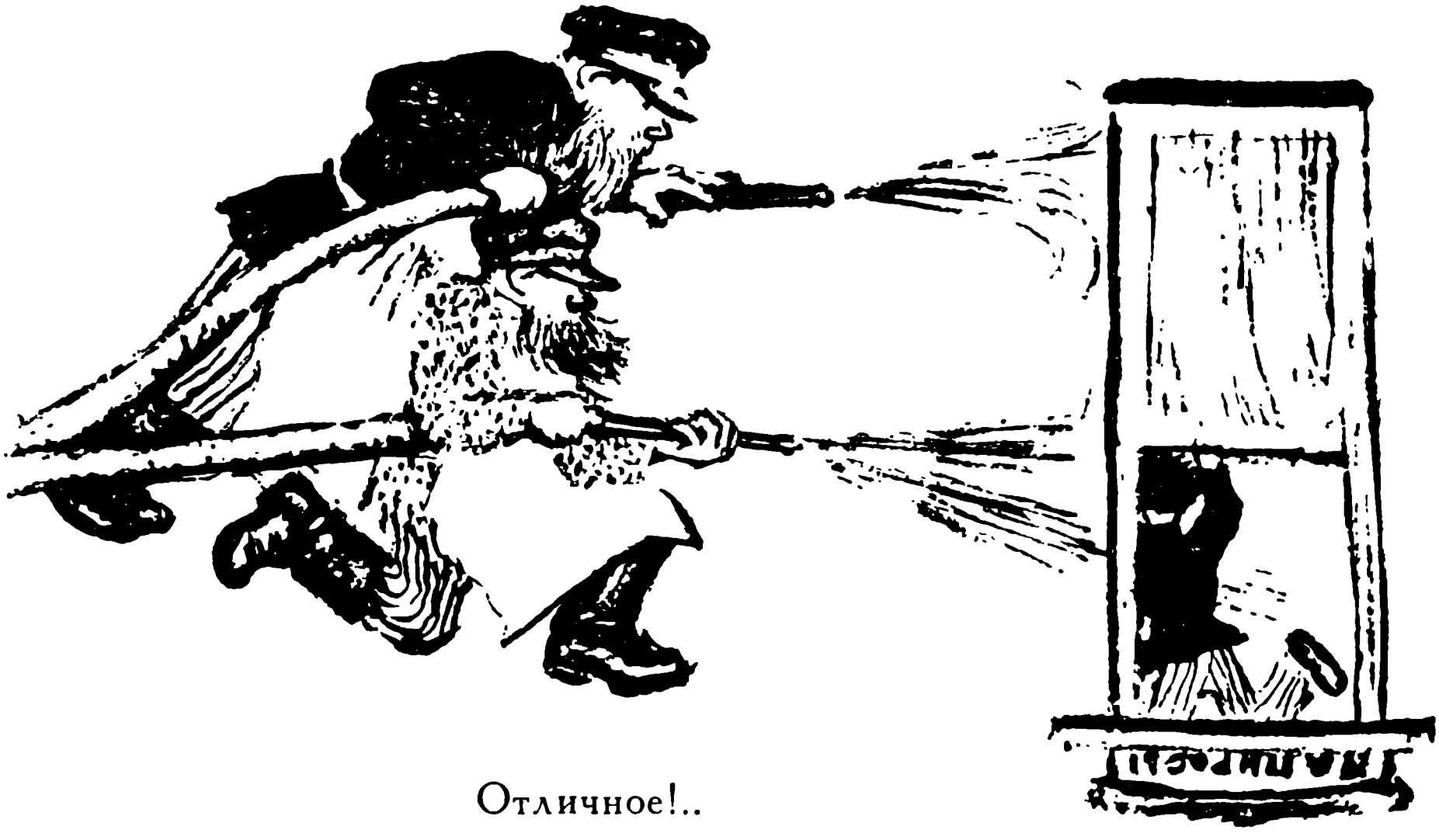
Пришел Петрушке каюк...
Залезу-ка я в этот сундук!

(Прячется в ящик с мороженым.)

Мороженщик

Экая нынче жара!
Торгую я с самого утра.
Продал мороженого на́ сто рублей,
А сундук стал еще тяжелей.
С места его не сдвину —
Не могу я понять причину...

(Кричит.)



Отличное!..

Петрушка

(из сундука)

Земляничное!

Мороженщик

Клубничное!

Петрушка

Горчичное!

Мороженщик

Апельсинное!

Петрушка

Керосинное!

Мороженщик и Петрушка

(вместе)

Мороженое!

Петрушка

Ну и мороз!
Отморозил я себе щеки и нос.
Стучат от холода зубы.
Жалко, что не захватил шубы.

Ох, и скучно сидеть на льду!
Лучше я в школу пойду!

Мороженщик

Это кто в сундуке ворчит?

Петрушка

Это у тебя в брюхе бурчит.
Пообедать тебе пора!

Мороженщик

Это верно, ничего я не ел с утра.
Продам еще на целковый
И пообедаю в соседней столовой.

Покупатель

Эй, мороженщик, скорей
Положи на пять рублей!

Мороженщик

Вам какого? Вот пломбир.
Знаменит на целый мир.
Есть еще фруктовый торт.
Есть миндальный — высший сорт!

(Открывает сундук.)
Оттуда выскакивает Петрушка.

Покупатель

Это мороженое какого сорта?
Зачем ты в сундуке держишь черта?

Мороженщик

Он и в самом деле черт!
Разогрел пломбир и торт!
Сколько сливок пропало даром...
Что мне делать с горячим товаром!

Петрушка

Прошу у вас, дяденька, прощенья!
Благодарю вас, дяденька, за помещенье!
И за угощенье!

Мороженщик

Лови, держи!
Хватай, вяжи!

(Гонится за Петрушкой.)

Петрушка

Ох, беда, беда, беда!
Не уйти мне никуда.
Гонятся за мной инвалиды с папиросами,
Дворники с насосами,
Сундуки с колесами.
Убежать бы домой — да и в постель!..

А это что такое? Карусель!
Лошади точеные,
Сбруи золоченые...

Вот вскочу я на коня —
Не догоните меня!

(Вскакивает на деревянного коня.)

Мороженщик

Эй, держи его, лови!
Карусель останови!

Дворник

Нарушать нельзя порядок.
Лучше сядем на лошадок
Да бездельника догоним.
Ну, приятели, по ко́ням!

(Тоже взбираются на коней и едут по кругу.)

Петрушка

Удалая конница
За Петрушкой гонится!
Гнаться можете три дня —
Не догоните меня!

Карусель останавливается. К Петрушке подходит Контролер.

Контролер

Эй, послушай, милый друг!
Ты проехал целый круг.
Предъяви-ка свой билет!

Петрушка

У меня билета нет!
За меня заплатят дяди,
Что за мною едут сзади!

(Убегает.)

Контролер подходит к Мороженщику, Инвалиду и Дворнику

Контролер

Эй, почтеннейшая публика,
Заплатите по́ два рублика
За себя и малыша.

Инвалид

За Петрушку — ни гроша!
Не сто́ит он таких денег.
Он — вор и мошенник!

Мороженщик

Плут и карманник!

Контролер

Да он же ваш племянник!
Кто воспитывал ребят,
Тот во всем и виноват.

Мороженщик

Нет у меня ни племянников, ни племянниц.
Он — обманщик и самозванец!

Дворник

Мы ему не дяди и не тети!

Контролер

Это уж вы дома разберете!
Кто кому из вас родня,
Вы решайте без меня.
А пока уж как хотите —
За катанье заплатите!

Мороженщик

Получите поскорее!
Надо нам поймать злодея!
Он уж скрылся за углом...
Ну да мы его найдем!

Дворник

Лови, держи!
Хватай, вяжи!

(Убегают.)

Петрушка

Ох, беда, беда, беда!
Не уйти мне никуда!
Гонятся за мною инвалиды с папиросами,
Сундуки с колесами,
Дворники с насосами...
Совсем Петрушку доконали,
Утоплюсь я в Обводном канале.
Сосчитаю до двух —
Да и в воду бух!
Раз, два!
Пропала моя бедная голова!
Прощайте, юные зрители!
Прощайте, дорогие родители —
И мама и папа!..

А это что за шляпа?
И пальто, и пиджак, и жилет,
А хозяина поблизости нет.
Валяются на берегу штаны —
Никому они, как видно, не нужны.
Так и быть, надену
Я новую смену —
И шляпу и пальто,—
Не узнает меня никто!

(Одевается.)

Шляпа у меня с глянцем,
Выгляжу я знатным иностранцем,
Приехал из города Козлова,
Не понимаю по-русски ни слова!
Ани-бани — три конторы,
Сахер-махер-помидоры!

Родители

Здравствуйте, юные зрители!
Мы — несчастные Петрушкины родители
Бедные старичок и старушка.
Пропал наш сынок Петрушка!

Отец

Погляди — вон идет прохожий,
На Петрушку немного похожий...
Извините меня, гражданин,
У меня был единственный сын,
Не примите, товарищ, в обиду:
Как две капли похожи вы с виду!

Петрушка

Бульон, бутерброд, консомэ!
Мы по-русски не понимэ!

Отец

Виноват, я ошибся, наверно.
Понимаете, вижу я скверно.
Слаб глазами на старости лет,
А очков, к сожалению, нет.

Появляются Мороженщик, Инвалид, Дворник и Милиционер.

Мороженщик

Гражданин милиционер,
Зарядите револьвер!
Если можете, и пушку!
Застрелите вы Петрушку.
Он испортил мой товар,
Осрамил на весь базар,
Разогрел мое мороженое,
И за все вышеизложенное
Полагается ему
На три месяца в тюрьму!

Инвалид

Он и мне нанес обиду —
Пожилому инвалиду:
Опрокинул мой ларек
И пустился наутек!

Дворник

Должен я, как здешний дворник,
Подтвердить, что беспризорник
Учинил в ларьке скандал.
А потом и убежал.

Петрушка

Коленкор, сатин, радамэ́!
Мы по-русски не понимэ!

Дворник

Ничего, посидишь в кутузке,
Так научишься понимать по-русски!

Появляется Человек в трусиках.

Человек в трусиках

Гражданин милиционер!
Я — французский инженер.
Купался в Обводном канале,
А у меня брюки украли,
И пальто, и пиджак, и часы.
Остались на мне одни трусы.
А мне надо спешить на станцию,
Чтобы ехать обратно во Францию!

(Петрушке.)

Извините, вы кто?
Почему на вас мое пальто?

Петрушка

Это ваше?
Очень приятно!
Получайте его обратно!

Человек в трусиках

Почему на вас мои брюки?

Петрушка

Получайте их прямо в руки!
Я надел их сегодня нечаянно.
Вижу — брюки лежат без хозяина.
Я подумал, что вы за границею,
И хотел отнести их в милицию.

Милиционер

Укажите, гражданин,
Как зовут вас, чей вы сын.
Где живете, сколько лет
И судились или нет!

Петрушка

Пардон, таракан, мерси!
У кого-нибудь другого спроси.

Милиционер

Ты совсем не иностранец,
Ты — Петрушка, вот твой ранец.
Книжки грязные твои
Оказались у свиньи!

Петрушка

Подойдите-ка поближе...
Да, да, да, теперь я вижу.
Сумка с книжками моя,
Но, простите, я — не я!

Милиционер

Кто же ты?

Петрушка

А сам не знаю...
Нет, кажись, припоминаю!
Я — Петрушкин младший брат
И ни в чем не виноват.
Я поссорился с Петрушкой,
Поругались мы друг с дружкой.
Я с таким озорником,
Извините, незнаком!

(Хочет уйти.)

Милиционер

Ты, я вижу, хитрый малый.
В отделение пожалуй!

Появляются Петрушкины родители.

Отец

Отпустите вы Петрушку!
Пожалейте мать-старушку!

Мать

Пожалейте старика!
Отпустите паренька!

Отец

Он совсем еще ребенок!

Мать

Только вышел из пеленок!

Милиционер

Так и быть. Жалея вас,
Отпущу на этот раз.
Но он должен, тем не менее,
Попросить у вас прощения!

Петрушка

Драгоценные родители!
Виноват не я, а зрители,
Я для них-то и припас
Сто проделок и проказ.

Ради них нанес обиду
Пожилому инвалиду,
И барахтался в ларьке,
И катался в сундуке.

А со мной в одной программе
Вы участвовали сами!
С нами был и старичок,
Продающий табачок.
Да и дедушка с мороженым
Помогал сегодня тоже нам,
И дежурный постовой
С перекрестка мостовой,—
Потому что мы — актеры...

Сахер-махер-помидоры!

ТЕРЕМОК

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Злой дед.
Добрый дед.
Лягушка.
Мышка.
Петух.
Еж.
Волк.
Лиса.
Медведь.

Злой дед. Зачем ты здесь, гороховый стручок?

Добрый дед. А ты зачем здесь, еловая шишка?

Злой. Как — зачем? Я хочу показать детям страшную сказку.

Добрый. А тебе не жаль детей? Ведь они маленькие — испугаются, плакать будут!

Злой. Пусть поплачут, мне какое дело!

Добрый. Какую же сказку ты им покажешь?

Злой. Про Змея Горыныча и про Бабу-ягу.

Добрый. Ишь какой ты злой! Не дам я тебе детей пугать. Я покажу детям веселую сказку — пусть посмеются.

Злой. А что за сказку ты им покажешь?

Добрый. Про наливное яблочко и волшебное зеркальце.

Злой. Про яблочко? Про зеркальце? Так я тебе и позволю!.. Вот я возьму палку и выгоню тебя отсюда!

Добрый. Да с чего ты такой злющий? Не выспался, что ли? Никуда ты меня отсюда не выгонишь.

Злой. Нет, выгоню!

Добрый. А я назад приду.

Злой. Я все двери запру.

Добрый. А я в окошко пролезу.

Злой. Я все окна затворю.

Добрый. А я постучу в окошко. Кто-нибудь из детей мне откроет.

Злой. Тогда я и детей всех выгоню!

Добрый. Кому же ты тогда сказки будешь показывать?

Злой. Сам себе буду показывать!

Добрый *(смеясь)*. Эх, какой ты глупый! Знаешь, брат, давай лучше мириться. Я тебе помогу.

Злой. Как же ты мне поможешь?

Добрый. Давай вместе сказку показывать.

Злой. Какую же сказку?

Добрый. А вот придумаем.

Злой. Ладно. Хочешь про козла? Как его волки съели.

Добрый. Нет, мне козла жалко. Давай лучше про теремок.

Злой. Про какой такой теремок?

Добрый. А в котором звери живут.

Злой. Звери? Хорошо! Я в твой теремок таких зверей напущу, что не обрадуешься: лисицу, волка и медведя! Ага! Что? Страшно?

Добрый. Ни капельки не страшно. Мои звери твоих и на порог не пустят.

Злой. А какие у тебя звери?

Добрый. Во-первых, лягушка!

Злой. Лягушка? Ха-ха-ха!

Добрый. Во-вторых, мышка!

Злой. О-хо-хо-хо!

Добрый. В-третьих, ежик!

Злой. Ой, не могу! Ежик!.. Ха-ха-ха-ха!

Добрый. Смейся, смейся, пока не поздно. После сказки ты у меня заплачешь.

Злой. Это почему?

Добрый. А вот увидишь. Зови-ка своих зверей!

Злой. И ты своих зови!

Добрый. А мои уже тут. Ну, слушайте, дети. Стоит в поле теремок — не высокий, не низенький, а какой надо. Выскочила из болота лягушка, увидала теремок, подошла и стучится в дверь...

Добрый дед

В чистом поле теремок,
Теремок.
Он не низок, не высок,
Не высок.

Шла лягушка из болота,
Видит: заперты ворота.
Эй, замочек, отвались, отвались!
Теремочек, отворись, отворись!

Лягушка

Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?

(Заходит в теремок.)

Ква-ква!..
Тишина...
В теремочке я одна.
Хоть кругом не очень сыро,
А хорошая квартира!
Ква-ква!
Ква-ква-ква!
Тут и печка и дрова,
И котел и сковородка.
Вот находка, так находка!
Перед ужином пока
Заморю я червячка.

Добрый дед

Только свет зажгла лягушка,
Постучалась мышь-норушка.

Мышка

Это что за теремок,
Теремок?
Он не низок, не высок,
Не высок.
Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?

Лягушка

Я, лягушка-квакушка.
А ты кто?

Мышка

А я — мышка-норушка.
Пусти меня в дом,
Будем жить с тобой вдвоем.
Спелых зерен раздобудем,
Печь блины с тобою будем.

Лягушка

Так и быть, пожалуй в дом.
Веселее жить вдвоем!

Добрый дед

Поселилась мышь с лягушкой,
С лупоглазою подружкой.
Топят печь, зерно толкут
Да блины в печи пекут.
Вдруг стучится на рассвете
Петушок горластый — Петя.

Петух

Это что за теремок?
Он не низок, не высок.
Эй, откройте петушку!
Ко-ко-ко, кукареку́!
Кто-кто-кто́ в теремочке живет?
Кто-кто-кто́ в невысоком живет?

Лягушка

Я, лягушка-квакушка.

Мышка

Я, мышка-норушка.
А ты кто?

Петух

А я — петушок,
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шелкова бородушка.
Разрешите здесь пожить,
Буду честно вам служить.
Спать я буду
На дворе.
Петь я буду
На заре.
Кукаре́-ку!

Лягушка и Мышка

Так и быть, пожалуй в дом.
Веселее жить втроем!

Добрый дед

Вот живут они — лягушка,
Петушок и мышь-норушка.
Их водой не разольешь.
Вдруг стучится серый еж.

Еж

Кто, кто
В теремочке живет?
Кто, кто
В невысоком живет?

Лягушка

Я, лягушка-квакушка.

Мышка

Я, мышка-норушка.

Петух

Я, петушок — золотой гребешок.
А ты кто?

Еж

Я — серый ежик,
Ни головы, ни ножек,
Горбом спина,
На спине борона.
Разрешите здесь пожить,
Буду терем сторожить.
Лучше нас, лесных ежей,
Нет на свете сторожей!

Лягушка

Так и быть, пожалуй в дом.
Жить мы будем вчетвером!

Добрый дед

Вот живут они — лягушка,
Еж, петух и мышь-норушка.

Мышь-норушка
Толокно толчет,
А лягушка
Пироги печет.

А петух на подоконнике
Им играет на гармонике.

Серый ежик свернулся в клубок,
Он не спит — сторожит теремок.

Злой дед

Только вдруг из чащи темной
Притащился волк бездомный.
Постучался у ворот,
Хриплым голосом поет.

Волк

Это что за теремок?
Из трубы идет дымок.
Видно, варится обед.
Есть тут звери или нет?..
Кто, кто
В теремочке живет?
Кто, кто
В невысоком живет?

Лягушка

Я, лягушка-квакушка.

Мышка

Я, мышка-норушка.

Петух

Я, петушок — золотой гребешок.

Еж

Я, серый ежик —
Ни головы, ни ножек.
А ты кто?

Волк

А я — волк,
Зубами щелк!

Мышка

А что ты умеешь делать?

Волк

Ловить
Мышат!

Давить
Лягушат!
Ежей душить!
Петухов потрошить!..

Мышка

Уходи, зубастый зверь,
Не ломись ты в нашу дверь!
Крепко заперт теремок
На засов и на замок.

Злой дед

Рыщет волк в густом лесу,
Ищет кумушку-лису.
А лиса идет навстречу —
Рыжий хвост, глаза как свечи.

Волк

Лисавета, здравствуй!

Лиса

Как дела, зубастый?

Волк

Ничего идут дела,
Голова еще цела.
А хочу я, Лисавета,
У тебя просить совета.
Видишь в поле теремок?

Лиса

Теремок?

Волк

Он не низок, не высок.

Лиса

Не высок?

Волк

Мышь-норушка
Там зерно толчет,
А лягушка пироги печет.
А петух на подоконнике
Им играет на гармонике.
До чего хорош петух,—
Ощипать бы только пух!

Лиса

Ах, мой серый, мой хвостатенький,
Как хочу я петушатинки!

Волк

Да и мне поесть охота,—
Только заперты ворота...
Может, как-нибудь вдвоем
Мы ворота отопрем!

Лиса

Ох, слаба я с голодухи!
Третий день, как пусто в брюхе.
Кабы встретился нам Мишенька-медведь,
Он помог бы нам ворота отпереть.
Мы пойдем его поищем по лесам!

Волк

Ах ты, батюшки, идет сюда он сам!

Злой дед

В это время в самом деле
Вышел Мишка из-за ели.
Он мотает головой,
Рассуждает сам с собой.

Медведь

Я ищу в лесу колоду,
Я хочу отведать меду
Или спелого овса.
Где найти его, лиса?

Лиса

Видишь, Миша, теремок?

Медведь

Теремок?

Лиса

Он не низок, не высок.

Медведь

Не высок?

Лиса

Мышь-норушка
Там зерно толчет.

Волк

А лягушка
Пироги печет.

Лиса

Пироги печет капустные,
Подрумяненные, вкусные.

Волк

А петух с колючим ежиком
Режут сало острым ножиком.

Лиса

Ты не хочешь ли проведать
Петуха,
Петушиные отведать
Потроха?

Медведь

Петушатина — хорошая еда.
Где ворота? Подавайте их сюда!

Лиса

Нет уж, Мишенька, пойдем
Да на месте отопрем!

Злой дед

Вот идут они к соседям —
Волк с приятелем-медведем.
Впереди лиса идет,
В теремок гостей ведет.

Медведь

Эй, хозяева, откройте-ка добром,
А не то мы вам ворота разнесем!

Мышка

Это кто пришел к нам на́ ночь?

Медведь

Михаил!

Мышка

Какой?

Медведь

Иваныч.
А, по-вашему — Медведь.
Потрудитесь отпереть!
Долго ждать мне неохота.
Расшибу я вам ворота!

Мышка

Тише, Мишенька! В ворота не стучи!

Лягушка

Наше тесто опрокинется в печи!

Петух

Ты не суйся в теремок — кукареку́!
Или шпорами тебя я засеку!

Еж

Коли будешь заниматься грабежом,
Познакомишься со сторожем — ежом!

Медведь

Не хотят меня хозяева впустить.
Не хотят меня обедом угостить!

Лиса

Ну-ка, Мишенька, спиною повернись,
Ну-ка, Мишенька, на волка навались!
Если дружно мы навалимся втроем,
Мы тесовые ворота отопрем!

Злой дед

И пошла у них работа:
Навалились на ворота...

Добрый дед

Да не могут отпереть.
Огрызается медведь.
Бьет он волка, точно сваю,
А лиса хлопочет с краю.
Ей, плутовке, легче всех —
Бережет свой рыжий мех.

Лиса

Вперед!

Медведь

Назад!

Лиса

Идет
На лад!

Медведь

Слышишь, лисонька,
Как досточки
Трещат?

Волк

То не досточки,
А косточки
Хрустят —
Раздавил меня бессовестный медведь!
Без обеда мне придется помереть.
Отдышаться до сих пор я не могу.
Еле-еле до постели добегу!

Медведь

Не возьму, лиса, я в толк:
Почему взбесился волк?
Отчего он убежал?

Лиса

Ты слегка его прижал —
Оттого и убежал!
Еле ноги уволок...
Да какой от волка прок?
И без волка мы ворота отопрем,
Петушатины отведаем вдвоем.

Медведь

Очень хочется мне, лисонька, поесть!
В подворотню я попробую пролезть.

Добрый дед

Изловчился косолапый,
В подворотню сунул лапу.
Да, как видно, невпопад —

Не идет она назад
Аж в груди дыханье сперло
Заорал во все он горло.

Медведь

Ой, лисичка, помоги!
Мне не вытянуть ноги!
Пособи мне дружбы ради,
Потяни меня ты сзади!

Добрый дед

Не ответила лиса
И ушла к себе в леса.
А петух кричит с забора.

Петух

Эй, держите злого вора!
Дай, лягушка, кочергу —
Пятку я ему прижгу!

Добрый дед

Задрожал медведь с испугу,
Заорал на всю округу

Медведь

Ой, боюсь я кочерги!
Ой, лисичка, помоги!

Петух

Кукаре́ку! Все на двор!
В подворотню лезет вор.
Эй, хозяюшка-лягушка,
Где твоя большая кружка?
Принеси воды скорей,
Косолапого облей!

Мышка

Поливай его, ребята!

Лягушка

Из кувши́на, из ушата!

Еж

Из ведра его облей,
Злого вора не жалей!

Медведь

Помогите! Караул!
Захлебнулся, утонул!

Добрый дед

Заревел медведь белугой,
Заметался с перепугу,
Изо всех рванулся сил —
Чуть ворота не свалил.
Разом высвободил ногу
И — айда в свою берлогу!
Завывает на ходу.

Медведь

Я к вам больше не приду!

Добрый дед

А петух кричит с забора.

Петух

Мы прогнали злого вора!
Кукаре́ку! Ко-ко-ко́!
Убежал он далеко,
Припустил во все лопатки,
Удирает без оглядки.
Ко-ко-ко́! Кукареку́!
Не вернется к теремку!

Злой дед

Разошелся наш петух,
Распушил атласный пух.
А пока он петушится,
Из кустов ползет лисица...

Лиса

(тихо)

Ладно, Петя, погоди,
Что-то будет впереди!
Пусть бока намяли волку,
А медведь попался в щелку,—
За своих я отомщу,
Петуха я утащу!

Злой дед

Подползла лиса украдкой
И запела сладко, сладко.

Лиса

Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?

Там живет
Петушок боевой.
Он поет
И трясет головой.
Голова его ярче огня...

Петух

Кто-кто-кто там поет про меня?

Лиса

Ах ты, Петя, лихой петушок,
У тебя золотой гребешок.
Всем на зависть твоя борода.
Ты слети, мой красавец, сюда!

Петух

Нет уж, лучше я здесь
Посижу —
На тебя свысока
Погляжу.

Лиса

(тихо)

Ах ты, Петя,
Петух удалой!
Кто на свете
Сравнится с тобой?
У тебя два широких
Крыла.
Ты немножко похож
На орла!..

Петух

Я не слышу,
О чем ты поешь.
Повтори:
На кого я похож?

Лиса

Ты сидишь от меня далеко.
Подойди — я шепну на ушко́!

Злой дед

Тут петух не утерпел,
Звонким голосом запел
И слетел к плутовке рыжей.
Подошел он к ней поближе,
А лиса, не будь плоха,
Хвать за горло петуха!
Петушок кричит и бьется,
А лиса над ним смеется.

Лиса

Вот теперь скажу я вслух,
На кого похож петух.
Ты похож на себя, петуха!
Скоро съем я твои потроха!
Хи-хи-хи!
Хо-хо-хо!
Ха-ха-ха!
Ты похож
На себя, петуха!

Злой дед

Вот лисица бежит во весь дух,
А в зубах ее бьется петух.
Вырывается глупый петух —
Разлетаются перья и пух.

Петух

Братец ежик дорогой,
Выходи-ка с кочергой,
С кочергой, с лопатою —
Бей лису проклятую!

Добрый дед

Услыхал колючий еж,
Закричал: «Разбой! Грабеж!»
Побежал он за ворота,
Добежал до поворота.
Видит: рыжая лиса
С петухом бежит в леса.
Покатился серый ежик

По траве лесных дорожек,
По предутренней росе,
Прямо по́д ноги лисе.
Не дает он ей дороги,
Колет щеткой лисьи ноги.

Ёж

Я — колючий серый еж,
От меня ты не уйдешь,
Распорю твои меха.
Отдавай-ка петуха!

Добрый дед

У ежа иголки колки,
Больно колются иголки.
Только вертится лиса,
Вроде спицы колеса.

Лиса

Ах ты, ежик, серый ежик,
Не царапай лисьих ножек,
Пожалей мои меха!
Отпущу я петуха!

Добрый дед

Петуха она швырнула
Да скорей в кусты нырнула,
Прошмыгнула между пней,
А колючий еж — за ней.
Сзади мчатся друг за дружкой
Мышка серая с лягушкой...

Мышка

Догоняй! Держи! Лови!

Лягушка

Хвост у рыжей оторви!

Добрый дед

Через лес погоня мчится.
Впереди бежит лисица.
Задержалась у куста —
И осталась без хвоста.
А потом во все лопатки
Припустила без оглядки.

Скрылась рыжая в лесу —
Только видели лису!

Засмеялся серый ежик.

Ежик

Я достану острый ножик,
Хвост разрежу пополам
И хозяюшкам раздам:
Полхвоста тебе, лягушка,
Полхвоста тебе, норушка.

Лягушка

Благодарствуй, серый еж.

Мышка

Лучше меха не найдешь!
Хвост надену я на шею,
Будет мне зимой теплее.
В стужу лютую,
В мороз
Я укутаю
Свой нос!

Добрый дед

Вот шагают друг за дружкой
Ежик с мышкой и лягушкой.
Лисий хвост несут с собой,
Говорят наперебой.

Мышка

Мы лису прогнали ловко.
Не воротится плутовка!..
Только жив ли петушок,
Золотой наш гребешок?

Лягушка

Он лежит — не шевели́тся.
Мы погнались за лисицей
И оставили его
На дороге одного.
Еле дышит он, бедняжка,
Бьет крылом и стонет тяжко.

Еж

Не горюйте вы о нем:
Мы сейчас его найдем.
Вижу гребень петушиный
На пригорке под осиной!

Мышка

Что ты, Петя,
Не встаешь?

Лягушка

Что ты песен
Не поешь?

Петух

Не до песен мне, сестрицы...
Был в зубах я у лисицы,
Даже встать я не могу!

Еж

Дай тебе я помогу.
За крыло тебя возьму я,
Птицу бедную, хромую...
Ну, вставай! Авось дойдешь.

Петух

Очень колешься ты, еж!
Хоть меня не держат ноги,
А дойду я без подмоги.

Добрый дед

Подымается петух,
Говорит с собою вслух.

Петух

Кукаре́ку, кукаре́ку!
Отчего я стал калекой?
Оттого, что простоват...
Сам во всем я виноват!

Еж

Не горюй, голубчик Петя,
Поживешь еще на свете,
Будешь песнями опять
Солнце красное встречать!

Добрый дед

В чистом поле теремок,
Теремок.
Он не низок, не высок,
Не высок.

Кто, кто в теремочке живет?
Кто, кто в невысоком живет?

Лягушка

Я, лягушка-квакушка!

Мышка

Я, мышка-норушка!

Петух

Я, петушок —
Золотой гребешок,
Маслена головушка,
Шелкова бородушка!

Еж

Я, колючий серый еж.
Я на всех ежей похож —
Горбом спина,
На спине борона!

Все вместе

(поют)

Нынче праздник веселый у нас,
На дворе под гармонику пляс.
Мы прогнали медведя в леса,
Без хвоста убежала лиса.
Без хвоста убежала лиса,
Вот какие у нас чудеса!

Лягушка

Ну-ка, Петя, пойди попляши,—
У тебя сапоги хороши!

Мышка

Эй, лягушка, пляши с петухом,
На еже покатайся верхом!

Еж

Нет, не сто́ит кататься на мне —
У меня борона на спине.

Все

Нынче праздник веселый у нас,
На дворе под гармонику пляс!..

(Пляшут.)

Еж

Вот что, братцы,— довольно плясать.
Завтра утром попляшем опять.

Петух

Мы попляшем опять на дворе.
Разбужу я вас всех на заре!

Мышка

Я вам зёрна в муку истолку.

Лягушка

Пирогов я для вас напеку.

Добрый дед

А пока теремок — на замок.
Будет спать до утра теремок.
На покой собираться пора.
Только еж не уснет до утра.
Колотушкой он будет греметь,
Чтобы слышали волк и медведь,
Чтоб от этого стука лиса
Уходила подальше в леса!..

Ворота в теремок запираются. Перед ними остаются только два деда — Добрый и Злой.

Добрый дед. Вот и вся сказка. Ну что, еловая шишка, смеешься еще?

Злой дед. Нет, плачу! *(Ревет.)*

Добрый. Говорил я тебе, что плакать будешь! Так оно и вышло. Да уж ладно, не горюй! Хочешь, я тебя развеселю?

Злой. Развесели! *(Плачет.)*

Добрый. А ты сначала перестань плакать!

Злой. Нет, ты сначала развесели! *(Плачет.)*

Добрый. Ну ладно, слушай.

Злой. Слушаю.

Добрый. Стань добрее — будешь веселее. Вот и все!

Злой. Да ты что — смеешься надо мной, гороховый стручок?

Добрый. Смеюсь, еловая шишка! И все дети над тобой смеются!

Злой. Ладно. Пусть пока смеются!..

Приходите, дети,
Приходите, дети,
К нам в другой и третий,
И в четвертый раз!

Много-много сказок
Есть на белом свете...
Страшную-престрашную
Выберу для вас!

Добрый. Нет, не так!

Приходите, дети,
Приходите, дети,
К нам в другой и третий,
И в четвертый раз!

Много-много сказок
Есть на белом свете,
Самую веселую
Выберу для вас!

ГОРЯ БОЯТЬСЯ — СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ

СКАЗКА-КОМЕДИЯ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Иван Тарабанов, солдат.
Андрон Кузьмич, старый дровосек.
Настя, его племянница, сирота.
Царь Дормидонт.
Анфиса, царская дочка.
Заморский королевич Жан-Филипп, ее муж.
Генерал.
Горе-Злосчастье.
Силуян Капитонович Поцелуев, вдовый купец.
Начальник царской стражи.
Казначей.
Сенатор Касьян Високосный, дряхлый старик.
Амельфа Ивановна, придворная дама.
Скороход.
Старик с медалью.
Его жена, старуха в чепце и в цветной шали.
Купчик в поддевке и в сапогах с голенищами.
Подьячий, тощий лысый человек с большим красным носом.
Его толстая жена.
Три разбойника.
Пастух.
Охотник.
Человек, умеющий токовать.
Соседи, парни и девушки.
Дворцовая стража.
Егеря.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Лес. Старый Дровосек рубит толстое дерево.

Дровосек. Ох, ох! *(Опускает топор и вытирает пот.)* Велико ли дерево, а свалить не под силу! Мне бы в этакие годы не лес рубить, а на печи лежать, косточки греть. Ох, горе-злосчастье, горе-злосчастье...

Горе. Ну, чего тебе, дед?

Дровосек. Словно кто голос подал, а никого не видать. Послышалось, верно!

Голос Насти *(издали)*. Ау, дядя Андрон, ау!

Дровосек. А и вправду кличет меня кто-то...

Голос Насти. Ау!!

Дровосек. Да только будто с другой стороны... Должно быть, Настя меня ищет. Обед несет. *(Кричит.)* Ого-го-го-го!

Голос Насти. Ау!!

Дровосек. Ого-го-го!

Из-за кустов выходит Настя.

Настя. Вот вы где, дядя Андрон! В экую даль забрались. А я-то вас ищу-ищу по всему лесу, да что-то вашего топора нынче не слыхать.

Дровосек. Стар я стал, слаб. Прежде-то, бывало, от моего топора весь лес гудет, а теперь что: тюк-тюк,— вот никто меня и не слышит. Да, худо в мои годы без сыновей, без внуков. Все делай сам, ни от кого помочи не жди. *(Принимается за обед.)*

Настя. А разве я вам не помощница, дядя Андрон?

Дровосек *(жуя)*. Помощница... хлеб есть!

Настя. И не грех вам, дядя, так говорить? Уж я ли не работаю, я ли не стараюсь? Ложусь с первыми петухами, встаю с третьими.

Дровосек. А коль и вправду жалеешь ты меня, Настасья, так сделай милость — выходи поскорее замуж за хорошего человека, вот и будет мне помощь. А ты небось все солдата своего непутевого ждешь, Ваньку Тарабанова...

Настя. Жду, дядя Андрон. Скоро ему срок выйдет.

Дровосек. А и выйдет срок, что в нем проку, в твоем солдате? На службу ушел — гол как сокол, да и со службы придет с пустыми руками, с сумой за плечами.

Настя. Ничего, были бы руки, хоть и пустые,— с голоду не помрем.

Дровосек. Да кто его знает, а может, он со службы-то царской и без рук, без ног придет, коли головы не потеряет. Такая уж у него должность солдатская.

Настя. Что это вы говорите, дядя Андрон! И слушать-то не хочется.

Дровосек. А ты уши не затыкай, когда старые люди с тобой говорят. Послушайся меня, Настасья,— выходи за Мелентия Ивановича.

Настя. Это за мельника, за вдовца?

Дровосек (*жуя*). За мельника, за вдовца.

Настя. Да ведь у него дочери и сыновья старше меня, а сам-то он, почитай, не моложе вас, дядя Андрон.

Дровосек. Не моложе.

Настя. Ну я и говорю. Да еще у вас-то на голове хоть кое-где волосы есть, а у него плешь во всю голову.

Дровосек. А что тебе плешь? Плешь-то плешь, зато сытно поешь. Выходи замуж, Настасья, а то выгоню. Ей-ей, выгоню! Хватит тебе на моей старой шее сидеть.

Настя. Нет уж, дядя Андрон, делайте со мной что хотите, а силой меня за мельника не выдадите.

Дровосек. Стало быть, я даром тебя кормил-поил?

Настя. Ну, коли вы меня дармоедкой считаете, так и впрямь отпустите на все четыре стороны. Я в люди пойду, на чужих работать стану. А то сил моих нет. Пилите вы меня, словно пила ржавая. Свой век прожили, да и мой заживаете!

Дровосек. Нет сладу с девкой!

Настя (*вытирая слезы рукавом, увязывает в платок миску, ложку и тихонько напевает*).

Сватался к Аринушке
Первой гильдии купец.
Давал за Аришеньку
Полтораста кораблей...

Дровосек. Ишь ты! И слезы-то утереть не успела, а уж песни завела!

Настя (*уходя, поет*).

Уж я думаю-подумаю,
Я за этого нейду.
Уж я думаю-подумаю,
Я за этого нейду.

Дровосек. Вон как распелась! Ну да ладно. Я тебе пилу ржавую припомню! Попоешь у меня и попляшешь... «Думаю-подумаю, я за этого нейду»! А ты думай-подумай, легкое ли это дело топором махать! (*Принимается за работу.*) Эх, эх, лес рубить — не сукно в лавке продавать. Ремесло неприбыльное. Вот и топорище пополам раскололось... Ох, горе-злосчастье!

Горе. Ну чего тебе, дед?

Дровосек. Что за притча? Опять кто-то голос подал. Эй, кто тут?

Горе. Я.

Дровосек. Экий голосок-то жалобный! Да кто же ты?

Горе. Горе-злосчастье твое. Вот кто. Зачем зовешь?

Дровосек. Горе-злосчастье? Где же ты? Слышу, а не вижу. Хоть на глаза покажись!

Горе. Тут я, в дупле сижу, тебя сторожу. Жду, пока дерево на тебя свалится.

Из дупла, словно из окошка, высовывается старушечья голова.

Дровосек (*отскакивает от дерева*). Так вот оно, мое горе-злосчастье! Да какое же оно маленькое, щупленькое, серенькое!

Горе. Верно, дедушка. Это радость красна, а горе серо. Что правда, то правда.

Дровосек. Скажи ты мне, бабушка, как же это я до сих пор тебя не примечал? Смолоду на горбу носил, а в глаза не видывал.

Горе. А я, родимый, весь век с тобой прожила. И с отцом твоим, Кузьмой Андронычем, знакомство водила, и с матушкой твоей, Ефросиньей Евстигневной, душа в душу мы жили. И тесто с ней месили, и воду носили. Да и дедушку твоего покойного... Как, бишь, его звали-то?..

Дровосек. Андрон Потапыч...

Горе. И Андрона Потапыча хорошо помню. Это я его телегой и придавила, царство ему небесное! Люблю я все ваше семейство — много вы обо мне говорите, частенько меня поминаете. Вот я и не расстаюсь с вами.

Дровосек. Ну что ж, спасибо за привет, за ласку!.. Да только скажи ты мне, голубушка, как бы это тебя... вас то есть, того... с плеч долой? Избыть, проще говоря... Хоть последние бы денечки без тебя прожить. А то веку у нас мало, а горя много!..

Горе. Вижу-вижу, крепко тебе хочется от меня избавиться. Да, по правде сказать, и мне самой-то до смерти надоело твои охи-вздохи слушать! Хочу по свету погулять, с купцами да с господами знакомство свести. А может, еще и повыше куда заберусь! Я хоть и лыком подпоясана, а в любые хоромы дорогу найду. Ну, будь по-твоему, научу тебя, как меня с рук сбыть.

Дровосек. Научи, Горюшко, научи! Век тебя не забуду.

Горе. Хорошо, дедушка, слушай. Горе-злосчастье ни сжечь, ни утопить, ни зарубить, ни удавить, ни продать, ни подарить нельзя.

Дровосек (*вздыхая*). Вот то-то и оно!.. Нельзя!..

Горе. Зато можно в придачу дать.

Дровосек. Как, говоришь? Как?

Горе. В придачу. Вот будешь что продавать — скажи: «Бери мое добро да горе-злосчастье в придачу». Я к новому хозяину и перейду.

Дровосек. «Бери мое добро да горе-злосчастье в придачу»... Ишь ты! И дело-то какое простое, а самому не додуматься. Шутка ли — горе с рук сбыть! Эх, лапотки бы прочь да сапоги справить козловые, топорик под лавку, самому на лавку, работничка в дом взять, а то и двух. Житье! *(Озираясь.)* Одна беда, никого здесь, кроме волков да медведей, не встретишь, а то бы я тебя живо сбыл...

Слышится выстрел.

Верно, охотничек поблизости бродит, постреливает... Так и есть.

Появляется Охотник.

Здоро́во, здоро́во, брат! Чай, много нынче белок настрелял?

Охотник. Типун тебе на язык, дед. Я только на промысел иду, а ты мне этакие слова говоришь!

Дровосек. Ну, ни пуха тебе, ни пера!

Охотник *(прислушивается к шороху в кустах, прицеливается, потом досадливо машет рукой)*. Ушла! Тьфу ты, пес тебя заешь!..

Дровосек. А не купишь ли ты у меня, милый человек, топор? Совсем хороший топорик — только вот топорище новое к нему приделать...

Охотник. Да на что мне топор?

Дровосек. Как на что? Это топор-то? Да без топора мужик — что без рук. Не берешь?

Охотник. Да отвяжись ты!

Дровосек. Ну так возьми у меня хоть жбан с кваском холодненьким, сделай милость,— племянница только что из погреба принесла. С легкой руки и почин дорог. Давай копеечку и пей до дна на здоровье! Бери мое добро...

В кустах что-то шуршит.

Охотник. Тсс... спугнешь... Замри, старый пень! *(Убегает.)*

Дровосек. Экий полоумный! Вот был, а вот и нет. Ох, горе-злосчастье!..

Горе. Ну чего тебе от меня надо?

Дровосек. Сбыть тебя надо! Вот что. Да, видно, не так-то это легко. Погоди-ка, погоди, вон еще кто-то идет, в дуду дудит. Кажись, пастух.

Горе. Может, и пастух.

Появляется Пастух.

Пастух. Не видал ли ты, дедушка, корову?

Дровосек. Какую корову?

Пастух. Бурую.

Дровосек. Нет, бурой не видал. А ты не купишь ли у меня топорик?

Пастух. Какой топорик?

Дровосек. Вот этот.

Пастух. Нет, этого мне не надо.

Дровосек. Ну, так жбан с кваском холодным купи!

Пастух. Что это ты, дедушка, в дремучем лесу торговать вздумал? Шел бы на базар!

Дровосек. Далеко идти, сынок. Ну хоть грибов кузовок возьми. Хорошие грибы, молоденькие, крепенькие, один к одному... Бери мое добро...

Пастух. Грибов в бору я и сам наберу!

Из-за деревьев доносится

Ой, да это, никак, буренка моя! Вот ты где! Буренушка! Красавица! Постой, погоди! *(Убегает.)*

Дровосек. Нет, уж коли не везет, так и задаром ничего не сбудешь... Все тебе помеха — то перепелка, то корова. А я бы последнюю рубаху с себя снял, кабы на нее покупщик нашелся. Ох, горе-злосчастье! Горе-злосчастье!

Горе. Да тут я, тут. Небось не убегу. Чего тебе?

Дровосек. Ничего!.. Не зову я тебя, а только так, поминаю. К слову... А ты сколько лет помалкивала, а нынче на всякий помин отзываешься. Отвяжись от меня, постылая!

Горе. И отвяжусь. Только продай хоть нитку, хоть лычко, хоть из бороды волосок!

Дровосек. Да разве продашь что, когда ты же мне и мешаешь, проклятая! Ну заснула бы на часок, что ли, или отвернулась — не глядела бы в мою сторону!

Горе. А и то правда. Подремлю маленько. *(Зевает.)* Ох, не выспалась я нынче, ведь ты мне и ночью покоя не даешь — все поминаешь, все поминаешь! Ну отдай меня кому хочешь, куда хочешь, только, чур,— не тревожь даром, без надобности... Истомилась я с тобой! *(Кладет голову на руку и засыпает.)*

Дровосек. Кажись, и вправду заснуло лихо окаянное! Храпит.

Из-за дерева выходит Купец, дюжий мужчина в картузе, суконной поддевке и щегольских сапогах.

Купец *(кричит)*. Э-гей! Дедушка! Не найдется ли у тебя веревочки? Постромка оборвалась, подвязать надо. Я тебе заплачу.

Дровосек *(весь дрожа)*. Как не быть веревочке, почтенный? Есть, есть веревочка! Только ты потише говори — тут у меня дите заснуло...

Купец. Дите! Ну пущай себе спит Давай скорее веревочку — и дело с концом Вот тебе за нее алтын денег.

Дровосек (*торопливо развязывая свою опояску*). Бери мое добро (*вполголоса*) да горе-злосчастье в придачу!

Купец. Что ты, дедушка, говоришь?

Дровосек. Горе свое, родимый, поминаю. (*Поднимает с земли топор.*) О-о! И топорище, никак, опять выросло! Эко диво-дивное! Ну, прощайте, ваше степенство! Счастливо! (*Скрывается в лесу.*)

Купец. Вот я теперь постромку-то и подвяжу!.. Да что ж это? Куда веревочка делась? Словно растаяла... И лошадей моих не слыхать! Вот напасть!.. Будто не пил ничего, а голова кру́гом идет и в ушах звон... И не помню, с какой стороны пришел... Неужто заплутался в лесу? Эй, дедушка! Дедушка!

Из-за кустов выходят три разбойника.

Первый разбойник (*огромного роста, с большой бородой*). Чего горло дерешь? Тут ни дедушки, ни бабушки твоей нет.

Купец. Здоро́во, милый человек!

Первый разбойник. Здоро́во, купец! Давай кошель, коли жить не надоело.

Купец. Полно шутить, парень! Ты лошадок моих не видал?

Первый разбойник. Какие там шутки. Кошель, говорю, давай. А лошадок своих не ищи — без тебя ускакали. Придется тебе в город пешочком ворочаться.

Купец. Пешочком так пешочком... Прощай! (*Поворачивается и хочет уйти — путь ему преграждает Второй разбойник. Купец отступает и сталкивается с Третьим разбойником. Тихо, почти без голоса.*) Караул! Душегубы! Греха не боитесь!..

Первый разбойник. Нечего зубы заговаривать. Не в лавке товар продаешь. Доставай мошну, вытряхай казну!

Купец. Берите, злодеи...

Третий разбойник. Ну, не груби, не груби, борода!

Первый разбойник. Сапожки сымай. И поддевочку заодно.

Купец (*разувается, потом снимает поддевку и сам надевает ее на разбойника*). В плечиках не жмет?.. Как на вас шито!

Первый разбойник. Часы давай!

Купец (*отдает часы*). Ключик не потеряйте.

Первый разбойник. Жилеточку скидавай! Картузик! Пётра, примерь-ка.

Второй разбойник. Нет, не по моей голове. (*Передает картуз Третьему разбойнику.*)

Третий разбойник. В самый раз. Благодарим покорно.

(Нахлобучивает купцу на голову свою рваную шапку.) Ну прощай, борода.

Первый разбойник. Не поминай лихом!

Разбойники уходят захватив по дороге забытый Дровосеком кузовок с грибами и жбан с квасом.

Купец *(садится на пень и плачет)*. Как вас лихом не поминать, дьяволы! Разорили, раздели, ограбили. Не так денег жалко, как лошадок вороных да телеги с товаром. Думал большие барыши взять, а босиком в город вернусь... Ох, горе-горькое!

Горе *(просыпаясь)*. Э, да у меня, кажись, хозяин новый?.. Да какой оборва́тый!.. Ну, чего тебе, голубь?

Купец. А? Что? Кто это? Кто тут?.. Почудилось, верно, со страху!

Горе. Нет, не почудилось. Это я, я самая!

Купец *(вставая)*. А вы кто ж такие будете?

Горе. А ты кто?

Купец. Я — купец.

Горе. Купец? Ишь ты! Ну, а я — горе-злосчастье твое, вот кто!

Купец. Горе-злосчастье мое? Чур, меня! Чур! *(Хочет убежать.)*

Горе *(смеется)*. Куда же ты, куда? Нет, брат, от своего горя-злосчастья не убежишь.

Купец. Да я и не бегу. Я только так, поразмяться малость хотел... Да и в новинку мне. В жисть тебя, горе, не знал, а вот теперь повстречаться пришлось. Что ж, надолго ты ко мне привязалась, матушка? Или как?

Горе. Так тебе все и выложи! И часу с ним не прожила, а уж он спрашивает, надолго ли.

Купец. Ты, Горюшко, на меня не обижайся. Я бы с тобой, может, век не расстался, жили бы, словно иголочка с ниточкой, да только в деле-то моем ты не к месту будешь. Сама небось смекаешь — ну какой же я купец, коли у меня счастья нет!

Горе. Это верно, счастья не выгорюешь.

Купец. А ты, сделай милость, отступись от меня! Я тебя к хорошему месту пристрою. Довольна будешь. Спасибо скажешь.

Горе. Ишь какой нетерпеливый! Я этаких не люблю. Ну, ладно. Научу тебя, как с рук меня сбыть.

Купец. Научи, родимая! В ножки тебе поклонюсь.

Горе. Ну, так и быть, слушай. Продай что-нибудь, а продавая, скажи: «Бери мое добро да горе-злосчастье в придачу». Я к новому хозяину и перейду.

Купец. «Бери мое добро да горе-злосчастье в придачу». Благодарствую, сердечная. Вот это настоящий разговор пошел,

деловой, торговый. Только что же мне теперь продать? Все как есть злодеи отняли. Ничего, кроме кремня да огнива, не оставили...

Горе. А может, кому и кремень с огнивом пригодятся!

Слышен треск сучьев,

Купец. Ах ты батюшки! Это, никак, они, злодеи мои, воротились! Ну, так и есть... Где бы от них укрыться? Ох, горе-злосчастье, горе-злосчастье! *(Залезает в дупло.)*

На поляну выходят царский Генерал и стража.

Генерал. Обшарить все кусты вокруг! Смотреть в оба! Тут, говорят, разбойнички пошаливают. Как бы не натворили чего, покуда царь-батюшка охотиться будет. *(Садится на пень.)*

Начальник стражи. Слушаю-с, ваше превосходительство! А ну, молодцы, обшарьте лес. Ни одному дереву, ни одному кусту не верьте. Живо у меня!

Стража расходится по лесу. Сам Начальник стражи остается на просеке. Заглядывает в дупло и видит Купца.

(Негромко.) Ваше превосходительство!.. Ваше превосходительство!

Генерал. А? Что?

Начальник стражи. Кажись, есть один. Разбойник!

Генерал. Взять.

Начальник стражи. Стой! Ни с места, бродяга!

Купец. А ну-ка тронь меня, душегуб!

Начальник стражи. Ко мне! Сюда!

Купец. Цыц! А не то я тебе живо глотку заткну! Пропадать так пропадать!

К Начальнику стражи со всех сторон сбегаются его люди. Генерал тоже подходит.

Первый стражник *(второму)*. Слева, слева заходи, а я справа!

Второй стражник. Хватай его спереди, бродягу, разбойника, а я сзади.

Купец. Разбойника?.. Какой же я разбойник! Помилуйте, люди добрые! Я-то в простоте душевной думал, что разбойники вы!

Начальник стражи. Не разговаривать у меня! Ребята, хватай его! Живо!

Купец. Зачем же меня хватать! Я сам пойду. Это, как говорится, недоразумение,— простите за грубое слово. Куда идти прикажете?

Начальник стражи *(Генералу)*. Вот, ваше превосхо-

дительство, какого матерого зверя в дупле изловили. Он меня чуть было не задушил. Ей-богу! Ваше превосходительство, извольте поглядеть — косая сажень в плечах, босой, морда зверская...

Купец. Батюшка, ваше превосходительство! Это от страха у меня личность перекосило. Не смотрите, что я босой! Я первой гильдии купец!

Начальник стражи. Бродяга ты первой гильдии! Вот кто.

Генерал. Да, хорош купец, нечего сказать. В дупле сидит, смертью торгует. Такому купцу только попадись ночью в руки!

Купец. Ваше превосходительство! Господин генерал! Вот вам крест, невиновен я. А что широк в плечах, так у нас, не извольте гневаться, в роду Поцелуевых все такие! И матушка, и братья, и сестренка...

Начальник стражи. Ваше превосходительство, прикажете его в город препроводить или перед царские очи представить?

Генерал. Там видно будет. Отвести его покамест за кусты и глаз с него не спускать. Или вот что — привяжите его к дереву, да покрепче. А сейчас не до него. Надо бы нам какую-нибудь дичь поискать — ну, тетерева там, глухаря или куропатку, что ли. Его царское величество и заморский королевич сей момент сюда пожалуют!

Начальник. А у меня, ваше превосходительство, все готово!

Генерал. Что готово?

Начальник стражи. Дичь, ваше превосходительство,— и тетерева, и глухари, и рябчики, и куропатки. Мы всегда на охоту птицу с собой возим, чтобы долго по лесу не рыскать. Виноват! *(Егерям.)* А ну-ка, молодцы, сажайте дичь на деревья и на кусты, да смотрите запомните хорошенько, где какую птицу пристроили! Живо у меня! Ваше превосходительство, это еще не все. Есть у нас человек, который по-тетеревиному и дупелиному токовать умеет. Прошу вас присесть на этот пенек. Эй, тетерев! Терентий Федотыч!

Появляется немолодой Человек подвязанной щекой.

А ну, поклонись его превосходительству да потокуй на пробу!

Человек. Слушаю-с. *(Токует.)*

Генерал. Очень хорошо! Отлично! Тетерев — да и только. Где же он учился?

Начальник стражи. А пес его знает.

Генерал. Что?!

Начальник стражи. Виноват, не могу знать, ваше превосходительство.

Генерал. У кого же ты, братец, этому искусству научился?
Человек. У отца-покойника, ваше превосходительство.
Генерал. А отец у кого?
Человек. У покойного деда, ваше превосходительство.
Генерал. Ну, а дед у кого?
Человек. *(таинственно)*. А уж дед у них самих!
Генерал. У кого ж это?
Человек. У тетеревей, ваше превосходительство!

Музыка.

Генерал. Его величество!
Купец *(из-за кустов)*. Батюшки! Отцы родные! Помилуйте! Отпустите душу на покаяние!
Начальник стражи. Молчи, босопляс, а то мы тебя живо утихомирим!

Вбегают Егеря и Стражники.

Первый егерь. Царь едет! Царь!
Второй егерь. Птички привязаны, ваше превосходительство!
Генерал. Очень хорошо, прекрасно!
Первый стражник. Царь едет! Царь!
Второй стражник. Царь едет! Царь!
Голоса. Царь едет! Царь едет!

На поляну выходят царь Дормидонт, Заморский королевич, свита.

Все. Ура! Ура!
Царь. Здоро́во, молодцы!
Стража. Здравия желаем, ваше царское величество!
Царь *(напевает вполголоса)*.

На охоту едет царь,
А в лесу сидит глухарь.
Ой, лихие егеря,
Не стреляйте глухаря,
Вы оставьте глухаря
На березе для царя!

Никуда дальше не пойду, есть хочу. Что, водится в этих местах дичь? А?
Генерал. Как не быть дичи, ваше величество! Полным-полно. Там тетерев токует, а здесь куропаточка сидит. Соблаговолите обратить всемилостивейшее внимание вон на ту веточку. Чуть-чуть правее. Нет, немного левее. Извольте стрелять, ваше величество!

Царь спускает курок.

Начальник стражи. Вот это выстрел!

Царь. Нет, осечка!.. А что, птица все еще на ветке сидит или, может, улетела?

Генерал. Сидит, ваше величество! Очумела со страху.

Царь. Очумела? Это хорошо. Ну-ка, еще раз попробуем! *(Стреляет.)* Что, все еще сидит?

Генерал. Никак нет, ваше величество. Кувырком полетела. В самую точку попасть изволили.

Начальник стражи *(приносит царю подстреленную куропатку)*. Честь имею поздравить, ваше величество. Славная куропатка, жирненькая, молоденькая.

Царь. А ведь десять лет ружья в руки не брал. Все недосуг было! *(Заморскому королевичу.)* Ну, что же, не пожелаете ли и вы позабавиться, дорогой зятек?

Заморский королевич молча кланяется.

Подайте его высочеству ружье!

Генерал подает Заморскому королевичу ружье, тот опять кланяется.

За чем же дело стало? Бери, зятек, ружье, постреляй малость.

Заморский королевич. Пардон! Я не понимай!

Царь. А что ж тут не понимать-то? Пали — и все! Бум! Бум! Бах! Бах! *(Показывает, будто целится.)*

Заморский королевич. Avec ce fusile? Et tirer?[1] Бум-бум? Пиф-паф? А, мерси! *(Берет ружье и смотрит по сторонам.)*

Генерал. Ваше высочество! Извольте поглядеть на ту березу. *(Показывает рукой.)* Там как будто тоже птичка сидит, тетерев, кажись. Токует.

Заморский королевич. А, тетере́фф! Тоскуэт! Отшен жаль... *(Целится.)*

Царь *(Начальнику стражи)*. Эй ты, там, убери башку, а то ненароком влепят!

Начальник стражи отскакивает. Заморский королевич стреляет.

Генерал. Есть, ваше высочество! Наповал!

Заморский королевич. А пошему он не упадаль?

Царь *(егерю)*. Ну-ка, братец, сбегай посмотри, что там с ней стряслось, с птицей-то.

Егерь находит птицу и передает Генералу. Генерал — Заморскому королевичу.

Заморский королевич. Капут тетере́фф! Больше не тоскуэт!

---

[1] Из этого ружья? Стрелять? *(франц.)*

Генерал. Без промаха! С одного выстрела. Редкая удача, ваше высочество!

Заморский королевич. Мерси, отшен кароши птичка. Но, господин женераль, пошему он имеет этот шнурок?

Генерал. Какой шнурок, ваше высочество, где?

Заморский королевич. Тут, на два нога.

Начальник стражи (*тихо*). Эх, забыл веревочку развязать!..

Генерал. Не могу знать, ваше высочество. Это, верно, порода такая...

Заморский королевич. Отшен странно порода!

Царь. Что же тут странного? Помнится, я сам подстрелил когда-то кабана со спутанными ногами. И ничего — зажарили и съели. Вкусный был кабан. Вот и сейчас мы, зятек любезный, как следует подзакусим. Завтрак мы нынче с тобой честно заработали. Твоего тетерева царевне Анфисе отвезем...

Заморский королевич. Да-да, Анфис...

Царь. А мою куропатку на угольях в собственном соку жарить будем. Пальчики оближешь. (*Трубит в рог.*) Ну, охота окончена. Генерал, прикажи костер развести!

Генерал. Слушаю-с, ваше величество! (*Передает царское приказание страже.*)

Царь. Сенатор Касьян Високосный, подай бутылку. (*Заморскому королевичу.*) Вот мы сейчас откупорим добрую пузатую бутылочку старого ренского. Еще мой покойный дед собственноручно засмолил ее. Любитель был! (*Причмокивает.*)

Заморский королевич. О, понимай, понимай!..

Пьют.

Царь (*Генералу*). Эй, генерал, что ж это вы до сих пор костер не разводите?

Генерал. Простите, ваше величество. Сорок лет служил верою и правдою, а вот на старости лет оплошал. Огонька не припас.

Царь. Какого огонька?

Генерал. Спичек или кремня с огнивом, ваше величество!

Царь. О чем же ты думал, бездельник? Знал ведь, что на охоту едем, дичь жарить будем.

Генерал. Простите, ваше величество. Нам в присутствии высочайших особ думать не полагается,— вот и не подумали.

Царь. Ты у меня не разговаривай. Откуда хочешь, а огонь добудь. Я манже хочу,— жрать, понимаешь? Нет ли у тебя, дорогой зятек, этих — как они по-вашему, по-заморскому,— спичек?

Заморский королевич. Пардон, ваше величество, в наш заморски костюм нет карман.

Царь. Я смотрю, у вас и портков нет. Одни чулки до пояса. Что же нам делать-то, генерал? Нельзя же куропатку сырую есть!

Генерал. Зачем же сырую, ваше величество? Сейчас мы из одного ружья порох высыплем, из другого выстрелим. Авось и будет огонь...

Голос Купца *(из-за кустов)*. Царь-батюшка! Государь император! У меня есть огонь! Есть! Дозвольте вручить!

Царь. Это кто там орет?

Генерал. Разбойник, ваше величество!

Царь. Разбойник? Какой еще разбойник?

Генерал. Обыкновенный, ваше величество, душегуб. Мы его тут в лесу изловили, да только не успели вашему величеству доложить.

Голос Купца *(из-за кустов)*. Помилуйте, царь-батюшка! Не душегуб я, а торговый человек! Прикажите меня перед ваши царские ясные очи представить!

Царь. А ну, представьте-ка его перед мои ясные царские очи.

Генерал. Слушаю-с, ваше величество.

Купца выводят из-за кустов. Он валится Царю в ноги.

Купец. Обидели меня, царь-батюшка! Напраслину на меня возвели!

Царь. А ты что — зарезал кого или ограбил?

Купец. Царь-батюшка, да меня же самого ограбили. Мало того — чуть было и не зарезали. А я — первой гильдии купец Силуян Поцелуев. Я вашему высочайшему двору весь пузамент для господ лакеев поставляю.

Царь. Позумент? Что же ты его, генерал, обижаешь? Коль он купец, пусть себе торгует.

Генерал. Да какая там торговля, ваше величество! Нешто он забрался бы в дупло, кабы и вправду позументом торговал? Злоумышленник он, ваше величество, мы его перед самым вашим высочайшим прибытием в лесу обнаружили. В дупле сидел.

Начальник стражи и егеря *(наперебой)*. В дупле, ваше царское величество! В дупле! Как сыч сидел.

Царь. Тихо! Сколько раз говорил вам, не галдеть всем сразу, а докладывать поодиночке. Что же, какое-нибудь оружие при нем нашли — холодное или огнестрельное?

Купец. Огнестрельное, царь-батюшка, огнестрельное — кремень да огниво!

Царь. О-о! Вот это как раз кстати! Дорога́ ложка к обеду. Давай-ка сюда, братец, и кремень твой и огниво! Сейчас мы нашу куропаточку зажарим. А за кремень да за огниво жалую тебе полтину серебром.

Купец (*кланяется царю в ноги, а потом протягивает кремень и огниво*). Вот вам, царь-батюшка, мое добро (*вполголоса*) и горе-злосчастье в придачу!

Царь. Что? Что он такое сказал?

Купец. Горе свое, ваше величество, вспомнил. В счастливый час и горе добром помянешь. Век вашей царской милости не забуду.

Царь. Ну, ступай, ступай, да босиком по лесу не броди, коли ты и вправду купец, а не разбойник.

Слышен звон бубенчиков.

Купец. Ах ты батюшки, никак лошадки мои воротились! Бубенцами звенят. Эх, залетные! (*Убегает.*)

Царь. Что-то будто этот купец тоску на меня нагнал... Даже есть отчего-то расхотелось... Скучно... Ох, горе, горе!

Горе (*выглядывая из дупла*). Это кто меня кличет? Да, никак, сам царь? Ну, здравствуй, здравствуй, батюшка! Поживем с тобой — погорюем.

Царь. Кто это тут разговаривает?

Начальник стражи (*шарит среди кустов*). Никого нет, ваше величество! Видно, воробышек на веточке прочирикал!

Горе (*смеется*). Хе-хе-хе! Как бы этот воробышек не накликал вам хворобушек!

Царь. Взгрустнулось что-то... И небо будто нахмурилось... Того и гляди, дождь хлынет. Да вот уж и накрапывает. В самом деле, дождь. Едем во дворец. Уж там и позавтракаем.

Ливень. В глубине сцены, за деревьями, прикрываясь чем попало, пробегают Заморский королевич, Сенатор, Генерал, Начальник стражи и прочие. Последним едет на коне Царь. За спиной у него на седле примостилось Горе-Злосчастье.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Царские покои. Царь дремлет на лежанке. Возле него навытяжку стоит Скороход. Тишина. Большие часы начинают хрипеть, шипеть, скрипеть. Потом гулко бьют.

Царь (*считает*). ...Девять, десять, одиннадцать, двенадцать... Тринадцать!.. А? Что? Сколько же это пробило? Тринадцать, никак? А, скороход?

Скороход. Так точно, ваше величество. Ровно тринадцать! А стрелки, между прочим, только десять показывают.

Царь. Что за притча? С чего бы это?

Скороход. Не могу знать, ваше величество. Одно из двух: либо стрелки врут, либо звон обманывает.

«РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА»

Царь. Видно, что так. По звону я будто проспал, а по стрелкам словно недоспал... Ну, да ничего не поделаешь. Тринадцать так тринадцать. Зови начальника нашей царской стражи. В поле пора — зайцев травить!

Скороход. И звать не надо, ваше величество, давно у дверей дожидаются. *(Распахивает дверь.)*

Появляется Начальник стражи.

Начальник стражи *(во все горло)*. Здравия желаем, ваше величество!

Царь. Ох ты, батюшки! Напугал как. От такого «здравия желаю» и помереть можно!

Начальник стражи. Каково почивать изволили?

Царь. И не спрашивай. Всю ночь то пожар, то потоп снился. Что бы это такое значило? Ну-ка, скороход, дай мне сонник. Сейчас поглядим, что там прописано.

Скороход. Слушаю-с, ваше величество. *(Подает толстую книгу.)*

Царь. На букву «П». «Пожар — к потопу». А потоп?.. «Потоп — к пожару»!... Благодарствуйте! Растолковали! *(Швыряет сонник.)* Вели-ка лучше коня мне седлать.

Начальник стражи. Слушаю-с. Какого прикажете?

Царь. Ну, того, серого в яблоках... Что же ты стоишь?

Начальник стражи. Прошу прощения, ваше величество. Захромал серый в яблоках!

Царь. Да я же только вчера на нем в лес ездил!

Начальник стражи. Совершенно верно, ваше величество! А как домой вернуться изволили, так он и припадать стал.

Царь. На какую же ногу припадает?

Начальник стражи. На все на четыре, ваше величество!

Царь. Эх ты, горе какое! Ну, послать к нему нашего старшего ученого коновала. А мне пока каурого седлать.

Начальник стражи. Слушаю-с, ваше величество! Каурого.

Царь. А погода нынче какова?

Начальник стражи. С утра как из ведра, ваше величество, а потом будто распогодилось. Вот, кажись, и солнышко из-за тучи выглянуло...

Удар грома. Ливень.

Царь. Вон что деется! И просыпаться было не к чему.

Начальник стражи. Ну, как, ваше величество, седлать каурого?

Царь. Пошел прочь!

Начальник стражи уходит. Минута молчания. Потом слышится грохот — со стены падает большой портрет в раме. Угол рамы чуть не задевает Скорохода. Тот отскакивает.

Скороход. Ох!

Царь (*поднимая голову*). Что такое? Что еще стряслось?

Скороход. Не извольте беспокоиться, ваше величество, это ваш батюшка со стены упал. То бишь портрет ихний.

Царь. Этого еще не хватало! Сорок лет старик на стенке висел и не падал, а теперь — на́ тебе!.. Свалился... А вчера дедушка с другой стены грохнулся. Этак, чего доброго, и я, глядя на них, сковырнусь.

Там, где был портрет, в отверстии стены, появляется Горе-Злосчастье.

Постой, постой! Глянь-ка, никак, портрет опять на месте. Только это теперь не батюшка, а, кажись, матушка-покойница!.. Да и не матушка, а бабушка Аграфена Иоанновна, царство ей небесное. Тьфу ты... Мерещится, что ли? Ох, горе-злосчастье!

Горе. Тут я, царь-батюшка, тута! (*Прячется.*)

Царь. Это ты, Анфиса?

В дверях появляется Анфиса.

Анфиса. Я, батюшка, а то кто же? Стучусь-стучусь, а все достучаться не могу. Ну, думаю, угорели!

Царь. Сама ты угорела... Ох, горе мое, горе!..

Анфиса. Доброе утро, батюшка.

Царь. Кому доброе, а кому и нет...

Анфиса. Что это вы, будто невеселы нынче?

Царь. А чего мне веселиться? И на белый свет бы не глядел. Видно, на охоте простыл... Ох, тошнехонько!

Анфиса. Не печальтесь, батюшка. Дайте-ка я вам волосики и бороду расчешу. Чай, не причесывались нынче?

Царь. А чего там причесываться? Не к чему это... На портретах да на монетах все равно причешут, а для тебя я и лохматый хорош. Ох, ох, полегче — последние волосы выдерешь.

Анфиса (*расчесывая ему волосы*). Что вы, батюшка, я потихоньку, полегоньку. А у нас, батюшка, новость, да еще какая!

Царь. Знаем твои новости. Верно, опять купцы заморские понаехали, всякой дребедени понавезли. А у тебя и глаза разгорелись.

Анфиса. И есть от чего разгореться, батюшка! Нынче гости заморские ларец рукодельный показывали индейской работы, весь резной, батюшка, из слоновой кости!

Царь. Эко дело! Что ж ты, слоновой кости сроду не видывала? Да ведь у тебя из нее цельный тувалет, а не то что ларчик.

Анфиса. Да не простой это ларец, батюшка. На крышке изнутри зеркальце чудесное!

Царь. Удивила! Зеркал ей не хватает!

Анфиса. Да я в этом зеркальце красавица писаная, глаз не оторвать, а вы говорите...

Царь. Ты-то красавица? Да ведь ты вся в меня и в бабку-покойницу, Аграфену Иоанновну. А от нее, не тем будь помянута, лошади шарахались.

Анфиса. А вы бы на меня в зеркальце поглядели, тогда бы и говорили! Батюшка, родненький, жить не могу — купите ларчик с зеркальцем!

Царь. Ну уж ладно, коли у тебя другой заботы нет, так и быть, куплю. Эй, скороход, сбегай за казначеем. Да живо!

Скороход. Слушаю-с, ваше величество.

Анфиса. За казначеем! Живо!

Скороход. Слушаю-с, ваше высочество. *(Убегает.)*

Царь. Ох, горе, горе!..

Горе. Тут я, царь-батюшка! Тута.

Царь. Это ты, Анфиса?

Анфиса. Нет, я ничего... Верно, дверь скрипнула.

В дверях появляется Казначей.

Казначей. Дозвольте войти, ваше величество?

Царь *(надевая корону)*. Заходи, казначей.

Анфиса. Заходите, заходите!

Казначей *(входя)*. С добрым утром, ваше величество! С добрым утром, ваше высочество! Зачем изволили звать меня?

Царь. Дело, брат, небольшое. Купи для царевны Анфисы у приезжих купцов игрушечку — ларчик индейской работы.

Анфиса. С зеркальцем!

Казначей. Слушаю, ваше величество. С зеркальцем. Только откуда прикажете денег взять?

Царь. Что же, мне тебя учить, что ли? Известно откуда, из моей казны царской!

Казначей. Слушаю, ваше величество. Из царской казны. Да, к великому моему прискорбию, ваша царская казна на сие число пуста есть.

Царь. Врешь, невежа! Быть того не может. Слыханное ли дело, чтобы царская казна пуста была!

Анфиса. Да как ты осмеливаешься такие слова батюшке говорить! Казна пуста... Голова у тебя пуста! Сказано тебе — купи, ты и должон купить.

Казначей. Слушаю, ваше высочество. Должон купить. А только денег нет!

Царь. Вот заладила сорока Якова! Да я тебя казнить велю!

Казначей. Казнить или миловать — ваша царская воля, а только от казни казны не прибавится.

Царь. Ступай прочь!

Казначей. Слушаю, ваше величество.

Царь. Дурак.

Казначей. Еще бы не дурак, коли пустой царский сундук сторожу! Мое почтение, ваше величество. *(Уходит.)*

Анфиса. А как же, батюшка, ларчик с зеркальцем?

Царь. Молчи, не до ларчика мне!.. Экое горе-то привалило!

Горе. Погоди, родимый, то ли еще будет!

Царь. Кто это тут разговаривает?

Входит Заморский королевич.

Добро пожаловать! Садись, королевич. Как почивал?

Заморский королевич. Не почиваль, одна минута не почиваль. *(Кланяется.)* Адье, ваше величество, прошайт.

Царь. Ты бы сперва поздоровкался, зятек любезный, а потом уж и прощался. Куда ж это ты ехать задумал? Далече ли?

Заморский королевич. На мой королевство. Этот ден вечер.

Анфиса. Сегодня? Что ж вы раньше-то молчали? Я ведь так скоро и собраться не успею!

Заморский королевич. Я один едет. Без вам, мадам.

Анфиса. Батюшка, заступитесь! Да он, никак, покинуть меня хочет?

Царь. Погоди, Анфиса. Еще успеешь нареветься. Как это — «без вам, мадам»? Ты мне, королевич, толком скажи, чем недоволен, чего тебе надо.

Заморский королевич. О, я отшен довольни! Отшен довольни! *(Скороговоркой.)* Oh, je suis très content, enchanté, parbleu! Une vie magnifique! On meurt de faim! Il y a deux semaines, qu'on n'a pas vu du vin, sacrebleu! Mon cheval n'a rien mangé, mes valets encore moins. On a vendu mon épée! Oh, tout est parfait, diable vous emporte tous![1]

Царь. А по-нашему как? Ты по-нашему говори!

Заморский королевич. А по-вашему — к шорту проклятова!

Царь *(Анфисе)*. Слыхала, что говорит? И откуда только набрался?

Заморский королевич. Да-да, шорту проклятова! Два-труа́ ден к обед вино нет. Мой лёшадка на конюшна голёдно

---

[1] О, я очень доволен, я в восторге, черт возьми! Что за великолепная жизнь! С голоду помираешь! Вот уже две недели, как вина нет и в помине, проклятие!.. Моя лошадь ничего не ела, мои слуги и того меньше. Моя шпага продана. О, все великолепно, дьявол вас всех побери! *(франц.)*

стоит. А вчера я мой фамильна шпага продаваль. (*Дрожащим голосом.*) О ревуар, мадам. Финита ля комедиа! Адьё, ваше величество!

Царь. Ну и поезжай себе подобру-поздорову!

Анфиса. Батюшка, а я-то как же? Жан-Филипп! Ваня!.. Филя!

Царь. Не плачь, дочка. Пускай себе едет подобру-поздорову... на все четыре стороны. Завтра я его батьке войну объявлю, а Фильку этого в плен возьму и в оковах к тебе препровожу!

Заморский королевич. А мой батушка-король вам тоже война объявиль!

Все плачут. Горе-Злосчастье смеется.

(*Уходя.*) Милль дьябль![1] (*Хлопает дверью.*)

Анфиса (*в слезах*). Зачем, батюшка, вы моего супруга из дома выгнали?

Царь. Как выгнал? Да ведь он сам ушел!

Анфиса. А коли вы на него кричать начали!

Царь. Да ведь это он на меня кричал! Милым дьяволом обозвал.

Анфиса. А как же на вас не кричать, коли у вас казна пуста!

Царь. Да что ты, дочка? В уме ли? Пошла прочь!

Анфиса. И уйду. Моя тетка, королева Киликийская, давно меня к себе зовет. Буду жить у нее в почете и в довольстве, а вас и знать больше не хочу! (*Уходит, топнув ногой.*)

Царь (*задумчиво и грустно ходит по комнате, заложив руки за спину. Потом достает из-под трона трубу, играет на ней и поет*).

Ты труби, моя труба
Золотая.
Ох, горька моя судьба!
Сирота я!..

Входит Генерал.

Генерал. Ваше величество! Разрешите доложить!

Царь. Погоди, погоди маленько. Видишь, царь делом занят.

Генерал. А мне не к спеху, ваше величество. (*Уходит за дверь.*)

Царь (*поет*).

Ах ты, радость,
Моя радость,
Да куда ж ты

---

[1] Тысяча чертей! (*франц.*)

Подевалась?
Не в полях ли
Потерялась,
Не в лесах ли
Заплуталась?

(Опускает трубу и задумывается.)

Снова входит Генерал.

Ну, что там случилось?

Генерал. Ваше величество, а нам войну объявили.

Царь. Кто объявил? Уж не королевич ли заморский?

Генерал. Никак нет, ваше величество. Принц Бульонский, король Сардинский и герцог Прованский.

Царь. Ишь ты! Чего же они хотят?

Генерал. Известно чего — царство ваше покорить.

Царь. Пусть попробуют!

Генерал. Да они уж и пробуют. Только держись!

Царь. А ты-то чего смотришь?

Генерал. Смотрю, что будет. Осмелюсь напомнить, ваше величество, я от вас третий месяц ни копейки жалованья не получаю.

Царь. Да кто же такому бездельнику платить станет?

Генерал. У кого деньги есть, тот и заплатит. Меня король Сардинский давно к себе на службу зовет.

Царь. Что ж ты — присягу нарушишь?

Генерал. А у короля Сардинского своя присяга, поди, покрепче вашей!

Царь. Я тебя, негодяй, мошенник, засеку, расстреляю, повешу! Прикажу моей страже тебя сквозь строй прогнать! Эй, стража!.. Стража!.. Сюда!

Генерал *(посмеиваясь)*. Ох, напугали, ваше величество! Стража!.. Да ведь у вас и стражи-то никакой нет — разбежалась вся. Может, только один солдат и остался — тот, что у дверей на часах стоит, коли тоже не ушел. Прощайте, ваше величество, счастливо оставаться! *(Уходит вразвалку.)*

Царь. Никого нет. Один я, как перст... *(Стучит в боковую дверь.)* Эй, Амельфа Ивановна, будьте так любезны, прикажите хоть чайку подать!.. И этой нет. Ушла... Ох, что деется, что деется! *(Идет к печке, снимает с самовара трубу. Обжигаясь, тащит самовар на стол, заваривает чай и садится пить.)* Ох, ох, ох!.. Пусто во дворце... Тихо... Муха пролетит — и то слышно. Ах, горе, горе!

Горе. Ась?

Царь. Да кто это?

Горе. Я.

Царь. А кто ты?

Горе. Сам звал, а спрашиваешь. Горе твое.

Царь (*смотрит по углам*). Да где же ты?

Горе (*выходя*). Тута. Я все время с тобой. Со вчерашнего дни. Угости, царь, чайком. Озябла я. (*Садится рядом с Царем.*)

Царь (*опасливо отодвигаясь*). Ну что же, пей. Этого добра у меня покуда еще хватает. Вот только сахарку маловато...

Горе. А я вприкуску.

Царь. Скажи ты мне, старуха, откуда ты на мою голову свалилась, кто тебя во дворец пустил?

Горе. А никто. Ты сам меня привез.

Царь. Да чего тебе от меня надо? У меня и так ничего не осталось — ни казны, ни войска, ни дочки!.. Один я, один, как месяц в небе... Пропаду я с тобой, да и ты у меня не разживешься!..

Горе (*оглядываясь по сторонам*). Это ты, пожалуй, правду сказал. Ничего у тебя не осталось... Плохи твои дела, царь-батюшка, да и мои, кажись, не лучше... Чем же ты меня кормить-поить будешь? Горе-то мыкать умеючи надо. А ведь ты, поди, ни дров нарубить, ни сена накосить, ни воды наносить.

Царь. Не приучен, родимая, не приучен.

Горе. Вот то-то оно и есть! (*Подвигает к Царю свою пустую чашку. Царь, ни слова не говоря, достает штоф и наливает чашку доверху. Горе выпивает, крякает и затягивает песню.*)

Уродилась я на свет,
Горькая сиротка.
Родила меня не мать,
А чужая тетка.

Царь (*сначала подтягивает Горю, потом поет сам*).

Хотел я в море утопиться,—
Вода холодная была.
Хотел я с горя удавиться,—
Меня веревка подвела...

Ну, что, Горе,— выпьем, что ли, еще?

Горе. Отчего не выпить? Горе — оно пьющее!

Оба пьют. Горе пускается в пляс. Царь подплясывает.

(*Пляшет и поет.*)

Горя-горького не спрячет,
Кто со мною поживет.
Горе пляшет, горе скачет,
Горе песенки поет!..

Ух, уморилась... Да и ты, царь-батюшка, еле дух переводишь. Никуда ты не годишься, дед! Ну, видно, надо мне новое место искать.

Царь. Поищи, сердечная, поищи, сделай милость! А не

найдешь, уходи, откуда пришла. Я тебя к себе в гости не звал.

Горе. А меня никто не зовет. Все гонят, только прогнать не могут.

Царь. Да как же от тебя отвязаться, неотвязная?!

Горе. А проще простого. *(Тихо.)* Продай что-нибудь и меня в придачу дай. Так и скажи: «Бери мое добро да горе-злосчастье в придачу». Вот и все.

Царь *(обрадованно)*. «Бери мое добро да горе-злосчастье в придачу». Только-то? Ну, коли так, я от тебя живо отделаюсь! А ну-ка, скороход, кликни ко мне... Тьфу ты, и скороход ушел. Он на ногу скорый... Вот горе, будь ты трижды проклято!.. Простите, я ненароком... Кого же это мне позвать? Эх, забыл совсем! Ведь за дверью-то у меня часовой на карауле стоит, коли тоже не ушел... Эй, солдат! *(Молчание.)* Солда-а-ат!..

Солдат *(стукнув прикладом ружья, из-за двери)*. Здравия желаю, ваше величество!

Царь. Здесь он... Ну, слава тебе господи! Хоть один честный человек нашелся. Вот сейчас мы его!.. *(Горю.)* А ты ступай отсюда, ступай, спрячься за дверь.

Горе-Злосчастье прячется.

Пожалуй-ка сюда, солдат!

Солдат. Слушаю-с, ваше величество! *(Входит.)*

Царь. Как тебя зовут-величают?

Солдат. Тарабанов, ваше величество. Иван.

Царь. Вот что, Тарабанов Иван... А ну-ка, давай сюда твое ружье — я его в угол поставлю. Экие вам тяжелые фузеи выдают — и поднять немысленно! Скажи-ка ты мне, братец, деньги у тебя есть?

Солдат *(удивленно)*. Как не быть. Есть, ваше величество.

Царь. А сколько, к примеру?

Солдат. К примеру, пятак, ваше величество. Да еще с денежкой.

Царь. Э, да ты богач! Слушай-ка, Ваня, купи у меня вот этот перстенек!

Солдат *(улыбаясь)*. Шутить изволите, ваше величество. Нешто он пятак стоит?

Царь. С денежкой. Я его тебе, брат, задешево уступлю ради беспорочной твоей службы. Другому бы не продал ни за какие деньги!

Солдат. Покорно благодарим, ваше величество. Только нам этот перстенек ни к чему!

Царь. Как это — ни к чему?

Солдат. Да он мне ни на один палец не налезет.

Царь. Экий ты несговорчивый!.. Ну, хочешь, я тебе саблю свою продам? Видишь, золотая, алмазами усыпанная!

Солдат. Нешто тоже за пятак?

Царь. За пятак!

Солдат (*любуясь саблей*). Что и говорить, дешево...

Царь (*тихо*). Бери мое добро...

Солдат (*возвращая саблю*). Прошу прощенья, ваше величество, а только нам не подходит.

Царь. Почему же не подходит?

Солдат. Не казенного образца!

Царь. Эх, ничем-то тебе не потрафишь, ничем небя не удивишь! (*Задумывается.*)

Солдат. Разрешите идти, ваше величество?

Царь (*испуганно*). Что ты, что ты! Куда?.. Хочешь, я тебе корону мою продам? Ей-богу, продам! А? (*Снимает с головы корону.*)

Солдат. Полноте, ваше величество!

Царь. Ей-ей, продам, только бери да деньги плати!

Солдат. Нет, ваше величество, не покупаем, не по купцу товар.

Царь. Да ты что, спятил? Короны не берешь!

Солдат. А что в ней — извините, ваше величество,— проку? От дождя головы не укроет, а носить тяжело,— поди, кованая!

Царь. Дурак ты, дурак! От короны отказываешься... Что же мне с ним делать? (*В задумчивости вынимает из кармана золотую табакерку со своим портретом, короной и вензелем, нюхает табак и чихает.*)

Солдат. Доброго здоровья, ваше величество!

Царь. Спасибо, служивый! (*Хитро.*) А не хочешь ли и ты моего табачку отведать? А?

Солдат. Дозвольте, ваше величество, ежели на то ваша милость будет. (*Нюхает табак, чихает.*)

Царь. Ну что, каков табачок? Он у меня заморский, высший сорт.

Солдат. Славный табачок. Ничего не скажешь.

Царь (*заглядывая ему в глаза*). А хочешь — я тебе всю табакерку мою за пятак продам? Всю как есть, с табачком!

Солдат. Покорно благодарю, ваше величество! От табаку солдат никогда не отказывается!

Царь. Доставай деньги! Да поживее!

Солдат медлит.

Ну, за чем дело стало?

Солдат. Покорнейше прошу прощенья. Только без расписки нам никак нельзя.

Царь. Какой еще расписки?

Солдат. Ну, насчет того, что табакерочка эта у меня купленная, а не краденая. Ведь на ней и вензель царский, и корона, и портрет во всех орденах и с кавалерией. Кто же поверит, что она мне безо всякого мошенства досталась?

Царь. Ладно уж, будь по-твоему. *(Пишет расписку.)* «Дана сия расписка солдату действительной службы...» Как звать-то тебя?

Солдат. Я уже докладывал вашему величеству: Тарабанов Иван.

Царь. Мне только и помнить, как тебя крестили! Других делов нет... Ну ладно. *(Пишет.)* «Ива́нову Тарабану...» Тьфу ты! «Тарабанову Ивану в том, что приобрел он у меня золотую табакерку...»

Солдат. С портретом и вензелем.

Царь. Не сбивай!.. Нешто я тебе писарь, чтобы шибко писать? «С портретом и вензелем...

Солдат. За пять коп. медной монетой.

Царь. «За пять коп. медной монетой. В чем своеручно и подписуюсь: царь Дормидонт Седьмый». На́, получай.

Солдат. Виноват, ваше величество, не годится!

Царь. Почему же это опять не годится?

Солдат. Печати казенной нет.

Царь. Экий ты привередливый, братец. Мало тебе моей царской своеручной подписи! Ну, будь по-твоему. Вот тебе и печать. *(Прикладывает к бумаге перстень с печатью.)* Давай пятак!

Солдат. Пожалуйте, ваше величество!

Царь *(вполголоса)*. Бери мое добро да горе-злосчастье в придачу.

Появляется Начальник стражи.

Начальник стражи. Ваше царское величество! Разрешите доложить: собственные вашего величества полки выведены на плац-парад и к высочайшему смотру готовы! Прикажете подать карету?

Царь. Подавай!

Издали доносятся звуки торжественного марша. Из боковых дверей вереницей входят придворные и солдаты почетного караула. Царю подают мантию, и он величаво удаляется в сопровождении свиты и караула.

Солдат. Ну, царю на парад, а мне в поход пора!.. Что это он тут сказал? Про какое-такое горе-злосчастье?

Горе. Это он про меня, служивый!

Солдат. А ты кто же будешь?

Горе *(показываясь)*. Я — твое горе-злосчастье.

Солдат. Мое горе-злосчастье? Да откуда же ты, бабка, взялась?

Горе. А меня царь в придачу тебе дал. К табакерочке.

Солдат. Вот оно что!.. Ай да царь! Пожаловал за беспорочную службу.

Горе. Теперь я за тобою повсюду ходить буду.

Солдат. Ну и ходи себе. Только есть-пить не проси. У меня жизнь походная. О тебе заботиться не стану.

Горе. А что же ты не печалишься?

Солдат. А чего мне печалиться?

Горе. Ну, что с горем связался.

Солдат. Эка невидаль! Не я первый, не я последний. Да мне в походе о тебе и думать недосуг будет. Как говорится, лихо дело — полы шинели подоткнуть, а там — пошел!

Горе *(беспокойно)*. А ты когда ж это в поход собираешься?

Солдат. Ты что же, не слышала! Три королевства нам войну объявили. Вот бляху да пуговицы вычищу и пойду.

Горе. Не смей, солдат, в поход ходить! Я люблю дома жить, на печи сидеть да охать.

Солдат. Ничего, со мной ко всему привыкнешь — и к холоду и к голоду... Знаешь небось: воевать — так не горевать, а горевать — так не воевать!

Горе. Ох, служивый, ты мне не товарищ! Так и быть, научу я тебя, как от меня отделаться. Хочешь?

Солдат. Как не хотеть! Хочу.

Горе *(тихо)*. Ты меня кому-нибудь обманом навяжи — в придачу дай. Как царь тебе дал, так и ты...

Солдат. Ну вот еще! Стану я из-за тебя стараться, людей обманывать. *(Усмехаясь.)* Живи со мной, ты мне не мешаешь.

Горе. Служивый! Родименький! Отдай меня кому-нибудь — беспокойно мне у тебя будет!

Солдат. Ишь как солдатского житья испугалась! Нет уж, я тебя никому не отдам.

Горе. Солдат, голубчик, пожалей ты меня!

Солдат. Да я тебя не держу. Я только из-за тебя людей губить не хочу.

Горе. Худо тебе со мной будет, ой, худо! Вон гляди — у ружья твоего затвор уже сломался!

Солдат. Верно, сломался. Вот горе-то какое! Ну, да не беда, починить можно.

Горе. Тебе все не беда. А что, ежели тебя самого на войне искалечат — руки-ноги оторвут? Тогда что?

Солдат. И без рук, без ног люди живут.

Горе. А ежели и без головы останешься?

Солдат. Ну, значит, голова болеть не будет.

Горе. У тебя все шутки да прибаутки на уме. Ой, погоди, скоро заплачешь!

Солдат. Это я-то заплачу? Ну, мы еще посмотрим, кто из нас раньше заплачет! *(Открывает табакерку, нюхает и чихает несколько раз подряд.)*

Горе. Вот ты уже и плачешь! Хе-хе! Гляди, слезы у тебя по щекам в три ручья текут. Со мной всякий заплачет — на то я и горе-злосчастье!

Солдат. Ой, не хвались! Не от тебя у меня слезы текут, а от табаку царского. Крепок больно. Заморский сорт. Коли бы ты его понюхала, так и у тебя бы небось слезы рекой потекли.

Горе. Нет, брат, я никогда не плачу. От меня плачут.

Солдат. Врешь, от этого табачку и тебя бы пробрало.

Горе. Ан нет! Ну, давай на спор. Открой свою коробочку.

Солдат. Так я тебе и открыл! Я небось за этот табачок платил пятачок, а ты даром нюхать хочешь.

Горе. Не смей, солдат, перечить мне! Уж если я чего захочу, так не отстану, покуда по-моему не будет. Комариком оборочусь, а в коробочку твою заберусь.

Солдат. Комариком?

Горе. Комариком.

Солдат. Заберешься?

Горе. Заберусь.

Солдат. Других обманывай, а я не поверю, покуда своими глазами не увижу.

Горе. Ну, смотри! Приоткрой крышку — только самую узенькую щелочку оставь.

Солдат. Ладно. Этакой довольно с тебя?

Горе. Еще чуток! Довольно. Ну, смотри! Раз!.. Два!.. Три!..

На сцене темнеет. Горе-Злосчастье исчезает. В темноте искоркой пролетает золотой комарик.

Солдат. Есть!

На сцене опять светло.

(Захлопывая крышку.) Ну вот, теперь и сиди себе в табакерке, нюхай заморский табачок на здоровье! Что, чихаешь? На волю просишься? Нет уж, я тебя не выпущу. Дорого мне царский табак обошелся — нюхай теперь ты его. *(Подносит табакерку к уху.)* А? Что? Будь здорова! Чего? Еще раз будь здорова!.. Ну, на всякое чиханье не наздравствуешься! Спрячу-ка я табакерочку в карман и до тех пор не выну, пока домой из похода не ворочусь. Говорят, солдат черта год со днем в тавлинке проносил. Да не солдат пардону запросил, а черт...

Издалека доносится музыка.

Эх, жалко, с матушкой и Настей проститься не пришлось. Доведется ли свидеться? Матушка стара, немощна, а Настя не своей волей живет, своей судьбе не хозяйка. *(Напевает что-то без слов, в лад музыке.)* Ну, да авось горе не беда! Живы будем — встретимся, а помрем — другим долго жить прикажем. Шагом марш! *(Вскидывает ружье на плечо и запевает.)*

Раз, два,
Горе не беда,
Шла в поход пехота,
Брала города!

Прощай, родимая сторона! *(С песней уходит.)*

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Большая светлая горница. Посередине стол, празднично накрытый. Настя сидит у окна и шьет.

Настя *(поет)*.

По реке, реке просторной
Лебедь белая плывет,
А из рощи ворон черный
Лебедь белую зовет:

— Полно, лебедь, жить на воле.
Полно плавать по воде.
Поживи в тепле и холе
С черным вороном в гнезде.

— Любо жить в тепле и холе,—
Лебедь ворону в ответ,—
Но милее вольной воли
Ничего на свете нет!

Голос *(за окном)*. Желаю здравствовать, хозяева! Дозвольте солдату воды напиться. Издалека иду.

Настя. Сейчас вынесу. А то зайди, служивый, передохни малость.

Голос. Покорно благодарим. Коли не помешаю, зайду.

Настя несет воду. В дверях сталкивается с Солдатом.

Солдат. Настенька!

Н а с т я. Ва́нюшка!

С о л д а т. Вот не думал, не гадал. Здравствуй, Настенька, здравствуй, голубушка!

Н а с т я. Здравствуй, родной ты мой, цел ли, здоров ли с войны воротился?

С о л д а т. Живем покуда. И на том спасибо.

Н а с т я. А уж как я тебя ждала, Ва́нюшка,— не то что дни, минутки считала. Покуда матушка твоя жива была, все к ней бегала, все спрашивала, нет ли весточки, а как померла она, с той поры и спросить про тебя не у кого стало. Проснешься ночью и думаешь: может, он на́ поле раненый лежит и некому его водой напоить, некому рану перевязать. И не чаяла уж, что увидимся!

С о л д а т. Ты что же, в услужении здесь живешь, в хоромах этаких?

Н а с т я. Нет, дома, у дяди. Уж так я рада тебе, слов не найду! Да ты сними шинель, а сам к столу присядь. Устал, верно, проголодался?

С о л д а т. Настенька, давай лучше сюда сядем, в уголок. Этот стол не для прохожего солдата накрыт. *(Пьет из ковша.)* Ох, и вкусна водица родная, слаще меду! *(Ставит сундучок на пол.)* А что, дядя твой в дворниках здесь служит или дом сторожит?

Н а с т я. Нет, он этому дому хозяин.

С о л д а т. Вон как! С чего же это он разбогател? Клад в лесу нашел, что ли?

Н а с т я. Клад не клад, а вроде того. С веревочки дело пошло.

С о л д а т. Как же это так — с веревочки?

Н а с т я. Понадобилась купцу одному веревочка, а дядя в это время дерево в лесу рубил. Снял он с себя подпояску да и продал купцу за алтын.

С о л д а т. Алтын — деньги небольшие.

Н а с т я. Да не в алтыне дело, а в том, что дядя купцу этому горе-злосчастье свое в придачу дал. Ведь от горя-то, от злосчастья только так и можно избавиться — с себя снять и другому навязать.

С о л д а т *(усмехаясь)*. Это-то я знаю.

Н а с т я. Знаешь? Ты? Да откуда же?

С о л д а т. А потому знаю, что мне самому горе-злосчастье в придачу дали. Да-да, Настенька. Оно и сейчас при мне.

Н а с т я *(всплескивая руками)*. Ва́нюшка! Да неужто тебе оно досталось?

С о л д а т. А кому ж, как не мне? Вот в этом кармане и ношу его. Под солдатской шинелью ему и место. *(Достает из кармана завернутую в платок табакерку и подносит ее к уху.)* Ну как, чихаешь? То-то же! Будь здорова! *(Задумчиво вертит*

табакерку в руке.) На войне с горем был и домой не без горя воротился.

Настя. Вот несчастье-то какое! Ну и что же — много ты бед вытерпел?

Солдат. Много, Настя. Всего и не расскажешь! Говорят, веселое горе — солдатское житье. Да только я горю-злосчастью воли не даю. *(Встряхивает табакерку.)* У меня, знаешь, порядок строгий, военный. Захирело оно у меня в табакерочке,— еле дышит, а сколько может — досаждает. И в походе я немало с ним натерпелся, и домой пришел, как на чужую сторону. Матушка померла, дом развалился...

Настя. Что ж ты горе с рук не сбудешь, Ваня? Дяде-то моему ведь вон как повезло с тех пор, как он с горем расстался. Может, и нам с тобой повезет?

Солдат. Эх, Настя! Сколько раз хотел я его в чужие руки передать, да совести не хватает. Ну, думаешь иной раз, отдам его первому, кого встречу, довольно мне с ним маяться, а поглядишь на встречного человека — и мимо пройдешь. Да посуди сама: могла бы ты кому-нибудь горе обманом навязать?

Настя *(подумав)*. Нет, не могла бы.

Солдат. Вот то-то и оно! Видно, связаться с горем проще простого, а избавиться от него не так-то легко... Одна только у меня радость, что с тобой встретился.

Настя. Ох, и от меня радости тебе не будет!..

Солдат. А что — разлюбила?

Настя. Полно, Ваня! Люблю по-прежнему, да нет — больше прежнего. А только выдают меня против воли замуж... Видишь, стол накрыт? Будет у нас нынче пир — не то новоселье, не то обрученье.

Солдат. Вот оно — мое горе-злосчастье! Никуда от него не денешься!

Настя. Гляди, дядя домой с базара возвращается. Ох, увидит он тебя — беда будет!

Солдат. Что же, он от богатства-то добрее не стал?

Настя. Куда там! Еще злее... А ты оставайся, Ваня, оставайся. Пусть дядя со мной что хочет делает! Хоть нагляжусь на тебя вволю.

Входит Дровосек, одетый по-купечески. За ним мальчик вносит большую корзину с покупками и тут же уходит.

Дровосек *(ставя на стол закуски и бутылки)*. Что ж ты не приоделась, Настасья? Того и гляди, гости к нам нагрянут, а ты замарашкой ходишь. Э, да у тебя, вижу, уже есть гость!

Солдат. Здравия желаю, Андрон Кузьмич!

Дровосек. Здоро́во, служба! Только кто ж ты такой будешь? Личность будто знакомая, а признать не могу.

Солдат. Первой роты запасного стрелкового полка отставной рядовой Тарабанов Иван.

Дровосек. Тарабанов? Иван?.. Воротился, стало быть? И пуля не взяла, и штык не настиг! Вот не думали, не гадали... Ну да ладно, садись за стол, коли уж пожаловал. А ты, Настасья, поторапливайся,— чай, у тебя теперь есть во что принарядиться. Да чего ты ревешь, глупая, с радости или с печали?

Настя. И с радости, и с печали. *(Уходит.)*

Дровосек. Что ж, садись, солдат. У нас на всех хватит — на жданных и нежданных, на званых и незваных.

Дровосек и Солдат садятся за

Так, значит... *(Насмешливо.)* Повезло же тебе, брат Тарабанов! К самой свадьбе подоспел. Замуж я племянницу свою выдаю — и не за кого-нибудь, а за первой гильдии купца Поцелуева. Слыхал небось? Его все знают. Семь лавок в гостином ряду!

Солдат. Вон что!.. Значит, поздравить вас надо, Андрон Кузьмич. Семь лавок — дело нешуточное.

Дровосек. А я и сам в купцы выхожу, вперед гляжу, а назад не оглядываюсь.

Раздается песня. В открытое окно заглядывают гости: Старик с медалью на груди, его жена — Старуха в чепце и в цветной шали, Молодой купчик в поддевке и сапогах, тощий, лысый Подьячий, его толстая жена — Подьячиха и другие.

Гости *(поют)*:

Мне не спится, не лежится,
Сон-дремота не берет.
Я пошел бы к Насте в гости,
Да не знаю, где живет.

Дровосек. Добро пожаловать, гости дорогие, милости просим. Заходите в избу!

Гости входят.

Старик с медалью. Честь имеем поздравить вас, Андрон Кузьмич!

Старуха в чепце и в цветной шали. Жить гладко, пить-есть сладко! *(Подает прикрытый полотенцем пирог.)*

Подьячий. Здравствовать вам, Андрон Кузьмич, век да еще сто лет! *(Подает сахарную голову.)*

Подьячиха. А Настасье Васильевне под злат венец стать, дом нажить, детей водить.

Молодой купчик *(лихо вкатывая бочонок)*. Э-эх! Где пировать, там и пиво наливать!

Дровосек. Благодарствуйте, гости дорогие. Милости про-

сим нашего хлеба-соли откушать! *(Солдату.)* А ты подвинься малость, Тарабанов!

Солдат отодвигается. Рядом с хозяином садятся Старик с медалью и его жена.

Не прогневайся, служивый, подвинься еще маленько! Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Солдат. Что ж, мы подвинемся. Известно,— где тесно, там солдату и место.

Гости рассаживаются, постепенно сдвигая Солдата на самый край скамьи.

Старик с медалью. А почему это невесты и жениха за столом нет, Андрон Кузьмич?

Дровосек. Жених издалека едет, а невеста хоть дома, да, видно, еще принарядиться не успела.

Слышен громкий звон бубенцов.

Вон кто-то с бубенцами едет! Не кто, как он, Силуян Капитонович.

Молодой купчик. Он, он самый! Поцелуевская тройка за три версты слышна.

Подьячий. Генерал — и то с таким звоном не ездит!

Старуха в чепце и в шали. Да что там генерал! У самого фитьмаршала этаких бубенцов нет!

Входит купец Силуян Капитонович Поцелуев.

Купец. Андрону Кузьмичу мое почтение. Всей честной компании — низкий поклон! *(Едва кивает головой.)*

Дровосек. Добро пожаловать, Силуян Капитонович, только тебя и ждем. *(Солдату.)* Подвинься еще чуток, Тарабанов. Честь и место, Силуян Капитонович.

Солдату подвигаться больше некуда. Он встает со скамьи и стоит, прислонившись к стене.

Молодой купчик. Ну и сокол наш Капитоныч!

Подьячиха. Орел!

Купец. А что же это Настасьи Васильевны не видать?

Дровосек. Сейчас будет. Небось все перед зеркалом вертится — жениху приглянуться хочет. Настя! Настасья! Ты что это там замешкалась?

Старуха в чепце и в цветной шали. А вот мы с кумой сейчас ее приведем. Пойдем, кума.

Подьячиха. И верно, пойдем. Уж такое ихнее дело девичье — без стеснения им никак нельзя. Иную и вчетвером к свадебному столу не вытащишь, хоть волоком волоки. Меня пять человек тащило.

Подьячий. Ох! И хороша была девка, покуда я на ней не женился!

Обе женщины уходят и сейчас же возвращаются.

Подьячиха. Ведём, ведем!

Появляется Настя. Она нарядно одета, но идет медленно, опустив голову, словно не на обручение, а на поминки.

Купец. Привет и поклон, Настасья Васильевна. Примите от нас подарочки. К обрученью — малый гостинец, к свадьбе — побольше будет. *(Открывает две выложенные бархатом коробочки.)*

Старуха в чепце и шали. Ай да сережки! Ай да перстенек! Самой царевне надеть не стыдно.

Подьячиха. А чем у нас Настасья Васильевна не царевна? *(Вполголоса.)* Только что до прошлого года в лапотках ходила!

Настя. Спасибо вам, Силуян Капитоныч, за привет да ласку, а только ваших подарков мне не надо. *(Отодвигает коробочки.)*

Купец. Аль не угодил?

Старуха в чепце и шали. Да где же это видано, чтобы невеста от жениховых подарков отказывалась?

Настя. Я — не невеста. А Силуян Капитоныч, может, и жених, да не мой.

Подьячиха. А ведь нас, кажись, на обрученье звали?

Настя. Нет, на новоселье.

Дровосек. Не ты звала, я звал, а уж я-то знаю, на что зову. Ну, а за подарки премного благодарим. *(Прячет коробочки в карман.)* Садись, Настя, подле Силуяна Капитоныча. Вот и весь мой сказ. Угощай дорогих гостей.

Настя. А почему же моего гостя за стол не посадили?

Солдат. Нам, Настасья Васильевна, не впервой стоять. То за родную землю стояли, а теперь и за себя постоим.

Дровосек. Вот нелегкая принесла этого солдата окаянного!.. Ох, горе-злосчастье!..

Старик с медалью. Зря вы горе на радостях поминаете, Андрон Кузьмич! Выпьем-ка лучше за жениха и невесту!

Настя. Ну, коли так, благодарствуйте на добром слове. Кланяйся, Ва́нюшка,—за нас с тобой пьют! *(Берет у Купца из рук стакан с вином и передает Солдату.)*

Старуха в чепце и шали. Вот тебе и раз!

Подьячиха. Батюшки!

Купец. Это что же такое?..

Дровосек. Опомнись, Настасья. Ума ты решилась, что ли?

Настя. Нет, дядюшка, в ум пришла!

Старик с медалью. Мое дело сторона, но только вы себя и дядю вашего напрасно срамите, Настасья Васильевна. Мы-то люди свои, а ведь вон сколько чужого народу в окна заглядывает! Прикрыл бы ты лучше ставни, сосед.

Старуха в чепце и шали. А вы, душенька, одумайтесь. К вам почтенный человек, купец первой гильдии сватается, подарки дорогие вам дарит, а вы невесть кого женихом называете.

Солдат. Как это невесть кого? Я — солдат.

Старик с медалью. Солдат, солдат!.. Вот то-то, что солдат. У тебя, поди, ничего и за душой нет.

Солдат. Ан есть! Целых пять ран — две колотые, две рубленые, одна огневая навылет.

Старик с медалью. Что там раны! Рану получить всякий может, а вот состояние нажить — это потруднее будет. Верно я говорю? Дело не в ранах, а в карманах.

Солдат. Ну и в кармане у меня кой-что найдется.

Подьячий. А что, медная полушка да табаку осьмушка?

Солдат. Табаку-то осьмушка, а может, и того меньше. А вот не угодно ли на табакерочку мою полюбоваться? (*Достает табакерочку.*)

Подьячиха. Ох ты! Святители-угодники! Да ведь это, никак, чистое золото!

Старуха в чепце и шали. Червонное золото!

Подьячий. Девяносто шестой пробы.

Старик с медалью. Да что проба! Гляньте-ка, гляньте! Тут и алмазы, и яхонты, и личность царская!

Дровосек. И корона государская!

Старик с медалью. Постой-ка, парень, постой... Видно, у тебя руки-то с ящичком. Откуда у тебя этот предмет?

Солдат. А это уж мое дело.

Старик с медалью. Нет, брат, не твое. Короны да портреты царские на улице не валяются! Андрон Кузьмич, да что ты смотришь? Как бы и нам с тобой за этакие дела в ответ не попасть!

Дровосек. Ох ты, горе, горе-злосчастье! Что ж нам делать-то?

Подьячий. А отправить его куда следует. Там уж разберутся!

Настя. Полно вам! Что вы все на него напустились? Что он вам сделал?

Дровосек. Ты помалкивай, девка! Сама с ним пропадешь и нас погубишь. Злодей он, твой солдат, казну царскую ограбил, не иначе. А то откуда же у него такая драгоценность бесценная?

Солдат. Откуда? За пятак купил.

Купец. Вон оно что! Это где же такие табакерки по пятаку продают? Скажи и нам, сделай милость,— мы, пожалуй, сотенку-другую купим!

Солдат. А я тебе эту продам. Хочешь? *(Протягивает табакерку.)*

Купец. Нет-с, краденого не покупаем.

Солдат. Зачем краденое? Сказано тебе, я на свои деньги купил.

Старик с медалью. У кого же это?

Солдат. А вот чья личность на портрете, у того и купил.

Все на мгновенье замирают.

Старик с медалью *(переводя дыхание)*. Вон он куда метит! Слыхали? Личность-то ведь царская!

Молодой купчик. Ах ты, невежа!

Подьячий. Да за такие речи полголовы бреют и лоб клеймят. *(Проводит ребром ладони по своей лысине.)* Вяжи его!

Молодой купчик. Руки ему назад крути!

Настя. Ва́нюшка! *(Бросается к Солдату.)*

Дровосек. Уведите вы ее отсюда! Уберите!

Старуха в чепце и шали. Иди, иди, девушка! Не место тебе здесь!

Подьячиха. Не наше это дело, не женское!

Выталкивают Настю в другую комнату.

Молодой купчик. А ну-ка, все разом! Хватай его!

Солдат *(отбиваясь)*. А ты подальше держись! *(Отбрасывает нападающих.)* Так я вам и дался!

Купец *(поднимаясь с места)*. Эх, видно, и мне руку приложить! *(Наваливается на Солдата всей тяжестью.)*

Другие связывают Солдату руки и волокут его к двери.

Вали его прямо в мой тарантас. Живо домчим.

Старик с медалью. К приставу, что ли?

Подьячий. Да чего там — к приставу? В приказ разбойный!

Старик с медалью. К самому главному генералу царскому!

Дровосек. Зачем к генералу! Везите прямо во дворец к царю!

Солдат. Ну, к царю — так к царю! Давно мы с его величеством не видались!

Связанного Солдата уносят на руках.

Настя *(выбегая из другой комнаты)*. Ва́нюшка!.. Ва́нюшка!..

КАРТИНА ВТОРАЯ

Царские палаты убраны богаче прежнего. Где было серебро, там теперь блестит золото. Трон стал выше, над ним балдахин — алый бархат, подбитый горностаем. На стенах старые портреты в новых рамах. У изображенных на портретах царей как будто прибавилось лент, звезд, золотого шитья.

Царевна Анфиса, пышно разодетая, сидит в мягком кресле и мотает шелк. Заморский королевич держит на растопыренных пальцах моток ниток.

Дряхлый Сенатор, Казначей и две придворные дамы, сидя друг против друга, играют в карты (в «пьяницы»). Время от времени они переговариваются: «Моя взятка.— Ваша.— Моя.— Ваша.— Опять моя.— Опять ваша». Царь тоже занят игрой. Перегнувшись через подлокотник трона, он играет в шашки с Генералом. Откуда-то слышится музыка. Разносят фрукты.

Царь (*подпевает*). Тру-ту-ту, трам-та-там, ту-ту-ту! (*Генералу.*) Да чего ты зеваешь, генерал в отставке? Нарочно, что ли? Ведь мы с тобой, братец, не в поддавки играем, а в крепки. Вот я сейчас две свои пешечки разом в дамки выведу, а твою запру. Что ты тогда скажешь?

Генерал (*разводит руками*). Что поделаешь! Вы, ваше величество, коли соизволите, любую пешку в первый ряд выведете и любую запереть можете. На то ваша царская воля.

Царь. Ты не подъезжай, не подъезжай. Я тебе не король Сардинский. Сперва оправдайся, а потом и награждения проси.

Генерал (*складывая руки*). Ваше величество, помилуйте! Разве я о чем прошу? Уж тем счастлив, что у ступенек вашего трона пребывать удостоен, в шашечки с вами играть.

Царь. В шашечки... в шашечки... А изменять будешь?

Генерал. Закаялся, ваше величество. В последний раз изменил, да и то не вам, а королю Сардинскому. Жалованье с него за три месяца вперед взял да на вашу сторону и подался.

Царь (*смеется*). Ох, плут! Ох, плут!.. Слышишь, Анфиса? За три месяца!

Анфиса. Слышу, батюшка. Только вы ему, обманщику, нипочем не верьте. Видите, я своему изменнику руки связала, на ниточке его держу. И вы своего покрепче держи́те, чтобы не улетел куда.

Придворные дамы смеются.

Заморский королевич (*оживленно жестикулируя опутанными руками*). Мой дорогой Анфис, я тепер никуда не улеталь. Я есть ваш тетере́фф. Мой ляпка завьязан, ви может стрелиль на само сэрдце. Пожальста!

Анфиса. «Пожальста» да «пожальста», а все нитки у меня спутал. Минуточки спокойно посидеть не может. Тетере́фф!.. Нет, видно, тебя ничему не обучишь, только плясать и горазд.

Эй, скрипачи, трубачи, сыграйте что-нибудь повеселее. Ну, приглашай меня на танец!

Царь (*отбивая ногой такт*). Эх, и нам, может, потанцевать? Зря, что ли, музыканты стараются! Господа придворные, а ну!.. Фигура первая... Фигура вторая... Фигура третья...

Все танцуют, повторяя движения Царя. Входит Начальник стражи.

Начальник стражи. Ваше царское величество! Ко двору купцы прибыли.

Царь. Свои или чужеземные?

Начальник стражи. Свои, ваше величество!

Царь. Ну, коли свои, так нечего о них и докладывать. Только с ноги сбил зря.

Начальник стражи. Ваше величество, я не стал бы докладывать, да они говорят, будто разыскали и ко двору доставили дерзостно похищенную у вашего величества драгоценность бесценную.

Царь. Драгоценность, говоришь?

Начальник стражи. С короной, гербом и портретом.

Царь. Ну, коли так, зови их сюда.

Музыка умолкает. Танцы прекращаются. Входят Купец и Дровосек. За ними вводят Солдата.

Купец (*кланяясь Царю в ноги*). Ваше величество, царь-государь, соизвольте всемилостивейше принять от нас сию золотую табакерочку со знаками вашего царского достоинства и с августейшей личностью вашею, на крышке изображенною. (*Подает на подушке табакерочку.*)

Царь (*отстраняясь*). Да нет, это не моя!

Анфиса (*хватает табакерку*). Что вы, что вы, батюшка, это наша табакерка. Ей-ей, наша!

Царь. Погоди, Анфиса! Не встревай! Не встревай!

Анфиса. А чего тут ждать, когда я своими глазами вижу, что наша.

Заморский королевич. О да, наша, наша!

Анфиса. А как же! Я с малых лет ее помню. Бывало, сижу у вас на коленях и гляжусь в нее, как в зеркальце.

Царь. Да когда это было-то! Мало ли у меня с той поры табакерок перебывало!

Анфиса. Много ли, мало ли, а эта наша! Да как же вы, батюшка, ее не признали? Вот тут я еще крышку зубом поцарапала, открыть старалась. Видите? А вы — не наша. Где вы, купцы, эту табакерочку нашли?

Купец (*показывая на Солдата*). У него отняли.

Дровосек. У вора.

Солдат. Ваше величество, дозвольте доложить. Много у вас в государстве воров водится, слов нет, а только я не вор.

Анфиса. Как же не вор, когда табакерку своровал!

Солдат. Не своровал, а купил, ваше высочество.

Анфиса. Купил! Ну, а ежели и купил, так у вора!

Солдат. Никак нет, у его величества сторговал.

Анфиса. Как у его величества?

Солдат. Точно так, за пятак, ваше высочество!

Генерал. Ох, и дерзок, разбойник!

Сенатор. Да в своем ли он уме?

Казначей. Неслыханное дело!

Анфиса. Ха-ха-ха! Табакерку у царя за пятачок купил! Ох, не могу! Ой, сил моих нет! Ха-ха-ха...

Царь. Молчи, Анфиса. А ты, злодей, как смеешь такие слова говорить!

Солдат. Прошу прощенья, ваше величество, а только я дело говорю. Вы, видать, запамятовали, а у меня ваша расписка своеручная имеется — по всей форме, с подписью и с печатью казенной. Ежели угодно, я вам ее сейчас представлю.

Царь. Постой, постой... Будто я и вправду что-то припоминаю.

Солдат. Как не припомнить! Вот на этом самом месте вы, ваше величество, мне еще и перстенек свой продавали, и саблю золотую, алмазами усыпанную, и даже, извиняюсь, вот это... *(Показывает на голову.)*

Царь *(снимая корону)*. Ну, ты, придержи язык, пока голова на плечах!.. А что до табакерки касается, так тут у меня, господа, такая история вышла... Помнится, солдат этот у меня в коридоре на карауле стоял. Ну, я вздумал, скуки ради, подшутить над ним. Взял да и пожаловал ему золотую табакерку, а для смеху пятак с него взял...

Смех.

Верно, верно... *(Смеется.)* Было!

Анфиса. Ну и шутник же вы, батюшка! Ну и забавник!

Все смеются.

Солдат. Ох, ваше величество, может, вы и в самом деле пошутили, а только шутка ваша немало горя мне стоила.

Царь *(мрачнея)*. Ну ладно. Шутки в сторону. Слушай меня, солдат!

Солдат. Слушаю, ваше царское величество!

Царь. Поди-ка сюда! *(Отводит Солдата в сторону. Анфиса, Заморский королевич и придворные следуют за ними, но Царь оглядывается, и они отступают.)* Вот что, солдат, ты эту... расписку мою здесь оставь, а сам ступай на все четыре стороны.

Да только смотри — лишнего не болтай! На этот раз я тебя, так и быть, прощаю, а в другой раз, чего доброго, и голову сниму, коли что услышу. Понял?

Солдат. Понял, ваше величество. Как не понять! Вот вам и расписочка ваша. А только вы мне извольте мой пятачок назад отдать.

Царь. Казначей! Выдать ему полтину.

Солдат. Нет, ваше величество, пятачок!

Царь *(смеясь)*. Эх, Иван-простота! Да пятачка, поди, во всем моем дворце не найти.

Солдат. Как не найти? А мой-то пятачок куда у вас делся? Ведь вы, ваше величество, поди, на всем готовом живете, а мне пятак пригодится — деньги небольшие, да заработанные.

Царь. Ну, уж ладно. Будь по-твоему. Нет ли у кого здесь денег медных?

Сенатор. Нет, ваше величество, у меня, как на грех, все золотые.

Генерал. А у меня бумажные, ваше величество.

Начальник стражи. А у меня, ваше величество, серебряные.

Казначей. Не прикажете ли послать в казначейство за мелкой монетой?

Царь. Экие вы все богачи — медных денег не держите. Погодите, а у меня, хоть я и царь, кажись, одна копеечка найдется. Давеча мы с королевичем в орла и решку играли...

Заморский королевич. Да-да, ороль и орэшка.

Царь. Вот тебе, солдат, копейка, коли полтины не захотел.

Солдат. Мало, ваше величество. Извольте четыре копеечки додать.

Царь. Да откуда же я их тебе возьму?

Дровосек. Ваше величество! Есть у меня алтын. Берегу его, как память дорогую, с него весь мой достаток пошел, а для вашего величества не пожалею.

Царь. Давай, давай сюда твой алтын. С миру, говорят, по нитке — голому рубашка... Ну, солдат, вот тебе четыре копейки, одна за мной.

Солдат. Помилуйте, ваше величество, нешто меня в другой раз сюда пустят — за этой копейкой? Нет уж, давайте сейчас, как говорится, чистоганом.

Купец. Всемилостивейший государь. Осмелюсь доложить, и у меня копеечка медная в кармане отыскалась. Для бедных держу. Соблаговолите принять!

Царь. Давай ее сюда! Ну, солдат, собрал я для тебя пятак. *(Пересчитывает на ладони.)* Копейка моя, копейка купцова, три копейки стариковы. *(Отдает деньги.)* Что, в расчете?

Солдат. Покорно благодарим, ваше величество! Извольте

получить вашу расписку! *(Вполголоса.)* Берите мое добро и горе-злосчастье в придачу!

Царь. Что, что ты там говоришь?

Солдат. Счастья вашему величеству пожелал.

Царь. Ладно, ступай, да помни, что тебе сказано, что заказано.

Солдат. Слушаю, ваше величество, ничего не забуду!

Царь. А табакерку ему отдайте! Зачем у него отымать — жалованная.

Анфиса *(тихо)*. Так я и отдала!

Анфиса за спиной передает табакерку Заморскому королевичу, тот — Сенатору, Сенатор — Казначею и т. д. Последним получает табакерку Генерал.

Царь *(читает расписку)*. «Дормидонт Седьмый...» Верно, та самая! Ну, отставной рядовой, как тебя там!

Солдат. По-прежнему, ваше величество,— Тарабанов Иван.

Царь. Востер ты, Тарабанов Иван, как погляжу. А теперь слушай команду! Налево кругом — шагом арш!

Солдат уходит.

(Рвет расписку на мелкие кусочки.) Вот и шути с дураком,— он тебя на весь свет ославит... Ох, что-то мне будто не по себе!.. И свечи темно горят, и в глазах мелькание...

Купец. Да и меня в пот ударило...

Дровосек. Ой, тошнехонько! Света белого не вижу...

Генерал. Не угодно ли вам, ваше величество, табачку понюхать? Очень мозги прочищает. *(Протягивает Царю табакерку.)*

Царь. Да что это? Табакерка! Откуда? Нешто солдат ее не взял?

Генерал. Никак нет, ваше величество. Мы ее для вас сберегли. Солдату-то она не по носу. Извольте понюхать!

Царь. Да ну ее! *(Отталкивает табакерку.)*

Табакерка падает и раскрывается. Раздается удар грома, и сразу темнеет. Когда тьма рассеивается, посреди комнаты на троне оказывается Горе-Злосчастье.

Горе. Апчхи! Здоро́во, приятели! Давно не видались!.. Апчхи, апчхи!

Дровосек. Сила крестная! Оно... Оно самое... Горе-злосчастье! Аминь, аминь, рассыпься!

Купец. Караул! Чур, меня. Чур-перечур!..

Царь. Батюшки! Да что ж это? Да кто ж это?

Горе. Апчхи! Не узнали, видно? Горе я, злосчастье ваше!

От сильного порыва ветра распахиваются окна. Блещет молния. Все в ужасе замирают.

Царь. Вот тебе и раз! Как же это так? Ведь я от тебя, Горе, отвязался — в придачу дал!

Горе. В придачу и получил. Только одного тебя мне теперь мало. Изголодалась я, иссохла, в табакерке сидючи... Ух! Так бы и съела вас всех!..

Анфиса. Ай, ай, ай! *(Убегает.)*

За ней убегают Заморский королевич, Генерал и все придворные.

Царь. Стойте! Куда вы? Помогите с места сойти!.. Анфиска! Амельфа! Хоть руку подайте!.. Убежали, а я будто к полу прирос...

Купец. И мне ног от земли не оторвать!

Дровосек. Будто смола под сапогами...

Царь, Купец и Дровосек *(вместе)*. Ох, горе-злосчастье, горе-злосчастье!

Горе. Здесь я, здесь, родимые! С вами! Кто за табакерку платил, у тех и в табачке доля есть. Н-но! Поехали в тартарары!

Царь, Купец, Дровосек и Горе-Злосчастье проваливаются. Дворец освещается зловещим заревом. По просцениуму, спасаясь, пробегают Анфиса, Заморский королевич, Генерал и вся придворная челядь.

Зарево сменяется ясным дневным светом. На сцене — опять празднично накрытый стол. За ним сидят Настя, Солдат, парни и девушки — соседи. Слышится заздравная песня:

Запирай ворота́
За родней богатой,
Идет сирота
Замуж за солдата.

Не за вдового купца,
Важного и чванного,—
За солдата-молодца
Ваню Тарабанова.

Разлетелось, точно дым,
Горе да злосчастье.
Пожелаем молодым
Мира и согласья!

Настя. Благодарствуйте на добром слове, гости дорогие. Пусть всем нам живется, как песня поется!

Солдат. Было у нас горе, будет и счастье. Горя бояться — счастья не видать!

Занавес.

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

ДРАМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Старуха-мачеха.
Дочка.
Падчерица.
Королева, девочка лет четырнадцати.
Гофмейстерина, высокая, тощая старая дама.
Учитель королевы, профессор арифметики и чистописания.
Канцлер.
Начальник королевской стражи.
Офицер королевской стражи.
Королевский прокурор.
Посол Западной державы.
Посол Восточной державы.
Главный садовник.
Садовники.
Старый Солдат.
Молодой Солдат.
Волк.
Лисица.
Старый Ворон.
Заяц.
Первая Белка.
Вторая Белка.
Медведь.
Двенадцать месяцев.
Первый Глашатай.
Второй Глашатай.
Придворные.
Пажи.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Зимний лес. Укромная полянка. Никем не потревоженный снег лежит волнистыми сугробами, покрывает деревья пушистыми шапками. Очень тихо. Несколько мгновений на сцене пусто, даже как будто мертво. Потом солнечный луч пробегает по снегу и освещает белесо-серую Волчью голову, выглянувшую из чащи, Ворона на сосне, Белку, примостившуюся в развилине ветвей у дупла. Слышится шорох, хлопанье крыльев, хруст сухого дерева. Лес оживает.

Волк. У-у-у! Поглядишь, будто нет никого в лесу, будто пусто кругом. Да меня не надуешь! Я чую — и заяц тут, и белка в дупле, и ворон на суку, и куропатки в сугробе. У-у-у! Так бы всех и съел!

Ворон. Карр, карр! Врешь — всех не съешь.

Волк. А ты не каркай. У меня с голодухи брюхо свело, зубы сами щелкают.

Ворон. Карр, карр! Иди, брат, своей дорогой, никого не трогай. Да смотри, как бы тебя не тронули. Я воррон зоркий, за тридцать верст с дерева вижу.

Волк. Ну, что ж ты видишь?

Ворон. Карр, карр! По дорроге солдат идет. Волчья смерть у него за плечами, волчья гибель на боку. Карр, карр! Куда ж ты, серрый?

Волк. Скучно слушать тебя, старого, побегу туда, где тебя нет! *(Убегает.)*

Ворон. Карр, карр! Убрался серый восвояси, струсил. Поглубже в лес — от смерти подальше. А солдат-то не за волком, а за елкой идет. Санки за собой тянет. Праздник нынче — Новый год. Недарром и мороз ударил новогодний, трескучий. Эх, расправить бы крылья, полетать, согреться — да стар я, стар... Карр, карр! *(Прячется среди ветвей.)*

На поляну выскакивает Заяц. На ветвях рядом с прежней Белкой появляется еще одна.

Заяц *(хлопая лапкой о лапку)*. Холодно, холодно, холодно! От мороза дух захватывает, лапы на бегу к снегу примерзают. Белки, а белки, давайте играть в горелки. Солнце окликать, весну зазывать!

Первая Белка. Давай, заяц. Кому первому гореть?

Заяц. Кому выпадет. Считаться будем.

Вторая Белка. Считаться так считаться!

Косой, косой,
Не ходи босой,
А ходи обутый,
Лапочки закутай.

Если будешь ты обут,
Волки зайца не найдут,
Не найдет тебя медведь.
Выходи — тебе гореть!

Заяц становится впереди. За ним — две Белки.

Заяц

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!

Первая Белка. Лови, заяц!
Вторая белка. Не догонишь!

Белки, обежав Зайца справа и слева, мчатся по снегу. Заяц — за ними. В это время на полянку выходит Падчерица. На ней большой рваный платок, старая кофта, стоптанные башмаки, грубые рукавицы. Она тянет за собой санки, за поясом у нее топорик. Девушка останавливается между деревьями и пристально смотрит на Зайца и Белок. Те так заняты игрой, что не замечают ее. Белки с разгона взбираются на дерево.

Заяц. Вы куда, куда? Так нельзя, это нечестно! Я с вами больше не играю.

Первая Белка. А ты, заяц, прыгни, прыгни!
Вторая Белка. Подскочи, подскочи!
Первая Белка. Хвостом махни — и на ветку!
Заяц *(пытаясь прыгнуть, жалобно)*. Да у меня хвост короткий...

Белки смеются. Девушка тоже. Заяц и Белки быстро оглядываются на нее и прячутся.

Падчерица *(вытирая слезы рукавицей)*. Ох, не могу! До чего смешно! На морозе жарко стало. Хвост, говорит, у меня короткий. Так и говорит. Не слыхала бы своими ушами — не поверила бы! *(Смеется.)*

На поляну выходит Солдат. За поясом у него большой топор. Он тоже тянет за собой санки. Солдат — усатый, бывалый, немолодой.

Солдат. Здравия желаю, красавица! Ты чему же это радуешься — клад нашла или хорошую новость услыхала?

Падчерица машет рукой и смеется еще звонче.

Да ты скажи, с чего тебя смех разбирает. Может, и я посмеюсь с тобой вместе.

Падчерица. Да вы не поверите!

Солдат. Отчего же? Мы, солдаты, на своем веку всего наслышались, всего нагляделись. Верить — верим, а в обман не даемся.

Падчерица. Тут заяц с белками в горелки играл, на этом самом месте!

Солдат. Ну?

Падчерица. Чистая правда! Вот как наши ребятишки на улице играют. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло...» Он за ними, они от него, по́ снегу да на дерево. И еще дразнят: «Подскочи, подскочи, подпры́гни, подпрыгни!»

Солдат. Так по-нашему и говорят?

Падчерица. По-нашему.

Солдат. Скажите на милость!

Падчерица. Вот вы мне и не верите!

Солдат. Как не верить! Нынче день-то какой? Старому году конец, новому — начало. А я еще от деда своего слыхал, будто его дед ему рассказывал, что в этот день всякое на свете бывает — умей только подстеречь да подглядеть. Это ли диво, что белки с зайцами в горелки играют! Под Новый год и не такое случается.

Падчерица. А что же?

Солдат. Да так ли, нет ли, а говорил мой дед, что в самый канун Нового года довелось его деду со всеми двенадцатью месяцами встретиться.

Падчерица. Да ну?

Солдат. Чистая правда. Круглый год старик разом увидал: и зиму, и лето, и весну, и осень. На всю жизнь запомнил, сыну рассказал и внукам рассказать велел. Так до меня оно и дошло.

Падчерица. Как же это можно, чтобы зима с летом и весна с осенью сошлись! Вместе им быть никак нельзя.

Солдат. Ну, что знаю, про то и говорю, а чего не знаю, того не скажу. А ты зачем сюда в такую стужу забрела? Я человек подневольный, меня начальство сюда отрядило, а тебя кто?

Падчерица. И я не своей волей пришла.

Солдат. В услужении ты, что ли?

Падчерица. Нет, дома живу.

Солдат. Да как же тебя мать отпустила?

Падчерица. Мать бы не отпустила, а вот мачеха послала — хворосту набрать, дров нарубить.

Солдат. Вон как! Значит, ты сирота? То-то и амуниция у тебя второго сроку. Верно, насквозь тебя продувает. Ну, давай я тебе помогу, а потом и за свое дело примусь.

Падчерица и Солдат вместе собирают хворост и укладывают на санки.

Падчерица. А у вас какое дело?

Солдат. Елочку мне нужно вырубить, самую лучшую в лесу, чтоб и гуще ее не было, и стройней не было, и зеленей не было.

Падчерица. Это для кого же такая елка?

Солдат. Как — для кого? Для самой королевы. Завтра у нас гостей полон дворец будет. Вот и надо нам всех удивить.

Падчерица. А что же у вас на елку повесят?

Солдат. Что все вешают, то и у нас повесят. Всякие игрушки, хлопушки, да побрякушки. Только у других вся эта канитель из бумаги золотой, из стекляшек, а у нас из чистого золота и алмазов. У других куклы и зайчики ватные, а у нас атласные.

Падчерица. Неужто королева еще в куклы играет?

Солдат. Отчего же ей не играть? Она хоть и королева, а не старше тебя.

Падчерица. Да я-то уж давно не играю.

Солдат. Ну, тебе, видать, некогда, а у нее время есть. Над ней-то ведь никакого начальства нет. Как померли ее родители — король с королевой,— так и осталась она полной хозяйкой и себе и другим.

Падчерица. Значит, и королева у нас сирота?

Солдат. Выходит, что сирота.

Падчерица. Жалко ее.

Солдат. Как не жалко! Некому поучить ее уму-разуму. Ну, твое дело сделано. Хворосту на неделю хватит. А теперь пора и мне за свое дело приниматься, елочку искать, а то попадет мне от нашей сироты. Она у нас шутить не любит.

Падчерица. Вот и мачеха у меня такая... И сестрица вся в нее. Что ни сделаешь, ничем им не угодишь, как ни повернешься — все не в ту сторону.

Солдат. Погоди, не век тебе терпеть. Молода ты еще, доживешь и до хорошего. Уж на что наша солдатская служба долгая, а и ей срок выходит.

Падчерица. Спасибо на добром слове, и за хворост спасибо. Быстро я нынче управилась, солнце еще высоко стоит. Дайте-ка я вам елочку одну покажу. Не подойдет ли она вам? Уж такая красивая елочка — веточка в веточку.

Солдат. Что же, покажи. Ты, видно, здесь в лесу своя. Недаром белки с зайцами при тебе в горелки играют!

Падчерица и Солдат, оставив санки, скрываются в чаще. Мгновение сцена пуста. Потом ветви старых заснеженных елей раздвигаются, на поляну выходят два высоких старика: Январь-месяц в белой шубе и шапке и Декабрь-месяц в белой шубе с черными полосами и в белой шапке с черной опушкой.

Декабрь. Вот, брат, принимай хозяйство. Как будто все у меня в порядке. Снегу нынче довольно: березкам по пояс, соснам по колено. Теперь и морозцу разгуляться можно — беды уж не будет. Мы свое время за тучами прожили, вам и солнышком побаловаться не грех.

Январь. Спасибо, брат. Видать, ты славно поработал. А что, у тебя на речках да на озерах крепко лед стал?

Декабрь. Ничего, держится. А не мешает еще подморозить.

Январь. Подморозим, подморозим. За нами дело не станет. Ну, а народ лесной как?

Декабрь. Да как полагается. Кому время спать — спит, а кто не спит, тот прыгает да бродит. Вот я их созову, сам погляди. *(Хлопает рукавицами.)*

Из чащи выглядывают Волк и Лисица. На ветвях появляются Белки. На середину полянки выскакивает Заяц. За сугробами шевелятся уши других зайцев. Волк и Лисица нацеливаются на добычу, но Январь грозит им пальцем.

Январь. Ты что, рыжая? Ты что, серый? Думаете, для вас мы зайцев сюда созвали? Нет, уж вы сами для себя промышляйте, а нам всех лесных жильцов посчитать надо: и зайцев, и белок, да и вас, зубастых.

Волк и Лисица притихают. Старики неторопливо считают зверей.

Декабрь

Собирайтесь, звери, в стаю,
Я вас всех пересчитаю.
Серый волк. Лиса. Барсук.
Куцых зайцев сорок штук.
Ну, теперь куницы, белки
И другой народец мелкий.
Галок, соек и ворон
Ровным счетом миллион!

Январь. Вот и ладно. Все вы пересчитаны. Можете идти по своим домам, по своим делам.

Звери исчезают.

А теперь, братец, пора нам к нашему празднику приготовиться — снег в лесу обновить, ветви посеребрить. Махни-ка рукавом — ты ведь еще здесь хозяин.

Декабрь. А не рано ли? До вечера еще далеко. Да вон и санки чьи-то стоят, значит, люди по лесу бродят. Завалишь тропинки снегом — им отсюда и не выбраться.

«РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА»

Январь. А ты полегоньку начинай. Подуй ветром, помети метелью — гости и догадаются, что домой пора. Не поторопишь их, так они до полуночи шишки да сучья собирать будут. Всегда им чего-нибудь надо. На то они и люди!

Декабрь. Ну что ж, начнем помаленьку.

Верные слуги —
Снежные вьюги,
Заметите все пути,
Чтобы в чащу не пройти
Ни конному, ни пешему!
Ни леснику, ни лешему!

Начинается вьюга. Снег густо падает на землю, на деревья. За снежной завесой почти не видно стариков в белых шубах и шапках. Их не отличить от деревьев. На поляну возвращаются Падчерица и Солдат. Они идут с трудом, вязнут в сугробах, закрывают лица от вьюги. Вдвоем они несут елку.

Солдат. Метель-то какая разыгралась — прямо сказать, новогодняя! Не видать ничего. Где мы тут с тобой санки оставили?

Падчерица. А вон два бугорочка рядом — это они и есть. Подлиннее да пониже — это ваши санки, а мои повыше да покороче. *(Веткой обметает санки.)*

Солдат. Вот елочку привяжу, и тронемся. А ты не жди меня — иди себе домой, а то замерзнешь в своей одежонке, да и метелью тебя заметет. Смотри ты, какая завируха поднялась!

Падчерица. Ничего, мне не в первый раз. *(Помогает ему привязать елку.)*

Солдат. Ну, готово. А теперь шагом марш, в путь-дорогу. Я — вперед, а ты — за мной, по моим следам. Так-то тебе полегче будет. Ну, поехали!

Падчерица. Поехали. *(Вздрагивает.)* Ох!

Солдат. Ты чего?

Падчерица. Поглядите-ка! Вон там, за теми соснами, два старика в белых шубах стоят.

Солдат. Какие еще старики? Где? *(Делает шаг вперед.)*

В это время деревья сдвигаются, и оба Старика исчезают за ними.

Никого там нет, померещилось тебе. Это сосны.

Падчерица. Да нет, я видела. Два старика — в шубах, в шапках!

Солдат. Нынче и деревья в шубах и в шапках стоят. Идем-ка поскорее, да не гляди по сторонам, а то в новогоднюю метель и не такое привидится!

Падчерица Солдат уходят. Из-за деревьев опять появляются Старики

Январь. Ушли?

Декабрь. Ушли. *(Смотрит вдаль из-под ладони.)* Вон уж они где — с горки спускаются!

Январь. Ну, видно, это последние твои гости. Больше в нынешнем году людей у нас в лесу не будет. Зови братьев новогодний костер разводить, смо́лы курить, мед на весь год варить.

Декабрь. А кто дров припасет?

Январь. Мы, зимние месяцы.

Декабрь. А кто огоньку принесет?

Голоса из чащи. Весенние месяцы!

Декабрь. Кто будет жар раздувать?

Голоса. Летние месяцы!

Декабрь. Кто будет жар заливать?

Голоса. Осенние месяцы!

В глубине чащи в разных местах мелькают чьи-то фигуры. Сквозь ветви светятся огни.

Январь. Что ж, брат, как будто все мы в сборе — весь круглый год. Запирай лес на́ ночь, чтобы ни хода, ни выхода не было.

Декабрь. Ладно, запру!

Вьюга белая — пурга,
Взбей летучие снега.
Ты курись,
Ты дымись,
Пухом на́ землю вались,
Кутай землю пеленой,
Перед лесом стань стеной.
Вот ключ,
Вот замок,
Чтоб никто пройти не мог!

Стена падающего снега закрывает лес.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Дворец. Классная комната королевы. Широкая доска в резной золотой раме. Парта из розового дерева. На бархатной подушке сидит и пишет длинным золотым пером четырнадцатилетняя Королева. Перед ней седобородый Профессор арифметики и чистописания, похожий на старинного астролога. Он в мантии, в докторском причудливом колпаке с кистью.

Королева. Терпеть не могу писать. Все пальцы в чернилах!

Профессор. Вы совершенно правы, ваше величество. Это весьма неприятное занятие. Недаром древние поэты обходились без письменных приборов, почему произведения их отнесены наукой к разряду устного творчества. Однако же осмелюсь попросить вас начертать собственной вашего величества рукой еще четыре строчки.

Королева. Ладно уж, диктуйте.

Профессор

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!

Королева. Я напишу только «Травка зеленеет». *(Пишет.)* Травка зе-не...

Входит Канцлер.

Канцлер *(низко кланяясь)*. Доброе утро, ваше величество. Осмелюсь почтительнейше просить вас подписать один рескрипт и три указа.

Королева. Еще писать! Хорошо. Но уж тогда я не буду дописывать «зенелеет». Дайте сюда ваши бумажки! *(Подписывает бумаги одну за другой.)*

Канцлер. Благодарю вас, ваше величество. А теперь позволю себе попросить вас начертать...

Королева. Опять начертать!

Канцлер. Только вашу высочайшую резолюцию на этом ходатайстве.

Королева *(нетерпеливо)*. Что же я должна написать?

Канцлер. Одно из двух, ваше величество: либо «казнить», либо «помиловать».

Королева *(про себя)*. По-ми-ло-вать... Казнить... Лучше напишу «казнить» — это короче.

Канцлер берет бумаги, кланяется и уходит.

Профессор *(тяжело вздыхая)*. Нечего сказать, короче!

Королева. О чем это вы?

Профессор. Ах, ваше величество, что́ вы написали!

Королева. Вы, конечно, опять заметили какую-нибудь ошибку. Надо писать «козднить», что ли?

Профессор. Нет, вы правильно написали это слово — и все-таки сделали очень грубую ошибку.

Королева. Какую же?

Профессор. Вы решили судьбу человека, даже не задумавшись!

Королева. Еще чего! Не могу же я писать и думать в одно и то же время.

Профессор. И не надо. Сначала надо подумать, а потом писать, ваше величество!

Королева. Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала и под конец, наверно, сошла бы с ума или придумала бог знает что... Но, к счастью, я вас не слушаюсь... Ну, что у вас там дальше? Спрашивайте скорее, а то я целый век не выйду из классной!

Профессор. Осмелюсь спросить, ваше величество: сколько будет семью восемь?

Королева. Не помню что-то... Это меня никогда не интересовало... А вас?

Профессор. Разумеется, интересовало, ваше величество!

Королева. Вот удивительно!.. Ну, прощайте, наш урок окончен. Сегодня, перед Новым годом, у меня очень много дела.

Профессор. Как угодно вашему величеству!.. *(Грустно и покорно собирает книги.)*

Королева *(ставит локти на стол и рассеянно следит за ним)*. Право же, хорошо быть королевой, а не простой школьницей. Все меня слушаются, даже мой учитель. Скажите, а что бы вы сделали с другой ученицей, если бы она отказалась ответить вам, сколько будет семью восемь?

Профессор. Не смею сказать, ваше величество!

Королева. Ничего, я разрешаю.

Профессор *(робко)*. Поставил бы в угол...

Королева. Ха-ха-ха! *(Указывая на углы.)* В тот или в этот?

Профессор. Это все равно, ваше величество.

Королева. Я бы предпочла этот — он как-то уютнее. *(Становится в угол.)* А если она и после этого не захотела бы сказать, сколько будет семью восемь?

Профессор. Я бы... Прошу прощения у вашего величества... я бы оставил ее без обеда.

Королева. Без обеда? А если она ждет к обеду гостей, например, послов какой-нибудь державы или иностранного принца?

Профессор. Да ведь я же говорю не о королеве, ваше величество, а о простой школьнице!

Королева *(притягивая в угол кресло и садясь в него)*. Бедная простая школьница! Вы, оказывается, очень жестокий старик. А вы знаете, что я могу вас казнить? И даже сегодня, если захочу!

Профессор *(роняя книги)*. Ваше величество!..

Королева. Да-да, могу. Почему бы нет?

Профессор. Но чем же я прогневал ваше величество?

Королева. Ну, как вам сказать. Вы очень своенравный человек. Что бы я ни сказала, вы говорите: неверно. Что бы ни написала, вы говорите: не так. А я люблю, когда со мной соглашаются!

Профессор. Ваше величество, клянусь жизнью, я больше не буду с вами спорить, если это вам не угодно!

Королева. Клянетесь жизнью? Ну хорошо. Тогда давайте продолжать наш урок. Спросите у меня что-нибудь. *(Садится за парту.)*

Профессор. Сколько будет шестью шесть, ваше величество?

Королева *(смотрит на него, наклонив голову набок)*. Одиннадцать.

Профессор *(грустно)*. Совершенно верно, ваше величество. А сколько будет восемью восемь?

Королева. Три.

Профессор. Правильно, ваше величество. А сколько будет...

Королева. Сколько да сколько! Какой вы любопытный человек. Спрашивает, спрашивает... Лучше сами расскажите мне что-нибудь интересное.

Профессор. Рассказать что-нибудь интересное, ваше величество? О чем же? В каком роде?

Королева. Ну, не знаю. Что-нибудь новогоднее... Ведь сегодня канун Нового года.

Профессор. Ваш покорный слуга. Год, ваше величество, состоит из двенадцати месяцев!

Королева. Вот как? В самом деле?

Профессор. Совершенно точно, ваше величество. Месяцы называются: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль...

Королева. Вон их сколько! И вы знаете все по именам? Какая у вас замечательная память!

Профессор. Благодарю вас, ваше величество! Август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь.

Королева. Подумать только!

Профессор. Месяцы идут один за другим. Только окончится один месяц, сразу же начинается другой. И никогда еще не бывало, чтобы февраль наступил раньше января, а сентябрь — раньше августа.

Королева. А если бы я захотела, чтобы сейчас наступил апрель?

Профессор. Это невозможно, ваше величество.

Королева. Вы — опять?

Профессор *(умоляюще)*. Это не я возражаю вашему величеству. Это наука и природа!

Королева. Скажите пожалуйста! А если я издам такой закон и поставлю большую печать?

Профессор (*беспомощно разводит руками*). Боюсь, что и это не поможет. Но вряд ли вашему величеству понадобятся такие перемены в календаре. Ведь каждый месяц приносит нам свои подарки и забавы. Декабрь, январь и февраль — катанье на коньках, новогоднюю елку, масленичные балаганы, в марте начинается снеготаяние, в апреле из-под снега выглядывают первые подснежники...

Королева. Вот я и хочу, чтобы уже был апрель. Я очень люблю подснежники. Я их никогда не видала.

Профессор. До апреля осталось совсем немного, ваше величество. Всего каких-нибудь три месяца, или девяносто дней...

Королева. Девяносто! Я не могу ждать и трех дней. Завтра новогодний прием, и я хочу, чтобы у меня на столе были эти — как вы их там назвали? — подснежники.

Профессор. Ваше величество, но законы природы!..

Королева (*перебивает его*). Я издам новый закон природы! (*Хлопает в ладоши.*) Эй, кто там? Пошлите ко мне Канцлера. (*Профессору.*) А вы садитесь за мою парту и пишите. Теперь я вам буду диктовать. (*Задумывается.*) Ну, «Травка зеленеет, солнышко блестит». Да-да, так и пишите. (*Задумывается.*) Ну! «Травка зеленеет, солнышко блестит, а в наших королевских лесах распускаются весенние цветы. Посему всемилостивейше повелеваем доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски...» Что бы им такое пообещать? Погодите, это писать не надо!.. Ну вот, придумала. Пишите. «Мы дадим ему столько золота, сколько поместится в его корзине, пожалуем ему бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании». Ну, написали? Как вы медленно пишете!

Профессор. «...на седой лисе...» Я давно уже не писал диктанта, ваше величество.

Королева. Ага, сами не пишете, а меня заставляете! Хитрый какой!.. Ну, да уж ладно. Давайте перо — я начертаю свое высочайшее имя! (*Быстро ставит закорючку и машет листком, чтобы чернила скорее высохли.*)

В это время в дверях появляется Канцлер.

Ставьте печать — сюда и сюда! И позаботьтесь о том, чтобы все в городе знали мой приказ.

Канцлер (*быстро читает глазами*). К этому — печать? Воля ваша, королева!..

Королева. Да-да, воля моя, и вы должны ее исполнить!..

Занавес опускается. Один за другим выходят два глашатая с трубами и свитками в руках. Торжественные звуки фанфар.

Первый глашатай

Под праздник новогодний
Издали мы приказ:
Пускай цветут сегодня
Подснежники у нас!

Второй глашатай

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!

Первый глашатай

Кто отрицать посмеет,
Что ласточка летит,
Что травка зеленеет
И солнышко блестит?

Второй глашатай

В лесу цветет подснежник,
А не метель метет,
И тот из вас мятежник,
Кто скажет: не цветет!

Первый глашатай. Посему всемилостивейше повелеваем доставить к Новому году во дворец полную корзину подснежников!

Второй глашатай. Того, кто исполнит нашу высочайшую волю, мы наградим по-королевски!

Первый глашатай. Мы пожалуем ему столько золота, сколько поместится в его корзине!

Второй глашатай. Подарим бархатную шубу на седой лисе и позволим участвовать в нашем королевском новогоднем катании!

Первый глашатай. На подлинном собственной ее величества рукой начертано: «С Новым годом! С первым апреля!»

Звуки фанфар.

Второй глашатай

Ручьи бегут в долину,
Зиме пришел конец.

Первый глашатай

Подснежников корзину
Несите во дворец!

Второй глашатай
Нарвите до рассвета
Подснежников простых.

Первый глашатай
И вам дадут за это
Корзину золотых!

Первый и второй
(вместе)

Травка зеленеет,
Солнышко блестит,
Ласточка с весною
В сени к нам летит!

Первый глашатай *(хлопая ладонью о ладонь)*. Брр!.. Холодно!..

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Маленький домик на окраине города. Жарко топится печка. За окнами метель. Сумерки. Старуха раскатывает тесто. Дочка сидит перед огнем. Возле нее на полу несколько корзинок. Она перебирает корзинки. Сначала берет в руки маленькую, потом побольше, потом самую большую.

Дочка *(держа в руках маленькую корзинку)*. А что, мама, в эту корзинку много золота войдет?

Старуха. Да, немало.

Дочка. На шубку хватит?

Старуха. Что там на шубку, доченька! На полное приданое хватит: и на шубки, и на юбки. Да еще на чулочки и платочки останется.

Дочка. А в эту сколько войдет?

Старуха. В эту еще больше. Тут и на дом каменный хватит, и на коня с уздечкой, и на барашка с овечкой.

Дочка. Ну, а в эту?

Старуха. А уж тут и говорить нечего. На золоте пить-есть будешь, в золото оденешься, в золото обуешься, золотом уши завесишь.

Дочка. Ну, так я эту корзинку и возьму! *(Вздыхая.)* Одна беда — подснежников не найти. Видно, посмеяться над нами захотела королева.

Старуха. Молода, вот и придумывает всякую всячину.

Дочка. А вдруг кто-нибудь пойдет в лес да и наберет там подснежников. И достанется ему вот этакая корзина золота!

Старуха. Ну, где там — наберет! Раньше весны подснежники и не покажутся. Вон сугробы-то какие намело — до самой крыши!

Дочка. А может, под сугробами-то они и растут себе по-

тихоньку. На то они и подснежники... Надену-ка я свою шубейку да попробую поискать.

Старуха. Что ты, доченька! Да я тебя и за порог не выпущу. Погляди в окошко, какая метель разыгралась. А то ли еще к ночи будет!

Дочка (*хватает самую большую корзину*). Нет, пойду — и все тут. В кои-то веки во дворец попасть случай вышел, к самой королеве на праздник. Да еще целую корзину золота дадут.

Старуха. Замерзнешь в лесу.

Дочка. Ну, так вы сами в лес ступайте. Наберите подснежников, а я их во дворец отнесу.

Старуха. Что же тебе, доченька, родной матери не жалко?

Дочка. И вас жалко, и золота жалко, а больше всего себя жалко! Ну, что вам сто́ит? Эка невидаль — метель! Закутайтесь потеплее и пойдите.

Старуха. Нечего сказать, хороша дочка! В такую погоду хозяин собаки на улицу не выгонит, а она мать гонит.

Дочка. Как же! Вас выгонишь! Вы и шагу лишнего для дочки не ступите. Так и просидишь из-за вас весь праздник на кухне у печки. А другие с королевой в серебряных санях кататься будут, золото лопатой огребать... (*Плачет.*)

Старуха. Ну, полно, доченька, полно, не плачь. Вот съешь-ка горяченького пирожка! (*Вытаскивает из печки железный лист с пирожками.*) С пылу, с жару, кипит-шипит, чуть не говорит!

Дочка (*сквозь слезы*). Не надо мне пирожков, хочу подснежников!.. Ну, если сами идти не хотите и меня не пускаете, так пусть хоть сестра сходит. Вот придет она из лесу, а вы ее опять туда пошлите.

Старуха. А ведь и правда! Отчего бы ее не послать? Лес недалеко, сбегать недолго. Наберет она цветочков — мы с тобой их во дворец снесем, а замерзнет — ну, значит, такая ее судьба. Кто о ней плакать станет?

Дочка. Да уж верно, не я. До того она мне надоела, сказать не могу. За ворота выйти нельзя — все соседи только про нее и говорят: «Ах, сиротка несчастная!», «Работница — золотые руки!», «Красавица — глаз не отвести!» А чем я хуже ее?

Старуха. Что ты, доченька, по мне — ты лучше, а не хуже. Да только не всякий это разглядит. Ведь она хитрая — подольститься умеет Тому поклонится, этому улыбнется. Вот и жалеют ее все: сиротка да сиротка. А чего ей, сиротке, не хватает? Платок свой я ей отдала, совсем хороший платок, и семи лет его не проносила, а потом разве что квашню укутывала. Башмачки твои позапрошлогодние донашивать ей позволила —

жалко, что ли? А уж хлеба сколько на нее идет! Утром кусок, да за обедом краюшка, да вечером горбушка. Сколько это в год выйдет — посчитай-ка. Дней-то в году много! Другая бы не знала, как отблагодарить, а от этой слова не услышишь.

Дочка. Ну вот, пусть и сходит в лес. Дадим ей корзину побольше, что я для себя выбрала.

Старуха. Что ты, доченька! Эта корзина новая, недавно куплена. Ищи ее потом в лесу. Вон ту дадим,— и пропадет, так не жалко.

Дочка. Да уж больно мала!

Входит Падчерица. Платок ее весь засыпан снегом. Она снимает платок и стряхивает, потом подходит к печке и греет руки.

Старуха. Что, на дворе метет?

Падчерица. Так метет, что ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идешь. Еле до дому добралась.

Старуха. На то и зима, чтобы метель мела.

Падчерица. Нет, такой вьюги за целый год не было да и не будет.

Дочка. А ты почем знаешь, что не будет?

Падчерица. Да ведь нынче последний день в году!

Дочка. Вон как! Видно, ты не очень замерзла, если загадки загадываешь. Ну что, отдохнула, обогрелась? Надо тебе еще кое-куда сбегать.

Падчерица. Куда же это, далеко?

Старуха. Не так уж близко, да и недалеко.

Дочка. В лес!

Падчерица. В лес? Зачем? Я хворосту много привезла, на неделю хватит.

Дочка. Да не за хворостом, а за подснежниками!

Падчерица (*смеясь*). Вот разве что за подснежниками — в такую вьюгу! А я-то сразу и не поняла, что ты шутишь. Испугалась. Нынче и пропасть не мудрено — так и кружит, так и валит с ног.

Дочка. А я не шучу. Ты что, про указ не слыхала?

Падчерица. Нет.

Дочка. Ничего-то ты не слышишь, ничего не знаешь! По всему городу про это говорят. Тому, кто нынче подснежников наберет, королева целую корзину золота даст, шубку на седой лисе пожалует и в своих санях кататься позволит.

Падчерица. Да какие же теперь подснежники — ведь зима...

Старуха. Весной-то за подснежники не золотом платят, а медью!

Дочка. Ну, что там разговаривать! Вот тебе корзинка.

Падчерица *(смотрит в окно)*. Темнеет уж...

Старуха. А ты бы еще дольше за хворостом ходила — так и совсем бы темно стало.

Падчерица. Может, завтра с утра пойти? Я пораньше встану, чуть рассветет.

Дочка. Тоже придумала — с утра! А если ты до вечера цветов не найдешь? Так и станут нас с тобой во дворце дожидаться. Ведь цветы-то к празднику нужны.

Падчерица. Никогда не слыхала, чтобы зимой цветы в лесу росли... Да разве разглядишь что в такую темень?

Дочка *(жуя пирожок)*. А ты пониже наклоняйся да получше гляди.

Падчерица. Не пойду я!

Дочка. Как это — не пойдешь?

Падчерица. Неужели вам меня совсем-совсем не жалко? Не вернуться мне из лесу.

Дочка. А что же — мне вместо тебя в лес идти?

Падчерица *(опустив голову)*. Да ведь не мне золото нужно.

Старуха. Понятно, тебе ничего не нужно. У тебя все есть, а чего нет, то у мачехи да у сестры найдется!

Дочка. Она у нас богатая, от целой корзины золота отказывается! Ну, пойдешь или не пойдешь? Отвечай прямо — не пойдешь? Где моя шубейка? *(Со слезами в голосе.)* Пусть она здесь у печки греется, пироги ест, а я до полуночи по лесу ходить буду, в сугробах вязнуть... *(Срывает с крючка шубку и бежит к дверям.)*

Старуха *(хватает ее за полу)*. Ты куда? Кто тебе позволил? Садись на место, глупая! *(Падчерице.)* А ты — платок на голову, корзину в руки и ступай. Да смотри у меня: если узнаю, что ты у соседей где-нибудь просидела, в дом не пущу,— замерзай на дворе!

Дочка. Иди и без подснежников не возвращайся!

Падчерица закутывается в платок, берет корзинку и уходит. Молчание

Старуха *(оглянувшись на дверь)*. И дверь-то за собой как следует не прихлопнула. Дует как! Прикрой дверь хорошенько, доченька, и собирай на стол. Ужинать пора.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Лес. На землю падают крупные хлопья снега. Густые сумерки. Падчерица пробирается через глубокие сугробы. Кутается в рваный платок. Дует на замерзшие руки. В лесу все больше и больше темнеет. С верхушки дерева шумно падает ком снега.

Падчерица *(вздрагивает)*. Ох, кто там? *(Оглядывается.)* Снеговая шапка упала, а мне уж почудилось, будто на меня кто с дерева прыгнул... А кому быть здесь в такую пору? Звери и те по своим норам попрятались. Одна я в лесу... *(Пробирается дальше. Спотыкается, запутывается в буреломе, останавливается.)* Не пойду дальше. Тут и останусь. Все равно, где замерзать. *(Садится на поваленное дерево.)* Темно-то как! Рук своих не разглядишь. И не знаю, куда я зашла. Ни вперед, ни назад дороги не найти. Вот и пришла моя смерть. Мало я хорошего в жизни видела, а все-таки страшно помирать... Разве закричать, на помощь позвать? Может, услышит кто — лесник, или дровосек запоздалый, или охотник какой? Ау! Помогите! Ау! Нет, никто не отзывается. Что же мне делать? Так и сидеть здесь, покуда конец не придет? А ну как волки набегут? Ведь они издали человека чуют. Вон там хрустнуло что-то, будто крадется кто. Ой, боюсь! *(Подходит к дереву, смотрит на толстые, узловатые, покрытые снегом ветви.)* Взобраться, что ли? Там они меня не достанут. *(Взбирается на одну из ветвей и усаживается в развилине. Начинает дремать.)*

Некоторое время в лесу тихо. Потом из-за сугроба появляется Волк. Настороженно поглядывая по сторонам, он обходит лес и, приподняв голову, затягивает свою одинокую волчью песню.

Волк

Ох, сердит
Мороз,
Не щадит
Мороз.
На ходу
Ко льду
Волчий хвост прирос.

У овцы зимой
Есть овечья шерсть.
У лисы зимой
Лисья шуба есть.
У меня ж, на грех,
Только волчий мех,
Только старый мех —

Шуба драная.
Ох, и жизнь моя
Окаянная!..

(Замолкает, прислушивается, потом опять затягивает свою песню.)

Спит под Новый год
Весь лесной народ.
Все соседи спят.
Все медведи спят.
Кто в норе не спит,—
Под кустом храпит.
Баю-баюшки,
Зайцы-заюшки.
Баю-баюшки,
Горностаюшки!..

Я один не сплю —
Думу думаю,
Думу думаю
Про беду мою.

У меня тоска
Да бессонница.
По пятам за мной
Голод гонится.
Где найду
Еду
На снегу — на льду?
Волку голодно,
Волку холодно!..

(Допев свою песню, опять пускается в обход. Подойдя поближе к тому месту, где укрылась Падчерица, останавливается.) У-у-у, человечьим духом в лесу запахло. Будет мне к Новому году пожива, будет мне ужин!

Ворон *(с верхушки дерева)*. Карр, карр! Берегись, серый. Не про тебя добыча! Карр, карр!..

Волк. А, это опять ты, старый колдун? Утром ты меня обманул, а уж теперь не надуешь. Чую добычу, чую!

Ворон. Ну, а коли чуешь, так скажи, что у тебя справа, что слева, что прямо.

Волк. Думаешь, не скажу? Справа — куст, слева — куст, а прямо — лакомый кус.

Ворон. Врешь, брат! Слева — ловушка, справа — отрава,

а прямо — волчья яма. Только и осталось тебе дороги, что обратно. Куда же ты, серый?

Волк. Куда захочу, туда и поскачу, а тебе дела нет! *(Исчезает за сугробом.)*

Ворон. Карр, карр, удрал серый. Стар волк — да я старее, хитер — да я мудрее. Я его, серого, еще не раз проведу! А ты, красавица, проснись, нельзя в мороз дремать — замерзнешь!

На дереве появляется Белка и сбрасывает на Падчерицу шишку.

Белка. Не спи — замерзнешь!

Падчерица. Что такое? Кто это сказал? Кто здесь, кто? Нет, видно, послышалось мне. Просто шишка с дерева упала и разбудила меня. А мне что-то хорошее приснилось, и теплее даже стало. Что же это мне приснилось? Не вспомнишь сразу. Ах, вон оно что! Будто мать моя по дому с лампой идет и огонек прямо мне в глаза светит. *(Поднимает голову, стряхивает рукой снег с ресниц.)* А ведь и правда что-то светится — вон там, далеко... А вдруг это волчьи глаза? Да нет, волчьи глаза зеленые, а это золотой огонек. Так и дрожит, так и мерцает, будто звездочка в ветвях запуталась... Побегу! *(Соскакивает с ветки.)* Все еще светится. Может, тут и в самом деле избушка лесника недалеко или дровосеки огонь развели. Идти надо. Надо идти. Ох, ноги не идут, окоченели совсем! *(Идет с трудом, проваливаясь в сугробы, перебираясь через бурелом и поваленные стволы.)* Только бы огонек не погас!.. Нет, он не гаснет, он все ярче горит. И дымком теплым как будто запахло. Неужто костер? Так и есть. Чудится мне или нет, а слышу я, как хворост на огне потрескивает. *(Идет дальше, раздвигая и приподнимая лапы густых высоких елей.)*

Все светлее и светлее становится вокруг. Красноватые отблески перебегают по снегу, по ветвям. И вдруг перед Падчерицей открывается небольшая круглая поляна, посреди которой жарко пылает высокий костер. Вокруг костра сидят л ю д и, кто поближе к огню, кто подальше. Их двенадцать: трое старых, трое пожилых, трое молодых, а последние трое — совсем еще юноши. Молодые сидят у самого огня, старики — поодаль. На двух стариках белые длинные шубы, мохнатые белые шапки, на третьем — белая шуба с черными полосами и на шапке черная опушка. Один из пожилых — в золотисто-красной, другой — в ржаво-коричневой, третий — в бурой одежде. Остальные шестеро — в зеленых, разного оттенка, кафтанах, расшитых цветными узорами. У одного из юношей поверх зеленого кафтана шубка внакидку, у другого — шубка на одном плече. Падчерица останавливается между двух елок и, не решаясь выйти на поляну, прислушивается к тому, о чем говорят двенадцать братьев, сидящих у костра.

Январь
(бросая в огонь охапку хвороста)
Гори, гори ярче —
Лето будет жарче,

А зима теплее,
А весна милее.

Все месяцы

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Июнь

Гори, гори с треском!
Пусть по перелескам,
Где сугробы лягут,
Будет больше ягод.

Май

Пусть несут в колоду
Пчелы больше меду.

Июль

Пусть в полях пшеница
Густо колосится.

Все месяцы

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Падчерица сначала не решается выйти на поляну, потом, набравшись смелости, медленно выходит из-за деревьев. Двенадцать братьев, замолчав, поворачиваются к ней.

Падчерица (*поклонившись*). Добрый вечер.

Январь. И тебе вечер добрый.

Падчерица. Если не помешаю я вашей беседе, позвольте мне у костра погреться.

Январь (*братьям*). Ну, как, братья, по-вашему, позволим или нет?

Февраль (*качая головой*). Не бывало еще такого случая, чтобы кто-нибудь, кроме нас, у этого костра сидел.

Апрель. Не бывать-то не бывало. Это правда. Да уж если пришел кто на огонек наш, так пусть греется.

Май. Пусть греется. От этого жару в костре не убавится.

Декабрь. Ну, подходи, красавица, подходи, да смотри, как бы не сгореть тебе. Видишь, костер у нас какой — так и пышет.

Падчерица. Спасибо, дедушка. Я близко не подойду. Я в сторонке стану. (*Подходит к огню, стараясь никого не задеть и не толкнуть, и греет руки.*) Хорошо-то как! До чего огонь у вас легкий да жаркий! До самого сердца тепло стало. Отогрелась я. Спасибо вам.

Недолгое молчание. Слышно только, как трещит костер.

Январь. А что это у тебя в руках, девушка? Корзинка, ни-

как? За шишками ты, что ли, пришла под самый Новый год, да еще в такую метелицу?

Февраль. Лесу тоже отдохнуть надо — не все же его обирать!

Падчерица. Не по своей воле я пришла и не за шишками.

Август (*усмехаясь*). Так уж не за грибами ли?

Падчерица. Не за грибами, а за цветами... Прислала меня мачеха за подснежниками.

Март (*смеясь и толкая в бок Апрель-месяц*). Слышишь, братец, за подснежниками! Значит, твоя гостья, принимай!

Все смеются.

Падчерица. Я бы и сама посмеялась, да не до смеху мне. Не велела мне мачеха без подснежников домой возвращаться.

Февраль. На что же ей среди зимы подснежники понадобились?

Падчерица. Не цветы ей нужны, а золото. Обещала наша королева целую корзину золота тому, кто принесет во дворец корзину подснежников. Вот меня и послали в лес.

Январь. Плохо твое дело, голубушка! Не время теперь для подснежников,— надо Апреля-месяца ждать.

Падчерица. Я и сама знаю, дедушка. Да деваться мне некуда. Ну, спасибо вам за тепло и за привет. Если помешала, не гневайтесь... (*Берет свою корзинку и медленно идет к деревьям.*)

Апрель. Погоди, девушка, не спеши! (*Подходит к Январю и кланяется ему.*) Братец Январь, уступи мне на час свое место.

Январь. Я бы уступил, да не бывать Апрелю прежде Марта.

Март. Ну, за мной дело не станет. Что ты скажешь, братец Февраль?

Февраль. Ладно уж, и я уступлю, спорить не буду.

Январь. Если так, будь по-вашему! (*Ударяет о землю ледяным посохом.*)

Не трещите, морозы,
В заповедном бору,
У сосны, у березы
Не грызите кору!
Полно вам воронье
Замораживать,
Человечье жилье
Выхолаживать!

В лесу становится тихо. Метель улеглась. Небо покрылось звездами.

Ну, теперь твой черед, братец Февраль! (*Передает свой посох лохматому и хромому Февралю.*)

Февраль
(ударяет посохом о землю)

Ветры, бури, ураганы,
Дуйте что есть мочи.
Вихри, вьюги и бураны,
Разыграйтесь к ночи!
В облаках трубите громко,
Вейтесь над землею.
Пусть бежит в полях поземка
Белою змеею!

В ветвях гудит ветер. По поляне бежит поземка, крутятся снежные вихри.

Февраль. Теперь твой черед, братец Март!

Март
(берет посох)

Снег теперь уже не тот,—
Потемнел он в поле.
На озерах треснул лед,
Будто раскололи.
Облака бегут быстрей.
Небо стало выше.
Зачирикал воробей
Веселей на крыше.
Все чернее с каждым днем
Стежки и дорожки,
И на вербах серебром
Светятся сережки.

Снег вдруг темнеет и оседает. Начинается капель. На деревьях появляются почки.

Ну, теперь ты бери посох, братец Апрель.

Апрель
(берет посох и говорит звонко, во весь мальчишеский голос)

Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи.
Вылезайте, муравьи,
После зимней стужи.
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник!

В лесу и на поляне все меняется. Тает последний снег. Земля покрывается молоденькой травкой. На кочках под деревьями появляются голубые и белые цветы. Кругом каплет, течет, журчит. Падчерица стоит, оцепенев от удивления.

Что же ты стоишь? Торопись. Нам с тобой всего один часок братья мои подарили.

Падчерица. Да как же все это случилось? Неужто ради меня весна среди зимы наступила? Глазам своим поверить не смею.

Апрель. Верь — не верь, а беги скорей подснежники собирать. Не то вернется зима, а у тебя еще корзинка пустая.

Падчерица. Бегу, бегу! *(Исчезает за деревьями.)*

Январь *(вполголоса)*. Я ее сразу узнал, как только увидел. И платочек на ней тот же самый, дырявый, и сапожонки худые, что днем на ней были. Мы, зимние месяцы, ее хорошо знаем. То у проруби ее встретишь с ведрами, то в лесу с вязанкой дров. И всегда она веселая, приветливая, идет себе — поет. А нынче приуныла.

Июнь. И мы, летние месяцы, ее не хуже знаем.

Июль. Как не знать! Еще и солнце не встанет, она уже на коленях возле грядки — полет, подвязывает, гусениц обирает. В лес придет — зря ветки не сломит. Спелую ягоду возьмет, а зеленую на кусте оставит: пусть себе зреет.

Ноябрь. Я ее не раз дождем поливал. Жалко, а ничего не поделаешь — на то я осенний месяц!

Февраль. Ох, и от меня она мало хорошего видела. Ветром я ее пробирал, стужей студил. Знает она Февраль-месяц, да зато и Февраль ее знает. Такой, как она, не жалко среди зимы весну на часок подарить.

Апрель. Отчего же только на часок? Я бы с ней век не расстался.

Сентябрь. Да, хороша девушка!.. Лучшей хозяйки нигде не найдешь.

Апрель. Ну, если по нраву она вам всем, так подарю я ей свое обручальное колечко!

Декабрь. Что ж, дари. Дело твое молодое!

Из-за деревьев выходит Падчерица. В руках у нее корзинка, полная подснежников.

Январь. Уже полную корзину набрала? Проворные у тебя руки.

Падчерица. Да ведь их там видимо-невидимо. И на кочках, и под кочками, и в чащах, и на лужайках, и под камнями, и под деревьями! Никогда я столько подснежников не видела. Да какие все крупные, стебельки пушистые, точно бархатные, лепестки будто хрустальные. Спасибо вам, хозяева, за доброту вашу. Если бы не вы, не видать бы мне больше ни солнышка, ни подснежников весенних. Сколько ни проживу на свете, а все благодарить вас буду — за каждый цветочек, за каждый денечек! *(Кланяется Январю-месяцу.)*

Январь. Не мне кланяйся, а брату моему меньшому — Апрелю-месяцу. Он за тебя просил, он и цветы для тебя из-под снега вывел.

Падчерица *(оборачиваясь к Апрелю-месяцу)*. Спасибо тебе, Апрель-месяц! Всегда я тебе радовалась, а теперь, как в лицо тебя увидела, так уж никогда не забуду!

Апрель. А чтобы и в самом деле не забыла, вот тебе колечко на память. Смотри на него да вспоминай меня. Если случится беда, брось его на землю, в воду или в снежный сугроб и скажи:

Ты катись, катись, колечко,
На весеннее крылечко,
В летние сени,
В теремок осенний
Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!

Мы и придем к тебе на выручку — все двенадцать придем, как один,— с грозой, с метелью, с весенней капелью! Ну что, запомнила?

Падчерица. Запомнила. *(Повторяет.)*

...Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!

Апрель. Ну, прощай, да колечко мое береги. Потеряешь его — меня потеряешь!

Падчерица. Не потеряю. Я с этим колечком ни за что не расстанусь. Унесу его с собой, как огонек от вашего костра. А ведь ваш костер всю землю греет.

Апрель. Правда твоя, красавица. Есть в моем колечке от большого огня малая искорка. В стужу согреет, в темноте посветит, в горе утешит.

Январь. А теперь послушай, что я скажу. Довелось тебе нынче в последнюю ночь старого года, в первую ночь Нового года встретиться со всеми двенадцатью месяцами разом. Когда еще расцветут апрельские подснежники, а у тебя уж корзинка полна. Ты к нам по самой короткой дорожке пришла, а другие идут по длинной дороге — день за днем, час за часом, минута за минутой. Так оно и полагается. Ты этой короткой дорожки никому не открывай, никому не указывай. Дорога эта заповедная.

Февраль. И про то, кто тебе подснежники дал, не говори. Нам-то ведь это тоже не полагается — порядок нарушать. Дружбой с нами не хвались!

Падчерица. Умру, а никому ничего не скажу!

Январь. То-то же. Помни, что мы тебе говорили и что ты нам ответила. А сейчас пора тебе домой бежать, пока я метель свою на волю не выпустил.

Падчерица. Прощайте, братья-месяцы!

Все месяцы. Прощай, сестрица!

Падчерица убегает.

Апрель. Братец Январь, хоть и дал я ей колечко свое, да одной звездочкой всю чащу лесную не осветишь. Попроси месяц небесный посветить ей в дороге.

Январь (*поднимая голову*). Ладно, попрошу! Куда только он девался? Эй, тезка, месяц небесный! Выгляни-ка из-за тучи!

Месяц появляется.

Сделай милость, проводи нашу гостью по лесу, чтобы ей поскорее до дому добраться!

Месяц плывет по небу в ту сторону, куда ушла девушка. Некоторое время тишина.

Декабрь. Ну, брат Январь, конец зимней весне приходит. Бери свой посох.

Январь. Погоди маленько. Еще не время.

На поляне снова светлеет. Из-за деревьев возвращается месяц и останавливается прямо над поляной.

Довел, значит? Ну, спасибо! А теперь, брат Апрель, давай-ка мне посох. Пора!

Из-за северных
Морей,
Из серебряных
Дверей
На приволье, на простор
Выпускаю трех сестер!

Буря, старшая сестра,
Ты раздуй огонь костра.
Стужа, средняя сестра,
Скуй котел из серебра —
Соки вешние варить,
Смо́лы летние курить...

А последнюю зову
Метелицу-кореву.
Метелица-курева
Закурила, замела,
Запылила, завалила
Все дорожки, все пути —
Ни проехать, ни пройти!

(*Ударяет посохом о землю.*)

Начинается свист, вой метели. По небу мчатся облака. Снежные хлопья закрывают всю сцену

КАРТИНА ВТОРАЯ

Домик Старухи. Старуха и Дочка наряжаются. На скамейке стоит корзина с подснежниками.

Дочка. Говорила я вам: дайте ей большую новую корзину. А вы пожалели. Вот теперь и пеняйте на себя. Много ли золота в эту корзинку влезет? Горсточка, другая — и уж места нет!

Старуха. А кто же ее знал, что она живая вернется, да еще с подснежниками? Это дело неслыханное!.. И где она их разыскала, ума не приложу.

Дочка. А вы у нее не спрашивали?

Старуха. И спросить толком не успела. Пришла она сама не своя, будто не из лесу, а с гулянья, веселая, глаза блестят, щеки горят. Корзинку на стол — и сразу к себе за занавесочку. Я только глянула, что у нее в корзинке, а она уже спит. Да так крепко, что и не добудишься. Уж и день на дворе, а она все спит. Я сама и печку растопила, и пол подмела.

Дочка. Пойду-ка я ее разбужу. А вы пока возьмите большую новую корзину и переложите в нее подснежники.

Старуха. Да ведь корзина-то пустовата будет...

Дочка. А вы пореже да попросторнее уложите, так она и будет полная! *(Кидает ей корзину.)*

Старуха. Умница ты моя!

Дочка уходит за занавеску. Старуха перекладывает подснежники.

Как же это их уложить, чтобы корзина полная была? Землицы разве подсыпать? *(Берет цветочные горшки с подоконника, высыпает из них в корзину землю, потом укладывает подснежники, а по краям украшает корзину зелеными листьями из горшков.)* Вот и ладно. Цветочки, они землю любят. А уж где цветочки, там и листики. Дочка-то, видно, в меня пошла. Обеим нам ума не занимать стать.

Дочка выбегает на цыпочках из-за занавески.

Полюбуйся, как я подснежники-то уложила!

Дочка *(негромко)*. Что там любоваться. Вы полюбуйтесь!

Старуха. Колечко! Да какое! Откуда оно у тебя?

Дочка. То-то откуда! Зашла я к ней, стала ее будить, а она и не слышит. Схватила я ее за руку, разжала кулак, глядь, а на пальце у нее колечко светится. Я потихоньку колечко стянула, а будить больше не стала — пускай себе спит.

Старуха. Ах, вон оно что! Так я и думала.

Дочка. Что думала?

Старуха. Не одна она, значит, в лесу подснежники собирала. Кто-то ей помогал. Ай да сиротка! Покажи-ка мне колечко,

доченька. Так и блестит, так и играет. В жизни своей такого не видывала. Ну-ка, надень на пальчик.

Дочка (*стараясь надеть кольцо*). Не лезет!

В это время из-за занавески выходит Падчерица.

Старуха (*тихо*). В карман, в карман положи!

Дочка прячет кольцо в карман. Падчерица, глядя себе под ноги, медленно идет к скамейке, потом к двери, выходит в сени.

Заметила пропажу!

Падчерица возвращается, подходит к корзине с подснежниками, роется в цветах.

Ты зачем цветы мнешь?

Падчерица. А где та корзинка, в которой я подснежники принесла?

Старуха. Тебе на что? Вон она стоит.

Падчерица шарит в корзинке.

Дочка. Да ты чего ищешь-то?

Старуха. Она у нас мастерица искать. Слыханное ли дело — среди зимы столько подснежников разыскала!

Дочка. А еще говорила, зимой не бывает подснежников. Ты где их набрала?

Падчерица. В лесу. (*Наклоняется, смотрит под лавку.*)

Старуха. Да ты скажи толком, что ты все шаришь?

Падчерица. А вы тут ничего не находили?

Старуха. Что же нам находить, коли мы ничего не теряли?

Дочка. Это ты, видно, что-то потеряла. А что — сказать боишься.

Падчерица. Ты знаешь? Видела?

Дочка. Откуда мне знать? Ты ничего мне не рассказывала и не показывала.

Старуха. Вот скажи, что потеряла,— может, мы и поможем тебе найти!

Падчерица (*с трудом*). Колечко у меня пропало.

Старуха. Колечко? Да у тебя его никогда и не было.

Падчерица. Я его вчера в лесу нашла.

Старуха. Ишь ты, счастливица какая! И подснежники нашла, и колечко. Я же и говорю, мастерица искать. Ну, вот и поищи. А нам во дворец идти пора. Закутайся потеплее, доченька. Мороз-то большой.

Одеваются, прихорашиваются.

Падчерица. Зачем вам мое колечко? Отдайте мне его.

Старуха. Ты что, ума лишилась? Откуда нам его взять?

Дочка. Мы его и в глаза не видали.

Падчерица. Сестрица, милая, у тебя мое колечко! Я знаю. Ну, не смейся надо мной, отдай мне его. Ты во дворец идешь. Тебе там целую корзину золота дадут — чего хочешь, того и накупишь себе, а у меня только и было что это колечко.

Старуха. Да что ты привязалась к ней? Видать, колечко-то это не найденное, а дареное. Память дорогая.

Дочка. А скажи, кто тебе его подарил?

Падчерица. Никто не дарил. Нашла.

Старуха. Ну, что легко найдено, то и потерять не жаль. Ведь не заработанное. Бери корзину, доченька. Во дворце-то нас небось заждались!

Старуха и Дочка уходят.

Падчерица. Погодите! Матушка!.. Сестрица!.. И слушать даже не хотят. Что же мне делать теперь, кому пожаловаться? Братья-месяцы далеко, не найти мне их без колечка. А кто еще заступится за меня? Разве во дворец пойти, королеве рассказать? Ведь это я для нее подснежники собирала. Солдат говорил, она сирота. Может, сирота сироту пожалеет? Да нет, не пустят меня к ней с пустыми руками, без подснежников моих... *(Садится перед печкой, смотрит в огонь.)* Вот будто и не было ничего. Будто приснилось все. Ни цветов, ни колечка... Только хворост и остался у меня из всего, что я из лесу принесла! *(Бросает в огонь охапку хвороста.)*

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Пламя светло вспыхивает, трещит в печи.

Ярко горит, весело! Словно я опять в лесу, у костра, среди братьев-месяцев... Прощай, мое новогоднее счастье! Прощайте, братья-месяцы! Прощай, Апрель!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Зал королевского дворца. Посреди зала — пышно разукрашенная елка. Перед дверью, ведущей во внутренние королевские покои, толпится в ожидании королевы много разряженных гостей. Среди них — Посол Западной державы и Посол Восточной державы. Музыканты играют туш. Из дверей выходят придворные, потом Королева в сопровождении Канцлера и высокой, худой Гофмейстерины. За Королевой — пажи, несущие ее длинный шлейф. За шлейфом скромно семенит Профессор.

Все в зале. С Новым годом, ваше величество! С новым счастьем!

Королева. Счастье у меня всегда новое, а Новый год еще не наступил.

Общее удивление.

Канцлер. А между тем, ваше величество, сегодня первое января.

Королева. Вы ошибаетесь! *(Профессору.)* Сколько дней в декабре?

Профессор. Ровно тридцать один, ваше величество!

Королева. Значит, сегодня тридцать второе декабря.

Гофмейстерина *(послам)*. Это прелестная новогодняя шутка ее величества!

Все смеются.

Начальник королевской стражи. Очень острая шутка. Острее моей сабли. Не правда ли, господин королевский прокурор?

Королевский прокурор. Высшая мера остроумия!

Королева. Нет, я вовсе не шучу.

Все перестают смеяться.

Завтра будет тридцать третье декабря, послезавтра — тридцать четвертое декабря. Ну, как там дальше? *(Профессору.)* Говорите вы!

Профессор *(растерянно)*. Тридцать пятое декабря... Тридцать шестое декабря... Тридцать седьмое декабря... Но это невозможно, ваше величество!

Королева. Вы — опять?

Профессор. Да, ваше величество, опять и опять! Вы можете отрубить мне голову, можете посадить меня в тюрьму, но тридцать седьмого декабря не бывает! В декабре тридцать один день! Ровно тридцать один. Это доказано наукой! А семью восемь, ваше величество, пятьдесят шесть, а восемью восемь, ваше величество, шестьдесят четыре! Это тоже доказано наукой, а наука для меня дороже собственной головы!

Королева. Ну-ну, дорогой профессор, успокойтесь. Я вас прощаю. Я слыхала где-то, что короли иногда любят, когда им говорят правду. А все-таки декабрь не кончится до тех пор, пока мне не принесут полной корзины подснежников!

Профессор. Как вам угодно, ваше величество, но их вам не принесут!

Королева. Посмотрим!

Общее замешательство

Канцлер. Осмелюсь представить вашему величеству прибывших чрезвычайных послов дружественных нам государств — Посла Западной державы и Посла Восточной державы.

Послы подходят и кланяются.

Западный Посол. Его величество, король моей страны, поручил мне принести вам новогодние поздравления.

Королева. Поздравьте его величество, если у него уже наступил Новый год. У меня, как видите, в этом году Новый год запоздал!

Западный Посол, бритый, грациозно, но растерянно кланяется и отступает

Восточный Посол (*небольшого роста, тучный, с длинной черной бородой*). Мой господин и повелитель приказал мне приветствовать ваше величество и поздравить вас...

Королева. С чем?

Восточный Посол (*минуту помолчав*). С цветущим здоровьем и великой мудростью, такой необыкновенной в столь нежном возрасте!

Королева (*Профессору*). Слышите? А вы все еще собираетесь меня чему-то учить. (*Садится на трон и движением руки подзывает Канцлера.*) А все-таки, почему до сих пор нет подснежников? Все ли в городе знают мой указ?

Канцлер. Ваше желание, королева, исполнено. Цветы будут сейчас повергнуты к стопам вашего величества. (*Машет платком.*)

Двери широко открываются. Входит целая процессия садовников с корзинами, вазами, букетами самых разнообразных цветов. Главный садовник, важный, с бакенбардами, подносит Королеве огромную корзину роз. Другие садовники ставят у трона тюльпаны, нарциссы, орхидеи, гортензии, азалии и другие цветы.

Гофмейстерина. Какие прелестные краски!

Западный Посол. Это настоящий праздник цветов!

Восточный Посол. Роза среди роз!

Королева. А есть тут подснежники?

Канцлер. Весьма вероятно!

Королева. Отыщите мне их, пожалуйста.

Канцлер (*наклоняется, надевает очки и подозрительно разглядывает цветы в корзинах. Наконец вытаскивает пион и гортензию*). Я полагаю, что один из этих цветов — подснежник.

Королева. Какой же?

Канцлер. Тот, который вам больше нравится, ваше величество!

Королева. Вот глупости! (*Профессору.*) А вы что скажете?

Профессор. Я знаю только латинские названия растений. Это, насколько я помню, пеония альбифлора, а это — гидрангиа опуло́идес.

Садовники отрицательно и обиженно качают головами.

Королева. Опуло́идес? Ну, это скорей похоже на название какой-то опухоли. *(Садовникам.)* Говорите вы, что это за цветы!

Садовник. Это гортензия, ваше величество, а это пион, или, как говорят в простом народе, марьин корень, ваше величество!

Королева. Мне не нужно никаких марьиных корней! Я хочу подснежников. Есть тут подснежники?

Садовник. Ваше величество, какие же подснежники в королевской оранжерее? Подснежник — цветок дикий, сорная трава!

Королева. А где же они растут?

Садовник. Где им и полагается, ваше величество. *(Презрительно.)* Где-нибудь в лесу, под кочками!

Королева. Так принесите мне их из лесу, из-под кочек!

Садовник. Слушаю, ваше величество. Только не гневайтесь,— сейчас их нет и в лесу. Они не появятся раньше апреля месяца.

Королева. Вы что, сговорились все? Апрель да апрель! Слушать я этого больше не хочу. Если у меня не будет подснежников, у кого-то из моих подданных не будет головы! *(Королевскому прокурору.)* Как вы полагаете, кто виноват в том, что у меня нет подснежников?

Королевский прокурор. Я полагаю, ваше величество, главный садовник!

Главный садовник *(падая на колени)*. Ваше величество, я отвечаю головой только за садовые растения! За лесные отвечает главный лесничий!

Королева. Очень хорошо. Если не будет подснежников, я прикажу обоих *(пишет в воздухе рукой)* каз-нить! Канцлер, велите приготовить приговор.

Канцлер. О, ваше величество, у меня все готово. Надо только вписать имя и приложить печать.

В это время открывается дверь. Входит Офицер королевской стражи.

Офицер королевской стражи. Ваше величество, по королевскому указу во дворец прибыли подснежники!

Начальник королевской стражи. Как, сами прибыли?..

Офицер королевской стражи. Никак нет! Их доставили две особы без титулов и званий!

Королева. Зовите их сюда, двух особ без титулов и званий!

Входят Старуха и Дочка с корзиной в руках.

(Приподнимаясь.) Сюда, сюда! *(Подбегает к корзине и срывает с нее скатерть.)* Так это и есть подснежники?

Старуха. Да еще какие, ваше величество! Свеженькие, лесные, только что из-под сугробов! Сами рвали!

Королева *(вытаскивая полными горстями подснежники)*. Вот это настоящие цветы, не то что ваши — как их там — опулóидес или марьин корень! *(Прикалывает к груди букет.)* Пусть сегодня все проденут в петлицы и приколют к платью подснежники. Я не хочу никаких других цветов. *(Садовникам.)* Уходите!

Главный садовник *(обрадованно)*. Благодарю вас, ваше величество!

Садовники с цветами уходят. Королева раздает всем гостям подснежники.

Гофмейстерина *(прикалывая цветы к платью)*. Эти милые цветочки напоминают мне те времена, когда я была совсем маленькая и бегала по дорожкам парка...

Королева. Вы были маленькая и даже бегали по дорожкам парка? *(Смеется.)* Это, должно быть, было очень смешно. Как досадно, что меня тогда еще не было на свете! А это вам, господин начальник королевской стражи.

Начальник королевской стражи *(принимая от Королевы подснежник)*. Благодарю вас, ваше величество. Я буду хранить этот драгоценный цветок в золотом футляре.

Королева. Лучше поставьте его в стакан с водой!

Профессор. На этот раз вы совершенно правы, ваше величество. В стакан с прохладной некипяченой водой.

Королева. Я всегда права, господин профессор. Зато вы на этот раз ошиблись. Вот вам подснежник, хоть, по-вашему, их зимой не бывает.

Профессор *(пристально разглядывая цветок)*. Благодарю вас, ваше величество... Не бывает!

Королева. Ах, профессор, профессор! Если бы вы были простым школьником, я бы вас поставила в угол за упрямство. Все равно, в тот или в этот. Да-да!.. А это вам, королевский прокурор. Приколите к своей черной мантии — на вас будет немного веселее смотреть!

Королевский прокурор *(прикалывая к своему одеянию подснежник)*. Благодарю вас, ваше величество! Этот милый цветок заменит мне орден.

Королева. Хорошо, я буду каждый год дарить вам по цветку вместо ордена! Ну что, все прикололи цветы? Все? Очень хорошо. Значит, теперь Новый год наступил и в моем королевстве. Декабрь кончился. Можете меня поздравлять!

Все. С Новым годом, ваше величество! С новым счастьем!

Королева. С Новым годом! С Новым годом! Зажигайте елку! Я хочу танцевать!

На елке зажигаются огни. Играет музыка. Посол Западной державы почтительно и торжественно кланяется Королеве. Она подает ему руку. Начинаются танцы. Королева танцует с Послом Западной державы. Гофмейстерина — с Начальником королевской стражи. За ними следуют другие пары.

(Танцуя, Западному Послу.) Дорогой посол, не можете ли вы подставить ножку моей гофмейстерине? Было бы так весело, если бы она растянулась посреди зала.

Западный Посол. Простите, ваше величество, я, кажется, вас не совсем понял...

Королева *(танцуя)*. Дорогая гофмейстерина, осторожнее! Вы задели своим длинным шлейфом елку и, кажется, загорелись... Ну да, вы горите, горите!

Гофмейстерина. Я горю? Спасите меня!

Начальник королевской стражи. Пожар! Вызвать все пожарные части!

Королева *(хохочет)*. Да нет же, это я пошутила. С первым апреля!

Гофмейстерина. Почему — с первым апреля?

Королева. А потому, что расцвели подснежники!.. Ну, танцуйте, танцуйте!

Гофмейстерина *(Начальнику королевской стражи, постепенно удаляясь в танце от Королевы)*. Ах, я так боюсь, чтобы наша королева не затеяла сегодня еще какой-нибудь сумасбродной шалости! От нее всего можно ожидать. Это такая невоспитанная девчонка!

Начальник королевской стражи. Однако она ваша воспитанница, госпожа гофмейстерина!

Гофмейстерина. Ах, что я могла с ней поделать! Она вся в отца и в мать. Капризы матери, причуды отца. Зимой ей нужны подснежники, а летом понадобятся сосульки.

Королева. Мне надоело танцевать!

Все сразу останавливаются. Королева идет к своему трону.

Старуха. Ваше величество, позвольте и нам поздравить вас с Новым годом!

Королева. А, вы еще здесь?

Старуха. Здесь покуда. Так и стоим со своей пустой корзиночкой.

Королева. Ах, да. Канцлер, прикажите насыпать им в корзину золота.

Канцлер. Полную корзину, ваше величество?

Старуха. Как было обещано, ваша милость. Сколько цветочков, столько и золота.

Канцлер. Но, ваше величество, у них в корзине земли гораздо больше, чем цветов!

Старуха. Без земли цветы вянут, ваша милость.

Королева *(Профессору)*. Это правда?

Профессор. Да, ваше величество, но правильнее было бы сказать: растениям нужна почва!

Королева. Заплатите золотом за подснежники, а земля в моем королевстве и так принадлежит мне. Не правда ли, господин королевский прокурор?

Королевский прокурор. Сущая правда, ваше величество!

Канцлер берет корзину и уходит.

Королева *(торжествующе поглядывает на всех)*. Итак, апрель месяц еще не наступил, а подснежники уже расцвели. Что вы теперь скажете, дорогой профессор?

Профессор. Я и теперь считаю, что это неправильно!

Королева. Неправильно?

Профессор. Да, так не бывает!

Западный Посол. Это и в самом деле, ваше величество, весьма редкий и замечательный случай. Было бы весьма любопытно узнать, где и как нашли эти женщины в самую суровую пору года такие прелестные весенние цветы.

Восточный Посол. Я весь превратился в слух и жду удивительного рассказа!

Королева *(Старухе и Дочке)*. Рассказывайте, где вы нашли цветы.

Старуха и Дочка молчат.

Что же вы молчите?

Старуха *(Дочке)*. Говори ты.

Дочка. Сами говорите.

Старуха *(выступая вперед, откашливается и кланяется)*. Рассказывать-то, ваше величество, дело нетрудное. Труднее было подснежники в лесу отыскать. Как услышали мы с дочкой королевский указ, так и подумали обе: живы не будем, замерзнем, а волю ее величества исполним. Взяли мы по метелке да по лопатке и пошли себе в лес. Метелками перед собой тропинку расчищаем, лопатками сугробы разгребаем. А в лесу-то темно, а в лесу-то холодно... Идем мы, идем — краю леса не видать.

Смотрю я на дочку свою, а она вся окоченела, руки-ноги трясутся. Ох, думаю, пропали мы обе...

Королева. Ну, а дальше что было?

Старуха. Дальше, ваше величество, было еще хуже. Сугробы все выше, мороз все крепче, лес все темнее. Как дошли, сами не помним. Прямо сказать, на коленках доползли...

Гофмейстерина *(всплескивает руками)*. На коленках? Ах, как страшно!

Королева. Не перебивайте, гофмейстерина! Рассказывай дальше.

Старуха. Извольте, ваше величество. Ползли мы, ползли да и добрались до самого этого места. И уж такое чудесное место, что и рассказать нельзя. Сугробы стоят высокие, выше деревьев, а посередке озеро, круглое, как тарелочка. Вода в нем не мерзнет, по воде белые уточки плавают, а по берегам цветов видимо-невидимо.

Королева. И все подснежники?

Старуха. Всякие цветы, ваше величество. Я таких и не видывала.

Канцлер вносит корзину золота и ставит ее рядом со Старухой и Дочкой.

(Поглядывая на золото.) Будто ковром цветным вся земля устлана.

Гофмейстерина. О, это, должно быть, прелестно! Цветы, птички!

Королева. Какие птички? Про птичек она не рассказывала.

Гофмейстерина *(застенчиво)*. Уточки.

Королева *(Профессору)*. Разве утки — это птицы?

Профессор. Водоплавающие, ваше величество.

Начальник королевской стражи. А грибы там тоже растут?

Дочка. И грибы.

Королевский прокурор. А ягоды?

Дочка. Земляника, черника, голубика, ежевика, малина, калина, рябина...

Профессор. Как? Подснежники, грибы и ягоды — в одно время? Не может быть!

Старуха. То-то и дорого, ваша милость, что не может быть, а есть. И цветочки, и грибочки, и ягодки — все как на подбор!

Западный Посол. И сливы там есть?

Восточный Посол. И орехи?

Дочка. Все, чего ни пожелаете!

Королева *(хлопая в ладоши)*. Вот замечательно! Сейчас

же ступайте в лес и принесите мне оттуда земляники, орехов и слив!

Старуха. Ваше величество, помилуйте!

Королева. Что такое? Вы не хотите идти?

Старуха *(жалобно)*. Да ведь дорога туда очень дальняя, ваше величество!

Королева. Какая же дальняя, если вчера только я указ подписала, а сегодня вы мне цветы принесли!

Старуха. Это верно, ваше величество, да уж больно мы замерзли в пути.

Королева. Замерзли? Ничего. Я велю вам дать теплые шубы. *(Делает знак слуге.)* Принесите две шубки, да поскорей.

Старуха *(Дочке, тихо)*. Что же нам делать-то?

Дочка *(тихо)*. Ее пошлем.

Старуха *(тихо)*. А найдет она?

Дочка *(тихо)*. Она найдет!

Королева. О чем вы там шепчетесь?

Старуха. Перед смертью прощаемся, ваше величество... Такую вы нам задачу задали, что уж и не знаешь, воротишься или пропадешь. Ну, да ничего не поделаешь. Надо вам услужить. Так прикажите нам по шубке выдать. Мы и пойдем себе. *(Берет корзину с золотом.)*

Королева. Шубки вам сейчас дадут, а золото пока оставьте. Когда вернетесь, получите сразу две корзины!

Старуха ставит корзину на пол. Канцлер убирает ее подальше.

Да поживее возвращайтесь. Земляника, сливы и орехи нужны нам сегодня к новогоднему обеду!

Слуги подают Дочке и Старухе шубы. Они одеваются. Оглядывают друг дружку.

Старуха. Спасибо, ваше величество, за шубки. В этаких и мороз не страшен. Они хоть и не на седой лисе, а теплые. Прощайте, ваше величество, ждите нас с орешками да с ягодками.

Кланяются и торопливо идут к дверям.

Королева. Стойте! *(Хлопает в ладоши.)* Подайте-ка и мне шубку! Всем подавайте шубы! Да велите закладывать лошадей.

Канцлер. Куда вы изволите ехать, ваше величество?

Королева *(чуть не прыгая)*. Мы едем в лес, к этому самому круглому озеру, и будем собирать там на снегу землянику. Это будет вроде земляники с мороженым... Едем! Едем!

Гофмейстерина. Я так и знала... Какая прелестная затея!

Западный Посол. Лучшей новогодней забавы и не придумаешь!

Восточный Посол. Эта выдумка достойна самого Гарун-аль-Рашида!

Гофмейстерина *(кутаясь в меховую накидку и шубу)*. Как хорошо! Как весело!

Королева. Этих двух женщин посадить в передние сани. Они будут показывать нам дорогу.

Все собираются в путь, идут к дверям.

Дочка. Ай! Пропали мы!

Старуха *(тихо)*. Молчи!.. Ваше величество!

Королева. Что тебе?

Старуха. Нельзя вашему величеству ехать!

Королева. Это еще почему?

Старуха. А сугробы-то в лесу — ведь ни пройти, ни проехать! Сани увязнут!

Королева. Ну, уж если вы метелкой да лопаткой тропинку себе расчистили, так для меня и широкую дорогу проложат. *(Начальнику королевской стражи.)* Прикажите полку солдат отправиться в лес с лопатами и метлами.

Начальник королевской стражи. Будет исполнено, ваше величество!

Королева. Ну, все готово? Едем! *(Идет к дверям.)*

Старуха. Ваше величество!

Королева. Слушать вас больше не хочу! Ни слова до самого озера. Показывать дорогу будете знаками!

Старуха. Какую дорогу? Ваше величество! Ведь озера-то этого нет!

Королева. Как это нет?

Старуха. Нет и нет!.. Еще при нас его льдом затянуло.

Дочка. И снегом засыпало!

Гофмейстерина. А уточки?

Старуха. Улетели.

Начальник королевской стражи. Вот вам и водоплавающие!

Западный Посол. А земляника, сливы?

Восточный Посол. Орехи?

Старуха. Все, как есть, снегом замело!

Начальник королевской стражи. Но грибы-то по крайней мере остались?

Королева. Сушеные! *(Старухе, грозно.)* Я вижу, вы смеетесь надо мной!

Старуха. Да разве мы смеем, ваше величество!

Королева *(усаживаясь на троне и закутываясь в шубку)*. Ну так вот. Если вы не скажете, где вы их взяли, вам завтра же

отрубят головы. Нет, сегодня, сейчас. *(Профессору.)* Как это вы говорите — не надо откладывать на завтра...

Профессор. ...то, что можно сделать сегодня, ваше величество!

Королева. Вот именно! *(Старухе и Дочке.)* Ну, отвечайте! Только правду. А то плохо будет.

Начальник королевской стражи берется за эфес шпаги. Старуха и Дочка падают на колени.

Старуха *(плача)*. Мы и сами не знаем, ваше величество!..

Дочка. Ничего не знаем!..

Королева. Как же это так? Нарвали целую корзину подснежников и не знаете где?

Старуха. Не мы рвали!

Королева. Ах вот как? Не вы рвали? А кто же?

Старуха. Падчерица моя, ваше величество! Это она, негодница, за меня в лес ходила. Она и подснежники принесла.

Королева. В лес — она, а во дворец — вы? Почему же вы ее с собой не взяли?

Старуха. Дома она осталась, ваше величество. Надо же кому-нибудь и за домом присмотреть.

Королева. Вот вы бы и присматривали за домом, а негодницу бы сюда прислали.

Старуха. Как ее во дворец пришлешь! Она у нас людей боится, будто зверушка лесная.

Королева. Ну, а дорогу-то в лес, к подснежникам, ваша зверушка показать может?

Старуха. Да уж, верно, может. Если один раз нашла дорогу, так и в другой раз найдет. Только вот захочет ли...

Королева. Как это она смеет не захотеть, если я прикажу?

Старуха. Упрямая она у нас, ваше величество.

Королева. Ну, я тоже упрямая! Посмотрим, кто кого переупрямит!

Дочка. А если она вас не послушает, ваше величество, прикажите ей голову отрубить! Вот и все!

Королева. Я сама знаю, кому голову рубить. *(Встает с трона.)* Ну, слушайте. Мы все едем в лес собирать подснежники, землянику, сливы и орехи. *(Старухе с Дочкой.)* А вам дадут самых быстрых лошадей, и вы вместе с этой вашей зверушкой догóните нас.

Старуха и Дочка *(кланяясь)*. Слушаем, ваше величество! *(Хотят идти.)*

Королева. Погодите!.. *(Начальнику королевской стражи.)* Приставьте к ним двух солдат с ружьями... Нет, четырех — чтобы эти лгуньи не вздумали от нас улизнуть.

Старуха. Ох, батюшки!..

Начальник королевской стражи. Будет исполнено, ваше величество. Уж они у меня узнают, где растут сушеные грибы!

Королева. Очень хорошо. Принесите нам всем по корзинке. Самую большую — для моего профессора. Пускай он увидит, как в моем климате цветут в январе подснежники!

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Лес. Круглое озеро, затянутое льдом. Посреди него темнеет прорубь. Высокие сугробы. На ветвях сосны и ели появляются две Белки.

Первая Белка. Здравствуй, белка!
Вторая Белка. Здравствуй, белка!
Первая Белка. С Новым годом!
Вторая Белка. С новым счастьем!
Первая Белка. С новой шубкой!
Вторая Белка. С новой шерсткой!
Первая Белка. Вот тебе к Новому году сосновая шишка! *(Бросает.)*
Вторая Белка. А тебе — еловая! *(Бросает.)*
Первая Белка. Сосновая!
Вторая Белка. Еловая!
Первая Белка. Сосновая!
Вторая Белка. Еловая!
Ворон *(сверху)*. Карр! Карр! Здравствуйте, белки.
Первая Белка. Здравствуй, дедушка, с Новым годом!
Вторая Белка. С новым счастьем, дедушка! Как поживаешь?
Ворон. По-старрому.
Первая Белка. Дедушка, а сколько раз ты Новый год праздновал?
Ворон. Полторрраста.
Вторая Белка. Вон как! А ведь ты, дедушка, старый ворон!
Ворон. Помиррать порра, да смерть проворронила!
Первая Белка. А правда, что ты все на свете знаешь?
Ворон. Правда.
Вторая Белка. Ну, так расскажи нам про все, что видал.
Первая Белка. Про все, что слыхал.
Ворон. Долго ррассказывать!
Первая Белка. А ты покороче расскажи.
Ворон. Покорроче? Карр!

Вторая Белка. А ты подлиннее!

Ворон. Карр, карр, карр!

Первая Белка. Мы по-вашему, по-вороньему, не понимаем.

Ворон. А вы учитесь иностррранным языкам. Берите урроки!

На поляну выскакивает Заяц.

Первая Белка. Здравствуй, куцый! С Новым годом!

Вторая Белка. С новым счастьем!

Первая Белка. С новым снегом!

Вторая Белка. С новым морозцем!

Заяц. Какой там морозец! Мне жарко стало. Снег под лапами тает... Белки, а белки, вы нашего волка не видали?

Первая Белка. А на что тебе волк?

Вторая Белка. Зачем ты его ищешь?

Заяц. Да не я его ищу, а он меня! Где бы мне спрятаться?

Первая Белка. А ты полезай к нам в дупло — у нас тут тепло, мягко и сухо,— и волку не попадешь в брюхо.

Вторая Белка. Прыгни, заяц, прыгни!

Первая Белка. Подскочи, подскочи!

Заяц. Не до шуток мне. Волк за мной гонится, зубы на меня точит, съесть меня хочет!

Первая Белка. Плохо твое дело, заяц. Уноси-ка отсюда ноги. Вон там снег сыплется, кусты шевелятся — верно, и вправду волк!

Заяц скрывается. Из-за сугроба выбегает Волк.

Волк. Чую, тут он, ушастый, тут! Не уйдет он от меня, не укроется. Белки, а белки, вы куцего не видали?

Первая Белка. Как не видать? Он тебя искал-искал, весь лес обежал, всех про тебя спрашивал: где волк, где волк?

Волк. Ну, я ему покажу, где волк! В какую он сторону ушел?

Первая Белка. А вон в ту.

Волк. А почему след не туда ведет?

Вторая Белка. Да он нынче со своим следом разошелся. След пошел туда, а он сюда!

Волк. У-у, я вас, щелкуньи, вертихвостки! Будете у меня зубы скалить!

Ворон (*с верхушки дерева*). Карр, карр! Не бррань-ись, серый, лучше удиррай подобрру-поздоррову!

Волк. Не испугаешь, старый плут. Два раза обманул, в третий не поверю.

Ворон. Верь — не верь, а сюда солдаты идут, лопаты несут!

Волк. Других обманывай. Не уйду отсюда, зайца стеречь буду!

Ворон. Целая ррота идет!

Волк. И слушать тебя не хочу!

Ворон. Да не ррота, а брр-ригада!

Волк поднимает голову и нюхает воздух.

Ну, чья правда? Теперь веришь?

Волк. Не тебе верю, а носу своему верю. Ворон, а ворон, старый дружище, где бы мне укрыться?

Ворон. Пррыгай в пррорубь!

Волк. Утону!

Ворон. Туда тебе и доррога!

Волк через всю сцену ползет на брюхе.

Что, брат, страшно? На брюхе теперь ползешь?

Волк. Никого не боюсь, а людей боюсь. Не людей боюсь, а дубины. Не дубины, а ружья!

Волк исчезает. Некоторое время на сцене совсем тихо. Потом раздаются шаги, голоса. С крутого берега прямо на лед скатывается Начальник королевской стражи. Он падает. За ним скатывается Профессор.

Профессор. Вы, кажется, упали?

Начальник королевской стражи. Нет, я просто прилег отдохнуть. *(Кряхтя, встает, потирает колени.)* Давно не случалось мне с ледяных гор кататься. Лет шестьдесят по крайней мере. Как, по-вашему, дорогой профессор, это озеро?

Профессор. Вне всякого сомнения, это какая-то водная котловина. По всей вероятности, озеро.

Начальник королевской стражи. И при этом совершенно круглое. Вы не находите, что оно совершенно круглое?

Профессор. Нет, вполне круглым его назвать нельзя. Скорее оно овальное, или, вернее сказать, эллипсообразное.

Начальник королевской стражи. Не знаю, может быть, с научной точки зрения. Но, на простой взгляд, оно круглое, как тарелка. Знаете, я полагаю, что это то самое озеро...

Появляется стража с лопатами и метлами. Солдаты быстро расчищают спуск к озеру и стелют ковровую дорожку. По дорожке спускается Королева, за ней — Гофмейстерина, послы и другие гости.

Королева *(Профессору)*. Вы говорили, профессор, будто в лесу водятся дикие звери, а я не видела до сих пор ни одного... Где же они? Покажите мне их, пожалуйста! Да поскорее.

Профессор. Я полагаю, они спят, ваше величество...

Королева. Разве они так рано ложатся спать? Ведь еще совсем светло.

Профессор. Многие из них ложатся еще раньше — осенью — и спят до самой весны, пока не растает снег.

Королева. Здесь столько снега, что он, кажется, никогда не растает! Я и не думала, что на свете бывают такие высокие сугробы и такие странные, кривые деревья. Мне это даже нравится! *(Гофмейстерине.)* А вам?

Гофмейстерина. Разумеется, ваше величество, я без ума от природы!

Королева. Я так и думала, что от природы! Ах, мне очень жаль вас, дорогая гофмейстерина!

Гофмейстерина. Но я совсем не то хотела сказать, ваше величество. Я хотела сказать, что безумно люблю природу!

Королева. А вот она вас, должно быть, не очень любит. Вы только поглядите в зеркальце. У вас стал совсем сизый нос. Закройте его поскорей муфтой!

Гофмейстерина. Благодарю вас, ваше величество! Вы гораздо внимательнее ко мне, чем к себе самой. Боюсь, что у вас тоже немного поголубел носик...

Королева. Еще бы! Мне холодно. Дайте-ка мне меховую накидку!

Гофмейстерина и придворные дамы. И мне, пожалуйста! И мне! И мне!

В это время один из солдат, расчищающих дорогу, сбрасывает с себя плащ и куртку с меховой опушкой. Его примеру следуют другие солдаты.

Королева. Объясните мне, что это значит. Мы чуть не окоченели от холода, а эти люди сбросили с себя даже куртки.

Профессор *(дрожа)*. В-в-в... Это вполне объяснимо. Усиленное движение способствует кровообращению.

Королева. Я ничего не поняла... Движение, кровообращение... Позовите-ка сюда этих солдат!

Подходят два Солдата — старый и молодой, безусый. Молодой быстро вытирает рукавом со лба пот и вытягивает руки по швам.

Скажи-ка мне, почему ты вытер лоб?

Молодой Солдат. Виноват, ваше величество!

Королева. Нет, почему?

Молодой Солдат. По неразумию, ваше величество! Не извольте гневаться!

Королева. Да я совсем на тебя не сержусь. Отвечай смело, почему?

Молодой Солдат *(смущенно)*. Взопрел, ваше величество!

Королева. Как? Что это значит — взопрел?

Старый Солдат. Так уж у нас говорят, ваше величество,— жарко ему стало.

Королева. И тебе жарко?

Старый Солдат. Еще бы не жарко!

Королева. Отчего?

Старый Солдат. От топора, от лопаты да от метлы, ваше величество!

Королева. Вот как? Вы слышали? Гофмейстерина, канцлер, королевский прокурор, берите топоры. А мне дайте метлу! Берите все метлы, лопаты, топоры — кому что нравится!

Начальник королевской стражи. Госпожа гофмейстерина, разрешите показать вам, как надо держать лопату. А копают вот так, вот так!

Гофмейстерина. Благодарю вас. Я очень давно не копала.

Королева. А разве вы когда-нибудь копали?

Гофмейстерина. Да, ваше величество, у меня было прелестное зеленое ведерко и совочек.

Королева. Почему же вы их мне никогда не показывали?

Гофмейстерина. Ах, я потеряла их в саду, когда мне было три года...

Королева. Вы, очевидно, не только безумны, но и рассеянны от природы. Берите метлу да не потеряйте. Она казенная!

Западный Посол. А нам что прикажете делать, ваше величество?

Королева. Вы занимались каким-нибудь спортом у себя на родине, господин посол?

Западный Посол. Я играл недурно в теннис, ваше величество.

Королева. Ну, так берите лопату! *(Восточному Послу.)* А вы, господин посол?

Восточный Посол. В золотые годы молодости я скакал на арабском коне.

Королева. Скакали? В таком случае протаптывайте дорожки!

Восточный Посол разводит руками и отходит в сторону. Все, кроме него, работают.

А ведь и правда от этого становится теплее. *(Вытирает со лба пот.)* Я даже взопрела!

Гофмейстерина. Ах!

Все от удивления перестают работать и смотрят на Королеву.

Королева. Разве я не так сказала?

Профессор. Нет, вы сказали совершенно правильно, ваше величество, но осмелюсь заметить, что выражение это не вполне светское, а, так сказать, народное.

Королева. Ну что ж, королева должна знать язык своего

народа! Вы сами повторяете это мне перед каждым уроком грамматики!

Профессор. Боюсь, что вы, ваше величество, не совсем верно поняли мои слова...

Начальник королевской стражи. А вы говорили бы попроще. Вот как я, например: раз, два, шагом марш — и все меня понимают.

Королева *(бросая метлу)*. Раз, два,— бросайте метлы и лопаты! Мне надоело мести снег! *(Начальнику королевской стражи.)* Куда девались эти женщины, которые должны показать нам, где растут подснежники?

Королевский прокурор. Я опасаюсь, что эти преступницы обманули стражу и скрылись.

Королева. Вы отвечаете за них головой, начальник королевской стражи! Если их не будет здесь через минуту...

Звон колокольчиков. Ржанье лошадей. Из-за кустов выходят Старуха, Дочка и Падчерица. Их окружает стража.

Начальник королевской стражи. Здесь они, ваше величество!

Королева. Наконец-то!

Старуха *(озираясь по сторонам, про себя)*. Ишь ты, озеро! Ведь вот врешь, врешь, да ненароком и правду соврешь! *(Королеве.)* Ваше величество, привела я вам свою падчерицу. Не извольте гневаться.

Королева. Подведите ее сюда. Ах, вот ты какая! Я думала, какая-нибудь мохнатая, косолапая, а ты, оказывается, красивая. *(Канцлеру.)* Не правда ли, она очень мила?

Канцлер. В присутствии моей королевы я никого и ничего не вижу!

Королева. У вас, должно быть, замерзли очки. *(Профессору.)* А вы что скажете?

Профессор. Я скажу, что зимой в странах умеренного климата...

Восточный Посол. Какой же это умеренный климат? Совсем не умеренный. Чересчур холодный климат!

Профессор. Простите меня, господин посол, но в географии он называется умеренным... Итак, в странах умеренного климата жители носят зимой теплую одежду из меха и пуха.

Королева. «Муха — пуха»... Что вы хотите сказать?

Профессор. Я хочу сказать, что эта девушка нуждается в теплой одежде. Смотрите, она совсем замерзла!

Королева. На этот раз вы, кажется, правы, хотя могли бы говорить покороче. Вы пользуетесь каждым удобным случаем, чтобы дать мне урок географии, арифметики или даже пения!..

Принесите этой девушке теплую одежду из меха и пуха, или, говоря по-человечески,— шубу!.. Ну вот, наденьте на нее!

Падчерица. Спасибо.

Королева. Подожди благодарить! Я тебе еще корзину золота дам, двенадцать бархатных платьев, башмачки на серебряных каблучках, по браслету на каждую руку и по алмазному кольцу на каждый палец! Хочешь?

Падчерица. Спасибо. Только мне ничего этого не надо.

Королева. Совсем-совсем ничего?

Падчерица. Нет, одно колечко мне нужно. Не десять ваших, а одно мое!

Королева. Разве одно лучше, чем десять?

Падчерица. Для меня лучше, чем сто.

Старуха. Не слушайте ее, ваше величество!

Дочка. Она сама не знает, что говорит!

Падчерица. Нет, знаю. Было у меня колечко, а вы его взяли и отдать не хотите.

Дочка. А ты видела, как мы его брали?

Падчерица. И не видела, а знаю, что оно у вас.

Королева *(Старухе и Дочке)*. А ну-ка, дайте мне сюда это колечко!

Старуха. Ваше величество, верьте слову,— нет его у нас!

Дочка. И не было никогда, ваше величество.

Королева. А сейчас будет. Давайте колечко, а не то...

Начальник королевской стражи. Поскорее, ведьмы! Королева гневается.

Дочка, взглянув на Королеву, вынимает из кармана кольцо.

Падчерица. Мое! Другого такого и на свете нет.

Старуха. Ах, доченька, зачем же ты чужое кольцо спрятала?

Дочка. Да вы же сами сказали — в карман положи, коли на палец не лезет!

Все смеются.

Королева. Красивое колечко... Откуда оно у тебя?

Падчерица. Мне его дали.

Королевский прокурор. А кто дал?

Падчерица. Не скажу.

Королева. Э, да ты и вправду упрямая! Ну, знаешь что? Так и быть, бери свое колечко!

Падчерица. Правда? Вот спасибо!

Королева. Бери да помни: я даю тебе его за то, что ты покажешь мне место, где вчера собирала подснежники. Да поскорее!

Падчерица. Тогда не надо!..

Королева. Что? Не надо тебе колечка? Ну, так ты никогда его больше не увидишь! Я его в воду брошу, в прорубь! Жалко? Мне и самой, может быть, жалко, да ничего не поделаешь. Говори скорее, где подснежники. Раз... два... три!

Падчерица *(плачет)*. Колечко мое!

Королева. Думаешь, я и в самом деле бросила? Нет, вот оно еще здесь, у меня на ладони. Скажи только одно слово — и оно будет у тебя. Ну? Долго ты еще будешь упрямиться? Снимите с нее шубку!

Дочка. Пусть мерзнет!

Старуха. Так ей и надо!

С Падчерицы снимают шубку. Королева в гневе ходит взад и вперед. Придворные провожают ее глазами. Когда Королева отворачивается, Старый Солдат набрасывает на плечи Падчерицы свой плащ.

Королева *(оглянувшись)*. Это что значит? Кто посмел? Говорите!

Молчание.

Ну, видно, на нее плащи с неба валятся! *(Замечает Старого Солдата без плаща.)* А, вижу! Подойди-ка сюда, подойди... Где твой плащ?

Старый Солдат. Сами видите, ваше величество.

Королева. Да как же ты осмелился?

Старый Солдат. А мне, ваше величество, что-то опять жарко стало. Взопрел, как говорится у нас в простом народе. А плащ девать некуда...

Королева. Смотри, как бы тебе еще жарче не стало! *(Срывает с Падчерицы плащ и топчет его ногами.)* Ну что, будешь упрямиться, злая девчонка? Будешь? Будешь?

Профессор. Ваше величество!

Королева. Что такое?

Профессор. Это недостойный поступок, ваше величество! Велите отдать этой девушке шубку, которую вы ей подарили, и кольцо, которым она, видимо, очень дорожит, а сами поедем домой. Простите меня, но ваше упрямство не доведет нас до добра!

Королева. Ах, так это я упрямая?

Профессор. А кто же, осмелюсь спросить?

Королева. Вы, кажется, забыли, кто из нас королева — вы или я,— и решаетесь заступаться за эту своевольную девчонку, а мне говорить дерзости!.. Вы, кажется, забыли, что слово «казнить» короче, чем слово «помиловать»!

Профессор. Ваше величество!

Королева. Нет-нет-нет! Я и слушать вас не хочу больше!

Сейчас я велю бросить в прорубь и это колечко, и девчонку, и вас вслед за ней! *(Круто поворачивается к Падчерице.)* В последний раз спрашиваю: покажешь дорогу к подснежникам? Нет?

Падчерица. Нет!

Королева. Прощайся же со своим колечком и с жизнью заодно! Хватайте ее!.. *(С размаху бросает колечко в воду.)*

Падчерица
(рванувшись вперед)

Ты катись, катись, колечко,
На весеннее крылечко,
В летние сени,
В теремок осенний
Да по зимнему ковру
К новогоднему костру!

Королева. Что, что такое она говорит?

Поднимается ветер, метель. Вкось летят снежные хлопья. Королева, придворные, Старуха с Дочкой, солдаты стараются укрыть головы, защитить лица от снежного вихря. Сквозь шум вьюги слышен бубен Января, рог Февраля, мартовские бубенчики. Вместе со снежным вихрем проносятся какие-то белые фигуры. Может быть, это метель, а может быть, и сами зимние месяцы. Кружась, они на бегу увлекают за собой Падчерицу. Она исчезает.

Королева. Ко мне! Скорее!

Ветер кружит Королеву и всех придворных. Люди падают, поднимаются; нец, ухватившись друг за друга, превращаются в один клубок.

Голос Гофмейстерины. Держите меня!
Голос Старухи. Доченька! Где ты?
Голос Дочки. Сама не знаю где!.. Пропала я!..
Разные голоса.
— Домой!
— Лошадей!
— Где лошади? Кучер! Кучер!

Все, приникнув к земле, замирают. В шуме бури все чаще слышны мартовские бубенчики, а потом апрельская свирель. Метель утихает. Становится светло, солнечно. Чирикают птицы. Все поднимают головы и с удивлением смотрят вокруг.

Королева. Весна наступила!

Профессор. Не может быть!

Королева. Как это не может быть, когда на деревьях уже раскрываются почки!

Западный Посол. В самом деле, раскрываются... А это что за цветы?

Королева. Подснежники! Все вышло по-моему! *(Быстро взбегает на пригорок, покрытый цветами.)* Стойте! А где же эта девушка? Куда девалась твоя падчерица?

Старуха. Нет ее! Убежала, негодная!

Королевский прокурор. Ищите ее!

Королева. Мне она больше не нужна. Я сама нашла подснежники. Посмотрите, сколько их! *(С жадностью бросается собирать цветы. Перебегая с места на место, она отдаляется от всех и вдруг замечает прямо перед собой огромного Медведя, который, видимо, только что вышел из берлоги.)* Ай! Кто вы такой?

Медведь наклоняется к ней. На помощь Королеве с двух разных сторон бегут Старый Солдат и Профессор. Профессор на бегу грозит Медведю пальцем. Остальные спутники Королевы в страхе разбегаются. Гофмейстерина пронзительно визжит.

Профессор. Ну-ну!.. Брысь! Кыш!.. Пошел прочь!

Солдат. Не шали, малый!

Медведь, поглядев направо и налево, медленно уходит в чащу. Придворные сбегаются к Королеве.

Королева. Кто же это был?

Солдат. Бурый, ваше величество.

Профессор. Да, бурый медведь — по-латыни урсус. Очевидно, его пробудила от спячки ранняя весна... Ах, нет, простите, оттепель!

Начальник королевской стражи. А что, этот бурый медведь не тронул вас, ваше величество?

Королевский прокурор. Не поранил?

Гофмейстерина. Не поцарапал?

Королева. Нет, он мне только сказал на́ ухо два слова. Про вас, гофмейстерина!

Гофмейстерина. Про меня? Что же он сказал про меня, ваше величество?

Королева. Он спросил, почему кричите вы, а не я. Это его очень удивило!

Гофмейстерина. Я кричала от страха за вас, ваше величество!

Королева. Вот оно что! Пойдите объясните это медведю!

Гофмейстерина. Извините, ваше величество, но я очень боюсь мышей и медведей!

Королева. Ну, так собирайте подснежники!

Гофмейстерина. Но я их больше не вижу...

Канцлер. В самом деле, где же они?

Королева. Исчезли!

Начальник королевской стражи. Зато появились ягоды!

Старуха. Ваше величество, извольте поглядеть — земляника, черника, голубика, малина — все, как мы вам рассказывали!

Гофмейстерина. Голубика, земляника! Ах, какая прелесть!

Дочка. Сами видите, мы правду говорили!

Солнце светит все ослепительнее. Жужжат пчелы и шмели. Лето в разгаре. Издали слышны гусли Июля.

Начальник королевской стражи (*отдуваясь*). Дышать не могу!.. Жарко!.. (*Распахивает шубу.*)

Королева. Что это — лето?

Профессор. Не может быть!

Канцлер. Однако это так. Настоящий июль месяц...

Западный Посол. Знойно, как в пустыне.

Восточный Посол. Нет, у нас прохладнее!

Все сбрасывают шубы, обмахиваются платками, в изнеможении садятся на землю.

Гофмейстерина. Кажется, у меня начинается солнечный удар. Воды, воды!

Начальник королевской стражи. Воды госпоже гофмейстерине!

Удар грома. Ливень. Летят листья. Наступает мгновенная осень.

Профессор. Дождь!

Королевский прокурор. Какой же это дождь?.. Это ливень!

Старый солдат (*подавая фляжку с водой*). Вот вода для госпожи гофмейстерины!

Гофмейстерина. Не надо, я и так вся вымокла!

Старый Солдат. И то верно!

Королева. Подайте мне зонтик!

Начальник королевской стражи. Откуда же я возьму зонтик, ваше величество, когда мы выехали в январе, а сейчас... (*оглядывается*) должно быть, сентябрь месяц...

Профессор. Не может быть.

Королева (*гневно*). Никаких месяцев в моем королевстве больше нет и не будет! Это мой профессор их выдумал!

Королевский прокурор. Слушаю, ваше величество! Не будет!

Становится темно. Поднимается невообразимый ураган. Ветер валит деревья, уносит брошенные шубы и шали.

Канцлер. Что же это такое? Земля качается...

Начальник королевской стражи. Небо падает на землю!

Старуха. Батюшки!

Дочка. Матушка!

Ветер раздувает пышное платье Гофмейстерины, и она, едва касаясь ногами земли, несется вслед за листьями и шубами.

Гофмейстерина. Спасите меня! Ловите!.. Я лечу!

Тьма еще больше сгущается.

Королева *(ухватившись руками за ствол дерева)*. Сейчас же во дворец!.. Лошадей!.. Да где же вы все? Едем!

Канцлер. Как же нам ехать, ваше величество? Ведь мы в санях, а дорогу размыло.

Начальник королевской стражи. По такой грязи только верхом и ускачешь!

Восточный Посол. Правду он говорит — верхом! *(Бежит.)*

За ним — Западный Посол, Прокурор, Начальник королевской стражи.

Королева. Стойте! Я прикажу вас всех казнить!

Никто ее не слушается.

Западный Посол *(на бегу)*. Простите, ваше величество, но меня может казнить только мой король!

Восточный Посол. А меня — султан!

Убегают.

Голос Королевского прокурора *(за сценой)*. Посадите меня на лошадь! Я не умею ездить верхом.

Голос Начальника королевской стражи. Научитесь!.. Н-но!

Топот копыт. На сцене только Королева, Профессор, Старуха с Дочкой и Старый Солдат. Ливень прекращается. По воздуху летят белые мухи.

Королева. Смотрите — снег!.. Опять зима...

Профессор. Вот это весьма вероятно. Ведь теперь январь месяц.

Королева *(ежась)*. Подайте мне шубу. Холодно!

Солдат. Еще бы не холодно, ваше величество! Хуже нет— сначала промокнуть, а потом замерзнуть. Да только шубы-то ветром унесло. Они ведь у вас, ваше величество, легонькие, на пуху, а вихрь был сердитый...

Невдалеке слышен волчий вой.

Королева. Слышите?.. Что это — ветер воет?

Солдат. Нет, ваше величество, волки.

Королева. Как страшно! Велите поскорее подать сани. Ведь теперь зима, мы опять можем ехать в санях.

Профессор. Совершенно правильно, ваше величество, зимой люди ездят в санях и (*вздыхает*) топят печки...

Солдат уходит.

Старуха. Говорила я вам, ваше величество, не надо вам в лес ехать!

Дочка. Подснежников ей захотелось!

Королева. А вам золото понадобилось! (*Помолчав.*) Да как вы смеете со мной так разговаривать?

Дочка. Ишь ты, обиделась!

Старуха. Мы ведь не во дворце, ваше величество, в лесу!

Солдат (*возвращается и тянет за собой сани*). Вот они, сани, ваше величество, садитесь, ежели угодно, а только ехать не на ком.

Королева. А лошади где же?

Солдат. Господа на них ускакали. Ни одной нам не оставили.

Королева. Ну, покажу я этим господам, если только до дворца доберусь! А вот добраться-то как? (*Профессору.*) Ну, говорите, как? Вы же все на свете знаете!

Профессор. Простите, ваше величество, к сожалению, далеко не все...

Королева. Да ведь мы пропадем здесь! Мне холодно, мне больно. Я скоро промерзну вся насквозь! Ах, мои уши, мой нос! У меня все пальцы свело!..

Солдат. А вы, ваше величество, снегом ушки и носик потрите, а то, не ровен час, и в самом деле отморозите.

Королева (*трет уши и нос снегом*). И зачем только я этот дурацкий приказ подписала!

Дочка. И правда, дурацкий! Не подписали бы вы его, сидели бы мы сейчас дома, в тепле, Новый год праздновали бы. А теперь замерзай тут, как собака!

Королева. А вы чего всякого дурацкого слова слушаетесь? Знаете же, что я еще маленькая!.. Кататься с королевой им захотелось!.. (*Прыгает то на одной ноге, то на другой.*) Ой, не могу больше, холодно! (*Профессору.*) Да придумайте же что-нибудь!

Профессор (*дуя на ладони*). Это трудная задача, ваше величество... Вот если бы можно было в эти сани кого-нибудь запрячь...

Королева. Кого же?

Профессор. Ну, лошадь, например, или хотя бы дюжину ездовых собак...

Солдат. Да где же в лесу собак найдешь? Как говорится, хороший хозяин в такую погоду собаки не выгонит.

Старуха и Дочка садятся на поваленное дерево.

Старуха. Ой, не выйти нам отсюда! Пешком бы пошли, да ноги не идут — окоченели совсем...

Дочка. Ой, пропали мы!

Старуха. Ой, ножки мои!

Дочка. Ой, ручки мои!

Солдат. Тише вы! Идет кто-то...

Королева. Это за мной!

Старуха. Как бы не так! Только о ней все и беспокоятся.

На сцену выходит высокий старик в белой шубе. Это Январь. Он по-хозяйски оглядывает лес, постукивает по стволам деревьев. Из дупла высовывается Белка. Он грозит ей пальцем. Белка прячется. Он замечает незваных гостей и подходит к ним.

Старик. Вы зачем сюда пожаловали?

Королева *(жалобно)*. За подснежниками...

Старик. Не время теперь для подснежников.

Профессор *(дрожа)*. Совершенно правильно!

Ворон *(с дерева)*. Прравильно!

Королева. Я и сама вижу, что не время. Научите нас, как отсюда выбраться!

Старик. Как приехали, так и выбирайтесь.

Солдат. Извините, старичок, на ком приехали, тех и на крыльях не догнать. Без нас ускакали. А вы, видать, здешний?

Старик. Зимой здешний, а летом чужедальний.

Королева. Помогите нам, пожалуйста! Выведите нас отсюда. Я вас награжу по-королевски. Хотите золота, серебра — я ничего не пожалею!

Старик. А мне ничего не надо, у меня все есть. Вон сколько серебра,— вы столько и не видывали! *(Поднимает руку.)*

Весь снег вспыхивает серебряными и алмазными искрами.

Не вы меня, а я вас одарить могу. Говорите, кому что к Новому году надобно, у кого какое желание.

Королева. Я одного хочу — во дворец. Да только ехать не на чем!

Старик. Будет на чем ехать. *(Профессору.)* Ну, а ты чего хочешь?

Профессор. Я бы хотел, чтобы все опять было на своем месте и в свое время: зима — зимою, лето — летом, а мы — у себя дома.

Старик. Исполнится! *(Солдату.)* А тебе чего, служивый?

Солдат. Да чего мне! У костра погреться, и ладно будет. Замерз больно.

Старик. Погреешься. Тут костер недалеко.

Дочка. А нам обеим по шубке!..

Старуха. Да погоди ты! Куда торопишься!

Дочка. А чего там ждать! Хоть какую ни на есть шубку, хоть на собачьем меху, да только сейчас, поскорее!

Старик (*вытаскивает из-за пазухи две шубы на собачьем меху*). Держите!

Старуха. Простите, ваша милость, не надо нам этих шубок. Она не то сказать хотела!

Старик. Что сказано, то сказано. Надевайте шубы. Носить вам их — не сносить!

Старуха (*держа шубу в руках*). Дура ты, дура! Уж если шубу просить, так хоть соболью!

Дочка. Сами вы дура! Говорили бы вовремя.

Старуха. Мало, что себе собачью шубу раздобыла, еще и мне навязала!

Дочка. А коли не нравится, вы мне и свою отдайте, теплее будет. А сами замерзайте тут под кустом, не жалко!

Старуха. Так я и отдала, держи карман шире!

Обе быстро одеваются, переругиваясь.

Поторопилась! Собачью шубу выпросила!

Дочка. Вам собачья как раз к лицу. Лаетесь, как собака!

Старуха. Сама ты собака!

Их голоса постепенно превращаются в лай, и обе они, надев шубы, превращаются в собак: Старуха — в гладкую черную с проседью, Дочка — в мохнатую рыжую.

Королева. Ой, собаки, держите их! Они нас искусают!

Солдат (*отламывая ветку*). Не беспокойтесь, ваше величество. У нас говорят — собака палки боится.

Профессор. Собственно говоря, на собаках можно отлично ездить. Эскимосы совершают на них дальние путешествия...

Солдат. А и то правда! Запряжем-ка их в сани — пускай везут. Жалко, что мало их. Дюжину бы надо!

Королева. Эти собаки целой дюжины сто́ят. Запрягайте скорей!

Солдат запрягает. Все садятся.

Старик. Вот вам и новогоднее катанье. Ну, счастливого пути! Трогай, служивый, правь на огонек. Там костер горит. Доедешь — погреешься!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Поляна в лесу. Вокруг костра сидят все месяцы. Среди них — Падчерица. Месяцы по очереди подбрасывают в костер хворост.

Апрель

Ты гори, костер, гори,
Смóлы вешние вари.
Пусть из нашего котла
По стволам пойдет смола,
Чтобы вся земля весной
Пахла елкой и сосной!

Все месяцы

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Январь *(Падчерице)*. Ну, гостья дорогая, подбрось и ты хворосту в огонь. Он еще жарче гореть будет.

Падчерица
(бросает охапку сухих веток)

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Январь. Что, небось жарко тебе? Вон как щеки у тебя разгорелись!

Февраль. Мудрено ли, прямо с мороза да к такому огню! У нас и мороз и огонь жгучие — один другого горячее, не всякий вытерпит.

Падчерица. Ничего, я люблю, когда огонь жарко горит!

Январь. Это-то мы знаем. Потому и пустили тебя к нашему костру.

Падчерица. Спасибо вам. Два раза вы меня от смерти спасли. А мне вам и в глаза-то смотреть совестно... Потеряла я ваш подарок.

Апрель. Потеряла? А ну-ка, угадай, что у меня в руке!

Падчерица. Колечко!

Апрель. Угадала! Бери свое колечко. Хорошо, что ты его нынче не пожалела. А то и не видать бы тебе больше ни кольца, ни нас. Носи его, и всегда тебе тепло и светло будет: и в стужу, и в метель, и в осенний туман. Хоть и говорят, что Апрель-месяц обманчивый, а никогда тебя апрельское солнце не обманет!

Падчерица. Вот и вернулось ко мне мое счастливое колечко! Было оно мне дорого, а сейчас еще дороже будет. Только страшно мне с ним домой вернуться — как бы опять не отняли...

Январь. Нет, больше не отнимут. Некому отнимать! По-

едешь ты к себе домой и будешь полной хозяйкой. Теперь уж не ты у нас, а мы у тебя гостить будем.

Май. Все по очереди перегостим. Каждый со своим подарком придет.

Сентябрь. Мы, месяцы, народ богатый. Умей только подарки от нас принимать.

Октябрь. Будут у тебя в саду такие яблоки, такие цветы и ягоды, каких еще на свете не бывало.

Медведь приносит большой сундук.

Январь. А пока вот тебе этот сундук. Не с пустыми же руками возвращаться тебе домой от братьев-месяцев.

Падчерица. Не знаю уж, какими словами и благодарить вас!

Февраль. А ты сначала открой сундук да посмотри, что в нем. Может, мы тебе и не угодили.

Апрель. Вот тебе ключ от сундука. Открывай.

Падчерица поднимает крышку и перебирает подарки. В сундуке — шубы, платья, вышитые серебром, серебряные башмачки и еще целый ворох ярких, пышных нарядов.

Падчерица. Ох, и глаз не оторвать! Видела я сегодня королеву, а только и у нее не было ни таких платьев, ни такой шубки.

Декабрь. А ну, примерь обновки!

Месяцы обступают ее. Когда они расступаются, Падчерица оказывается в новом платье, в новой шубке, в новых башмачках.

Апрель. Ну и красавица же ты! И платье тебе к лицу, и шубка. Да и башмачки впору.

Февраль. Жаль только в таких башмачках по лесным тропинкам бегать, через бурелом перебираться. Видно, придется нам и санки тебе подарить. (*Хлопает рукавицами.*) Эй, работнички лесные, есть ли санки расписные, соболями крытые, серебром обитые?

Несколько лесных зверей — Лисица, Заяц, Белка — вкатывают на сцену белые санки на серебряных полозьях.

Ворон (*с дерева*). Хорроши санки, прраво, хороши!

Январь. Верно, старик, хороши санки! В такие не всякого коня запряжешь.

Май. За конями дело не станет. Дам я коней не хуже саней. Кони мои сыты, в золоте копыта, гривы блещут серебром, топнут о́земь — грянет гром. (*Ударяет в ладоши.*)

Появляются два коня.

Март. Эх, что за кони! Тпрру! Славно ты прокатишься. Только без колокольчиков и бубенчиков ездить невесело. Так и быть, подарю я тебе свои бубенчики. Звону много — веселей дорога!

Месяцы окружают сани, запрягают коней, ставят сундук. В это время откуда-то издалека доносится хриплый лай, рычанье грызущихся собак.

Голос Солдата. Но, но! Чего стали, собачьи дочки! Довезете — косточек дам. Да не грызитесь вы! Цыц, окаянные!

Голос Профессора. Поскорей бы! Холодно!

Голос Королевы. Гони, что есть духу! *(Жалобно.)* Я совсем замерзла!

Голос Солдата. Да не тянут!

Падчерица. Королева! И учитель с ней, и солдат... Откуда только у них собаки взялись?

Январь. Погоди, узнаешь! А ну, братья, подбросьте в костер хворосту. Посулил я солдату этому отогреть его у нашего костра.

Падчерица. Отогрей, дедушка! Он мне и хворост собрать помог, и плащ свой отдал, когда мне холодно было.

Январь *(братьям)*. А вы что скажете?

Декабрь. Коли посулил — так тому и быть.

Октябрь. Только ведь солдат-то не один едет.

Март *(глядя сквозь ветви)*. Да, с ним старичок, девочка и две собаки.

Падчерица. Старичок этот тоже добрый, шубку для меня выпросил.

Январь. И вправду, почтенный старичок. Можно его пустить. А с другими как же быть? Девка-то будто злая.

Падчерица. Злая-то злая, да, может, злость у нее на морозе уже вымерзла. Вон какой у нее голосок жалобный стал!

Январь. Ну что ж, поглядим! А чтоб дороги они к нам в другой раз не нашли, мы там для них тропу проложим, где раньше ее никогда не было, да и потом не будет! *(Ударяет посохом.)*

Деревья расступаются, и на поляну выезжают королевские сани. В упряжке — две собаки. Они грызутся между собой и тянут сани в разные стороны. Солдат погоняет их. Собаки всей повадкой напоминают Старуху и Дочку. Их легко узнать. Они останавливаются, не добежав до костра, у деревьев.

Солдат. Вот и костер. Не обманул меня тот старик. Здравия желаю всей честной компании! Разрешите погреться?

Январь. Подсаживайся да грейся!

Солдат. А, хозяин, здоро́во! Веселый у тебя огонек. Только позволь мне и седоков моих к теплу пристроить. Наше солдатское правило такое: сперва начальство расквартируй, а потом и сам на постой определяйся.

Январь. Ну, если у вас такое правило, так по правилу и поступай.

Солдат. Пожалуйте, ваше величество! *(Профессору.)* Пожалуйте, ваша милость!

Королева. Ох, пошевелиться не могу!

Солдат. Ничего, ваше величество, отогреетесь. Вот я вас сейчас на ножки поставлю. *(Вытаскивает ее из саней.)* И учителя вашего. *(Кричит Профессору.)* Разомнитесь, ваша милость! Привал!

Королева и Профессор нерешительно подходят к огню. Собаки, поджав хвосты, идут за ними.

Падчерица *(Королеве и Профессору)*. А вы поближе подойдите — теплее будет!

Солдат, Королева и Профессор оборачиваются к ней и удивленно смотрят на нее. Собаки, заметив Падчерицу, так и оседают на задние лапы. Потом начинают по очереди лаять, будто спрашивая друг у друга: «Она? Неужто она?» — «Она!»

Королева *(Профессору)*. Смотрите, ведь это та самая девушка, что подснежники нашла... Только какая она нарядная!

Солдат. Так точно, ваше величество, они самые. *(Падчерице.)* Добрый вечер, сударыня! В третий раз мы с вами нынче встречаемся! Да только вас теперь и не узнаешь. Чисто королева!

Королева *(стуча зубами от холода)*. Что, что ты такое говоришь? Погоди у меня!

Январь. А ты не хозяйничай тут, де́вица. Солдат-то у нашего огня — званый гость, а ты при нем состоишь.

Королева *(топая ногой)*. Нет, он при мне!

Февраль. Нет, ты при нем. Он без тебя куда хочет уйдет, а ты без него — ни шагу.

Королева. Ах, вот как! Ну, прощайте!

Январь. И ступай себе!

Февраль. Скатертью дорога!

Королева *(Солдату)*. Запрягай собак, едем дальше.

Солдат. Полноте, ваше величество, погрейтесь сначала, а то у вас зуб на зуб не попадает. Оттаем малость, а там и поедем себе потихоньку... Трюх-трюх... *(Оглядывается и замечает белых коней, запряженных в сани.)* Ох, и кони же знатные! Я и в королевской конюшне таких не видывал,— виноват, ваше величество!.. Чьи же это?

Январь *(указывая на Падчерицу)*. А вон хозяйка сидит.

Солдат. Честь имею поздравить с покупкой!

Падчерица. Не покупка это, а подарок.

Солдат. Оно еще и лучше. Дешевле досталось — дороже будет.

Собаки бросаются на лошадей и лают на них.

Цыц, зверюги! На место! Давно ли собачью шкуру надели, а уж на лошадей бросаются.

Падчерица. Лают-то как сердито! Словно ругаются — только что слов не разобрать. И что-то кажется мне, будто я уже слышала этот лай, а где — не припомню...

Январь. Может, и слышала!

Солдат. Как не слыхать! Ведь они с вами, кажись, в одном доме жили.

Падчерица. У нас собак не было...

Солдат. А вы поглядите на них получше, сударыня! Не признáете ли?

Собаки отворачивают от Падчерицы головы.

Падчерица *(всплеснув руками)*. Ах! Да быть не может!..

Солдат. Может не может, а так оно и есть!

Рыжая собака подходит к Падчерице и ласкается к ней. Черная пытается лизнуть руку.

Королева. Берегись, укусят!

Собаки ложатся на землю, виляют хвостами, катаются по земле.

Падчерица. Нет, они, видно, теперь ласковее стали. *(Месяцам.)* Да неужто им так до смерти собаками и оставаться?

Январь. Зачем? Пусть они у тебя три года поживут, дом и двор сторожат. А через три года, если станут они посмирнее, приведи их под Новый год сюда. Снимем мы с них собачьи шубы.

Профессор. Ну, а если они и через три года еще не исправятся?

Январь. Тогда через шесть лет.

Февраль. Или через девять!

Солдат. Да ведь собачий-то век недолог... Эх, тетки! Не носить вам, видно, больше платочков, не ходить на двух ногах!

Собаки бросаются на Солдата с

Сами видите! *(Отгоняет собак палкой.)*

Королева. А нельзя ли и мне привести сюда под Новый год своих придворных собак? Они у меня смирные, ласковые, ходят передо мной на задних лапках. Может быть, они тоже станут людьми?

Январь. Нет, уж если они на задних лапках ходят, так из них людей не сделаешь. Были собаками — собаками и останутся... А теперь, гости дорогие, пора мне своим хозяйством заняться. Без меня и мороз не по-январски трещит, и ветер не так дует, и снег не в ту сторону летит. Да и вам пора в путь-дорогу собираться — вон уж месяц высоко поднялся! Он вам посветит. Только езжайте быстрее — поторапливайтесь.

Солдат. Мы бы и рады поторопиться, дедушка, да лошадки наши мохнатые больше лают, чем везут. На них и к будущему году до места не дотащишься. Вот если бы нас на тех, на белых конях подвезли!..

Январь. А вы попросите хозяйку — может, она вас и подвезет.

Солдат. Прикажете попросить, ваше величество?

Королева. Не надо!

Солдат. Ну, делать нечего... Эй вы, лошадки вислоухие, полезайте опять в хомут! Хочешь — не хочешь, а придется нам еще покататься на вас.

Собаки жмутся к Падчерице.

Профессор. Ваше величество!

Королева. Что?

Профессор. Ведь до дворца еще очень далеко, а мороз, простите, январский, суровый. Не доехать мне, да и вы без шубки замерзнете!

Королева. Как же я ее просить буду? Я еще никого никогда ни о чем не просила. А вдруг она скажет — нет?

Январь. А почему бы — нет? Может, она и согласится. Сани у нее просторные — на всех места хватит.

Королева *(опустив голову)*. Не в том дело!

Январь. А в чем же?

Королева *(насупившись)*. Да ведь я с нее шубку сняла, утопить ее хотела, колечко ее в прорубь бросила! Да и не умею я просить, меня этому не учили. Я умею только приказывать. Ведь я королева!

Январь. Вон оно что! А мы и не знали.

Февраль. Ты нас в глаза не видала, и нам неведомо, кто ты такая и откуда пожаловала... Королева, говоришь? Ишь ты! А это кто, учитель твой, что ли?

Королева. Да, учитель.

Февраль *(Профессору)*. Что ж вы ее такому простому делу не выучили? Приказывать умеет, а просить не умеет! Где же это слыхано?

Профессор. Ее величество учились только тому, чему им угодно было учиться.

Королева. Ну, уж если на то пошло, так за сегодняшний день я многому научилась! Больше узнала, чем у вас за три года! *(Идет к Падчерице.)* Послушай-ка, милая, подвези нас, пожалуйста, в своих санях. Я тебя за это по-королевски награжу!

Падчерица. Спасибо, ваше величество. Не надо мне ваших подарков.

Королева. Вот видите — не хочет! Я же говорила!

Февраль. Ты, видно, не так просишь.

Королева. А как же надо просить? *(Профессору.)* Разве я не так сказала?

Профессор. Нет, ваше величество, с точки зрения грамматики вы сказали совершенно правильно.

Солдат. Уж вы меня простите, ваше величество. Я человек неученый — солдат, в грамматиках мало смыслю. А позвольте мне на этот раз поучить вас.

Королева. Ну, говори.

Солдат. Вы бы, ваше величество, не обещали ей больше никаких наград,— довольно уже было обещано. А сказали бы попросту: «Подвези, сделай милость!» Вы ведь не извозчика, ваше величество, нанимаете!

Королева. Кажется, я поняла... Подвези нас, пожалуйста! Мы очень замерзли!

Падчерица. Отчего же не подвезти? Конечно, подвезу. И шубу я вам сейчас дам, и учителю вашему, и солдату. У меня в сундуке их много! Берите, берите, я назад не отниму.

Королева. Ну, спасибо тебе. За эту шубку ты получишь от меня двенадцать...

Профессор *(испуганно)*. Вы — опять, ваше величество!..

Королева. Не буду, не буду!

Падчерица достает шубы. Все, кроме Солдата, закутываются.

(Солдату.) А ты что же не одеваешься?

Солдат. Не смею, ваше величество, шинелка-то не по форме — не казенного образца!

Королева. Ничего, у нас сегодня все не по форме... Одевайся!

Солдат *(одеваясь)*. И то правда. Какая уж тут форма! Обещали мы нынче других покатать, а сами в чужих санях катаемся. Посулили шубу со своего плеча пожаловать, а сами в чужих шубах греемся... Да уж ладно. И на том спасибо!.. Дозвольте мне, хозяева, на облучке пристроиться! С лошадками управляться — это не то что с собаками. Дело знакомое.

Январь. Садись, служивый. Вези седоков. Да смотри шапку в дороге не потеряй. Кони у нас резвые, часы обгоняют, минутки у них из-под копыт летят. Не оглянетесь — дома будете!

Падчерица. Прощайте, братья-месяцы! Не забуду я вашего новогоднего костра!

Королева. А я бы и рада забыть, да не забудется!

Профессор. А забудется — так напомнится!

Солдат. Желаю здравствовать, хозяева! Счастливо оставаться!

Весенние и летние месяцы. Добрый путь!

Зимние месяцы. Зеркалом дорога!

Ворон. Зеркалом дорога!

Сани уносятся. Собаки с лаем бегут за ними следом.

Падчерица (*оборачиваясь*). Прощай, Апрель-месяц!
Апрель. Прощай, милая! Жди меня в гости!

Долго еще звенят колокольчики. Потом стихают.
В лесу светлеет. Близится утро.

Январь (*оглядываясь кругом*). Что, дедушка-лес? Напугали мы тебя нынче, снега твои всколыхнули, зверье твое разбудили?.. Ну, полно, полно, спи себе,— больше не потревожим!..

Все месяцы
Догорай, костер, дотла,
Будет пепел и зола.
Разлетайся, синий дым,
По кустарникам седым,
До вершин окутай лес,
Поднимайся до небес!

Апрель
Тает месяц молодой.
Гаснут звезды чередой.
Из распахнутых ворот
Солнце красное идет.
Солнце за руки ведет
Новый день и Новый год!

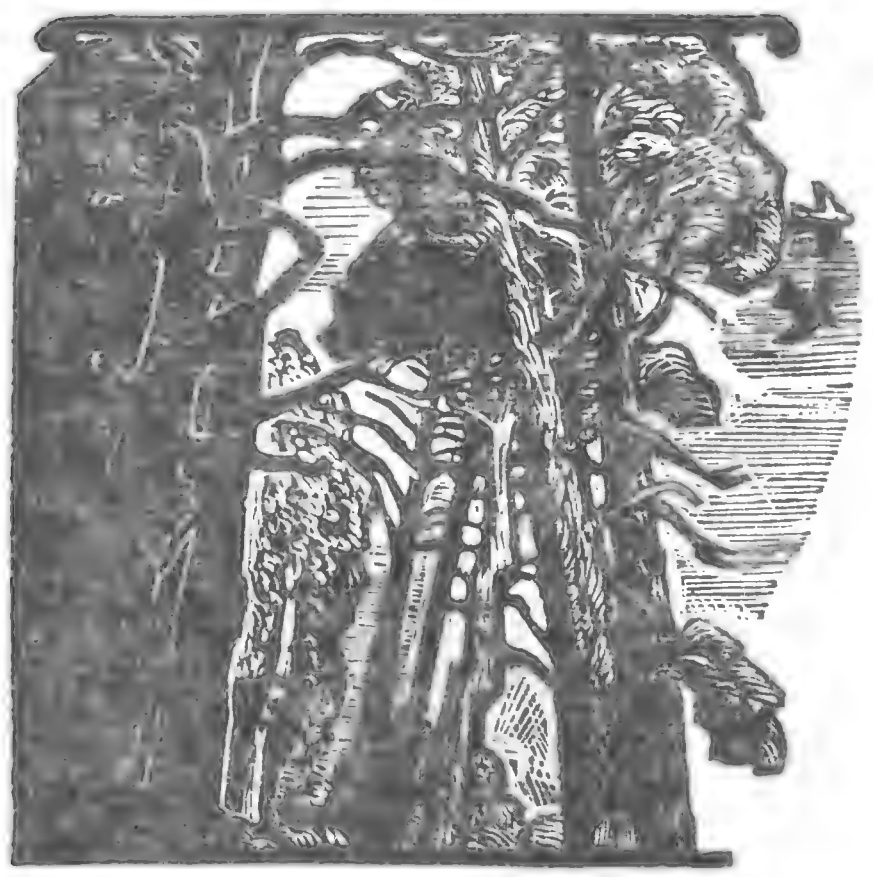
Все месяцы
(*повернувшись к солнцу*).
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

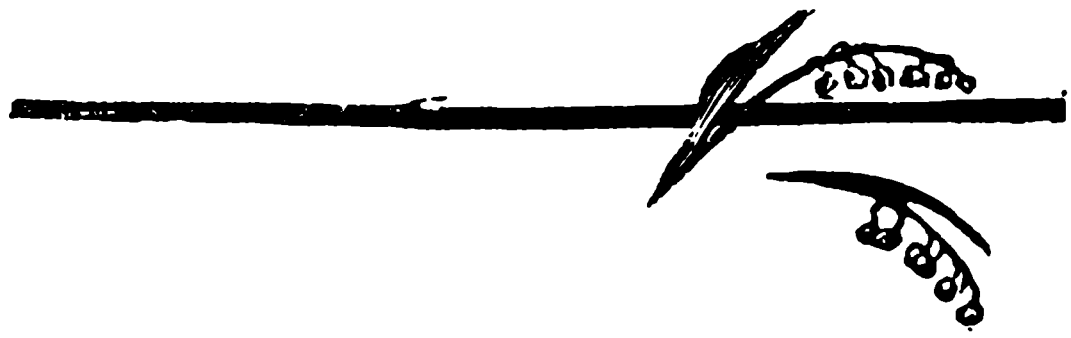
Январь
Без коней, без колеса
Едет вверх на небеса
Солнце золотое,
Золото литое.
Не стучит, не гремит,
Не копытом говорит!

Все месяцы
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!

Занавес.

Лирика





Все то, чего коснется человек,
Приобретает нечто человечье.
Вот этот дом, нам прослуживший век,
Почти умеет пользоваться речью.

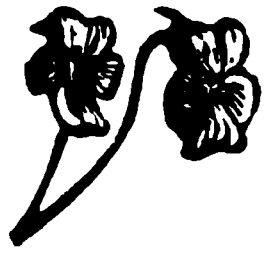
Мосты и переулки говорят.
Беседуют между собой балконы.
И у платформы, выстроившись в ряд,
Так много сердцу говорят вагоны.

Давно стихами говорит Нева.
Страницей Гоголя ложится Невский.
Весь Летний сад — Онегина глава.
О Блоке вспоминают Острова,
А по Разъезжей бродит Достоевский.

Сегодня старый маленький вокзал,
Откуда путь идет к финляндским скалам,
Мне молчаливо повесть рассказал
О том, кто речь держал перед вокзалом.

А там еще живет петровский век,
В углу между Фонтанкой и Невою...
Все то, чего коснется человек,
Озарено его душой живою.

1946



* * *

И поступь и голос у времени тише
Всех шорохов, всех голосов.
Шуршат и работают тайно, как мыши,
Колесики наших часов.

Лукавое время играет в минутки,
Не требуя крупных монет.
Глядишь,— на счету его круглые сутки,
И месяц, и семьдесят лет.

Секундная стрелка бежит что есть мочи
Путем неуклонным своим.
Так поезд несется просторами ночи,
Пока мы за шторами спим.

1946

ВСТРЕЧА В ПУТИ

Все цветет по дороге. Весна
Настоящим сменяется летом.
Протянула мне лапу сосна
С красноватым чешуйчатым цветом.

Цвет сосновый, смолою дыша,
Был не слишком приманчив для взгляда.
Но сказал я сосне: «Хороша!» —
И была она, кажется, рада.

1946

Цветная осень — вечер года —
Мне улыбается светло.
Но между мною и природой
Возникло тонкое стекло.

Весь этот мир — как на ладони,
Но мне обратно не идти.
Еще я с вами, но в вагоне,
Еще я дома, но в пути.

1946

Декабрьский день в моей оконной раме.
Не просветлев, темнеет небосклон.
Торчат, как метлы, ветви за домами.
Забитый снегом, одичал балкон.

Невесело, должно быть, этой птице
Скакать по бревнам на пустом дворе.
И для чего ей в городе ютиться
Назначено природой в декабре?

Зачем судьба дала бедняжке крылья?
Чтобы слетать с забора на панель
Иль прятать клюв, когда колючей пылью
Ее под крышей обдает метель?

1946

Когда, изведав трудности ученья,
Мы начинаем складывать слова
И понимать, что есть у них значенье —
«Вода. Огонь. Старик. Олень. Трава»,—

По-детски мы удивлены и рады
Тому, что буквы созданы не зря,
И первые рассказы нам награда
За первые страницы букваря.

Но часто жизнь бывает к нам сурова:
Иному век случается прожить,
А он не может значащее слово
Из пережитых горестей сложить.

1946

* * *

Как птицы, скачут и бегут, как мыши,
Сухие листья кленов и берез,
С ветвей срываясь, устилают крыши,
Пока их ветер дальше не унес.

Осенний сад не помнит, увядая,
Что в огненной листве погребена
Такая звонкая, такая молодая,
Еще совсем недавняя весна,

Что эти листья — летняя прохлада,
Струившая зеленоватый свет...
Как хорошо, что у деревьев сада
О прошлых днях воспоминанья нет.

1946

Не знает вечность ни родства, ни племени,
Чужда ей боль рождений и смертей.
А у меньшóй сестры ее — у времени —
Бесчисленное множество детей.

Столетья разрешаются от бремени.
Плоды приносят год, и день, и час.
Пока в руках у нас частица времени,
Пускай оно работает для нас!

Пусть мерит нам стихи стопою четкою,
Работу, пляску, плаванье, полет
И — долгое оно или короткое —
Пусть вместе с нами что-то создает.

Бегущая минута незаметная
Рождает миру подвиг или стих.
Глядишь — и вечность, старая, бездетная,
Усыновит племянников своих.

1946

НАДПИСЬ НА КНИГЕ ПЕРЕВОДОВ

В одно и то же время океан
Штурмует скалы севера и юга.

Живые волны — люди разных стран —
О целом мире знают друг от друга.

1946

Бремя любви тяжело, если даже несут его двое.
Нашу с тобою любовь нынче несу я один.
Долю мою и твою берегу я ревниво и свято,
Но для кого и зачем — сам я сказать не могу.

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ НА СЕВЕРЕ

На неизвестном полустанке,
От побережья невдали,
К нам в поезд финские цыганки
Июньским вечером вошли.

Хоть волосы их были русы,
Цыганок выдавала речь,
Да в три ряда цветные бусы,
И шали, спущенные с плеч.

Блестя цепочками, серьгами
И споря пестротой рубах,

За ними следом шли цыгане
С кривыми трубками в зубах.

С цыганской свадьбы иль с гулянки
Пришла их вольная семья.
Шуршали юбками цыганки,
Дымили трубками мужья.

Водил смычком по скрипке старой
Цыган поджарый и седой,
И вторила ему гитара
В руках цыганки молодой.

А было это ночью белой,
Когда земля не знает сна.
В одном окне заря алела,
В другом окне плыла луна.

И в этот вечер полнолунья,
В цыганский вечер, забрели
В вагон гадалки и плясуньи
Из древней сказочной земли.

Полынью пахло, пахло мятой,
Влетал к нам ветер с двух сторон,
И полевого аромата
Был полон дачный наш вагон.

1947

ПЕШЕХОД

В пути с утра до первых звезд,
От бурь не знает он защиты,
Но много дней и много верст
Его терпению открыты.

Пронесся поезд перед ним,
Прошел, стуча на каждой шпале,
Оставив в небе редкий дым
Да бледный след на тусклой стали.

Звенит встревоженная тишь.
Гудит смятенная дорога.
Но он спокоен: не намного
Опередишь.

1908—1947

ДОН-КИХОТ

Пора в постель, но спать нам неохота.
Как хорошо читать по вечерам!
Мы в первый раз открыли Дон-Кихота,
Блуждаем по долинам и горам.

Нас ветер обдает испанской пылью,
Мы слышим, как со скрипом в вышине
Ворочаются мельничные крылья
Над рыцарем, сидящим на коне.

Что будет дальше, знаем по картинке:
Крылом дырявым мельница махнет
И будет сбит в неравном поединке
В нее копье вонзивший Дон-Кихот.

Но вот опять он скачет по дороге...
Кого он встретит? С кем затеет бой?
Последний рыцарь, тощий, длинноногий,
В наш первый путь ведет нас за собой.

И с этого торжественного мига
Навек мы покидаем отчий дом.
Ведут беседу двое: я и книга.
И целый мир неведомый кругом.

1947

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Нахмурилась елка, и стало темно.
Трещат огоньки, догорая.
И смотрит из снежного леса в окно
Сквозь изморозь елка другая.

Я вижу: на ней зажигает луна
Одетые снегом иголки,
И, вся разгораясь, мигает она
Моей догорающей елке.

И жаль мне, что иглы на елке моей
Метель не засыпала пылью,
Что ветер ее не качает ветвей,
Простертых, как темные крылья.

Лесная дикарка стучится в стекло,
Нарядной подруге кивая.
Пусть доверху снегом ее занесло,—
Она и под снегом живая!

1947

КОРАБЕЛЬНЫЕ СОСНЫ

Собираясь на север, домой,
Сколько раз наяву и во сне
Вспоминал я о статной, прямой
Красноперой карельской сосне.

Величав ее сказочный рост.
Да она и растет на горе.
По ночам она шарит меж звезд
И пылает огнем на заре.

Вспоминал я, как в зимнем бору,
Без ветвей от верхушек до пят,
Чуть качаясь в снегу на ветру,
Корабельные сосны скрипят.

А когда наступает весна,
Молодеют, краснеют стволы.
И дремучая чаща пьяна
От нагревшейся за́ день смолы.

1947

Замерзший бор шумит среди лазури,
Метет ветвями синеву небес.
И кажется,— не буря будит лес,
А буйный лес, качаясь, будит бурю.

ЛЕС

Многоэтажный этот дом
Не знает праздного безделья.
Упорным занят он трудом
От купола до подземелья.

Здесь ловят солнце зеркала
В лаборатории высокой.
И движутся внутри ствола
Добытые корнями соки.

Бормочут листья в полусне,
Но это мнимая дремота.
В глуши, в покое, в тишине
Идет незримая работа.

1949

ВЧЕРА Я ВИДЕЛ

Шумят деревья за моим окном.
Для нас они — деревья как деревья,
А для других — укромный, мирный дом
Иль временный привал среди кочевья.

Вчера я видел: съежившись в комок,
На дереве у моего окошка
Сидел хвостатый рыженький зверек
И чистился, чесался, точно кошка.

Лизал он шерстку белую брюшка,
Вертя проворной маленькой головкой.
И вдруг, услышав шорох, в два прыжка
На верхней ветке очутился ловко.

Меж двух ветвей повис он, словно мост,
И улетел куда-то без усилья.
Четыре лапы и пушистый хвост
Ему в полете заменяют крылья.

Моя сосна — его укромный дом
Иль временный привал среди кочевья.
Теперь я знаю: за моим окном
Не только мне принадлежат деревья!

1949

В ПОЕЗДЕ

Очень весело в дороге
Пассажиру лет семи.
Я знакомлюсь без тревоги
С неизвестными людьми.

Все мне радостно и ново —
Горько пахнущая гарь,
Долгий гул гудка ночного
И обходчика фонарь.

В край далекий, незнакомый
Едет вся моя семья.
Третьи сутки вместо дома
У нее одна скамья.

Тесновато нам немножко
Это новое жилье,
Но открытое окошко
Перед столиком — мое!

Предо мной в оконной раме
Ближний лес назад идет.
А далекий — вместе с нами
Пробирается вперед.

Словно детские игрушки,
Промелькнули на лету
Деревянные избушки,
Конь с телегой на мосту.

Вот и домик станционный.
Сеть густая проводов
И бессчетные вагоны
Мимолетных поездов.

В поздний час я засыпаю,
И, баюкая меня,
Мчится поезд, рассыпая
Искры красного огня.

Я прислушиваюсь к свисту,
К пенью гулкому колес,
Благодарный машинисту,
Что ведет наш паровоз.

Лет с тех пор прошло немножко...
Становлюсь я староват
И местечко у окошка
Оставляю для ребят.

1950

* * *

На всех часах вы можете прочесть
Слова простые истины глубокой:
Теряя время, мы теряем честь.
А совесть остается после срока.

Она живет в душе не по часам.
Раскаянье всегда приходит поздно.
А честь на час указывает нам
Протянутой рукою — стрелкой грозной.

Чтоб наша совесть не казнила нас,
Не потеряйте краткий этот час.
Пускай, как стрелки в полдень, будут вместе
Веленья нашей совести и чести!

1950

«СОЛНЫШКО»

Мы солнца в дороге не видели днем —
Погода была грозовая.
Когда же оно засверкало огнем,
Ты спутникам что-то сказала о нем,
По-детски его называя.

Пускай это бурное море огня
Зовут лучезарным светилом,
Как в детстве, оно для тебя и меня
Останется солнышком милым.

И меньше не станет оно оттого,
Что где-то на малой планете
Не солнцем порой называют его,
А солнышком взрослые дети.

1951

ЛАНДЫШ

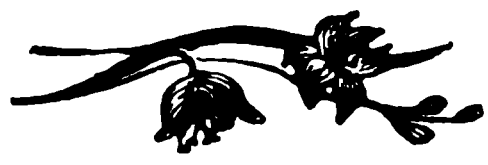
Чернеет лес, теплом разбуженный,
Весенней сыростью объят.
А уж на ниточках жемчужины
От ветра каждого дрожат.

Бутонов круглые бубенчики
Еще закрыты и плотны,
Но солнце раскрывает венчики
У колокольчиков весны.

Природой бережно спеленатый,
Завернутый в широкий лист,
Растет цветок в глуши нетронутой,
Прохладен, хрупок и душист.

Томится лес весною раннею,
И всю счастливую тоску,
И все свое благоухание
Он отдал горькому цветку.

1951



ГРОЗА НОЧЬЮ

Мгновенный свет и гром впотьмах,—
Как будто дров свалилась груда...

В грозе, в катящихся громах
Мы любим собственную удаль.

Мы знаем, что таится в нас
Так много радости и гнева,
Как в этом громе, что потряс
Раскатами ночное небо!

1951

* * *

Когда вы долго слушаете споры
О старых рифмах и созвучьях новых,
О вольных и классических размерах,—
Приятно вдруг услышать за окном
Живую речь без рифмы и размера,
Простую речь: «А скоро будет дождь!»

Слова, что бегло произнес прохожий,
Не меж собой рифмуются, а с правдой —
С дождем, который скоро прошумит.

1952

Пустынный двор, разрезанный оврагом,
Зарос бурьяном из конца в конец.
Вот по́ двору неторопливым шагом
Идет домой с завода мой отец.

Лежу я в старой тачке, и спросонья
Я чувствую — отцовская рука
Широкою горячею ладонью
Моих волос касается слегка.

Заходит солнце. Небо розовато.
Фабричной гарью тянет. Но вовек
Не будет знать прекраснее заката
Лежащий в старой тачке человек.

1952

ШАЛЯПИН

В тот зимний день Шаляпин пел
На сцене у рояля.
И повелительно гремел
Победный голос в зале.

Дрожал многоэтажный зал,
И, полный молодежи,
Певцу раек рукоплескал,
Потом — партер и ложи.

То — Мефистофель, гений зла,—
Он пел о боге злата,
То пел он, как блоха жила
При короле когда-то.

Казалось нам, что мы сейчас
Со всей галеркой рухнем,
Когда величественный бас
Затягивал: «Эй, ухнем!»

«Шаляпин»... Вижу пред собой,
Как буквами большими
Со стен на улице любой
Сверкает это имя...

Печален был его конец.
Скитаясь за границей,
Менял стареющий певец
Столицу за столицей.

И все ж ему в предсмертный час
Мерещилось, что снова
Последний раз в Москве у нас
Поет он Годунова,

Что умирает царь Борис
И перед ним холсты кулис,
А не чужие стены.

И по крутым ступенькам вниз
Уходит он со сцены...

1954

Грянул гром нежданно, наобу́м —
Яростный удар и гул протяжный.
А потом пронесся легкий шум,
Торопливый, радостный и влажный.

Дождь шумел негромко, нараспев,
Поливая двор и крышу дома,
Шепотом смиряя буйный гнев
С высоты сорвавшегося грома.

1955

Как поработала зима!
Какая ровная кайма,
Не нарушая очертаний,
Легла на кровли стройных зданий.

Вокруг белеющих прудов —
Кусты в пушистых полушубках.
И проволока проводов
Таится в белоснежных трубках.

Снежинки падали с небес
В таком случайном беспорядке,
А улеглись постелью гладкой
И строго окаймили лес.

1955

Текла, извивалась, блестела
Река меж зеленых лугов.
А стала недвижной и белой,
Чуть-чуть голубее снегов.

Она покорилась оковам.
Не знаешь, бежит ли вода
Под белым волнистым покровом
И верстами крепкого льда.

Чернеют прибрежные ивы,
Из снега торчат тростники,
Едва намечая извивы
Пропавшей под снегом реки.

Лишь где-нибудь в проруби зыбко
Играет и дышит вода,
И в ней красноперая рыбка
Блеснет чешуей иногда.

1955

С. М.

Сколько раз пытался я ускорить
Время, что несло меня вперед,
Подхлестнуть, вспугнуть его, пришпорить,
Чтобы слышать, как оно идет.

А теперь неторопливо еду,
Но зато я слышу каждый шаг,
Слышу, как дубы ведут беседу,
Как лесной ручей бежит в овраг.

Жизнь идет не медленней, но тише,
Потому что лес вечерний тих,
И прощальный шум ветвей я слышу
Без тебя — один за нас двоих.

1955

Даже по делу спеша, не забудь:
Этот короткий путь —
Тоже частица жизни твоей.
Жить и в пути умей.

БОР

Всех, кто утром выйдет на простор,
Сто ворот зовут в сосновый бор.

Меж высоких и прямых стволов
Сто ворот зовут под хвойный кров.

Полумрак и зной стоят в бору.
Смолы проступают сквозь кору.

А зайдешь в лесную даль и глушь,
Муравьиным спиртом пахнет сушь.

В чаще муравейники не спят —
Шевелятся, зыблются, кипят.

Да мелькают белки в вышине,
Словно стрелки, от сосны к сосне.

Этот лес полвека мне знаком.
Был ребенком, стал я стариком.

И теперь брожу, как по следам,
По своим мальчишеским годам.

Но, как прежде, для меня свои —
Иглы, шишки, белки, муравьи.

И меня, как в детстве, до сих пор
Сто ворот зовут в сосновый бор.

1956

НА РОДИНЕ БЕРНСА

Все это было мне знакомо,
Но увидал я в первый раз
И стены глиняные дома
Почти без окон, как без глаз,
И серую солому крыши,
И в тесной комнате кровать
У стенки справа, в душной нише,
Где песню напевала мать
Тому, кто стал певцом и другом
Простых людей из деревень,
Кто горевал, разрушив плугом
Жилье зверька в ненастный день.

Здесь, в этой хижине крестьянской,
Куда входили через хлев,
Впервые слышал он шотландский,
В горах родившийся напев.

А так как тяжкие налоги
В те дни платили за окно,
Синело в спаленке убогой
Окошко мутное одно.
Квадрат, крестом пересеченный,
Чуть пропускал неяркий свет,
Но сквозь него весь мир зеленый
Впервые увидал поэт.

Так мало жил он в этом мире,
Где плугом землю бороздил,
Где с милой по лугам бродил
И на стекле окна в трактире
Алмазом строчки выводил...

А умер в городской квартире.

В два этажа был этот дом,
И больше окон было в нем,
Да и кровать была повыше,
Чем в прежнем доме — в узкой нише.

Но за решетчатым окном
Поэту в день его последний
Был виден только двор соседний,
А не полей волнистых ширь,
Не речка под зеленым кровом
И не болотистый пустырь,
Поросший вереском лиловым...

1956

В ДОРОГЕ

В сумерки весенние
За листвой берез
Гулко в отдалении
Свистнул паровоз.

Дымными полотнами
Застилая лес,
Окнами бессчетными
Замелькал экспресс.

Слабо отраженные,
Чуть светясь во мгле,
Очерки оконные
Мчатся по земле.

Желтая вагонная
Жесткая скамья —
Жизнь моя бессонная,
Молодость моя.

По безвестным станциям —
Из конца в конец
По Руси пространствовал
Вдоволь мой отец.

Скучной ночью длинною
Он смотрел в окно.
Перед ним пустынное
Стлалось полотно.

С тайною тревогою
Под немолчный шум
Много он дорогою
Передумал дум.

Не ему ли следуя,
Я живу в пути.
Все куда-то еду я
Лет с пяти-шести.

Но теперь вагонная
Желтая скамья —
Словно обновленная
Молодость моя.

И легко мне с первыми
Встречными в пути
Будто давний прерванный
Разговор вести.

1956

Не знаю, когда прилетел соловей,
Не знаю, где был он зимой,
Но полночь наполнил он песней своей,
Когда воротился домой.

Весь мир соловьиною песней прошит:
То слышится где-то свирель,
То что-то рокочет, журчит и стучит
И вновь рассыпается в трель.

Так четок и чист этот голос ночной,
И все же при нем тишина
Для нас остается немой тишиной,
Хоть множества звуков полна.

Еще не раскрылся березовый лист
И дует сырой ветерок,
Но в холоде ночи ликующий свист
Мы слышим в назначенный срок.

Ты издали дробь соловья улови —
И долго не сможешь уснуть.
Как будто счастливой тревогой любви
Опять переполнена грудь.

Тебе вспоминается северный сад,
Где ночью продрог ты не раз.
Тебе вспоминается пристальный взгляд
Любимых и любящих глаз.

Находят и в теплых краях соловьи
Над лавром и розой приют.
Но в тысячу раз мне милее свои,
Что в холоде вешнем поют.

Не знаю, когда прилетел соловей,
Не знаю, где был он зимой,
Но полночь наполнил он песней своей,
Когда воротился домой.

1956

* * *

В полутьме я увидел: стояла
За окном, где кружила метель,
Словно только что с зимнего бала,
В горностаи одетая ель.

Чуть качала она головою,
И казалось, что знает сама,
Как ей платье идет меховое,
Как она высока и пряма.

1957

Апрельский дождь прошел впервые,
Но ветер облака унес,
Оставив капли огневые
На голых веточках берез.

Еще весною не одета
В наряд из молодой листвы,
Береза капельками света
Сверкала с ног до головы.

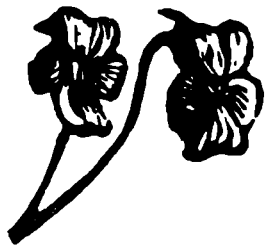
1957

Неужели я тот же самый,
Что, в постель не ложась упрямо,
Слышал первый свой громкий смех
И не знал, что я меньше всех.

И всегда-то мне дня было мало,
Даже в самые долгие дни,
Для всего, что меня занимало,—
Дружбы, драки, игры, беготни.

Да и нынче борюсь я с дремотой,
И ложусь до сих пор с неохотой,
И покою ночному не рад,
Как две трети столетья назад.

1957



ИГРА

Прошло полвека с этих пор,
Но помню летний день,
От зноя побуревший двор,
Пригнувшийся плетень.

Здесь петухов охрипший хор
Поет нам по утрам,
Что за двором еще есть двор —
И нет конца дворам...

Когда же непроглядный мрак
Сомкнется за окном,
Свирепый, страшный лай собак
Разносится кругом.

А днем собакам лаять лень
И птицы не поют.
И только в травах целый день
Кузнечики куют.

Среди пустынного двора
У нас, ребят, идет игра.

Кладем мы кучку черепков,
Осколков кирпича —
И городок у нас готов:
Дома и каланча.

Из гладких, тесаных камней
Мы строим город покрупней,
А из дощечек и коры
Деревни — избы и дворы.

Дремучий лес у нас — бурьян,
Любой бугор — гора.
А есть и море-океан —
Овраг в конце двора...

За этой медленной игрой
Проводим мы весь день.
На свет родился наш герой
В одной из деревень.

Никто не ведает о нем.
Но вот приходит срок —
И мы учить его везем
В кирпичный городок.

Мы не в один заглянем дом,
Бродя по городку,
Пока квартиру со столом
Найдем ученику.

Куда потом его везти,—
Еще не знали мы...
Бегут дороги и пути
Через поля, холмы.

Бегут и вдоль и поперек
Пустынного двора.
А этот двор, как мир, широк.
Пока идет игра!

1958

Как призрачно мое существованье!
А дальше что? А дальше — ничего...
Забудет тело имя и прозванье,—
Не существо, а только вещество.

Пусть будет так.
Не жаль мне плоти тленной,
Хотя она седьмой десяток лет
Бессменно служит зеркалом вселенной,
Свидетелем, что существует свет.

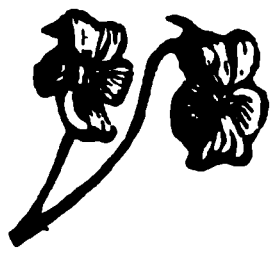
Мне жаль моей любви, моих любимых.
Ваш краткий век, ушедшие друзья,
Исчезнет без следа в неисчислимых,
Несознанных веках небытия.

Вам все равно,— взойдет ли вновь светило,
Рождая жизнь бурливую вдали,
Иль наше солнце навсегда остыло
И жизни нет и нет самой земли...

Здесь, на земле, вы прожили так мало,
Но в глубине открытых ваших глаз
Цвела земля, и небо расцветало,
И звездный мир сиял в зрачках у вас.

За краткий век страданий и усилий,
Тревог, печалей, радостей и дум
Вселенную вы сердцем отразили
И в музыку преобразили шум.

1958



В ЛОНДОНСКОМ ПАРКЕ

Гайд-парк листвою сочною одет.
Но травы в парке мягче, зеленее.
И каждый из людей привносит цвет
В зеленые поляны и аллеи.

Вот эти люди принесли с собой
Оранжевый и красный — очень яркий.
А те — лиловый, желтый, голубой,—
Как будто бы цветы гуляют в парке.

И если бы не ветер, что волной
Проходит, листья и стволы колебля,
Я думал бы: не парк передо мной,
А полотно веселое Констебля.

1958

Я помню день, когда впервые —
На третьем от роду году —
Услышал трубы полковые
В осеннем городском саду.

И все вокруг, как по приказу,
Как будто в строй вступило сразу.
Блеснуло солнце сквозь туман
На трубы светло-золотые,
Широкогорлые, витые
И круглый, белый барабан.

И помню праздник на реке,
Почти до дна оледенелой,
Где музыканты вечер целый
Играли марши на катке.

У них от стужи стыли руки
И леденели капли слез.
А жарко дышащие звуки
Летели в сумрак и в мороз.

И, бодрой медью разогрето,
Огнями вырвано из тьмы,
На льду речном пылало лето
Среди безжизненной зимы.

1958

* * *

Ты много ли видел на свете берез?
Быть может, всего только две,—
Когда опушил их впервые мороз
Иль в первой весенней листве.

А может быть, летом домой ты пришел,
И солнцем наполнен твой дом,
И светится чистый березовый ствол
В саду за открытым окном.

А много ль рассветов ты встретил в лесу?
Не больше, чем два или три,
Когда, на былинках тревожа росу,
Без цели бродил до зари.

А часто ли видел ты близких своих?
Всего только несколько раз,—
Когда твой досуг был просторен и тих
И пристален взгляд твоих глаз.

1958

Быстро дни недели пролетели,
Протекли меж пальцев, как вода,
Потому что есть среди недели
Хитрое колесико — Среда.

Понедельник, Вторник очень много
Нам сулят,— неделя молода.
А в Четверг она уж у порога.
Поворотный день ее — Среда.

Есть колеса дня, колеса ночи.
Потому и годы так летят.
Помни же, что путь у нас короче
Тех путей, что намечает взгляд.

1958

СЧАСТЬЕ

Как празднично сад расцветила сирень
Лилового, белого цвета.
Сегодня особый — сиреневый — день,
Начало цветущего лета.

За несколько дней разоделись кусты,
Недавно раскрывшие листья,
В большие и пышные гроздья-цветы,
В густые и влажные кисти.

И мы вспоминаем, с какой простотой,
С какою надеждой и страстью
Искали меж звездочек в грозди густой
Пятилепестковое «счастье».

С тех пор столько раз перед нами цвели
Кусты этой щедрой сирени.
И если мы счастья еще не нашли,
То, может быть, только от лени.

1958

Порой часы обманывают нас,
Чтоб нам жилось на свете безмятежней.
Они опять покажут тот же час,
И верится, что час вернулся прежний.

Обманчив дней и лет круговорот:
Опять приходит тот же день недели,
И тот же месяц снова настает —
Как будто он вернулся в самом деле.

Известно нам, что час невозвратим,
Что нет ни дням, ни месяцам возврата.
Но круг календаря и циферблата
Мешает нам понять, что мы летим.

1959

ПОЖЕЛАНИЯ ДРУЗЬЯМ

Желаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути —
Главнейшее условье.

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А все хорошее, друзья,
Дается нам недешево!

1958

В столичном, немолкнущем гуде,
Подобном падению вод,
Я слышу, как думают люди,
Идущие взад и вперед.

Проходит народ молчаливый,
Но даже сквозь уличный шум
Я слышу приливы, отливы
Весь мир обнимающих дум.

1959

* * *

Возраст один у меня и у лета.
День ото дня понемногу мы стынем.
Небо могучего синего цвета
Стало за несколько дней бледно-синим.

Все же и я, и земля, мне родная,
Дорого дни уходящие ценим.
Вон и береза, тревоги не зная,
Нежится, греясь под солнцем осенним.

1959

Т. Г

Когда, как темная вода,
Лихая, лютая беда
Была тебе по грудь,
Ты, не склоняя головы,
Смотрела в прорезь синевы
И продолжала путь.

1960

Чудес, хоть я живу давно,
Не видел я покуда,
А впрочем, в мире есть одно
Действительное чудо:

Помножен мир (иль разделен?)
На те миры живые,
В которых сам он отражен,
И каждый раз впервые.

Все в мире было бы мертво,—
Как будто мира самого

Совсем и не бывало,—
Когда б живое существо
Его не открывало.

1960

Года четыре был я бессмертен,
Года четыре был я беспечен,
Ибо не знал я о будущей смерти,
Ибо не знал я, что век мой не вечен.

Вы, что умеете жить настоящим,
В смерть, как бессмертные дети, не верьте.
Миг этот будет всегда предстоящим —
Даже за час, за мгновенье до смерти.

РАССВЕТ В ФИНЛЯНДИИ

Скамья над обрывом намокла,
Покрылась налетами льда.
Зарей освещенные стекла
Вдали отразила вода.

Взлетела случайная птица
И села на крышу опять.
Раскрыть свои крылья боится —
Ночное тепло растерять.

1962

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

Как и сама ты предсказала,
Лучом, дошедшим до земли,
Когда звезды уже не стало,
Твои стихи до нас дошли.

Тебя мы слышим в каждой фразе,
Где спор ведут между собой
Цветной узор славянской вязи
С цыганской страстной ворожбой.

Но так отчетливо видна,
Едва одета легкой тканью,
Душа, открытая страданью,
Страстям открытая до дна.

Пусть безогляден был твой путь
Бездомной птицы-одиночки,—
Себя ты до последней строчки
Успела родине вернуть.

1962

Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется,
И ловит капли детская рука.

За несколько шагов до водопада
Еще не знал катящийся поток,
С каких высот ему сорваться надо...
И ты готовься совершить прыжок.

* * *

Только ночью видишь ты вселенную.
Тишина и темнота нужна,
Чтоб на эту встречу сокровенную,
Не закрыв лица, пришла она.

Мы принимаем все, что получаем,
За медную монету, а потом —
Порою поздно — пробу различаем
На ободке чеканно-золотом.

Питает жизнь ключом своим искусство.
Другой твой ключ — поэзия сама.
Заглох один,— в стихах не стало чувства.
Забыт другой,— струна твоя нема.

Читатель мой особенного рода,
Умеет он под стол ходить пешком.

Но радостно мне знать, что я знаком
С читателем двухтысячного года!

1962

Стояло море над балконом,
Над перекладиной перил,
Сливаясь с бледным небосклоном,
Что даль от нас загородил.

Зеленый край земли кудрявой
Кончался здесь — у синих вод,
У независимой державы,
Таящей все, что в ней живет.

И ласточек прибрежных стайки,
Кружась, не смели залетать
Туда, где стонущие чайки
Садились на морскую гладь.

1963

Небо. Море.
Море. Небо.
Позабудешь о земле,—
Словно ты на ней и не был,
Век провел на корабле.

Но когда впотьмах на койку
Заберешься, как в жилье,
Видишь землю, землю только,
Только землю. Да ее.

Над прошлым, как над горною грядой,
Твое искусство высится вершиной,
А без гряды истории седой
Твое искусство — холмик муравьиный.

* * *

Так много ласточек летало
Почти с тех пор, как мир стоит,
Но их не помнят, их не стало,
А эта ласточка летит.

РАЗГОВОР С МАЛИНОВКОЙ

— Ты думал, мир не тот, не тот,
Какой ты видел в детстве? —
Щебечет птица, что живет
В саду — со мной в соседстве.

— Да, многого не узнаю
Я в наши дни, но все же
Вы на прабабушку свою,
Малиновки, похожи.

Я с ней отлично был знаком,
Когда в лесу весеннем
По скользким веткам босиком
Взлезал, как по ступеням.

ЖАВОРОНОК

Так беззаботно, на лету
Он щедро сыплет трели,
Взвиваясь круто в высоту
С земли — своей постели.

Среди колосьев он живет.
Его домишко тесен,
Но нужен весь небесный свод
Ему для звонких песен.

1963

* * *

Старайтесь сохранить тепло стыда.
Все, что вы в мире любите и чтите,
Нуждается всегда в его защите
Или исчезнуть может без следа.

Как зритель, не видевший первого акта,
В догадках теряются дети.
И все же они ухитряются как-то
Понять, что творится на свете.

О МОДЕ

Ты старомоден. Вот расплата
За то, что в моде был когда-то.

У Пушкина влюбленный самозванец
Полячке открывает свой обман,
И признается пушкинский испанец,
Что он — не дон Диего, а Жуан.

Один к покойнику свою ревнует панну,
Другой к подложному Диего — донну Анну...
Так и поэту нужно, чтоб не грим,
Не маска лживая, а сам он был любим.

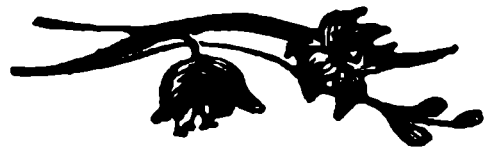
* * *

Сон сочиняет лица, имена,
Мешает с былью пестрые виденья.
Как волны подо льдом, под сводом сна
Бессонное живет воображенье.

Он взрослых изводил вопросом «Почему?».
Его прозвали «маленький философ».
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.

И с этих пор он больше никому
Не досаждал вопросом «Почему?».

Березка тонкая, подросток меж берез,
В апрельский день любуется собою,
Глядясь в размытый след больших колес,
Где отразилось небо голубое.



— О чем твои стихи? — Не знаю, брат.
Ты их прочти, коли придет охота.
Стихи живые сами говорят,
И не о чем-то говорят, а что-то.

* * *

Да будет мягким сердце, твердой — воля!
Пусть этот нестареющий наказ
Напутствием послужит каждой школе,
Любой семье и каждому из нас.

Как часто у тиранов на престоле
Жестоким было сердце, слабой — воля.

Расти, дружок, и крепни понемножку,
И помни, что живое существо
Перерасти должно хотя бы кошку,
Чтобы она не слопала его.

Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто, жить готовясь, в детстве не живет.

Человек — хоть будь он трижды гением —
Остается мыслящим растением.
С ним в родстве деревья и трава.

Не стыдитесь этого родства.
Вам даны до вашего рождения
Сила, стойкость, жизненность растения.

Под деревом — какая благодать!
Под деревом со всей его листвою,
Готовой каждый миг затрепетать,
Подобно рою птиц над головою.

Под деревом сижу на склоне дня
И вспоминаю дальние кочевья.
И в шуме этих листьев для меня
Шумят давно забытые деревья.

Под деревом хотел бы я найти
Заслуженный покой в конце пути.

1963 (?)

Мелькнув, уходят в прошлое мгновенья.
Какого бы ты счастья ни достиг,
Ты прошлому отдашь без промедленья
Еще живой и не остывший миг

Все те, кто дышат на земле,
При всем их самомнении —
Лишь отражения в стекле,
Ни более, ни менее.

Каких людей я в мире знал,
В них столько страсти было,
Но их с поверхности зеркал
Как будто тряпкой смыло.

Я знаю: мы обречены
На смерть со дня рождения.
Но для чего страдать должны
Все эти отражения?

И неужели только сон —
Все эти краски, звуки,
И грохот миллионов тонн,
И стон предсмертной муки?..

1964

ЧАЙКИ

Туманный полдень. Тень печали —
На корабле. Замедлен бег.
А за кормой над зыбью дали
Как бы кружится легкий снег.

Нет, это чайки. Странно дики,
И нарушают смутный сон
Неумолкающие крики,
Короткий свист и скорбный стон.

Примчались. Реют, разрезая
Седыми крыльями простор,
То с первым ветром отлетая,
То вновь летя наперекор.

Поджаты трепетные лапки,
Наклонено одно крыло.
Нам скучен день сырой и зябкий,
А им привольно и светло...

Но погляди, как в смутном гуле,
Как бы в глубокой тишине
Они устали и заснули
И закачались на волне.

Салоники — Афон
26 ноября
1911

Луна осенняя светла,
Аллея дремлет кружевная.
Природа глухо замерла,
Предчувствуя, припоминая.

Шуршанье листьев, вздох лесной —
Последний отзвук летней неги...
Но все бледнеет пред луной —
Как бы в мечтах о первом снеге.

1909

Мы жили лагерем в палатке,
Кольцом холмов окружены.
Кусты сухие в беспорядке
Курились, зноем сожжены.

Лишь ранним утром с небосвода
Там раздавался крик орла,
А днем безмолвная природа
Заката пышного ждала.

И, не давая в тяжком зное
Всему живому изнемочь,—
Врата блаженства и покоя
Нежданно открывала ночь.

Все к звездам возводило очи.
Размеренно дышала грудь.
И путник ждал прихода ночи,
Чтоб продолжать урочный путь...

Но вот, вослед поре безводной
Там наступал черед дождей.
И первый дождь весь край бесплодный
Преображал, как чародей.

Казалось, землю покрывая
Ковром, с небесной высоты
Лилась не влага дождевая,
А листья, травы и цветы...

1911

Переводы

АНГЛИЙСКИЕ И ШОТЛАНДСКИЕ НАРОДНЫЕ БАЛЛАДЫ

КОРОЛЬ И ПАСТУХ

1

Послушайте повесть
Минувших времен
О доблестном принце
По имени Джон.
Судил он и правил
С дубового трона,
Не ведая правил,
Не зная закона.

Послушайте дальше.
Сосед его близкий
Был архиепископ
Кентерберийский.
Он жил-поживал,
Не нуждаясь ни в чем,
И первым в народе
Прослыл богачом.
Но вот за богатство
И громкую славу
Зовут его в Лондон
На суд и расправу.
Везут его ночью
К стене городской,
Ведут его к башне
Над Темзой-рекой.

2

— Здоро́во, здоро́во,
Смиренный аббат,
Получше меня
Ты живешь, говорят.

Ты нашей короне
Лукавый изменник.
Тебя мы лишаем
Поместий и денег!

Взмолился епископ:
— Великий король,
Одно только слово
Сказать мне позволь.
Всевышнему богу
И людям известно,
Что трачу я деньги,
Добытые честно.

— Не ври понапрасну,
Плешивый аббат,
Для всякого ясно,
Что ты виноват,
И знай: навсегда
Твоя песенка спета,
Коль на три вопроса
Не дашь мне ответа.

Вопросы такие:
Когда я на троне
Сижу в золотой
Королевской короне,
А справа и слева
Стоит моя знать,—
Какая цена мне,
Ты должен сказать.

Потом разгадай-ка
Загадку другую:
Как скоро всю землю
Объехать могу я.
А в-третьих, сказать
Без запинки изволь:
Что думает
Твой милосердный король.

Тебе на раздумье
Даю две недели,
И столько же будет
Душа в твоем теле.
Подумай, епископ,

Четырнадцать дней,—
Авось на пятнадцатый
Станешь умней!

3

Вот едет епископ,
Рассудком нетверд.
Заехал он в Кембридж,
Потом в Оксенфорд[1]
Увы, ни один
Богослов и философ
Ему не решил
Королевских вопросов.

Проездил епископ
Одиннадцать дней
И встретил за мельницей
Стадо свиней.
Пастух поклонился
Учтиво и низко
И молвил: — Что слышно,
Хозяин-епископ?

— Печальные вести,
Пастух, у меня:
Гулять мне на свете
Осталось три дня.
Коль на три вопроса
Не дам я ответа,
Вовеки не видеть
Мне белого света!

— Милорд, не печалься.
Бывает и так,
Что умным в беде
Помогает дурак.
Давай-ка мне посох,
Кольцо и сута́ну,
И я за тебя
Перед троном предстану

---

[1] Оксенфорд — старинное название Оксфорда

Ты — знатный епископ,
А я — свинопас,
Но в детстве, мне помнится,
Путали нас.
Прости мою дерзость,
Твое преподобье,
Но все говорят,
Что мое ты подобье!

— Мой верный пастух,
Я тебе отдаю
И посох, и рясу,
И митру мою.
Да будет с тобою
Премудрость господня.
Но только смотри,
Отправляйся сегодня!

4

Вот прибыл пастух
В королевский дворец.
— Здоро́во, здоро́во,
Смиренный отец,
Тебя во дворце
Я давно поджидаю.
Садись — я загадки
Тебе загадаю.

А ну-ка, послушай:
Когда я на троне
Сижу в золотой
Королевской короне,
А справа и слева
Стоит моя знать,—
Какая цена мне,
Ты должен сказать!

Пастух королю
Отвечает с поклоном:
— Цены я не знаю
Коронам и тронам.
А сколько ты сто́ишь,
Спроси свою знать,
Которой случалось
Тебя продавать!—

Король усмехнулся.
— Вот ловкий пройдоха!
На первый вопрос
Ты ответил неплохо.
Теперь догадайся:
Как скоро верхом
Могу я всю землю
Объехать кругом.

— Чуть солнце взойдет,
Поезжай понемногу
И следом за солнцем
Скачи всю дорогу,
Пока не вернется
Оно в небеса,—
Объедешь ты в двадцать
Четыре часа!

Король засмеялся:
— Неужто так скоро?
С тобой согласиться
Я должен без спора.
Теперь напоследок
Ответить изволь:
Что думает
Твой милосердный король?

— Что ж,— молвил пастух,
Поглядев простовато,—
Ты думаешь, сударь,
Что видишь аббата...
Меж тем пред тобою
Стоит свинопас,
Который аббата
От гибели спас!

ТРИ БАЛЛАДЫ О РОБИН ГУДЕ

I

РОЖДЕНИЕ РОБИН ГУДА

Он был пригожим молодцом,
Когда служить пошел
Пажом усердным в графский дом
За деньги и за стол.

Ему приглянулась хозяйская дочь,
Надежда и гордость отца,
И тайною клятвой они поклялись
Друг друга любить до конца.

Однажды летнею порой,
Когда раскрылся лист,
Шел у влюбленных разговор
Под соловьиный свист.

— О, Вилли, тесен мой наряд,
Что прежде был широк,
И вянет-вянет нежный цвет
Моих румяных щек.

Когда узна́ет мой отец,
Что пояс тесен мне,
Меня запрет он, а тебя
Повесит на стене.

Ты завтра к окну моему приходи
Украдкой на склоне дня.
К тебе с карниза я спущусь,
А ты поймай меня!

Вот солнце встало и зашло.
И ждет он под окном
С той стороны, где свет луны
Не озаряет дом.

Открыла девушка окно,
Ступила на карниз
И с высоты на красный плащ
К нему слетела вниз.

Зеленая чаща приют им дала,
И прежде, чем кончилась ночь,
Прекрасного сына в лесу родила
Под звездами графская дочь.

В тумане утро занялось
Над зеленью дубрав,
Когда от тягостного сна
Очнулся старый граф.

Идет будить он верных слуг
В рассветной тишине.
— Где дочь моя и почему
Не поднялась ко мне?

Тревожно спал я в эту ночь
И видел сон такой:
Бедняжку-дочь уносит прочь
Соленый вал морской.

В лесу густом, на дне морском
Или в степном краю
Должны вы мертвой иль живой
Найти мне дочь мою!

Искали они и ночи и дни,
Не зная покоя и сна,
И вот очутились в дремучем лесу,
Где сына качала она.

— «Баюшки-ба́ю, мой милый сынок,
В чаще зеленой усни.
Если бездомным ты будешь, сынок,
Мать и отца не вини!»

Спящего мальчика поднял старик
И ласково стал целовать.
— Я рад бы повесить отца твоего,
Но жаль твою бедную мать.

Из чащи домой я тебя принесу,
И пусть тебя люди зовут
По имени птицы, живущей в лесу,
Пусть так и зовут: Робин Гуд!

Иные поют о зеленой траве,
Другие — про белый лен.
А третьи поют про тебя, Робин Гуд,
Не ведая, где ты рожден.

Не в отчем дому, не в родном терему,
Не в горницах цветных,—
В лесу родился Робин Гуд
Под щебет птиц лесных.

II

РОБИН ГУД И МЯСНИКИ

Спешите на улицу, добрые люди,
Послушайте песню мою.
О славном стрелке, удалом Робин Гуде,
Для вас я сегодня спою.

В лесу на рассвете гулял Робин Гуд.
Вдруг слышит он топот копыт.
Мясник молодой на лошадке гнедой
На рынок рысцою трусит.

— Скажи, молодец,— говорит Робин Гуд,—
В какой ты живешь стороне
И что за товар ты везешь на базар?
Ты больно понравился мне.

— Мне некогда, сударь, рассказывать вам,
В какой я живу стороне,
А мясо на рынок везу в Ноттингам
Продать там по сходной цене.

— Послушай-ка, парень,— сказал Робин Гуд,—
А сколько возьмешь ты с меня
За все целиком: за мясо с мешком,
Уздечку, седло и коня?

— Немного возьму,— отвечает мясник,—
Чтоб в город товар не везти.
За мясо с мешком и коня с ремешком
Пять марок ты мне заплати.

— Бери свои деньги,— сказал Робин Гуд,—
Бери заодно с кошельком
И пей за меня, чтобы с этого дня
Счастливым я стал мясником!

Верхом прискакал Робин Гуд в Ноттингам,
Проехал у всех на виду,
К шерифу пошел — и деньги на стол
За место в торговом ряду.

С другими купцами он сел торговать,
Хоть с делом он не был знаком,
Не знал, как продать, обмануть, недодать.
Он был мясником-новичком.

Но шибко торговля пошла у него.
Что хочешь плати — и бери!
За пенни свинины он больше давал,
Чем все остальные за три.

Он только и знал — зазывал, продавал,
Едва успевал отпускать.
Он больше говядины продал за час,
Чем все остальные за пять.

— Дворянский сынок,— мясники говорят,—
В убыток себе продает.
Он, видно, отца разорит до конца,
Бездельник, повеса и мот!

Подходят знакомиться с ним мясники.
— Послушай, собрат и сосед,
На рынке одном мы товар продаем.
Должны разделить и обед.

— Мы все мясники,— отвечал Робин Гуд,—
Одна небольшая семья.
Сочту я за честь попить и поесть
И чокнуться с вами, друзья!

Толпою к шерифу пришли они в дом,
Садятся обедать за стол.
— А младший наш брат,— мясники говорят,—
Молитву за нас бы прочел.

— Помилуй нас, боже,— сказал Робин Гуд,—
Дай хлеб нам насущный вкусить
И выпить винца, чтоб согрелись сердца!
Мне не о чем больше просить.

— А ну-ка, хозяйка,— сказал Робин Гуд,—
Друзей угостить я хочу.
Давай нам вина, и по счету сполна
За всех я один заплачу.

— Вы пейте и ешьте,— сказал Робин Гуд,—
Пируйте весь день напролет.
Не все ли равно, что сто́ит вино!
Беру на себя я расчет.

— Дворянский сынок! — говорят мясники.—
Он продал именье отца
И весь свой доход за будущий год
Решил промотать до конца.

— Давно ль,— говорит Робин Гуду шериф,—
Ты в наши приехал места?
Как жив и здоров и много ль голов
Рогатого держишь скота?

— Рогатого много держу я скота —
Две сотни голов или три,—
А впрочем, наведайся в наши места
И сам на него посмотри.

Пасется мой скот по лесам, по лугам,
Телята сейчас у коров.
И, если захочешь, тебе я продам
Задешево сотню голов!

Садится шериф на гнедого коня,
Три сотни червонцев берет
И едет верхом за лихим мясником
В леса покупать его скот

В Шервудскую чащу въезжают они —
Охотников славных приют.
— Спаси меня, боже,— воскликнул шериф,—
Коль встретится нам Робин Гуд! —

По узкой тропе они едут вдвоем.
И вдруг увидал Робин Гуд:
Лесные олени меж темных ветвей
От них врассыпную бегут.

— Вот здесь и живет рогатый мой скот!
Тут несколько сотен голов.
Коль можешь купить, тебе уступить
Я сотню-другую готов!

Протяжно в рожок затрубил Робин Гуд,
И разом явились на зов
С двух разных сторон и Маленький Джон
И семеро лучших стрелков.

— Что скажешь? — спросил его Маленький Джон. —
Каков твой приказ, Робин Гуд?
— Пожаловал к нам Ноттингамский шериф.
Пускай ему ужин дадут!

— Что ж, милости просим, почтенный шериф,
Тебя поджидаем давно.
Отличным жарки́м мы тебя угостим.
А ты нам плати за вино!

Дрожащий шериф протянул кошелек,
Не молвив ни слова в ответ.
И так же без слов отсчитал Робин Гуд
Три сотенки звонких монет.

Потом он шерифа повел за собой,
Опять посадил на коня
И крикнул вослед: — Поклон и привет
Жене передай от меня!

III

РОБИН ГУД И ШЕРИФ

Двенадцать месяцев в году,
Считай иль не считай.
Но самый радостный в году
Веселый месяц май.

Вот едет, едет Робин Гуд
По травам, по лугам
И видит старую вдову
При въезде в Ноттингам.

— Что слышно, хозяйка, у вас в городке? —
Старуху спросил Робин Гуд.
— Я слышала, трое моих сыновей
Пред казнью священника ждут.

— Скажи мне, за что осудил их шериф?
За что, за какую вину:
Сожгли они церковь, убили попа,
У мужа отбили жену?

— Нет, сударь, они не виновны ни в чем.
— За что же карает их суд?
— За то, что они королевскую лань
Убили с тобой, Робин Гуд.

— Я помню тебя и твоих сыновей.
Давно я пред ними в долгу.
Клянусь головою,— сказал Робин Гуд,—
Тебе я в беде помогу!

Вот едет, едет Робин Гуд
Дорогой в Ноттингам
И видит: старый пилигрим
Плетется по холмам.

— Что слышно на свете, седой пилигрим? —
Спросил старика Робин Гуд.
— Трех братьев у нас в Ноттингамской тюрьме
На смерть в эту ночь поведут.

— Надень-ка одежду мою, пилигрим.
Отдай-ка свое мне тряпье,
А вот тебе сорок монет серебром —
И пей за здоровье мое!

— Богат твой наряд,— отвечал пилигрим,—
Моя одежонка худа.
Над старым в беде и над нищим в нужде
Не смейся, сынок, никогда.

— Бери, старичок, мой богатый наряд.
Давай мне одежду свою,
И двадцать тяжелых монет золотых
Тебе я в придачу даю!

Колпак пилигрима надел Робин Гуд,
Не зная, где зад, где перёд.
— Клянусь головой, он слетит с головы,
Чуть дело до дела дойдет!

Штаны пилигрима надел Робин Гуд.
Хорошие были штаны:
Прорехи в коленях, прорехи с боков,
Заплата пониже спины.

Надел Робин Гуд башмаки старика
И молвил: — Иных узнают
По платью, а этого можно узнать,
Увидев, во что он обут!

Надел он дырявый, заплатанный плащ,
И только осталось ему
Клюкой подпереться да взять на плечо
Набитую хлебом суму.

Идет, хромая, Робин Гуд
Дорогой в Ноттингам,
И первым встретился ему
Шериф надменный сам.

— Спаси и помилуй,— сказал Робин Гуд.—
На старости впал я в нужду.
И если ты честно заплатишь за труд,
К тебе в палачи я пойду!

— Штаны и кафтан ты получишь, старик,
Две пинты вина и харчи.
Да пенсов тринадцать деньгами я дам
За то, что пойдешь в палачи!

Но вдруг повернулся кругом Робин Гуд
И с камня на камень — скок.
— Клянусь головою,— воскликнул шериф,—
Ты бодрый еще старичок!

— Я не был, шериф, никогда палачом,
Ни разу не мылил петлю.
И будь я в аду, коль на службу пойду
К тебе, к твоему королю!

Не так уж я беден, почтенный шериф.
Взгляни-ка на этот мешок:
Тут хлеба краюшка, баранья нога
И маленький звонкий рожок.

Рожок подарил мне мой друг Робин Гуд.
Сейчас от него я иду.
И если рожок приложу я к губам,
Тебе протрубит он беду.

— Труби,— засмеялся надменный шериф,—
Пугай воробьев и синиц.
Труби сколько хочешь, покуда глаза
Не вылезут вон из глазниц!

Протяжно в рожок затрубил Робин Гуд,
И гулом ответил простор.
И видит шериф: полтораста коней
С окрестных спускаются гор.

И снова в рожок затрубил Робин Гуд,
Лицом повернувшись к лугам,
И видит шериф: шестьдесят молодцов
Несутся верхом в Ноттингам.

— Что это за люди? — воскликнул шериф.
— Мои! — отвечал Робин Гуд.—
К тебе они в гости явились, шериф,
И даром домой не уйдут.

В ту ночь отворились ворота тюрьмы,
На волю троих отпустив,
И вместо охотников трех молодых
Повешен один был шериф.

КОРОЛЕВА ЭЛИНОР

Королева Британии тяжко больна,
Дни и ночи ее сочтены.
И позвать исповедников просит она
Из родной, из французской страны.

Но пока из Парижа попов привезешь,
Королеве настанет конец...
И король посылает двенадцать вельмож
Лорда-маршала звать во дворец.

Он верхом прискакал к своему королю
И колени склонить поспешил.
— О король, я прощенья, прощенья молю,
Если в чем-нибудь согрешил!

— Я клянусь тебе жизнью и троном своим:
Если ты виноват предо мной,
Из дворца моего ты уйдешь невредим
И прощенный вернешься домой.

Только плащ францисканца на панцирь надень.
Я оденусь и сам, как монах.
Королеву Британии завтрашний день
Исповедовать будем в грехах!

Рано утром король и лорд-маршал тайком
В королевскую церковь пошли
И кадили вдвоем и читали псалом,
Зажигая лампад фитили.

А потом повели их в покои дворца,
Где больная лежала в бреду.
С двух сторон подступили к ней два чернеца,
Торопливо крестясь на ходу.

— Вы из Франции оба, святые отцы? —
Прошептала жена короля.
— Королева,— сказали в ответ чернецы,—
Мы сегодня сошли с корабля!

— Если так, я покаюсь пред вами в грехах
И верну себе мир и покой!
— Кайся, кайся! — печально ответил монах.
— Кайся, кайся! — ответил другой.

— Я неверной женою была королю.
Это первый и тягостный грех.
Десять лет я любила и нынче люблю
Лорда-маршала больше, чем всех!

Но сегодня, о боже, покаюсь в грехах,
Ты пред смертью меня не покинь!..
— Кайся, кайся! — печально ответил монах,
А другой отозвался: — Аминь!

— Зимним вечером ровно три года назад
В этот кубок из хрусталя
Я украдкой за ужином всыпала яд,
Чтобы всласть напоить короля.

Но сегодня, о боже, покаюсь в грехах,
Ты пред смертью меня не покинь!..
— Кайся, кайся! — угрюмо ответил монах,
А другой отозвался: — Аминь!

— Родила я в замужестве двух сыновей,
Старший принц и хорош и пригож,
Ни лицом, ни умом, ни отвагой своей
На урода-отца не похож.

А другой мой малютка плешив, как отец,
Косоглаз, косолап, кривоног!..
— Замолчи! — закричал косоглазый чернец.
Видно, больше терпеть он не мог.

Отшвырнул он распятье и, сбросивши с плеч
Францисканский суровый наряд,
Он предстал перед ней, опираясь на меч,
Весь в доспехах от шеи до пят.

И другому аббату он тихо сказал:
— Будь, отец, благодарен судьбе!
Если б клятвой себя я вчера не связал,
Ты бы нынче висел на столбе!

АНГЛИЙСКИЕ ЭПИГРАММЫ РАЗНЫХ ВРЕМЕН

НАПРАСНЫЕ УСИЛИЯ

Он долго в лоб стучал перстом,
Забыв названье тома.

Но для чего стучаться в дом,
Где никого нет дома?

ОПАСНЫЙ НОМЕР

Улыбались три смелых девицы
На спине у бенгальской тигрицы.
Теперь же все три —
У тигрицы внутри,
А улыбка на морде тигрицы.

ЭПИТАФИЯ ШОФЕРУ

Бедный малый в больничном бараке
Отдал душу смиренную богу:
Он смотрел на дорожные знаки
И совсем не смотрел на дорогу...

СПОР ГОРОДОВ О РОДИНЕ ГОМЕРА

Семь спорят городов о дедушке Гомере:
В них милостыню он просил у каждой двери!

НАДПИСЬ НА КАМНЕ

Здесь я покоюсь — Джимми Хогг
Авось грехи простит мне бог,
Как я бы сделал, будь я бог,
А он — покойный Джимми Хогг!

НА ХУДОЖНИКА-ПОРТРЕТИСТА

В своих портретах, как ни бился,
Добиться сходства он не мог.

Его детьми утешил бог,—
И в них он сходства не добился!..

О ПЬЯНСТВЕ

Для пьянства есть такие поводы:
Поминки, праздник, встреча, проводы,
Крестины, свадьба и развод,
Мороз, охота, Новый год,
Выздоровленье, новоселье,
Печаль, раскаянье, веселье,
Успех, награда, новый чин
И просто пьянство — без причин!

СТАРАЯ И НОВАЯ

Новая церковь —
Свободная церковь,
Церковь без колокольцев.

Старая церковь —
Холодная церковь,
Церковь без богомольцев.

О ДУРАКАХ

Жму руки дуракам обеими руками:
Как многим, в сущности, обязаны мы им!
Ведь если б не были другие дураками,
То дураками быть пришлось бы нам самим.

О ХАНЖЕ И ЕГО ЛОШАДИ

Ханжу кобыла укусила.
Она была права:
Его же проповедь гласила,
Что наша плоть — трава!

ПРОСТАЯ ИСТИНА

Мятеж не может кончиться удачей,—
В противном случае его зовут иначе.

ПРО ОДНОГО ФИЛОСОФА

«Мир,— учил он,— мое представление!»
А когда ему в стул под сидение
Сын булавку воткнул,
Он вскричал: «Караул!
Как ужасно мое представление!»

ИЗ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

СОНЕТЫ

19

Ты притупи, о время, когти льва,
Клыки из пасти леопарда рви,
В прах обрати земные существа
И феникса сожги в его крови.

Зимою, летом, осенью, весной
Сменяй улыбкой слезы, плачем — смех.
Что хочешь делай с миром и со мной,—
Один тебе я запрещаю грех.

Чело, ланиты друга моего
Не борозди тупым своим резцом.
Пускай черты прекрасные его
Для всех времен послужат образцом.

А коль тебе не жаль его ланит,
Мой стих его прекрасным сохранит!

21

Не соревнуюсь я с творцами од,
Которые раскрашенным богиням
В подарок преподносят небосвод
Со всей землей и океаном синим.

Пускай они для украшенья строф
Твердят в стихах, между собою споря,
О звездах неба, о венках цветов,
О драгоценностях земли и моря.

В любви и в слове — правда мой закон,
И я пишу, что милая прекрасна,
Как все, кто смертной матерью рожден,
А не как солнце или месяц ясный.

Я не хочу хвалить любовь мою —
Я никому ее не продаю!

22

Лгут зеркала,— какой же я старик!
Я молодость твою делю с тобою.
Но если дни избороздят твой лик,
Я буду знать, что побежден судьбою.

Как в зеркало, глядясь в твои черты,
Я самому себе кажусь моложе.
Мне молодое сердце даришь ты,
И я тебе свое вручаю тоже.

Старайся же себя оберегать —
Не для себя: хранишь ты сердце друга.
А я готов, как любящая мать,
Беречь твое от горя и недуга.

Одна судьба у наших двух сердец:
Замрет мое — и твоему конец!

23

Как тот актер, который, оробев,
Теряет нить давно знакомой роли,
Как тот безумец, что, впадая в гнев,
В избытке сил теряет силу воли,—

Так я молчу, не зная, что сказать,
Не оттого, что сердце охладело.
Нет, на мои уста кладет печать
Моя любовь, которой нет предела.

Так пусть же книга говорит с тобой.
Пускай она, безмолвный мой ходатай,
Идет к тебе с признаньем и мольбой
И справедливой требует расплаты.

Прочтешь ли ты слова любви немой?
Услышишь ли глазами голос мой?

25

Кто под звездой счастливою рожден —
Гордится славой, титулом и властью.

А я судьбой скромнее награжден,
И для меня любовь — источник счастья.

Под солнцем пышно листья распростер
Наперсник принца, ставленник вельможи.
Но гаснет солнца благосклонный взор,
И золотой подсолнух гаснет тоже.

Военачальник, баловень побед,
В бою последнем терпит пораженье,
И всех его заслуг потерян след.
Его удел — опала и забвенье.

Но нет угрозы титулам моим
Пожизненным: любил, люблю, любим.

27

Трудами изнурен, хочу уснуть,
Блаженный отдых обрести в постели.
Но только лягу, вновь пускаюсь в путь —
В своих мечтах — к одной и той же цели.

Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигрима,
И, не смыкая утомленных глаз,
Я вижу тьму, что и слепому зрима.

Усердным взором сердца и ума
Во тьме тебя ищу, лишенный зренья.
И кажется великолепной тьма,
Когда в нее ты входишь светлой тенью.

Мне от любви покоя не найти.
И днем и ночью — я всегда в пути.

32

О, если ты тот день переживешь,
Когда меня накроет смерть доскою,
И эти строчки бегло перечтешь,
Написанные дружеской рукою,—

Сравнишь ли ты меня и молодежь?
Ее искусство выше будет вдвое.

Но пусть я буду по́-милу хорош
Тем, что при жизни полон был тобою.

Ведь если бы я не отстал в пути,
С растущим веком мог бы я расти
И лучшие принес бы посвященья
Среди певцов иного поколенья.

Но так как с мертвым спор ведут они,—
Во мне любовь, в них мастерство цени!

34

Блистательный мне был обещан день,
И без плаща я свой покинул дом.
Но облаков меня догнала тень,
Настигла буря с градом и дождем.

Пускай потом, пробившись из-за туч,
Коснулся нежно моего чела,
Избитого дождем, твой кроткий луч,—
Ты исцелить мне раны не могла.

Меня не радует твоя печаль,
Раскаянье твое не веселит.
Сочувствие обидчика едва ль
Залечит язвы жгучие обид.

Но слез твоих, жемчужных слез ручьи,
Как ливень, смыли все грехи твои!

44

Когда бы мыслью стала эта плоть,—
О, как легко, наперекор судьбе,
Я мог бы расстоянье побороть
И в тот же миг перенестись к тебе.

Будь я в любой из отдаленных стран,
Я миновал бы тридевять земель.
Пересекают мысли океан
С той быстротой, с какой наметят цель.

Пускай моя душа — огонь и дух,
Но за мечтой, родившейся в мозгу,

Я, созданный из элементов двух —
Земли с водой,— угнаться не могу.

Земля — к земле навеки я прирос,
Вода — я лью потоки горьких слез.

48

Заботливо готовясь в дальний путь,
Я безделушки запер на замок,
Чтоб на мое богатство посягнуть
Незваный гость какой-нибудь не мог.

А ты, кого мне больше жизни жаль,
Пред кем и золото — блестящий сор,
Моя утеха и моя печаль,—
Тебя любой похитить может вор.

В каком ларце таить мне божество,
Чтоб сохранить навеки взаперти?
Где, как не в тайне сердца моего,
Откуда ты всегда вольна уйти.

Боюсь, и там нельзя укрыть алмаз,
Приманчивый для самых честных глаз!

50

Как тяжко мне, в пути взметая пыль,
Не ожидая дальше ничего,
Отсчитывать уныло, сколько миль
Отъехал я от счастья своего.

Усталый конь, забыв былую прыть,
Едва трусит лениво подо мной,
Как будто знает: незачем спешить
Тому, кто разлучен с душой родной.

Хозяйских шпор не слушается он
И только ржаньем шлет мне свой укор.
Меня больнее ранит этот стон,
Чем бедного коня удары шпор.

Я думаю, с тоскою глядя вдаль:
За мною — радость, впереди — печаль.

54

Прекрасное прекрасней во сто крат,
Увенчанное правдой драгоценной.
Мы в нежных розах ценим аромат,
В их пурпуре живущий сокровенно.

Пусть у цветов, где свил гнездо порок,
И стебель, и шипы, и листья те же,
И так же пурпур лепестков глубок,
И тот же венчик, что у розы свежей,—

Они цветут, не радуя сердец,
И вянут, отравляя нам дыханье.
А у душистых роз иной конец:
Их душу перельют в благоуханье.

Когда погаснет блеск очей твоих,
Вся прелесть правды перельется в стих.

55

Замшелый мрамор царственных могил
Исчезнет раньше этих веских слов,
В которых я твой образ сохранил.
К ним не пристанет пыль и грязь веков.

Пусть опрокинет статуи война,
Мятеж развеет каменщиков труд,
Но врезанные в память письмена
Бегущие столетья не сотрут.

Ни смерть не увлечет тебя на дно,
Ни темного забвения вражда.
Тебе с потомством дальним суждено,
Мир износив, увидеть день суда.

Итак, до пробуждения живи
В стихах, в сердцах, исполненных любви!

60

Уж если медь, гранит, земля и море
Не устоят, когда придет им срок,
Как может уцелеть, со смертью споря,
Краса твоя — беспомощный цветок?

Как сохранить дыханье розы алой,
Когда осада тяжкая времен
Незыблемые сокрушает скалы
И рушит бронзу статуй и колонн?

О, горькое раздумье!.. Где, какое
Для красоты убежище найти?
Как, маятник остановив рукою,
Цвет времени от времени спасти?

Надежды нет. Но светлый облик милый
Спасут, быть может, черные чернила!

66

Зову я смерть. Мне видеть невтерпеж
Достоинство просящим подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.

Все мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

71

Ты погрусти, когда умрет поэт,
Покуда звон ближайшей из церквей
Не возвестит, что этот низкий свет
Я променял на низший мир червей.

И если перечтешь ты мой сонет,
Ты о руке остывшей не жалей.
Я не хочу туманить нежный цвет
Очей любимых памятью своей.

Я не хочу, чтоб эхо этих строк
Меня напоминало вновь и вновь.
Пускай замрут в один и тот же срок
Мое дыханье и твоя любовь!..

Я не хочу, чтобы своей тоской
Ты предала себя молве людской.

74

Когда меня отправят под арест
Без выкупа, залога и отсрочки,
Не глыба камня, не могильный крест —
Мне памятником будут эти строчки.

Ты вновь и вновь найдешь в моих стихах
Все, что во мне тебе принадлежало.
Пускай земле достанется мой прах,—
Ты, потеряв меня, утратишь мало.

С тобою будет лучшее во мне.
А смерть возьмет от жизни быстротечной
Осадок, остающийся на дне,
То, что похитить мог бродяга встречный.

Ей — черепки разбитого ковша,
Тебе — мое вино, моя душа.

76

Увы, мой стих не блещет новизной,
Разнообразьем перемен нежданных.
Не поискать ли мне тропы иной,
Приемов новых, сочетаний странных?

Я повторяю прежнее опять,
В одежде старой появляюсь снова.
И, кажется, по имени назвать
Меня в стихах любое может слово.

Все это оттого, что вновь и вновь
Решаю я одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моя любовь,
И то же сердце, те же силы трачу.

Все то же солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещет новизной.

77

Седины ваши зеркало покажет,
Часы — потерю золотых минут.
На белую страницу строчка ляжет —
И вашу мысль увидят и прочтут.

По черточкам морщин в стекле правдивом
Мы все ведем своим утратам счет.
А в шорохе часов неторопливом
Украдкой время к вечности течет.

Запечатлейте беглыми словами
Все, что не в силах память удержать.
Своих детей, давно забытых вами,
Когда-нибудь вы встретите опять.

Как часто эти найденные строки
Для нас таят бесценные уроки.

81

Тебе ль меня придется хоронить
Иль мне тебя,— не знаю, друг мой милый.
Но пусть судьбы твоей прервется нить,
Твой образ не исчезнет за могилой.

Ты сохранишь и жизнь и красоту,
А от меня ничто не сохранится.
На кладбище покой я обрету,
А твой приют — открытая гробница.

Твой памятник — восторженный мой стих.
Кто не рожден еще, его услышит.

И мир повторит повесть дней твоих,
Когда умрут все те, кто ныне дышит.

Ты будешь жить, земной покинув прах,
Там, где живет дыханье,— на устах!

90

Уж если ты разлюбишь,— так теперь,
Теперь, когда весь мир со мной в раздоре.
Будь самой горькой из моих потерь,
Но только не последней каплей горя!

И если скорбь дано мне превозмочь,
Не наноси удара из засады.
Пусть бурная не разрешится ночь
Дождливым утром — утром без отрады.

Оставь меня, но не в последний миг,
Когда от мелких бед я ослабею.
Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг,
Что это горе всех невзгод больнее,
Что нет невзгод, а есть одна беда —
Твоей любви лишиться навсегда.

94

Кто, злом владея, зла не причинит,
Не пользуясь всей мощью этой власти,
Кто двигает других, но, как гранит,
Неколебим и не подвержен страсти,—

Тому дарует небо благодать,
Земля дары приносит дорогие.
Ему дано величьем обладать,
А чтить величье призваны другие.

Лелеет лето лучший свой цветок,
Хоть сам он по себе цветет и вянет.
Но, если в нем приют нашел порок,
Любой сорняк его достойней станет.

Чертополох нам слаще и милей
Растленных роз, отравленных лилей.

102

Люблю,— но реже говорю об этом,
Люблю нежней,— но не для многих глаз.
Торгует чувством тот, кто перед светом
Всю душу выставляет напоказ.

Тебя встречал я песней, как приветом,
Когда любовь нова была для нас.
Так соловей гремит в полночный час
Весной, но флейту забывает летом.

Ночь не лишится прелести своей,
Когда его умолкнут излиянья.
Но музыка, звуча со всех ветвей,
Обычной став, теряет обаянье.

И я умолк подобно соловью:
Свое пропел и больше не пою.

116

Мешать соединенью двух сердец
Я не намерен. Может ли измена
Любви безмерной положить конец?
Любовь не знает убыли и тлена.

Любовь — над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане.
Любовь — звезда, которою моряк
Определяет место в океане.

Любовь — не кукла жалкая в руках
У времени, стирающего розы
На пламенных устах и на щеках,
И не страшны ей времени угрозы.

А если я неправ и лжет мой стих,—
То нет любви — и нет стихов моих!

121

Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть.
Напраслина страшнее обличенья.
И гибнет радость, коль ее судить
Должно не наше, а чужое мненье.

Как может взгляд чужих порочных глаз
Щадить во мне игру горячей крови?
Пусть грешен я, но не грешнее вас,
Мои шпионы, мастера злословья.

Я — это я, а вы грехи мои
По своему равняете примеру.
Но, может быть, я прям, а у судьи
Неправого в руках кривая мера,

И видит он в любом из ближних ложь,
Поскольку ближний на него похож!

130

Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых кожа,
И черной проволокой вьется прядь.

С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек.
А тело пахнет так, как пахнет тело,
Не как фиалки нежный лепесток.

Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.

И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.

143

Нередко для того, чтобы поймать
Шальную курицу иль петуха,
Ребенка наземь опускает мать,
К его мольбам и жалобам глуха,

И тщетно гонится за беглецом,
Который, шею вытянув вперед
И трепеща перед ее лицом,
Передохнуть хозяйке не дает.

Так ты меня оставила, мой друг,
Гонясь за тем, что убегает прочь.
Я, как дитя, ищу тебя вокруг,
Зову тебя, терзаясь день и ночь.

Скорей мечту крылатую лови
И возвратись к покинутой любви.

ПЕСНИ ШУТА

(Из трагедии «Король Лир»)

* * *

Тот, кто решился по кускам
Страну свою раздать,
Пусть приобщится к дуракам —
Он будет мне под стать.

Мы станем с ним, рука к руке,
Два круглых дурака:
Один — в дурацком колпаке,
Другой — без колпака!

Вскормил кукушку воробей —
Бездомного
Птенца,
А тот возьми да и убей
Приемного
Отца!

* * *

Кто служит только для того,
Чтоб извлекать доходы,
Тебя оставит одного
Во время непогоды.

Но шут с тобой — твой верный шут! —
Служил он не для денег.
Он жалкий шут, но он не плут,
Дурак, а не мошенник!

ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА

ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ

Кто честной бедности своей
Стыдится и все прочее,
Тот самый жалкий из людей,
Трусливый раб и прочее.

При всем при том,
При всем при том,
Пускай бедны мы с вами,
Богатство —
Штамп на золотом,
А золотой —
Мы сами!

Мы хлеб едим и воду пьем,
Мы укрываемся тряпьем
И все такое прочее,
А между тем дурак и плут
Одеты в шелк и вина пьют
И все такое прочее.

При всем при том,
При всем при том,
Судите не по платью.
Кто честным кормится трудом,—
Таких зову я знатью!

Вот этот шут — природный лорд,
Ему должны мы кланяться.
Но пусть он чопорен и горд,
Бревно бревном останется!

При всем при том,
При всем при том,
Хоть весь он в позументах,—
Бревно останется бревном
И в орденах, и в лентах!

Король лакея своего
Назначит генералом,
Но он не может никого
Назначить честным малым.

При всем при том,
При всем при том,
Награды, лесть
И прочее
Не заменяют
Ум и честь
И все такое прочее!

Настанет день и час пробьет,
Когда уму и чести
На всей земле придет черед
Стоять на первом месте.

При всем при том,
При всем при том,
Могу вам предсказать я,
Что будет день,
Когда кругом
Все люди станут братья!

ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО

Трех королей разгневал он,
И было решено,
Что навсегда погибнет Джон
Ячменное Зерно.

Велели выкопать сохой
Могилу короли,
Чтоб славный Джон, боец лихой,
Не вышел из земли.

Травой покрылся горный склон,
В ручьях воды полно,
А из земли выходит Джон
Ячменное Зерно.

Все так же буен и упрям,
С пригорка в летний зной
Грозит он копьями врагам,
Качая головой.

Но осень трезвая идет.
И, тяжко нагружен,
Поник под бременем забот,
Согнулся старый Джон.

Настало время помирать —
Зима недалека.
И тут-то недруги опять
Взялись за старика.

Его свалил горбатый нож
Одним ударом с ног.
И, как бродягу на правёж,
Везут его на ток.

Дубасить Джона принялись
Злодеи поутру.
Потом, подбрасывая ввысь,
Кружили на ветру.

Он был в колодец погружен —
На сумрачное дно.
Но и в воде не тонет Джон
Ячменное Зерно.

Не пощадив его костей,
Швырнули их в костер,
А сердце мельник меж камней
Безжалостно растер.

Бушует кровь его в котле,
Под обручем бурлит,
Вскипает в кружках на столе
И души веселит.

Недаром был покойный Джон
При жизни молодец,—
Отвагу подымает он
Со дна людских сердец.

Он гонит вон из головы
Докучный рой забот.
За кружкой сердце у вдовы
От радости поет...

Так пусть же до конца времен
Не высыхает дно
В бочонке, где клокочет Джон
Ячменное Зерно!

МАЛЕНЬКАЯ БАЛЛАДА

Где-то девушка жила.
Что за девушка была!
И любила парня славного она.

Но расстаться им пришлось
И любить друг друга врозь,
Потому что началась война.

За морями, за холмами —
Там, где пушки мечут пламя,—
Сердце воина не дрогнуло в бою.

Это сердце трепетало
Только ночью в час привала,
Вспоминая милую свою!

СТАРАЯ ДРУЖБА

Забыть ли старую любовь
И не грустить о ней?
Забыть ли старую любовь
И дружбу прежних дней?

За дружбу старую —
До дна!
За счастье прежних дней!
С тобой мы выпьем, старина,
За счастье прежних дней.

Побольше кружки приготовь
И доверху налей.
Мы пьем за старую любовь,
За дружбу прежних дней.

За дружбу старую —
До дна!
За счастье юных дней!
По кружке старого вина —
За счастье юных дней.

С тобой топтали мы вдвоем
Траву родных полей,
Но не один крутой подъем
Мы взяли с юных дней.

Переплывали мы не раз
С тобой через ручей.
Но море разделило нас,
Товарищ юных дней...

И вот с тобой сошлись мы вновь.
Твоя рука — в моей.
Я пью за старую любовь,
За дружбу прежних дней!

За дружбу старую —
До дна!
За счастье прежних дней!
С тобой мы выпьем, старина,
За счастье прежних дней.

БЫЛ ЧЕСТНЫЙ ФЕРМЕР МОЙ ОТЕЦ

Был честный фермер мой отец.
Он не имел достатка,
Но от наследников своих
Он требовал порядка.
Учил достоинство хранить,
Хоть нет гроша в карманах.
Страшнее — чести изменить,
Чем быть в отрепьях рваных!

Я в свет пустился без гроша,
Но был беспечный малый.
Богатым быть я не желал,
Великим быть — пожалуй!
Таланта не был я лишен,
Был грамотен немножко
И вот решил по мере сил
Пробить себе дорожку.

И так и сяк пытался я
Понравиться фортуне,
Но все усилья и труды
Мои остались втуне.
То был врагами я подбит,
То предан был друзьями
И вновь, достигнув высоты,
Оказывался в яме.

В конце концов я был готов
Оставить попеченье.
И по примеру мудрецов
Я вывел заключенье:
В былом не знали мы добра,
Не видим в предстоящем,
А этот час — в руках у нас.
Владей же настоящим!

Надежды нет, просвета нет,
А есть нужда, забота.
Ну что ж, покуда ты живешь,
Без устали работай.
Косить, пахать и боронить
Я научился с детства.
И это все, что мой отец
Оставил мне в наследство.

Так и живу в нужде, в труде,
Доволен передышкой,
А хорошенько отдохну
Когда-нибудь под крышкой.
Заботы завтрашнего дня
Мне сердце не тревожат.
Мне дорог нынешний мой день,
Покуда он не прожит!

Я так же весел, как монарх
В наследственном чертоге,
Хоть и становится судьба
Мне поперек дороги.
На завтра хлеба не дает
Мне эта злая скряга.
Но нынче есть чего поесть,—
И то уж это благо!

Беда, нужда крадут всегда
Мой заработок скудный.
Мой промах этому виной
Иль нрав мой безрассудный?
И все же сердцу своему
Вовеки не позволю я
Впадать от временных невзгод
В тоску и меланхолию!

О ты, кто властен и богат!
На много ль ты счастливей?
Стремится твой голодный взгляд
Вперед — к двойной наживе.
Пусть денег куры не клюют
У баловня удачи,—
Простой, веселый, честный люд
Тебя стократ богаче!

РОБИН

В деревне парень был рожден,
Но день, когда родился он,
В календари не занесен.
Кому был нужен Ро́бин?

Был он резвый паренек,
Резвый Робин, шустрый Робин,
Беспокойный паренек —
Резвый, шустрый Робин!

Зато отметил календарь,
Что был такой-то государь,
И в щели дома дул январь,
Когда родился Робин.

Разжав младенческий кулак,
Гадалка говорила так:
— Мальчишка будет не дурак.
Пускай зовется Робин!

Немало ждет его обид,
Но сердцем все он победит.
Парнишка будет знаменит,
Семью прославит Робин.

Он будет весел и остер,
И наших дочек и сестер
Полюбит с самых ранних пор
Неугомонный Робин.

Девчонкам — бог его прости! —
Уснуть не даст он взаперти,
Но знать не будет двадцати
Других пороков Робин.

Был он резвый паренек —
Резвый Робин, шустрый Робин,
Беспокойный паренек —
Резвый, шустрый Робин!

В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ...

В горах мое сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу.

Прощай, моя родина! Север, прощай,—
Отечество славы и доблести край.
По белому свету судьбою гоним,
Навеки останусь я сыном твоим!

Прощайте, вершины под кровлей снегов,
Прощайте, долины и скаты лугов,
Прощайте, поникшие в бездну леса,
Прощайте, потоков лесных голоса.

В горах мое сердце... Доныне я там.
По следу оленя лечу по скалам.
Гоню я оленя, пугаю козу.
В горах мое сердце, а сам я внизу!

МАКФЕРСОН ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.

— Привет вам, тюрьмы короля,
Где жизнь влачат рабы!
Меня сегодня ждет петля
И гладкие столбы.

В полях войны среди мечей
Встречал я смерть не раз,
Но не дрожал я перед ней —
Не дрогну и сейчас!

Разбейте сталь моих оков,
Верните мой доспех.
Пусть выйдет десять смельчаков —
Я одолею всех.

Я жизнь свою провел в бою,
Умру не от меча.

Изменник предал жизнь мою
Веревке палача.

И перед смертью об одном
Душа моя грустит:
Что за меня в краю родном
Никто не отомстит.

Прости, мой край! Весь мир, прощай!
Меня поймали в сеть.
Но жалок тот, кто смерти ждет,
Не смея умереть.

Так весело,
Отчаянно
Шел к виселице он.
В последний час
В последний пляс
Пустился Макферсон.

ВОЗВРАЩЕНИЕ СОЛДАТА

Умолк тяжелый гром войны
И мир сияет снова.
Поля и села сожжены,
И дети ищут крова.

Я шел домой, в мой край родной,
Шатер покинув братский.
И в старом ранце за спиной
Был весь мой скарб солдатский.

Шагал я с легким багажом,
Счастливый и свободный.
Не отягчил я грабежом
Своей сумы походной.

Шагал я бодро в ранний час,
Задумавшись о милой,
О той улыбке синих глаз,
Что мне во тьме светила.

Вот наша тихая река
И мельница в тумане.
Здесь, под кустами ивняка,
Я объяснился Анне.

Вот я взошел на склон холма,
Мне с юных лет знакомый,—
И предо мной она сама
Стоит у двери дома.

С ресниц смахнул я капли слез
И, голос изменяя,
Я задал девушке вопрос,
Какой — и сам не знаю.

Потом сказал я: «Ты светлей,
Чем этот день погожий.
И тот счастливей всех людей,
Кто всех тебе дороже.

Хоть у меня карман пустой
И сумка пустовата,
Но не возьмешь ли на постой
Усталого солдата?»

На миг ее прекрасный взгляд
Был грустью отуманен.
«Мой милый тоже был солдат.
Что с ним? Убит иль ранен?..

Он не вернулся, но о нем
Храню я память свято,
И навсегда открыт мой дом
Для честного солдата!»

И вдруг, узнав мои черты
Под слоем серой пыли,
Она спросила: «Это ты?»
Потом сказала: «Вилли!»

«Да, это я, моя любовь,
А ты — моя награда
За честно пролитую кровь,
И лучшей мне не надо.

Тебя, мой друг, придя с войны,
Нашел я неизменной.

Пускай с тобою мы бедны,
Но ты мой клад бесценный!»

Она сказала: «Нет, вдвоем
Мы заживем на славу.
Мне дед оставил сад и дом.
Они — твои по праву!..»

Купец плывет по лону вод
За прибылью богатой.
Обильной жатвы фермер ждет,
Но честь — удел солдата.

И пусть солдат всегда найдет
У вас приют в дороге.
Страны родимой он оплот
В часы ее тревоги.

ДЖОН АНДЕРСОН

Джон Андерсон, мой старый друг,
Подумай-ка, давно ль
Густой, крутой твой локон
Был черен, точно смоль.

Теперь ты снегом убелен,
Ты знал немало вьюг.
Но будь ты счастлив, лысый Джон,
Джон Андерсон, мой друг!

Джон Андерсон, мой старый друг,
Мы шли с тобою в гору,
И столько радости вокруг
Мы видели в ту пору.

Теперь мы по́д гору бредем,
Не разнимая рук,
И в землю ляжем мы вдвоем,
Джон Андерсон, мой друг!

* * *

Пробираясь до калитки
Полем вдоль межи,
Дженни вымокла до нитки
Вечером во ржи.

Очень холодно девчонке,
Бьет девчонку дрожь:
Замочила все юбчонки,
Идя через рожь.

Если кто-то звал кого-то
Сквозь густую рожь
И кого-то обнял кто-то,
Что с него возьмешь?

И какая нам забота,
Если у межи
Целовался с кем-то кто-то
Вечером во ржи!

Ты меня оставил, Джеми,
Ты меня оставил,
Навсегда оставил, Джеми,
Навсегда оставил.
Ты шутил со мною, милый,
Ты со мной лукавил —
Клялся помнить до могилы,
А потом оставил, Джеми,
А потом оставил!

Нам не быть с тобою, Джеми,
Нам не быть с тобою.
Никогда на свете, Джеми,
Нам не быть с тобою.
Пусть скорей настанет время
Вечного покоя.
Я глаза свои закрою,
Навсегда закрою, Джеми,
Навсегда закрою!

ПОЦЕЛУЙ

Влажная печать признаний,
Обещанье тайных нег —
Поцелуй, подснежник ранний,
Свежий, чистый, точно снег.

Молчаливая уступка,
Страсти детская игра,
Дружба голубя с голубкой,
Счастья первая пора.

Радость в грустном расставаньe
И вопрос: когда ж опять?..
Где слова, чтобы названье
Этим чувствам отыскать?

ЗАЗДРАВНЫЙ ТОСТ

У которых есть, что есть,— те подчас не могут есть,
А другие могут есть, да сидят без хлеба.
А у нас тут есть, что есть, да при этом есть, чем есть,—
Значит, нам благодарить остается небо!

ПОДРУГА УГОЛЬЩИКА

— Не знаю, как тебя зовут,
Где ты живешь, не ведаю.
— Живу везде — и там и тут,
За угольщиком следую!

— Вот эти нивы и леса
И все, чего попросишь ты,
Я дам тебе, моя краса,
Коль угольщика бросишь ты!

Одену в шелк тебя, мой друг.
Зачем отрепья носишь ты?
Я дам тебе коней и слуг,
Коль угольщика бросишь ты!

— Хоть горы золота мне дай
И жемчуга отборного,
Но не уйду я — так и знай! —
От угольщика черного.

Мы днем развозим уголек.
Зато порой ночною
Я заберусь в свой уголок.
Мой угольщик — со мною.

У нас любовь — любви цена.
А дом наш — мир просторный.
И платит верностью сполна
Мне угольщик мой черный!

МЕЛЬНИК

Мельник, пыльный мельник
Мелет нашу рожь.
Он истратил шиллинг,
Заработал грош.

Пыльный, пыльный он насквозь,
Пыльный он и белый.
Целоваться с ним пришлось —
Вся я поседела!

Мельник, пыльный мельник,
Белый от муки.
Носит белый мельник
Пыльные мешки.

Достает из кошелька
Мельник деньги белые.
Я для мельника-дружка
Все, что хочешь, сделаю!

ФИНДЛЕЙ

— Кто там стучится в поздний час?
«Конечно, я — Финдлей!»
— Ступай домой. Все спят у нас!
«Не все!» — сказал Финдлей.

— Как ты прийти ко мне посмел?
«Посмел!» — сказал Финдлей.
— Небось наделаешь ты дел...
«Могу!» — сказал Финдлей.

— Тебе калитку отвори...
«А ну!» — сказал Финдлей.
— Ты спать не дашь мне до зари!
«Не дам!» — сказал Финдлей.

— Попробуй в дом тебя впустить...
«Впусти!» — сказал Финдлей.
— Всю ночь ты можешь прогостить.
«Всю ночь!» — сказал Финдлей.

— С тобою ночь одну побудь...
«Побудь!» — сказал Финдлей.
— Ко мне опять найдешь ты путь.
«Найду!» — сказал Финдлей.

— О том, что буду я с тобой...
«Со мной!» — сказал Финдлей.
— Молчи до крышки гробовой!
«Идет!» — сказал Финдлей.

ПОЛЕВОЙ МЫШИ, ГНЕЗДО КОТОРОЙ РАЗОРЕНО МОИМ ПЛУГОМ

Зверек проворный, юркий, гладкий,
Куда бежишь ты без оглядки,
Зачем дрожишь, как в лихорадке,
За жизнь свою?
Не трусь — тебя своей лопаткой
Я не убью.

Я понимаю и не спорю,
Что человек с природой в ссоре
И всем живым несет он горе,
Внушает страх,
Хоть все мы смертные и вскоре
Вернемся в прах.

Пусть говорят: ты жнешь, не сея.
Но я винить тебя не смею.
Ведь надо жить!.. А ты скромнее,
Чем все, крадешь.
И я ничуть не обеднею,—
Была бы рожь!

Тебя оставил я без крова
Порой ненастной и суровой,
Когда уж не́ из чего снова
Построить дом,
Чтобы от ветра ледяного
Укрыться в нем.

Все голо, все мертво вокруг,
Пустынно поле, скошен луг.
И ты убежище от вьюг
Найти мечтал,
Когда вломился тяжкий плуг
К тебе в подвал.

Травы, листвы увядшей ком —
Вот чем он стал, твой теплый дом,
Тобой построенный с трудом.
А дни идут...
Где ты в полях, покрытых льдом,
Найдешь приют?

Ах, милый, ты не одинок:
И нас обманывает рок,
И рушится сквозь потолок
На нас нужда.
Мы счастья ждем, а на порог
Валит беда...

Но ты, дружок, счастливей нас...
Ты видишь то, что есть сейчас,
А мы не сводим скорбных глаз
С былых невзгод
И в тайном страхе каждый раз
Глядим вперед.

ОДА К ЗУБНОЙ БОЛИ

Ты, завладев моей скулой,
Пронзаешь десны мне иглой,
Сверлишь сверлом, пилишь пилой
Без остановки.
Мечусь, истерзанный и злой,
Как в мышеловке.

Так много видим мы забот,
Когда нас лихорадка бьет,
Когда подагра нас грызет
Иль резь в желудке,
А эта боль — предмет острот
И праздной шутки!

Бешусь я, исходя слюной,
Ломаю стулья, как шальной,
Когда соседи надо мной
В углу хохочут.
Пускай их бесы бороной
В аду щекочут!

Всегда жила со мной беда —
Неурожай, недуг, нужда,
Позор неправого суда,
Долги, убытки...
Но не терпел я никогда
Подобной пытки!

И я уверен, что в аду,
Куда по высшему суду
Я непременно попаду
(В том нет сомнений!),
Ты будешь первою в ряду
Моих мучений.

О, дух раздора и войны,
Что носит имя сатаны
И был низвергнут с вышины
За своеволье,
Казни врагов моей страны
Зубною болью!

ГОРНОЙ МАРГАРИТКЕ, КОТОРУЮ Я ПРИМЯЛ СВОИМ ПЛУГОМ

О, скромный, маленький цветок,
Твой час последний недалек.
Сметет твой тонкий стебелек
Мой тяжкий плуг.
Перепахать я должен в срок
Зеленый луг.

Не жаворонок полевой —
Сосед, земляк, приятель твой —
Пригнет твой стебель над травой,
Готовясь в путь
И первой утренней росой
Обрызгав грудь.

Ты вырос между горных скал
И был беспомощен и мал,
Чуть над землей приподымал
Свой огонек,
Но храбро с ветром воевал
Твой стебелек.

В садах ограды и кусты
Хранят высокие цветы.
А ты рожден средь нищеты
Суровых гор.
Но как собой украсил ты
Нагой простор!

Одетый в будничный наряд,
Ты к солнцу обращал свой взгляд.
Его теплу и свету рад,
Глядел на юг,
Не думая, что разорят
Твой мирный луг.

Так девушка во цвете лет
Глядит доверчиво на свет
И всем живущим шлет привет,
В глуши таясь,
Пока ее, как этот цвет,
Не втопчут в грязь.

Так и бесхитростный певец,
Страстей неопытный пловец,
Не знает низменных сердец —
Подводных скал —
И там находит свой конец,
Где счастья ждал.

Такая участь многих ждет...
Кого томит гордыни гнет,
Кто изнурен ярмом забот,
Тем свет не мил.
И человек на дно идет,
Лишенный сил.

И ты, виновник этих строк,
Держись,— конец твой недалек.
Тебя настигнет грозный рок —
Нужда, недуг,—
Как на весенний стебелек
Наехал плуг.

ЗА ТЕХ, КТО ДАЛЁКО

За тех, кто далёко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
А кто не желает свободе добра,
Того не помянем добром.

Добро быть веселым и мудрым, друзья,
Хранить прямоту и отвагу.
Добро за шотландскую волю стоять,
Быть верным шотландскому флагу.

За тех, кто далёко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
За Чарли, что ныне живет на чужбине,
И горсточку верных при нем.

Свободе — привет и почет.
Пускай бережет ее Разум.
А все тирании пусть дьявол возьмет
Со всеми тиранами разом!

За тех, кто далёко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
За славного Тэмми, любимого всеми,
Что нынче живет под замком.

Да здравствует право читать,
Да здравствует право писать.
Правдивой страницы
Лишь тот и боится,
Кто вынужден правду скрывать.

За тех, кто далёко, мы пьем,
За тех, кого нет за столом.
Привет тебе, воин, что вскормлен и вспоен
В снегах на утесе крутом!

НАСЕКОМОМУ, КОТОРОЕ ПОЭТ УВИДЕЛ НА ШЛЯПЕ НАРЯДНОЙ ДАМЫ ВО ВРЕМЯ ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЫ

Куда ты, низкое созданье?
Как ты проникло в это зданье?
Ты водишься под грубой тканью,
А высший свет —
Тебе не место: пропитанья
Тебе здесь нет.

Средь шелка, бархата и газа
Ты не укроешься от глаза.
Несдобровать тебе, пролаза!
Беги туда,
Где голод, холод и зараза
Царят всегда.

Иди знакомою дорогой
В жилище братии убогой,
Где вас, кусающихся, много,
Где борона
Из гладкой кости или рога
Вам не страшна!

А ежели тебе угодно
Бродить по шляпе благородной,—
Тебе бы спрятаться, негодной,
В шелка, в цветы...
Но нет, на купол шляпки модной
Залезла ты!

На всех вокруг ты смотришь смело,
Как будто ты крыжовник спелый,
Уже слегка порозовелый.
Как жаль, что нет
Здесь порошка, чтоб околела
Ты в цвете лет!

И пусть не встряхивает дама
Головкой гордой и упрямой.
О, как должна она от срама
Потупить взгляд,
Узнав, что прихожане храма
За ней следят...

Ах, если б у себя могли мы
Увидеть все, что ближним зримо,
Что видит взор идущих мимо
Со стороны,—
О, как мы стали бы терпимы
И как скромны!

ЛЮБОВЬ И БЕДНОСТЬ

Любовь и бедность навсегда
Меня поймали в сети.
По мне и бедность не беда,
Не будь любви на свете.

Зачем разлучница-судьба —
Всегда любви помеха?
И почему любовь — раба
Достатка и успеха?

Богатство, честь, в конце концов,
Приносят мало счастья.
И жаль мне трусов и глупцов,
Что их покорны власти.

Твои глаза горят в ответ,
Когда теряю ум я,
А на устах твоих совет
Хранить благоразумье.

Но как же мне его хранить,
Когда с тобой мы рядом?
Но как же мне его хранить,
С тобой встречаясь взглядом?

На свете счастлив тот бедняк
С его простой любовью,
Кто не завидует никак
Богатому сословью.

Ах, почему жестокий рок
Всегда любви помеха
И не цветет любви цветок
Без славы и успеха?

ЧТО ДЕЛАТЬ ДЕВЧОНКЕ?

Что делать девчонке? Как быть мне, девчонке?
Как жить мне, девчонке, с моим муженьком?
За шиллинги, пенни загублена Дженни,
Обвенчана Дженни с глухим стариком.

Ворчлив он и болен, всегда недоволен,
В груди его холод, в руках его лед.
Кряхтит он, бормочет, уснуть он не хочет.
Как тяжко пробыть с ним всю ночь напролет!

Брюзжит он и злится, знакомых боится,
Друзей сторонится — такой нелюдим!
Ко всем он ревнует жену молодую.
В худую минуту я встретилась с ним.

Спасибо, на свете есть тетушка Кэтти —
Она мне дала драгоценный совет.
Во всем старикану перечить я стану,
Пока он не лопнет на старости лет!

ПЕСНЯ

Ты свистни,— тебя не заставлю я ждать,
Ты свистни,— тебя не заставлю я ждать,
Пусть сходят с ума отец мой и мать,
Ты свистни,— тебя не заставлю я ждать!

Но в оба гляди, пробираясь ко мне.
Найди ты лазейку в садовой стене,
Найди три ступеньки в саду при луне.
Иди, но как будто идешь не ко мне,
Иди, будто вовсе идешь не ко мне.

А если мы встретимся в церкви, смотри:
С подругой моей, не со мной говори,
Украдкой мне ласковый взгляд подари,
А больше — смотри! — на меня не смотри,
А больше — смотри! — на меня не смотри!

Другим говори, нашу тайну храня,
Что нет тебе дела совсем до меня.
Но, даже шутя, берегись, как огня,
Чтоб кто-то не отнял тебя у меня,
И вправду не отнял тебя у меня!

Ты свистни,— тебя не заставлю я ждать,
Ты свистни,— тебя не заставлю я ждать.
Пусть сходят с ума отец мой и мать,
Ты свистни,— тебя не заставлю я ждать!

НОЧЛЕГ В ПУТИ

Меня в горах застигла тьма,
Январский ветер, колкий снег.
Закрылись наглухо дома,
И я не мог найти ночлег.

По счастью, девушка одна
Со мною встретилась в пути,
И предложила мне она
В ее укромный дом войти.

Я низко поклонился ей —
Той, что спасла меня в метель,
Учтиво поклонился ей
И попросил постлать постель.

Она тончайшим полотном
Застлала скромную кровать
И, угостив меня вином,
Мне пожелала сладко спать.

Расстаться с ней мне было жаль,
И, чтобы ей не дать уйти,
Спросил я девушку:— Нельзя ль
Еще подушку принести?

Она подушку принесла
Под изголовие мое.
И так мила она была,
Что крепко обнял я ее.

В ее щеках зарделась кровь,
Два ярких вспыхнули огня.
— Коль есть у вас ко мне любовь,
Оставьте девушкой меня!

Был мягок шелк ее волос
И завивался, точно хмель.
Она была душистей роз,
Та, что постлала мне постель,

А грудь ее была кругла,—
Казалось, ранняя зима
Своим дыханьем намела
Два этих маленьких холма.

Я целовал ее в уста —
Ту, что постлала мне постель,
И вся она была чиста,
Как эта горная метель.

Она не спорила со мной,
Не открывала милых глаз.
И между мною и стеной
Она уснула в поздний час.

Проснувшись в первом свете дня,
В подругу я влюбился вновь.
— Ах, погубили вы меня! —
Сказала мне моя любовь.

Целуя веки влажных глаз
И локон, вьющийся, как хмель,
Сказал я: — Много, много раз
Ты будешь мне стелить постель!

Потом иглу взяла она
И села шить рубашку мне,
Январским утром у окна
Она рубашку шила мне...

Мелькают дни, идут года,
Цветы цветут, метет метель,
Но не забуду никогда
Той, что постлала мне постель!

БОСАЯ ДЕВУШКА

Об этой девушке босой
Я позабыть никак не мог.
Казалось, камни мостовой
Терзают кожу нежных ног.

Такие ножки бы одеть
В цветной сафьян или в атлас.
Такой бы девушке сидеть
В карете, обогнавшей нас!

«РАЗНОЦВЕТНАЯ КНИГА»

Бежит ручей ее кудрей
Льняными кольцами на грудь.
А блеск очей во тьме ночей
Пловцам указывал бы путь.

Красавиц всех затмит она,
Хотя ее не знает свет.
Она достойна и скромна.
Ее милее в мире нет.

В полях, под снегом и дождем,
Мой милый друг,
Мой бедный друг,
Тебя укрыл бы я плащом
От зимних вьюг,
От зимних вьюг.

А если мука суждена
Тебе судьбой,
Тебе судьбой,
Готов я скорбь твою до дна
Делить с тобой,
Делить с тобой.

Пускай сойду я в мрачный дол,
Где ночь кругом,
Где тьма кругом,—
Во тьме я солнце бы нашел
С тобой вдвоем,
С тобой вдвоем.

И если б дали мне в удел
Весь шар земной,
Весь шар земной,
С каким бы счастьем я владел
Тобой одной,
Тобой одной.

ЭПИГРАММЫ

К ПОРТРЕТУ ДУХОВНОГО ЛИЦА

Нет, у него не лживый взгляд.
Его глаза не лгут.
Они правдиво говорят,
Что их владелец — плут.

ПОКЛОННИКУ ЗНАТИ

У него — герцогиня знакомая,
Пообедал он с графом на днях...

Но осталось собой насекомое,
Побывав в королевских кудрях!

О ЧЕРЕПЕ ТУПИЦЫ

Господь во всем, конечно, прав,
Но кажется непостижимым,
Зачем он создал прочный шкаф
С таким убогим содержимым!

О ПРОИСХОЖДЕНИИ ОДНОЙ ОСОБЫ

В году семьсот сорок девятом
(Точнее я не помню даты)
Лепить свинью задумал черт.
Но вдруг в последнее мгновенье
Он изменил свое решенье,
И вас он вылепил, милорд!

ЭПИТАФИЯ ВИЛЬЯМУ ГРЭХЕМУ, ЭСКВАЙРУ

Склонясь у гробового входа,
— О, смерть! — воскликнула природа.—
Когда удастся мне опять
Такого олуха создать!..

ИЗ ВИЛЬЯМА БЛЕЙКА

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЯ

Отголоски игры долетают с горы,
Оглашают темнеющий луг.
После трудного дня нет забот у меня.
В сердце тихо, и тихо вокруг.

— Дети, дети, домой! Гаснет день за горой,
Выступает ночная роса.
Погуляли — и спать. Завтра выйдем опять,
Только луч озарит небеса.

— Нет, о нет, не сейчас! Светлый день не угас.
И привольно и весело нам.
Все равно не уснем — птицы реют кругом,
И блуждают стада по холмам.

— Хорошо, подождем, но с последним лучом
На покой удалимся и мы.—
Снова топот и гам по лесам, по лугам,
А вдали отвечают холмы.

СОН

Сон узор сплетает свой
У меня над головой.
Вижу: в зелени полей
Заблудился муравей.

Грустен, робок, одинок,
Обхватил он стебелек.
И, тревожась и скорбя,
Говорил он про себя:

— Мураши мои одни,
Дома ждут меня они.
Поглядят во мрак ночной
И в слезах бегут домой!

Пожалел я бедняка.
Вдруг увидел светляка.
— Чей,— спросил он,— тяжкий стон
Нарушает летний сон?

Выслан я с огнем вперед.
Жук за мной летит в обход.
Следуй до́ дому за ним —
Будешь цел и невредим!

ВСТУПЛЕНИЕ

К «Песням невинности»

Дул я в звонкую свирель.
Вдруг на тучке в вышине
Я увидел колыбель,
И дитя сказало мне:

— Милый путник, не спеши.
Можешь песню мне сыграть? —
Я сыграл от всей души,
А потом сыграл опять.

— Кинь счастливый свой тростник.
Ту же песню сам пропой! —
Молвил мальчик и поник
Белокурой головой.

— Запиши для всех, певец,
То, что пел ты для меня! —
Крикнул мальчик, наконец,
И растаял в блеске дня.

Я перо из тростника
В то же утро смастерил,
Взял воды из родника
И землею замутил.

И, раскрыв свою тетрадь,
Сел писать я для того,
Чтобы детям передать
Радость сердца моего!

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.

ТИГР

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи,
Кем задуман огневой
Соразмерный образ твой?

В небесах или в глубинах
Тлел огонь очей звериных?
Где таился он века?
Чья нашла его рука?

Что за мастер, полный силы,
Свил твои тугие жилы
И почувствовал меж рук
Сердца первый тяжкий стук?

Что за горн пред ним пылал?
Что за млат тебя ковал?
Кто впервые сжал клещами
Гневный мозг, метавший пламя?

А когда весь купол звездный
Оросился влагой слезной,—
Улыбнулся ль наконец
Делу рук своих творец?

Неужели та же сила,
Та же мощная ладонь
И ягненка сотворила
И тебя, ночной огонь?

Тигр, о тигр, светло горящий
В глубине полночной чащи!
Чьей бессмертною рукой
Создан грозный образ твой?

ДРЕВО ЯДА

В ярость друг меня привел —
Гнев излил я, гнев прошел.
Враг обиду мне нанес —
Я молчал, но гнев мой рос.

Я таил его в тиши
В глубине своей души,
То слезами поливал,
То улыбкой согревал.

Рос он ночью, рос он днем.
Зрело яблочко на нем,
Яда сладкого полно.
Знал мой недруг, чье оно.

Темной ночью в тишине
Он прокрался в сад ко мне
И остался недвижим,
Ядом скованный моим.

МЕЧ И СЕРП

Меч — о смерти в ратном поле,
Серп о жизни говорил,
Но своей жестокой воле
Меч серпа не покорил.

Есть шип у розы для врага,
А у барашка есть рога.
Но чистая лилия так безоружна,
И, кроме любви, ничего ей не нужно.

Словом высказать нельзя
Всю любовь к любимой.
Ветер движется, скользя,
Тихий и незримый.

Я сказал, я все сказал,
Что в душе таилось.
Ах, любовь моя в слезах,
В страхе удалилась.

А мгновение спустя
Путник, шедший мимо,
Тихо, вкрадчиво, шутя
Завладел любимой.

ИЗ ДЖОНА КИТСА

СЛАВА

Дикарка-слава избегает тех,
Кто следует за ней толпой послушной.
Имеет мальчик у нее успех
Или повеса, к славе равнодушный.

Гордячка к тем влюбленным холодней,
Кто без нее счастливым быть не хочет,
Ей кажется: кто говорит о ней
Иль ждет ее,— тот честь ее порочит!

Она — цыганка. Нильская волна
Ее лица видала отраженье.
Поэт влюбленный! Заплати сполна
Презреньем за ее пренебреженье.

Ты с ней простись учтиво — и рабой
Она пойдет, быть может, за тобой!

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ШОТЛАНДИИ, В ДОМИКЕ РОБЕРТА БЕРНСА

Прожившему так мало бренных лет,
Мне довелось на час занять собою
Часть комнаты, где славы ждал поэт,
Не знавший, чем расплатится с судьбою.

Ячменный сок волнует кровь мою,
Кружится голова моя от хмеля.
Я счастлив, что с великой тенью пью,
Ошеломлен, своей достигнув цели.

И все же, как подарок, мне дано
Твой дом измерить мерными шагами
И вдруг увидеть, приоткрыв окно,
Твой милый мир с холмами и лугами.

Ах, улыбнись. Ведь это же и есть
Земная слава и земная честь!

ИЗ РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА

* * *

На далекой Амазонке
Не бывал я никогда.
Только «Дон» и «Магдалина» —
Быстроходные суда —
Только «Дон» и «Магдалина»
Ходят по морю туда.

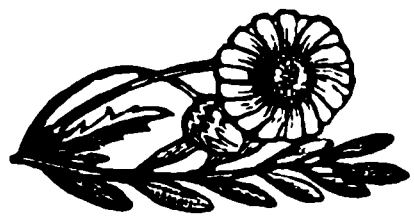
Из Ливерпульской гавани
Всегда по четвергам
Суда уходят в плаванье
К далеким берегам.

Плывут они в Бразилию,
Бразилию,
Бразилию.
И я хочу в Бразилию —
К далеким берегам!

Никогда вы не найдете
В наших северных лесах
Длиннохвостых ягуаров,
Броненосных черепах.

Но в солнечной Бразилии,
Бразилии моей,
Такое изобилие
Невиданных зверей!

Увижу ли Бразилию.
Бразилию,
Бразилию,
Увижу ли Бразилию
До старости моей?



* * *

Если в стеклах каюты
Зеленая тьма,
И брызги взлетают
До труб,
И встают поминутно
То нос, то корма,
А слуга, разливающий
Суп,
Неожиданно валится
В куб,

Если мальчик с утра
Не одет, не умыт,
И мешком на полу
Его нянька лежит,
А у мамы от боли
Трещит голова,
И никто не смеется,
Не пьет и не ест,—

Вот тогда вам понятно,
Что значат слова:
Сорок норд,
Пятьдесят вест!

Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых.
И все, что вижу я вокруг,—
Все знаю я от них.

Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их: Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где.

Я по морям и по лесам
Гоняю верных слуг.
Потом работаю я сам,
А им даю досуг.

Даю им отдых от забот —
Пускай не устают.
Они прожорливый народ —
Пускай едят и пьют.

Но у меня есть милый друг,
Особа юных лет.
Ей служат сотни тысяч слуг,
И всем покоя нет!

Она гоняет, как собак,
В ненастье, дождь и тьму
Пять тысяч Где, семь тысяч Как,
Сто тысяч Почему!

Горб
Верблюжий,
Такой неуклюжий,
Видал я в зверинце не раз.
Но горб
Еще хуже,
Еще неуклюжей
Растет у меня и у вас.

У всех,
Кто слоняется праздный,
Немытый, нечесаный, грязный,
Появится
Горб,
Невиданный горб,
Косматый, кривой, безобразный.

Мы спим до полудня
И в праздник и в будни,
Проснемся и смотрим уныло,

Мяукаем, лаем,
Вставать не желаем
И злимся на губку и мыло.

Скажите, куда
Бежать от стыда.
Где спрячете горб свой позорный,
Невиданный
Горб,
Неслыханный
Горб,
Косматый, мохнатый и черный?

Совет мой такой:
Забыть про покой
И бодро заняться работой.
Не киснуть, не спать,
А землю копать,
Копать до десятого пота.

И ветер, и зной,
И дождь проливной,
И голод, и труд благотворный
Разгладят ваш горб,
Невиданный горб,
Косматый, мохнатый и черный!

Кошка чудесно поет у огня,
Лазит на дерево ловко,
Ловит и рвет, догоняя меня,
Пробку с продетой веревкой.

Все же с тобою мы делим досуг,
Бинки послушный и верный,
Бинки, мой старый, испытанный друг,
Правнук собаки пещерной.

Если, набрав из-под крана воды,
Лапы намочите кошке
(Чтобы потом обнаружить следы
Диких зверей на дорожке),

Кошка, царапаясь, рвется из рук,
Фыркает, воет, мяучит.
Бинки — мой верный, испытанный друг,
Дружба ему не наскучит.

Вечером кошка, как ласковый зверь,
Трется о ваши колени.
Только вы ляжете, кошка за дверь
Мчится, считая ступени.

Кошка уходит на целую ночь,
Бинки мне верен и спящий:
Он под кроватью храпит во всю мочь —
Значит, он друг настоящий!

ЕСЛИ...

О, если ты покоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь,

И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым, в сущности, цена одна,
И если ты готов к тому, что слово
Твое в ловушку превращает плут,
И, потерпев крушенье, можешь снова —
Без прежних сил — возобновить свой труд,

И если ты способен все, что стало
Тебе привычным, выложить на стол,
Все проиграть и вновь начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел,

И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «держись!» —

И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,—
Земля — твое, мой мальчик, достоянье!
И более того, ты — человек!

ИЗ РОБЕРТА ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА

ВЕ́РЕСКОВЫЙ МЕД

Шотландская баллада

Из вереска напиток
Забыт давным-давно.
А был он слаще меда,
Пьянее, чем вино.

В котлах его варили
И пили всей семьей
Малютки-медовары
В пещерах под землей.

Пришел король шотландский,
Безжалостный к врагам,
Погнал он бедных пиктов
К скалистым берегам.

На вересковом поле,
На поле боевом,

Лежал живой на мертвом
И мертвый — на живом.

Лето в стране настало,
Вереск опять цветет,
Но некому готовить
Вересковый мед.

В своих могилках тесных,
В горах родной земли,
Малютки-медовары
Приют себе нашли.

Король по склону едет
Над морем на коне,
А рядом реют чайки
С дорогой наравне.

Король глядит угрюмо:
«Опять в краю моем
Цветет медвяный вереск,
А меда мы не пьем!»

Но вот его вассалы
Приметили двоих
Последних медоваров,
Оставшихся в живых.

Вышли они из-под камня,
Щурясь на белый свет,—
Старый горбатый карлик
И мальчик пятнадцати лет.

К берегу моря крутому
Их привели на допрос,
Но ни один из пленных
Сло́ва не произнес.

Сидел король шотландский
Не шевелясь в седле.
А маленькие люди
Стояли на земле.

Гневно король промолвил:
— Пытка обоих ждет,
Если не скажете, черти,
Как вы готовили мед! —

Сын и отец молчали,
Стоя у края скалы.
Вереск звенел над ними,
В море катились валы.

И вдруг голосок раздался:
— Слушай, шотландский король,
Поговорить с тобою
С глазу на глаз позволь!

Старость боится смерти.
Жизнь я изменой куплю,
Выдам заветную тайну! —
Карлик сказал королю.

Голос его воробьиный
Резко и четко звучал:
— Тайну давно бы я выдал,
Если бы сын не мешал!

Мальчику жизни не жалко,
Гибель ему нипочем.
Мне продавать свою совесть
Совестно будет при нем.

Пускай его крепко свяжут
И бросят в пучину вод —
И я научу шотландцев
Готовить старинный мед!

Сильный шотландский воин
Мальчика крепко связал
И бросил в открытое море
С прибрежных отвесных скал.

Волны над ним сомкнулись.
Замер последний крик.
И эхом ему ответил
С обрыва отец-старик.

— Правду сказал я, шотландцы,
От сына я ждал беды:
Не верил я в стойкость юных,
Не бреющих бороды.

А мне костер не страшен.
Пускай со мной умрет
Моя святая тайна —
Мой вересковый мед!

ИЗ ЭДВАРДА ЛИРА

ЭДВАРД ЛИР О САМОМ СЕБЕ

Мы в восторге от мистера Лира,
Исписал он стихами тома.
Для одних он — ворчун и придира,
А другим он приятен весьма.

Десять пальцев, два глаза, два уха
Подарила природа ему.
Не лишен он известного слуха
И в гостях не поет потому.

Книг у Лира на полках немало,
Он привез их из множества стран,
Пьет вино он с наклейкой «Марсала»,
И совсем не бывает он пьян.

Есть у Лира знакомые разные.
Кот его называется Фосс.
Тело автора — шарообразное,
И совсем нет под шляпой волос.

Если ходит он, тростью стуча,
В белоснежном плаще за границей,
Все мальчишки кричат: — Англича-
Нин в халате бежал из больницы!

Он рыдает, бродя в одиночку,
По горам, среди каменных глыб,

Покупает в аптеке примочку,
А в ларьке — марципановых рыб.

По-испански не пишет он, дети,
И не любит он пить рыбий жир...
Как приятно нам знать, что на свете
Есть такой человек — мистер Лир!

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

Щипцы для орехов сказали соседям —
Блестящим и тонким щипцам для конфет:
— Когда ж, наконец, мы кататься поедем,
Покинув наш тесный и душный буфет?

Как тяжко томиться весною в темнице
Без воздуха, света, в молчанье глухом,
Когда кавалеры и дамы в столице
Одно только знают, что скачут верхом!

И мы бы могли гарцевать по дороге,
Хоть нам не случалось еще до сих пор.
У нас так отлично устроены ноги,
Что можем мы ездить без седел и шпор.

Пора нам,— вздохнули щипцы для орехов,—
Бежать из неволи на солнечный свет.
Мы всех удивим, через город проехав!
— Еще бы! — сказали щипцы для конфет.

И вот, нарушая в буфете порядок,
Сквозь щелку пролезли щипцы-беглецы.
И двух верховых, самых быстрых лошадок,
Они через двор провели под уздцы.

Шарахнулась кошка к стене с перепугу,
Цепная собака метнулась за ней.
И мыши в подполье сказали друг другу:
— Они из конюшни уводят коней! —

На полках стаканы зазвякали звонко.
Откликнулись грозным бряцаньем ножи.
От страха на голову стала солонка,
Тарелки внизу зазвенели: — Держи!

В дверях сковородка столкнулась с лоханью,
И чайник со свистом понесся вослед
За чашкой и блюдцем смотреть состязанье
Щипцов для орехов — щипцов для конфет.

И вот по дороге спокойно и смело
Со щелканьем четким промчались верхом
Щипцы для орехов на лошади белой,
Щипцы для конфет на коне вороном.

Промчались по улице в облаке пыли,
Потом — через площадь, потом — через сад...
И только одно по пути говорили:
— Прощайте! Мы вряд ли вернемся назад!

И долго еще отдаленное эхо
До нас доносило последний привет
Веселых и звонких щипцов для орехов,
Блестящих и тонких щипцов для конфет...

ИЗ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

БАЛЛАДА О СТАРОМ ВИ́ЛЬЯМЕ

— Папа Ви́льям,— сказал любопытный малыш,—
Голова твоя белого цвета,
Между тем ты всегда вверх ногами стоишь.
Как ты думаешь, правильно это?

— В ранней юности,— старец промолвил в ответ,—
Я боялся раскинуть мозгами,

Но, узнав, что мозгов в голове моей нет,
Я спокойно стою вверх ногами.

— Ты старик,— продолжал любопытный юнец,—
Этот факт я отметил вначале.
Почему ж ты так ловко проделал, отец,
Троекратное сальто-мортале?

— В ранней юности,— сыну ответил старик,—
Натирался я мазью особой,
По два шиллинга банка — один золотник.
Вот не купишь ли банку на пробу?

— Ты немолод,— сказал любознательный сын,—
Сотню лет ты без малого прожил.
Между тем двух гусей за обедом один
Ты от клюва до лап уничтожил.

— В ранней юности мышцы своих челюстей
Я развил изучением права,
И так часто я спорил с женою своей,
Что жевать научился на славу!

— Мой отец, ты простишь ли меня, несмотря
На неловкость такого вопроса:
Как сумел удержать ты живого угря
В равновесье на кончике носа?

— Нет, довольно! — сказал возмущенный отец.—
Есть границы любому терпенью.
Если новый вопрос ты задашь, наконец,—
Сосчитаешь ступень за ступенью!

МОРСКАЯ КАДРИЛЬ

Говорит треска улитке: — Побыстрей, дружок, иди.
Мне на хвост дельфин наступит — он плетется позади.
Видишь, крабы, черепахи мчатся к морю мимо нас.
Нынче бал у нас на взморье, ты пойдешь ли с нами в пляс?

Хочешь, можешь, можешь, хочешь
ты пуститься с нами в пляс?
Можешь, хочешь, хочешь, можешь
ты пуститься с нами в пляс?

Ты не знаешь, как приятно, как занятно быть треской,
Если нас забросят в море и умчит нас вал морской!
— Ох! — улитка пропищала.— Далеко забросит нас!
Не хочу я, не могу я, не хочу я с вами в пляс.
Не могу я, не хочу я, не могу пуститься в пляс!

— Ах, что такое далеко? — ответила треска.—
Где далеко от Англии, там Франция близка.
За много миль от берегов есть берега опять.
Не робей, моя улитка, и пойдем со мной плясать.
Хочешь, можешь, можешь, хочешь
ты пойти со мной плясать?
Можешь, хочешь, хочешь, можешь
ты пойти со мной плясать?

ИЗ А.-А. МИЛЬНА

БАЛЛАДА О КОРОЛЕВСКОМ БУТЕРБРОДЕ

Король —
Его величество —
Просил ее величество,
Чтобы ее величество
Спросила у молочницы:
Нельзя ль доставить масла
На завтрак королю.

Придворная молочница
Сказала: — Разумеется,
Схожу,
Скажу
Корове,
Покуда я не сплю! —

Придворная молочница
Пошла к своей корове
И говорит корове,
Лежащей на полу:

— Велели их величества
Известное количество
Отборнейшего масла
Доставить к их столу!

Ленивая корова
Ответила спросонья:
— Скажите их величествам,
Что нынче очень многие
Двуногие безрогие
Предпочитают мармелад,
А также пастилу!

Придворная молочница
Сказала: — Вы подумайте! —
И тут же королеве
Представила доклад:

— Сто раз прошу прощения
За это предложение.
Но, если вы намажете
На тонкий ломтик хлеба
Фруктовый мармелад,—
Король, его величество,
Наверно, будет рад!

Тотчас же королева
Пошла к его величеству
И, будто между прочим,
Сказала невпопад:
— Ах да, мой друг, по поводу
Обещанного масла...
Хотите ли попробовать
На завтрак мармелад?

Король ответил:
— Глупости! —
Король сказал:
— О боже мой! —
Король вздохнул: — О господи! —
И снова лег в кровать.

— Еще никто,—
Сказал он,—
Никто меня на свете
Не называл капризным...
Просил я только масла
На завтрак мне подать!

На это королева
Сказала: — Ну, конечно!..—
И тут же приказала
Молочницу позвать.

Придворная молочница
Сказала: — Ну, конечно! —
И тут же побежала
В коровий хлев опять.

Придворная корова
Сказала: — В чем же дело?
Я ничего дурного
Сказать вам не хотела.

Возьмите простокваши,
И молока для каши,
И сливочного масла
Могу вам тоже дать!

Придворная молочница
Сказала: — Благодарствуйте! —
И масло на подносе
Послала королю.

Король воскликнул: — Масло!
Отличнейшее масло!
Прекраснейшее масло!
Я так его люблю!

— Никто, никто,— сказал он
И вылез из кровати.
— Никто, никто,— сказал он,
Спускаясь вниз в халате.
— Никто, никто,— сказал он,
Намылив руки мылом.
— Никто, никто,— сказал он,
Съезжая по перилам.
— Никто не скажет, будто я
Тиран и сумасброд,
За то, что к чаю я люблю
Хороший бутерброд!

ИЗ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

* * *

Весь отражен простором
Зеркальных рейнских вод,
С большим своим собором
Старинный Кельн встает.

Сиял мне в старом храме
Мадонны лик святой.
Он писан мастерами
На коже золотой.

Вокруг нее — цветочки,
И ангелы реют над ней.
А волосы, брови и щечки —
Совсем как у милой моей.

Материю песни, ее вещество
Не высосет автор из пальца.
Сам бог не сумел бы создать ничего,
Не будь у него матерьяльца.

Из пыли и гнили древнейших миров
Он создал мужчину — Адама.
Потом из мужского ребра и жиров
Была изготовлена дама.

Из праха возник у него небосвод.
Из женщины — ангел кроткий.
А ценность материи придает
Искусная обработка.

ИЗ ДЖАННИ РОДАРИ

ЧЕМ ПАХНУТ РЕМЕСЛА?

У каждого дела
Запах особый:
В булочной пахнет
Тестом и сдобой.

Мимо столярной
Идешь мастерской —
Стружкою пахнет
И свежей доской.

Пахнет маляр
Скипидаром и краской.
Пахнет стекольщик
Оконной замазкой.

Куртка шофера
Пахнет бензином.
Блуза рабочего —
Маслом машинным.

Пахнет кондитер
Орехом мускатным.
Доктор в халате —
Лекарством приятным.

Рыхлой землею,
Полем и лугом
Пахнет крестьянин,
Идущий за плугом.

Рыбой и морем
Пахнет рыбак.
Только безделье
Не пахнет никак.

Сколько ни душится
Лодырь богатый,
Очень неважно
Он пахнет, ребята!

КАКОГО ЦВЕТА РЕМЕСЛА?

Цвет свой особый
У каждого дела.
Вот перед вами
Булочник белый.

Белые волосы,
Брови, ресницы.
Утром встает он
Раньше, чем птицы.

Черный у топки
Стоит кочегар.

Всеми цветами
Сверкает маляр.

В синей спецовке,
Под цвет небосвода,
Ходит рабочий
Под сводом завода.

Руки рабочих
В масле и в саже.
Руки богатых
Белее и глаже.

Нежные пальцы,
Светлые ногти.
Нет на них копоти,
Масла и дегтя.

Знаешь: пускай у них кожа бела,
Очень черны у богатых дела!

ЧТО ЧИТАЮТ КОШКИ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

У кошек есть воскресная
Газета интересная,
Где в трех столбцах — не менее —
Даются объявления:

«Ищу уютный, теплый дом
Со старым креслом, очагом,
Без сквозняков и без ребят,
Что за хвосты нас теребят».

«Нужна синьора средних лет
Для чтенья книжек и газет.
Условье: знанье языков
В соседних лавках мясников».

«Могу подвал или чердак
От крыс очистить срочно».
«Знакомства ищет холостяк
С владелицей молочной».

Так целый день до темноты
В любое воскресенье
Читают кошки и коты
Кошачьи объявленья.

Потом, газету уронив,
Подняв очки повыше,
Поют, мурлыкая, мотив,
Что слышали на крыше.

ИЗ АНГЛИЙСКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ ДЖЕК

Вот дом,
Который построил Джек.

А это пшеница,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это веселая птица-синица,
Которая часто ворует пшеницу,

Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот кот,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот пес без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это корова безрогая,
Лягнувшая старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это старушка, седая и строгая,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

А это ленивый и толстый пастух,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

Вот два петуха,
Которые будят того пастуха,
Который бранится с коровницей строгою,
Которая доит корову безрогую,
Лягнувшую старого пса без хвоста,
Который за шиворот треплет кота,
Который пугает и ловит синицу,
Которая часто ворует пшеницу,
Которая в темном чулане хранится
В доме,
Который построил Джек.

КОРАБЛИК

Плывет, плывет кораблик,
Кораблик золотой,
Везет, везет подарки,
Подарки нам с тобой.

На палубе матросы
Свистят, снуют, спешат,
На палубе матросы —
Четырнадцать мышат.

Плывет, плывет кораблик
На запад, на восток.
Канаты — паутинки,
А парус — лепесток.

Соломенные весла
У маленьких гребцов.
Везет, везет кораблик
Полфунта леденцов.

Ведет кораблик утка,
Испытанный моряк.
— Земля! — сказала утка.—
Причаливайте! Кряк!

КУЗНЕЦ

— Эй, кузнец,
Молодец,
Захромал мой жеребец.
Ты подкуй его опять.
— Отчего не подковать!

Вот гвоздь,
Вот подкова.
Раз, два —
И готово!

ДУЙТЕ, ДУЙТЕ, ВЕТРЫ!

Дуйте,
Дуйте,
Ветры,
В поле,
Чтобы мельницы
Мололи,
Чтобы завтра
Из муки
Испекли нам
Пирожки!

ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ

Шалтай-Болтай
Сидел на стене.
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.

Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может
Шалтая,
Не может
Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

СТАРУШКА

Старушка пошла продавать молоко,
Деревня от рынка была далеко.
Устала старушка и, кончив дела,
У самой дороги вздремнуть прилегла.

К старушке веселый щенок подошел,
За юбку схватил и порвал ей подол.
Погода была в это время свежа,
Старушка проснулась, от стужи дрожа,

Проснулась старушка и стала искать
Домашние туфли, свечу и кровать,
Но, порванной юбки ощупав края,
Сказала: — Ах, батюшки, это не я!

Пойду-ка домой. Если я — это я,
Меня не укусит собака моя!
Она меня встретит, визжа, у ворот,
А если не я, на куски разорвет!

В окно постучала старушка чуть свет.
Залаяла громко собака в ответ.
Старушка присела, сама не своя,
И тихо сказала: — Ну, значит — не я!

ПЕРЧАТКИ

Потеряли котятки
На дороге перчатки
И в слезах прибежали домой.
— Мама, мама, прости,
Мы не можем найти,
Мы не можем найти
Перчатки!

— Потеряли перчатки?
Вот дурные котятки!
Я вам нынче не дам пирога.

Мяу-мяу, не дам,
Мяу-мяу, не дам,
Я вам нынче не дам пирога!

Побежали котятки,
Отыскали перчатки
И, смеясь, прибежали домой.
— Мама, мама, не злись,
Потому что нашлись,
Потому что нашлись
Перчатки!

— Отыскали перчатки?
Вот спасибо, котятки!
Я за это вам дам пирога.
Мур-мур-мур, пирога,
Мур-мур-мур, пирога,
Я за это вам дам пирога!

КОТЯТА

Два маленьких котенка поссорились в углу.
Сердитая хозяйка взяла свою метлу

И вымела из кухни дерущихся котят,
Не справившись при этом, кто прав, кто виноват.

А дело было ночью, зимою, в январе.
Два маленьких котенка озябли на дворе.

Легли они, свернувшись, на камень у крыльца,
Носы уткнули в лапки и стали ждать конца.

Но сжалилась хозяйка и отворила дверь.
— Ну что? — она спросила.— Не ссоритесь теперь?

Прошли они тихонько в свой угол на ночлег.
Со шкурки отряхнули холодный, мокрый снег.

И оба перед печкой заснули сладким сном.
А вьюга до рассвета шумела за окном.

«КОРАБЛИК»

ТРИ МУДРЕЦА

Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.

Будь попрочнее
Старый таз,
Длиннее
Был бы мой рассказ.

ГВОЗДЬ И ПОДКОВА

Не было гвоздя —
Подкова
Пропала.

Не было подковы —
Лошадь
Захромала.

Лошадь захромала —
Командир
Убит.

Конница разбита,
Армия
Бежит.

Враг вступает в город,
Пленных не щадя,

Оттого что в кузнице
Не было гвоздя.

ПТИЦЫ В ПИРОГЕ

Много, много птичек
Запекли в пирог:
Семьдесят синичек,
Сорок семь сорок.

Трудно непоседам
В тесте усидеть —
Птицы за обедом
Громко стали петь.

Побежали люди
В золотой чертог,
Королю на блюде
Понесли пирог.

Где король? На троне
Пишет манифест.
Королева в спальне
Хлеб с вареньем ест.

Фрейлина стирает
Ленту для волос.
У нее сорока
Отщипнула нос.

А потом синица
Принесла ей нос,
И к тому же месту
Сразу он прирос.

КОРОЛЕВСКИЙ ПОХОД

По склону вверх король повел
Полки своих стрелков.

По склону вниз король сошел,
Но только без полков.

ВЕСЕЛЫЙ КОРОЛЬ

Старый дедушка Коль
Был веселый король.
Громко крикнул он свите своей:
— Эй, налейте нам кубки,
Да набейте нам трубки,
Да зовите моих скрипачей, трубачей,
Да зовите моих скрипачей!

Были скрипки в руках у его скрипачей,
Были трубы у всех трубачей,
И пилили они,
И трубили они,
До утра не смыкая очей.

Старый дедушка Коль
Был веселый король.
Громко крикнул он свите своей:
— Эй, налейте нам кубки,
Да набейте нам трубки,
Да гоните моих скрипачей, трубачей,
Да гоните моих скрипачей!

ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ...

Кабы реки и озера
Слить бы в озеро одно,
А из всех деревьев бора
Сделать дерево одно,

Топоры бы все расплавить
И отлить один топор,
А из всех людей составить
Человека выше гор,

Кабы, взяв топор могучий,
Этот грозный великан
Этот ствол обрушил с кручи
В это море-океан,—

То-то громкий был бы треск,
То-то шумный был бы плеск!

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ

Даю вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Я встретил двух свинок
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово!

В ГОСТЯХ У КОРОЛЕВЫ

— Где ты была сегодня, киска?
— У королевы у английской.

— Что ты видала при дворе?
— Видала мышку на ковре!

РАЗГОВОР

Тетя Трот и кошка
Сели у окошка,
Сели рядом вечерком
Поболтать немножко.

Трот спросила: — Кис-кис-кис,
Ты ловить умеешь крыс?
— Мурр,— сказала кошка,
Помолчав немножко.

ТРИ ЗВЕРОЛОВА

Три смелых зверолова
Охотились в лесах.
Над ними полный месяц
Сиял на небесах.

— Смотрите, это — месяц! —
Зевнув, сказал один.
Другой сказал: — Тарелка! —
А третий крикнул: — Блин!

Три смелых зверолова
Бродили целый день,
А вечером навстречу
К ним выбежал олень.

Один сказал: — Ни слова,
В кустарнике олень! —
Другой сказал: — Корова! —
А третий крикнул: — Пень!

Три смелых зверолова
Сидели под кустом,
А кто-то на березе
Помахивал хвостом.

Один воскликнул: — Белка!
Стреляй, чего глядишь! —
Другой сказал: — Собака! —
А третий крикнул: — Мышь!

ТРИ ПОДАРКА

— Полдюжины булавок
Я вам преподношу
И быть моей женою
Покорно вас прошу.
Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, со мной
И будете моей женой!

— Полдюжины булавок
От вас я не приму,
Полдюжины булавок
Нужны вам самому.
Плясать вы не пойдете со мной, со мной, со мной,
И вашею не буду я женой!

— Хрустальный колокольчик
Дарю я вам, мой друг.
Когда проснетесь ночью,
Будите ваших слуг.
Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, со мной
И будете моей женой!

— Хрустальный колокольчик
От вас я не возьму,
Ваш глупый колокольчик
Не нужен никому.
Плясать вы не пойдете со мной, со мной, со мной,
И вашею не буду я женой!

— Принес я вам колечко —
Любви последний дар,—
Алмазное колечко
И бархатный футляр.
Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, со мной
И будете моей женой!

— Мне нравится колечко,
Горит оно, как жар.
Оставьте мне колечко
И бархатный футляр.
Могу я вам позволить плясать со мной, со мной
И вашею согласна быть женой!

— Полдюжины булавок
Принес я в первый раз
И очень огорчился,
Услышав ваш отказ.

Хрустальный колокольчик
Потом я вам принес.
Меня своим отказом
Вы довели до слез.

Теперь принес колечко —
Любви последний дар.
Вы приняли колечко
И бархатный футляр.

И замуж вы согласны пойти на этот раз,
Да я-то не женюсь на вас!

О МАЛЬЧИКАХ И ДЕВОЧКАХ

Из чего только сделаны мальчики?
Из чего только сделаны мальчики?
Из улиток, ракушек,
Из зеленых лягушек.
Вот из этого сделаны мальчики!

Из чего только сделаны девочки?
Из чего только сделаны девочки?
Из конфет и пирожных,
И сластей всевозможных.
Вот из этого сделаны девочки!

Из чего только сделаны парни?
Из чего только сделаны парни?
Из насмешек, угроз,
Крокодиловых слез.
Вот из этого сделаны парни!

Из чего только сделаны барышни?
Из чего только сделаны барышни?
Из булавок, иголок,
Из тесемок, наколок.
Вот из этого сделаны барышни!

МЭРИ И БАРАН

У нашей Мэри есть баран,
Собаки он верней.
В грозу, и в бурю, и в туман
Баран бредет за ней.

Водила Мэри на луга
Барашка с первых дней.
Он отрастил давно рога,
Но ходит вслед за ней.

Вот Мэри вышла из ворот.
Баран бредет за ней.
Она по улице идет.
Баран идет за ней.

Она доходит до угла.
Баран идет за ней.
Она помчалась, как стрела.
Баран бежит за ней.

Она вбегает в школьный сад.
Баран бежит за ней.
Она кричит: «Иди назад!»
Баран идет за ней.

Она кричит: «Уйди сейчас!»
Баран идет за ней.
Она вбегает в первый класс.
Баран бежит за ней.

Но Мэри двери перед ним
Закрыла поскорей,
И он, печален, недвижим,
Остался у дверей.

Часы пропели девять раз
Из будочки своей.
Идет учительница в класс.
Баран идет за ней...

На этом кончу я рассказ.
Что может быть ясней?
Вошла учительница в класс,
Баран вбежал за ней!

ИЗ ЧЕШСКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

ХОРОВОД

Можно ль козам не бодаться,
Если рожки есть?
В пляс девчонкам не пускаться,
Если ножки есть?

За рога возьмем козленка
Отведем на луг
А девчонку за ручонку —
В наш веселый круг!

СЕНОКОС

Старый заяц сено косит,
А лиса сгребает.
Муха сено к возу носит,
А комар кидает.

Довезли до сеновала.
С воза муха закричала:

— На чердак я не пойду,
Я оттуда упаду,
Ноженьку сломаю,
Буду я хромая!

РАЗГОВОР ЛЯГУШЕК

— Кума,
Ты к нам?
— К вам, к вам,
К вам, к вам!
К воде скачу,
Ловить хочу.
— А кого, кого, кума?
— Карпа, рака и сома.
— Как поймаешь, дашь ли нам?
— Как не дать? Конечно, дам!

А, БЕ, ЦЕ

Знаешь буквы А, Бе, Це?
Сидит кошка на крыльце,
Шьет штанишки мужу,
Чтоб не мерз он в стужу.

НЕСГОВОРЧИВЫЙ УДОД

Шла Марина с огорода.
Под кустом нашла удода.
А удод ей: — Ду-ду-ду,
Жить у вас я не бу-ду!
К старой бабке убегу.
Даст мне бабка творогу!

ЕЖИК И ЛИСИЦА

Бежит ежик
Вдоль дорожек
Да скользит на льду.

Говорит ему лисица:
— Дай, переведу.

Отвечает серый ежик:
— У меня две пары ножек.
Сам я перейду!

ДЕТИШКАМ — МОЛОЧИШКО

Дай молочка, буренушка,
Хоть капельку — на донышко.
Ждут меня котята,
Малые ребята.
Дай им сливок ложечку,
Творогу немножечко.

Всем дает здоровье
Молоко коровье!

ЛЯГУШКА НА ДОРОЖКЕ

Вот лягушка на дорожке.
У нее озябли ножки.
Значит, ей нужны
Теплые штаны,
Суконные
Зеленые
В крапинку!

ИЗ ЛАТЫШСКОЙ НАРОДНОЙ ПОЭЗИИ

ВСЕМ ДЕРЕВЬЯМ ПО ПОДАРКУ

От зари вечерней яркой
Всем деревьям по подарку:

Дубу, дубу —
Золотую шубу,

Ясеню — сорочку,
Липам — по платочку,

В чаще каждому кусту —
По цветному лоскуту.

ЧТО ЗА ГРОХОТ?

Что за грохот, что за стук?
Сел комар в лесу на сук.

Треснул сук под комаром —
Вот откуда стук и гром.

ТРИ ГОРОШИНЫ

Петуха я впряг в телегу,
Три горошины везу.
Чуть добрался до ночлега —
Нет гороха на возу!

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

Страницы воспоминаний

Памяти
Тамары Григорьевны Габбе

ОТ АВТОРА

В этих записках о годах моего детства и ранней юности нет вымысла, но есть известная доля обобщения, без которого нельзя рассказать обо многих днях в немногих словах. Некоторые эпизодические лица соединены в одно лицо. Изменены и кое-какие фамилии.

Столько дней прошло с малолетства,
Что его вспоминаешь с трудом.
И стоит вдалеке мое детство,
Как с закрытыми ставнями дом.

В этом доме все живы-здоровы —
Те, которых давно уже нет.
И висячая лампа в столовой
Льет по-прежнему теплый свет.

В поздний час все домашние в сборе —
Братья, сестры, отец и мать.
И так жаль, что приходится вскоре,
Распрощавшись, ложиться спать.

*

В начале жизни школу помню я...

А. Пушкин

ВРЕМЕНА НЕЗАПАМЯТНЫЕ

Семьдесят лет — немалый срок не только в жизни человека, но и в истории страны.

А за те семь десятков лет, которые протекли со времени моего рождения, мир так изменился, будто я прожил на свете по меньшей мере лет семьсот.

Нелегко оглядеть такую жизнь. Для того чтобы увидеть ее начало — время детства,— приходится долго и напряженно всматриваться в даль.

Конец восьмидесятых годов. Город Воронеж, пригородная слобода Чижовка, мыловаренный завод братьев Михайловых. При заводе, на котором работал отец,— дом, где я родился.

Собственно говоря, никаких «братьев Михайловых» мы и в глаза не видели, а знали только одного хозяина — флегматичного, мягко покашливающего Родиона Антоновича Михайлова и его сына — воспитанника кадетского корпуса, в коротком мундирчике с белым поясом и красными погонами.

Годы, когда отец служил на заводе под Воронежем, были самым ясным и спокойным временем в жизни нашей семьи. Отец, по специальности химик-практик, не получил ни среднего, ни высшего образования, но читал Гумбольдта и Гёте в подлиннике и знал чуть ли не наизусть Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В своем деле он считался настоящим мастером и владел какими-то особыми секретами в области мыловарения и очистки растительных масел. Его ценили и наперебой приглашали владельцы крупных заводов. До Воронежа он работал в одном из приволжских городов на заводе богачей Тер-Акоповых. Но служить он не любил и мечтал о своей лаборатории.

Однако мечты эти так и не сбылись.

У него не было ни денег, ни дипломов, и рассчитывать на бóльшее, чем на должность заводского мастера, он не мог, несмотря на то, что отличался неисчерпаемой энергией и несокрушимой волей.

Не многие оказались бы в силах так решительно и круто повернуть свою жизнь, как это сделал отец в ранней молодости.

Детство и юность провел он над страницами древнееврейских духовных книг. Учителя предсказывали ему блестящую будущность. И вдруг он, к великому их разочарованию, прервал эти занятия и на девятнадцатом году жизни пошел работать на маленький заводишко — где-то в Золотоноше или в Пирятине — сначала в качестве ученика, а потом и мастера. Решиться на такой шаг было нелегко: книжная премудрость считалась в его среде почетным делом, а в ремесленниках видели как бы людей низшей касты.

Да и не так-то просто было перейти от старинных пожелтевших фолиантов к заводскому котлу.

Много тяжких испытаний и горьких неудач выпало на долю отца прежде, чем он овладел мастерством и добился доступа на более солидный завод.

И, однако, даже в эти трудные годы он находил время для того, чтобы запоем читать Добролюбова и Писарева, усваивать по самоучителю немецкий язык и ощупью разбираться в текстах и чертежах иностранной технической литературы.

Человек он был мягкий, по-детски простодушный, но самолюбивый до крайности, и его гордый, непоклонный нрав мешал ему уживаться с хозяевами в поддевках и сапогах бутылками — людьми невежественными, но требовавшими от своих подчиненных почтительного повиновения. Не ладил отец и с властями предержащими.

Был у него в молодости случай, который надолго сохранился в наших семейных преданиях.

Отец только что поступил на большой завод в одном из губернских городов Поволжья. Встретили его с распростертыми

объятиями и сразу же отвели ему квартиру во втором этаже флигеля, расположенного на заводской территории. Кажется, это была первая в его жизни отдельная квартира.

С удовольствием, не торопясь, принялся он разбирать и раскладывать вещи, как вдруг раздался громкий стук в дверь,— это пожаловал не кто иной, как сам полицейский пристав, особа по тем временам довольно значительная. Приехал он якобы для того, чтобы проверить, в порядке ли у отца документы и есть ли у него «право жительства» вне «черты оседлости», где евреям разрешалось тогда селиться.

В сущности, пристав мог бы вызвать отца к себе в полицейский участок повесткой, но предпочел явиться лично, чтобы с глазу на глаз, из рук в руки получить установленную обычаем дань.

Не дождавшись полусотенной, на которую он рассчитывал, величавый пристав потерял терпение и позволил себе какую-то грубость. Отец вспылил, а так как силы он был в то время незаурядной, незваный гость и оглянуться не успел, как очутился на лестничной площадке и от одного толчка полетел вниз по крутым деревянным ступенькам...

Слушать эту историю нам никогда не надоедало. Мы представляли себе — вместо того, незнакомого,— нашего воронежского пристава, большого, статного, с полукружиями белокурых пушистых усов, шагающего, словно на пружинах, в своей голубоватой офицерской шинели и лакированных сапогах.

И вот такой-то пристав кубарем катился по всем ступенькам, гремя шашкой и медными задниками калош. Об одном только мы жалели: отчего отец жил в ту пору во втором этаже, а не в третьем или даже в четвертом...

Впрочем, и этот полет пристава со второго этажа мог бы дорого обойтись отцу. Не знаю, какие громы небесные обрушились бы на его буйную голову, если бы хозяин завода не съездил к губернатору, с которым частенько играл в карты, и не убедил его замять это щекотливое дело.

Должно быть, отец был в ту пору необходим на заводе — иначе хозяин вряд ли вмешался бы в эту историю, а, скорей всего, предоставил бы строптивого мастера его судьбе.

Однако через некоторое время он предпочел расстаться с отцом, поручив заблаговременно своим служащим выведать у него кое-какие из его профессиональных секретов.

На заводе «братьев Михайловых» отец не чувствовал над собой — особенно в первые годы — хозяйской руки. Был он в это время молод, здоров, полон надежд и сил. Да и мать наша, не от-

личавшаяся крепким здоровьем, была еще тогда довольно весела и беззаботна, несмотря на то, что ее никогда не покидала тревога о детях. Неподалеку от завода простиралось поле, за ним роща, и у матери пока еще хватало досуга, чтобы иной раз под вечер выходить с отцом на прогулку.

Мне дорого смутное воспоминание о молодости моих родителей. Эта счастливая пора их жизни длилась недолго. Правда, отца я и в более поздние годы помню сильным, широкоплечим, жизнерадостным, но глубокая морщинка заботы рано пролегла между его бровей, а рыжеватые усы и маленькая острая бородка поседели задолго до старости. Только густые черные с блеском волосы, круто зачесанные вверх, ни за что не хотели поддаваться седине.

Мать постарела и поблекла гораздо раньше отца, хоть и была много моложе его. Но, помнится мне, в эти воронежские годы ее синие, пристальные, глубоко сидящие глаза еще смотрели на мир доверчиво, открыто и немного удивленно. Приподнятые и чуть сведенные к переносице брови придавали ее взгляду оттенок настороженности, напряженного внимания.

Может быть, я даже не самое ее помню в эти годы, а поблекшую от времени фотографическую карточку, на которой она казалась такой юной и миловидной в скромной кофточке с модными тогда «буфами» на плечах. Волосы ее, коротко остриженные во время болезни, не успели отрасти, и от этого она выглядела еще моложе, чем была на самом деле. Под фотографией значилась фамилия московского фотографа.

Это была память о тех праздничных месяцах, которые мать провела до замужества в гостях у сестры и брата в Москве. Тамто она и встретилась с моим отцом. Покинув строгую, патриархальную семью, которая жила в Витебске, она впервые попала в столицу, в круг молодых людей — друзей брата, ходила с ними в театр смотреть Андреева-Бурлака, любимца тогдашней молодежи, слушала страстные студенческие споры о политике, о религии, морали, о женском равноправии, зачитывалась Тургеневым, Гончаровым, Диккенсом.

«Давида Копперфильда» она и отец читали вслух по очереди.

Московские друзья брата приняли ее в свой кружок как свою. Показывали ей город, доставали для нее билеты то в оперу, то в драму.

Не часто доводилось ей бывать в театре и на дружеских вечеринках в последующие годы ее жизни, омраченные нуждой и заботой. Вероятно, потому-то она и вспоминала с такой благодарностью немногие дни, прожитые в Москве.

Впрочем, мать моя никогда не была слишком словоохотливой и, в противоположность отцу, не умела да и не любила выражать свои сокровенные чувства. Но и по ее немногословным, скупым

рассказам в памяти у меня навсегда запечатлелось, быть может, не вполне отчетливое и точное, но живое представление о молодежи восьмидесятых годов, о московских «старых» студентах в косоворотках и поношенных тужурках, об их шумной, дружной и, несмотря на бедность, по-своему широкой жизни. Я не запомнил их имен, за исключением одного, которое чаще других упоминала мать. Ни разу в жизни не видел я человека, носившего это имя, да и родители мои никогда больше не встречались с ним. Знаю только, что он был так же беспечен, как и беден. За душой у него не было гроша медного, но это не мешало ему быть душой своего кружка. И фамилия его казалась мне словно нарочно придуманной: «Ду́шман». Я был тогда совершенно уверен, что это не зря.

Воронежские знакомые моих родителей были людьми совсем иного круга и другого возраста. Солидные, семейные, они изредка приезжали к нам из города отдохнуть и пообедать. В таких случаях обедали дольше, чем всегда, и нас, детей, кормили отдельно. По совести сказать, нам были не слишком по вкусу эти приезды. Ради гостей приходилось надевать праздничные костюмчики, в которых нельзя было забираться под кровать, если туда закатывался мяч, или прятаться за большим сундуком в передней. Правда, гости привозили из города конфеты, а иной раз игрушки, но зато без конца приставали к нам с вопросами: сколько нам лет, деремся ли мы друг с другом и кого больше любим — папу или маму.

Уклоняясь от таких никому не интересных разговоров, мы выбегали во двор и любовались лошадьми, которые ожидали у крыльца. Засунув морды до самых глаз в торбы с овсом, они мигали длинными бесцветными ресницами и помахивали хвостами, а мы наперебой расспрашивали кучеров, смирные ли у них лошади или горячие и можно ли покормить их с ладони хлебом.

Каждую лошадь мы сравнивали с нашим Ворончиком, и он всегда оказывался лучше всех.

Это был молодой, норовистый конь, которого хозяин завода предоставил в распоряжение отца, так как жили мы далеко от города.

Ворончиком назвали его, вероятно, потому, что шерсть у него была черная и лоснистая как вороново крыло, но для меня эта кличка была больше связана с именем города. Ворончик — воронежский конь.

Когда отцу надо было съездить в город, Ворончика запрягали в легкие, узкие дрожки. Правил отец сам. Я и мой брат, который был на два года старше меня, не упускали случая полюбоваться рослым, статным огнеглазым Ворончиком, когда он легко и весело выносил дрожки из распахнутых ворот. А как гордились мы

отцом, который спокойно и уверенно держал в вожжах непокорного, резвого коня.

Я был еще очень мал в это время — и поэтому Ворончик навсегда остался у меня в памяти каким-то сказочным конем-великаном. Он был очень страшен, когда закидывал голову или подымался на дыбы, пытаясь освободиться от стеснявшей его упряжи.

Видно было, что и хозяйский кучер не на шутку побаивался Ворончика. Уж очень осторожно оглаживал он его, ласково приговаривая: «Ну, не шали, не шали, малый!»

Но «малый» был не прочь пошалить. Однажды он чуть не разнес в щепки сани, в которых ехали хозяин и кучер. После этого мать каждый раз с тревогой ожидала возвращения отца из города, особенно в те дни, когда он задерживался там дольше обычного.

Мы, дети, в городе бывали редко. Помню только две поездки. Первый раз, когда я еще и говорить как следует не умел, мы ездили смотреть на человека, который ходил над площадью по канату. В другой раз нас повезли в городской сад, где в круглой беседке играли военные музыканты.

У меня дух захватило, когда я впервые услышал медные и серебряные голоса оркестра. Весь мир преобразился от этих мерных и властных звуков, которые вылетали из блестящих, широкогорлых, витых и гнутых труб. Ноги мои не стояли на месте, руки рубили воздух.

Мне казалось, что эта музыка никогда не оборвется... Но вдруг оркестр умолк, и сад опять наполнился обычным, будничным шумом. Все вокруг потускнело — будто солнце зашло за облака. Не помня себя от волнения, я взбежал по ступенькам беседки и крикнул громко — на весь городской сад:

— Музыка, играй!

Солдаты, продувавшие свои трубы, разом обернулись в мою сторону. А человек, стоявший перед маленьким столиком, прикрепленным к подставке, постучал по краю столика тоненькой палочкой и что-то сказал музыкантам.

Оркестр заиграл еще веселее. Снова солнце выглянуло из-за тучи.

После этого памятного дня я долго упрашивал мать повезти нас еще раз в городской сад.

Но в город повезли не меня, а старшего брата. И не в городской сад, а в больницу. Брат заболел скарлатиной.

До того мы с ним почти всегда болели вместе, и это нам даже нравилось. Мы переговаривались друг с другом или играли в какую-нибудь игру, лежа, сидя, а иногда и стоя в кроватках. Лечить нас приезжал из города щеголеватый военный доктор, фамилия которого была Чириковéр.

Я любовался его блестящей формой, его военной выправкой.

Самая фамилия доктора казалась мне звонкой, боевой. «Чириковер» — в этих звуках слышалось треньканье шпор, как и в нарядном слове «офицер».

К словам — даже к именам и фамилиям — дети относятся гораздо серьезнее и доверчивее, чем взрослые. В любом сочетании звуков они предполагают какую-то закономерность. Слова для них неотделимы от значения, а значение — от образа.

Но брата лечили в городе какие-то неизвестные мне доктора без фамилий — и потому я никак не мог представить их себе.

Мать осталась с братом в городе на все время его болезни.

Помню нашу опустевшую квартиру. Отец работает в небольшой комнате за письменным столом у окна, а я, притаившись в углу, перебираю какие-то вещички — чурки, гвоздики, винтики, пустые коробочки.

Вот этот гвоздик лучше всех — он еще совсем новенький, блестящий, с широкой шляпкой, похожей на солдатскую фуражку. Как он, должно быть, понравится брату! Если играть в войну, такой замечательный гвоздик может быть у нас самым храбрым солдатом или даже офицером.

Отец слышит мое бормотание, оборачивается и спрашивает, что я делаю. Узнав, что я собираю игрушки к приезду брата, он хвалит меня — ласково и щедро, как умеет хвалить только отец.

После этого я и в самом деле чувствую себя «хорошим мальчиком» и уже ничего не жалею для брата. Я готов отдать ему все свои игрушки — даже граненое цветное стеклышко, даже тяжелую, широкую подкову, которую нашел за воротами.

Признаться, я очень редко бывал «хорошим мальчиком». То ввязывался на дворе в драку, то уходил без спросу в гости, то разбивал абажур от лампы или банку с вареньем. В раннем детстве я не ходил, а только бегал — да так стремительно, что все хрупкие, бьющиеся вещи как будто сами подворачивались мне под руки и под ноги. Был у меня на совести еще один грех: часто, потихоньку от матери, я убегал обедать к рабочим, которые угощали меня серой квашеной капустой и солониной «с душком», заготовленной на зиму хозяевами.

Впрочем, наведывался я к ним не только ради этого лакомого и запретного угощения. Мне нравилось бывать среди взрослых мужчин, которые на досуге спокойно крутили цигарки, изредка перекидываясь двумя-тремя не всегда мне понятными словами. Помню одного из них — огромного, чернобородого, с густыми сросшимися бровями и серебряной серьгой в ухе. Он мне «показывал Москву» — сажал к себе на ладонь и поднимал чуть ли не до самого потолка. Говорил этот великан хриплым басом, заглушая все другие голоса, и каждое его словцо вызывало взрыв дружного хохота.

Я был слишком мал, чтобы разобрать, о чем шла речь, но хохотал вместе со всеми.

С такой же готовностью делил я с ними и обед. Они похваливали меня, говорили, что я «енарал Бородин — на всю губернию один», а я уплетал солонину, виновато поглядывая на дверь,— не застигнет ли меня на месте преступления кто-нибудь из моих домашних.

Почему-то я думал в то время, что человеческая душа находится где-то в животе и похожа на маленькую муфту. Сначала душа у всех золотая, а потом понемногу чернеет от грехов.

И я был глубоко убежден, что у старшего моего брата нет на душе ни единого пятнышка, а моя душа-муфта давно уж черным-черна от всего, что я натворил на своем веку...

Впрочем, тогда я еще редко отчитывался перед своей совестью.

Как ни напрягаешь память, добраться до истоков жизни, до раннего детства почти невозможно.

Два-три эпизода, отдельные минуты, выхваченные из мрака,— вот и все, что остается от прожитых нами первых лет.

Отчего же мы так плохо помним свои младенческие годы? Оттого ли, что они были очень давно и заслонены последующими десятилетиями? Но ведь обычно память прочнее удерживает впечатления далекого прошлого, чем отпечатки наших недавних, но уже поздних дней.

А может быть, мы не помним своих первых лет просто потому, что были в эти годы слишком глупы, ничего не видели, не замечали, не понимали?

Нет, всякий, кому приходилось наблюдать ребят двух-трех лет,— я уж и не говорю о четырехлетних,— знает, как они приметливы, сообразительны, догадливы, сколько у них сложных чувств и переживаний.

В сущности, в первые годы детства человек проходит самый трудный из своих университетов. Школьники изучают языки несколько лет, но редко овладевают хотя бы одним из них ко времени окончания школы. А ребенок усваивает всю речевую премудрость — по крайней мере настолько, чтобы довольно бегло и правильно говорить,— к двум годам. Он изучает язык без посредства другого — знакомого — языка, а наряду с этим приобретает множество самых важных и существенных сведений о мире: узнает на опыте, что такое острое и что такое горячее, твердое и мягкое, высокое и низкое. Но всего, что входит в сознание ребенка за эти первые годы, не перечислишь. Жизнь его полна открытий. Самые заурядные случаи и происшествия повседневной жизни кажутся ему событиями огромной важности.

Так почему же все-таки эти события, глубоко поразившие двухлетнего-трехлетнего человека, только редко и случайно удерживаются в его памяти?

Я думаю, это происходит оттого, что ребенок отдается всем своим впечатлениям и переживаниям непосредственно, без оглядки, то есть без той сложной системы зеркал, которая возникает у него в сознании в более позднем возрасте. Не видя себя со стороны, целиком поглощенный потоком событий и впечатлений, он не запоминает себя, как «не помнит себя» человек в состоянии запальчивости или головокружительного увлечения.

Вот почему, должно быть, мое воронежское детство оставило у меня в памяти только очень немногое, только самое яркое и необычное: первую в жизни музыку, первую разлуку с братом, первый пожар, окрасивший багровым заревом завешенное на ночь окно.

Помню первого увиденного мною в жизни вора, молодого конторщика, который попался на заводе в какой-то мелкой краже. Его не арестовали, не отдали под суд, а только уличили и с позором прогнали с завода. Никогда не забуду, с каким интересом смотрел я издали на этого стриженого, рябоватого молодого человека, который, нахохлившись, сидел у стола в ожидании попутной лошади. В нем не было ничего особенного, но каким загадочным и необыкновенным сделало его в моих глазах страшное слово «в о р»... Вор! Мне казалось, что только у воров бывают такие помятые парусиновые штаны и куртки, такие крупные рябины на щеках, такие красные подбритые затылки.

Еще более ясно и четко припоминаю гостивших у нас на заводе хозяйских племянников — двух больших мальчиков в круглых шапочках с лентами, в белых блузах с откидными матросскими воротниками и якорями на рукавах. Впрочем, большими эти мальчики казались только мне и брату, а на самом деле старшему из них было, по словам моей матери, не больше одиннадцати-двенадцати лет, младшему — лет девять.

В одном из дальних закоулков заводского двора мы строили с ними настоящий завод, чтобы варить настоящее мыло. Раздобыли у рабочих все, что для этого требуется: несколько больших кусков белого, но не слишком свежего бараньего сала, от запаха которого у меня подступала к горлу тошнота, банку едкого щелока, немножко силиката. Оставалось только устроить топку и вмазать над ней в глину старый, ржавый котелок, который мы нашли на дворе среди груды железного хлама.

Гордые тем, что эти нарядные городские мальчики, несмотря на разницу лет, играют с нами, как с равными, мы трудились, не жалея сил.

А так как приезжие ребята боялись испачкать свои новенькие матроски, то всю черную, грязную работу они поручили мне с братом. Мы укладывали кирпичи, месили глину. Сначала нам это очень нравилось, но скоро мы оба устали и проголодались.

Вытирая рукавом лоб, брат робко и тихо сказал мальчикам, что дома у нас сейчас завтракают... Но старший из них, рыжий, с веснушками на носу, возмутился: «Подумаешь — завтракают!.. Да как же это можно бросать дело на середине? Если так, то уж лучше было бы и не начинать совсем!»

Когда топка была наконец готова, мальчики велели нам набрать щепок и хворосту и попробовали развести огонь. Но сколько мы ни старались, как ни дули в топку, присев перед ней на корточки, огонь не разгорался. Рыжий послал моего брата на завод за керосином, а мне велел раздобыть еще растопки.

За собой он оставил только самое приятное дело: зажигать спички, которых у него было более чем достаточно — целых два коробка!

Наконец из топки клубами повалил черный дым, щепки и хворост затрещали.

Мы думали, что уж теперь-то мальчики отпустят нас домой. Но рыжий только руками замахал.

— Вон чего выдумали! Пока огонь горит, самое время варить мыло. Маленькие вы, что ли? Такого простого дела не понимаете? А еще заводские!..

Нам стало совестно, и мы снова взялись за работу. Вывалили из мешка в котел сало, вылили из жестянки щелок и присели отдохнуть. Рабочие-то ведь тоже отдыхают. Цигарки сворачивают, курят...

— Помешивать, помешивать надо, а то пригорит! — не переставая, подгонял нас рыжий.

Но тут огонь опять погас. Пришлось снова дуть, подкладывать растопку, поливать щепки керосином.

Я поглядел на брата и ужаснулся. Он был весь — с головы до ног — в глине и копоти. Даже на ресницах у него была глина. За версту от него несло керосином и отвратительным до тошноты, протухшим бараньим салом.

Верно, я тоже был хорош в эту минуту, но себя я не видел и только чувствовал, что от усталости у меня подгибаются коленки, а от дыма болят и слезятся глаза.

У нас уже не было никакой охоты варить мыло,— так осточертела нам эта игра. Но все-таки мы продолжали работать без передышки и даже больше не заговаривали о том, что нас ждут дома к завтраку. Да уж какой там завтрак! Мы пропустили и обед. Наверно, домашние беспокоятся о нас, ищут на заводе и по всему двору.

Где-то вдали прогрохотал гром. Приближалась гроза, а мы все еще возились с топкой.

Не то чтобы мы очень боялись приезжих мальчишек в матросских костюмчиках. Силой они не могли бы удержать нас на работе. Но обоих нас как бы приковали к месту слова рыжего о том, что нельзя же бросать работу на середине, что если так, то уж лучше было бы и не начинать.

Я едва удерживался от слез. У брата тоже кривился рот. Но плакать на глазах у этих больших мальчиков было бы слишком позорно.

И все же мы дали волю слезам, когда нас наконец разыскала мама. Мы бросились к ней с громким ревом, но она в ужасе отшатнулась от нас.

— Что это вы делали? — спросила она.

— Завод строили, а потом варили...

— Варили?.. Что варили?

— Мы-ы-ыло!

— Но как можно было так измазаться? Ведь вот мальчики тоже играли с вами, а почти совсем не выпачкались...

Ни я, ни брат ничего не ответили маме. Мы плакали навзрыд не то от обиды, не то от радости, что наконец-то нас освободили из плена.

Мне шел в это время пятый год, брату седьмой, но нам на всю жизнь запомнился день, когда мы варили мыло.

А еще — где-то в самой глубине памяти — осталась у меня первая дальняя поездка на лошадях.

Гулкие, размеренные удары копыт по длинному-длинному деревянному мосту.

Мама говорит, что под нами река Дон.

«Дон, дон», — звонко стучат копыта. Мы едем гостить в деревню. Въезжаем на крестьянский двор, когда тонкий серп месяца уже высоко стоит в светлом вечереющем небе. Смутно помню запах сена, горьковатого дыма и кислого хлеба. Сонного, меня снимают с телеги, треплют, целуют и поят топленым молоком с коричневой пенкой из широкой глиняной крынки, шершавой снаружи и блестящей внутри...

СТАРЫЙ ДОМ В СТАРОМ ГОРОДЕ

Не знаю, что побудило отца покинуть завод братьев Михайловых и Воронеж. Но только помню, что с тех пор началась у нас полоса неудач и непрерывных скитаний.

Почти полгода после отъезда нашего из Воронежа прожили мы у дедушки и бабушки в городе Витебске. Приехали мы туда вчетвером: мама, я, брат и маленькая сестренка, только что на-

учившаяся говорить и ходить. Отца с нами не было — он странствовал где-то в поисках работы.

Я был слишком мал, чтобы по-настоящему заметить разницу между Воронежем, где я родился и провел первые свои годы, и этим еще незнакомым городом, в котором жили мамины родители. Но все-таки с первых же дней я почувствовал, что все здесь какое-то другое, особенное: больше старых домов, много узких, кривых, горбатых улиц и совсем тесных переулков. Кое-где высятся старинные башни и церкви. В каждом закоулке ютятся жалкие лавчонки и убогие, полутемные мастерские жестяников, лудильщиков, портных, сапожников, шорников. И всюду слышится торопливая и в то же время певучая еврейская речь, которой на воронежских улицах мы почти никогда не слыхали.

Даже с лошадью старик извозчик, который вез нас с вокзала, разговаривал по-еврейски, и, что удивило меня больше всего, она отлично понимала его, хоть это была самая обыкновенная лошадь, сивая, с хвостом, завязанным в узел.

Месяцы, прожитые у дедушки и бабушки, я припоминаю с трудом. Города и городишки, где нам пришлось побывать после Витебска, почти совсем вытеснили из моей памяти тихий дедушкин дом, который мы, ребята, с первого же дня наполнили оглушительным шумом и суетой, как ни старалась мама урезонить и утихомирить нас. Труднее всего было ей справиться со мной. Я так привык к простору нашей воронежской полупустой квартиры, что и здесь, в этих небольших, загроможденных тяжеловесной мебелью и старинными книгами комнатах, пробовал разбежаться во всю прыть, налетая при этом на кресла, этажерки и тумбочки или вскакивая со всего разгона на старый диван, который покорно подбрасывал меня, хоть и стонал подо мной всеми своими дряхлыми пружинами.

Моя бесшабашная удаль приводила маму в отчаяние — особенно по утрам, когда дедушка молился или читал свои большие, толстые, в кожаных переплетах книги, и в послеобеденные часы, когда старики ложились отдыхать. Потревожить дедушку было не так уж страшно: за все время нашего пребывания в Витебске никто из нас не слышал от него ни одного резкого, неласкового слова. А вот сурового окрика нашей властной и вспыльчивой бабушки я не на шутку побаивался. Она горячо любила своих внуков, но свободно и легко чувствовали мы себя только тогда, когда она куда-нибудь уходила и в комнатах не слышно было ее хозяйски-ворчливого говорка и позвякивания ключей, с которыми она почти никогда не расставалась.

Наш приезд заставил потесниться всех обитателей старого дома, где выросла наша мать. Братья и сестра, которые были старше ее, давно уже покинули родительский кров и успели обзавестись собственными семьями. Младшие же пока оставались

дома. Их было трое: двое моих дядюшек, еще не вышедших из юношеского возраста, и тетка, учившаяся в то время в гимназии. Мы запросто называли их всех по именам, без добавления почтительного слова «дядя» или «тетя». Да они и сами бы удивились, если бы кто-нибудь вздумал их так величать.

Дядюшки мои готовились к каким-то экзаменам, но особенного рвения к наукам не проявляли. Зато у старшего из них — красивого, сильного юноши с голубыми глазами, мягким голосом и мягкими усиками — было множество разнообразных способностей и увлечений: он мастерил замечательные шкатулки, выпиливал рамки для портретов, играл на трубе и — что поражало меня больше всего — умел никелировать самовары. На моих глазах красный медный самовар становился зеркально-серебряным, и это казалось мне не меньшим чудом, чем сказочное превращение лягушки в принцессу или частого гребешка в лесную чащу.

Я считал своего дядюшку настоящим волшебником, но скоро убедился, что бывают случаи, когда и ему не под силу сотворить чудо.

В дедушкином доме была одна комната, не слишком большая, которая торжественно именовалась «гостиной». Она была тесно уставлена уже порядком поблекшей и потертой плюшевой мебелью. Но главным ее украшением были два совершенно одинаковых узких зеркала, почти доходивших до потолка. Привязанные к железным крюкам в стене веревками, они были слегка наклонены вперед, и от этого отраженная в них комната со всей мебелью как бы уходила куда-то вверх. Мне это очень нравилось: опрокинутая в зеркало гостиная казалась гораздо красивее и таинственнее.

Но скоро я придумал, как сделать, чтобы отражение стало еще интереснее.

У каждого зеркала был подзеркальник — полочка из черного дерева вроде столика — с выгнутыми резными подпорками, которые старый столяр, чинивший дедушкину мебель, называл «кронштейнами».

Однажды, когда никого не было в комнате, я ухватился за эти подпорки обеими руками и стал раскачивать зеркало, то прижимая его вплотную к стене, то откидываясь вместе с ним на всю длину веревки.

Оказалось, что на зеркале можно отлично качаться, как на качелях. Да нет, куда занятнее, чем на качелях! Вы раскачиваетесь все быстрее и быстрее, а перед вашими глазами мелькают в зеркале самые разнообразные вещи: висячая лампа со всеми своими блестящими подвесками, кресла, стол с лиловой плюшевой скатертью, бисерная подушка на диване, портрет какого-то старика в раме под стеклом на противоположной стене.

И вдруг все это понеслось куда-то кувырком. Я лечу вместе

с зеркалом и слышу, как оно грохается об пол и рассыпается вдребезги. Подзеркальник тяжело стукается над самой моей головой. В сущности, этот узкий столик, который мог размозжить мне голову, спас меня, мое лицо и глаза от града осколков.

Прикрытый рамой разбитого зеркала, я тихо лежу, боясь пошевелиться, и тут только понемногу начинаю соображать, что́ я натворил. Если бы я обрушил на землю весь небесный свод с его светилами, я не чувствовал бы себя более несчастным и виноватым.

Вбежавшие в комнату родные — мама, бабушка, дедушка — не сразу обнаружили меня. Когда же они поняли, что я лежу среди груды осколков под тяжелой рамой разбитого зеркала — и при этом лежу совершенно неподвижно, молча, не плачу, не зову на помощь,— они так и замерли от ужаса. Медленно и осторожно приподняли раму и все втроем наклонились надо мной.

— Жив! — сказала мама и заплакала. Она подхватила меня на руки и принялась ощупывать с ног до головы.

И тут оказалось, что я цел и невредим, если не считать нескольких царапин от мелких осколков.

Все до того обрадовались, что не только не стали бранить меня, а бросились обнимать, целовать, расспрашивать, не ушибся ли я и не очень ли испугался.

Никому и в голову не пришло наказать меня за мое преступление. А мне, пожалуй, было бы даже легче, если бы я за него как-нибудь поплатился. С грустью смотрел я на осиротевшее второе зеркало, оставшееся таким одиноким в своем простенке.

В глубине души я еще лелеял надежду, что мой дядя, который так ловко превращает медные самовары в серебряные, как-нибудь соберет и склеит все осколки, а потом ловко покроет их своим самоварным серебром.

Но оказалось, что даже и его ловкие руки тут ничего не могут поделать. Правда, он смастерил из самых крупных осколков несколько маленьких зеркал в рамках и без рамок, но все они вместе не могли заменить то большое, которое я разбил.

Так и осталось навсегда в доме у дедушки и бабушки вместо двух парных зеркал одно, как у инвалида остается одна рука или одна нога.

И, вероятно, заходя в свою маленькую гостиную и глядя на это уцелевшее зеркало, старики не раз вспоминали шального, непоседливого внука.

Несколько дней в доме только и было разговору, что о гибели зеркала и о моем чудесном спасении. Потом об этом происшествии перестали говорить. Однако с той поры не только я, но и

мама и брат ясно почувствовали, что мы слишком загостились у дедушки и бабушки. Прямо нам этого никто не говорил, но бабушка все чаще и чаще заводила с мамой разговор о том, что наш папа не умеет устраиваться, что он строит воздушные замки и мало думает о семье. Я видел, что маму такие разговоры огорчают, и очень сердился на бабушку.

Мне было непонятно, какие такие воздушные замки строит папа, и очень хотелось увидеть хотя бы один из этих воздушных замков. И все же я чувствовал, что в словах бабушки есть что-то обидное для нашего папы. Почему она говорит, что он мало думает о нас? Ведь мама часто получает от него очень толстые письма, в которых он заботливо и нежно расспрашивает о каждом из нас — о брате, обо мне и даже о нашей сестренке, хотя что интересного можно рассказать о ней, когда она еще такая маленькая!

Обычно эти досадные разговоры прерывал дедушка. Он был не охотник до споров и ссор, не хотел перечить бабушке и поэтому, желая утешить маму, только ласково трепал ее по щеке, как маленькую, и примирительно повторял:

— Ну, ну душенька... Все будет хорошо... Все будет хорошо!

Но тянулись неделя за неделей, месяц за месяцем, а папа так и не приезжал за нами, не вызывал нас к себе и, должно быть, все еще строил свои воздушные замки,— уж не знаю, сколько он их там успел настроить. Наверно, целую тысячу!

Видно было, что нам долго еще придется прожить в Витебске. И вот дедушка, бабушка и мама решили, что больше нельзя терять время зря и пора усадить моего старшего брата за книги. Еще до приезда в Витебск он умел довольно бегло читать и отчетливо выводил буквы. Давать ему уроки вызвалась теперь наша тетушка-гимназистка. Это было для нее совсем не трудно: ученик относился к делу, пожалуй, с большей серьезностью и усердием, чем его молодая и веселая учительница, которая сразу же прерывала урок, если к ней приходили подруги, или кончала его раньше времени, чтобы примерить новое платье.

Так как во время уроков я постоянно вертелся около стола и не на шутку мешал занятиям, тетушка решила усадить за букварь и меня. И тут вдруг обнаружилось, что я не только знаю буквы, но даже довольно порядочно читаю по складам. Не помню сам, когда и как я этому научился. Младшие братья и сестры часто незаметно для себя и других перенимают у старших начала школьной премудрости.

Когда наши занятия понемножку наладились, дедушка осторожно предложил добавить к ним еще один предмет — древнееврейский язык. Мама опасалась, что нам это будет не по силам, но дед успокоил ее, пообещав найти такого учителя, который

будет с нами терпелив, ласков и не станет задавать на урок слишком много.

И в самом деле новый учитель оказался добрее даже нашей учительницы-тетки. Та могла, рассердившись, стукнуть своим маленьким кулачком по столу или, блеснув серыми, потемневшими от минутного гнева глазами, сдвинуть над переносицей темные пушистые брови.

А этот, видно, и совсем не умел сердиться. Через день приходил он к нам на урок, худой, узкоплечий, с черной курчаво-клочковатой бородкой. Он долго вытирал у входа ноги в побелевших от долгой службы башмаках, ставил в угол палку с загнутой в виде большого крюка ручкой и, покашливая в кулак, шел вслед за нами в комнаты.

Бабушка, которая ценила в жизни успех и удачу, относилась к нему довольно небрежно. Зато дед встречал его приветливо и уважительно, подробно расспрашивал о здоровье и предлагал закусить с дороги. Но учитель всегда решительно и даже как-то испуганно отказывался, повторяя при этом, что он только что сытно позавтракал.

И правда, мы с братом не раз видели, как завтракает наш учитель. Прежде чем войти в дом, он усаживался на лавочке возле наших ворот и, развязав красный, в крупную горошину платок, доставал оттуда ломоть черного хлеба, одну-две луковицы, иногда огурец и всегда горсточку соли в чистой тряпочке.

Не знаю почему, мне было очень грустно смотреть, как он сидит один у наших ворот и, высоко подняв свои костлявые плечи, задумчиво жует хлеб с луком.

В порыве внезапной нежности я встречал его на самом пороге, рассказывал ему все наши новости и даже пытался, хоть и безуспешно, повесить на крюк его старое и почему-то очень тяжелое пальто.

Он ласково гладил меня по голове, и мы шли учиться. Но должен сознаться, что, несмотря на всю свою нежность к нему, уроков я никогда не учил и даже не пытался придумать сколько-нибудь убедительное оправдание для своей лени.

Я попросту рассказывал ему, что готовить уроки мне было некогда: сначала надо было завтракать, потом гулять, потом обедать, потом к бабушке пришли гости и мы все пили чай с вареньем, а потом нас позвали ужинать, а после ужина послали спать...

Слегка прикрыв глаза веками и посмеиваясь в бороду, он терпеливо выслушивал меня и говорил:

— Ну хорошо, хорошо. Давай будем готовить уроки вместе, пока тебя опять не позвали пить чай с вареньем. Ну, прочитай это слово. Верно! А это? Хорошо! Ну, а теперь оба слова вместе... Совсем даже хорошо. Умница!

И он щедро ставил мне пятерку, а то и пятерку с плюсом.

На прощанье учитель задавал к следующему разу новый урок, должно быть уже и не надеясь, что я что-нибудь приготовлю.

И он был прав.

Я не слишком отчетливо запомнил то, что мы с ним проходили, хотя учился у него на круглые пятерки. Зато сам он запечатлелся в моей памяти неизгладимо — весь целиком, со всей своей бедностью, терпением и добротой.

Даже странная фамилия его запомнилась мне на всю жизнь. Тысячи фамилий успел я с той поры узнать и позабыть, а эту помню.

Звали его Халамейзер.

И вот наконец мы дождались приезда отца. Так и не устроившись по-настоящему, он забрал нас с собой, и мы начали кочевать вместе. Переезжали из города в город, прожили год с чем-то в Покрове, Владимирской губернии, около года в Бахмуте — ныне Артемовске — и, наконец, снова обосновались в Воронежской губернии, в городе Острогожске, в пригородной слободе, которая называлась Майданом, на заводе Афанасия Ивановича Рязанцева.

Как ни различны были великорусские и украинские города, в которых довелось побывать нашей семье,— окраины этих городов, предместья, пригороды, слободки, где ютилась мастеровщина, были всюду почти одинаковы. Те же широкие, немощеные улицы, густая белая пыль в летние месяцы, непролазная грязь осенью, сугробы до самых окон зимою.

И квартиры наши в любом из таких пригородов были похожи одна на другую: просторные, полупустые, с некрашеными полами и голыми стенами.

Впрочем, мы, ребята, мало обращали внимания на квартиру, где нам приходилось жить. Целые дни мы проводили на дворе, а в комнаты возвращались только к вечеру, когда уже закрывали ставни и зажигали свет.

Почти все детство мое прошло при свете керосиновой лампы — маленькой жестяной, которую обычно вешали на стенку, или большой фарфоровой, сидевшей в бронзовом гнезде, подвешенном цепями к потолку. Лампы чуть слышно мурлыкали. А за окном мигали тусклые фонари. На окраинных улицах их ставили так далеко один от другого, что пешеход, возвращавшийся поздней ночью домой, мог свалиться по дороге от фонаря к фонарю в канаву или стать жертвой ночного грабителя. Фонарям у нас не везло. Мальчишки немилосердно били стекла, а взрослые парни состязались в силе и удали, выворачивая фонарные столбы с комлем из земли. Где-то в столицах уже успели завести, как расска-

зывали приезжие, газовое и даже электрическое освещение, а в деревнях еще можно было увидеть и лучину.

Это были времена на стыке минувшего и нынешнего века. Прошлое еще жило полной жизнью и как будто не собиралось уступать место новому. Не только старики, но и пожилые люди помнили ту пору, когда они были «господскими». На скамейке у ворот богадельни сидели севастопольские ветераны, увешанные серебряными и бронзовыми медалями, а по городу ходили, постукивая деревяшками, участники боев под Шипкой и Плевной.

Но понемногу, год от году, все гуще становилась паутина железных дорог. Узкие стальные полосы, проходя через леса, болота и степи, сшивали, связывали между собой дальние края и города. От этого менялось представление о пространстве и времени.

Правда, в наших краях железная дорога все еще казалась новинкой. Поезд называли тогда машиной, как теперь называют автомобиль, и о нем пели частушки:

Д'эх, машина-пассажирка,
Куда милку утащила?
Утащила верст за двести.
Мое сердце не на месте.
Эх, машина с красным флаком.
Как прощались, милой плакал...

Много разговоров было в то время о крушениях на железной дороге, и жители наших мест с опаской доверяли свою судьбу поездам. Недаром на станциях, расположенных обычно вдали от городов, люди провожали отъезжающих, как провожают солдат на войну,— с плачем, с причитаниями.

Самые усовершенствованные новейшие электровозы никого теперь не удивляют. А как поражали нас, тогдашних ребят, впервые увиденные нами паровозы — черные, закопченные, с высокой трубой и огромными колесами. Они вылетали из-за поворота дороги, как сущие дьяволы, сея искры, оглушая людей пронзительным шипением пара из-под колес, бодро и мерно размахивая шатунами. А вагоны — зеленые, желтые, синие,— постукивая на ходу, манили нас в неизвестные края бессчетными окнами, из которых глядели незнакомые и такие разные, не похожие один на другого, проезжие люди.

Не только поезд, но даже и случайно найденный проездной билет сохранял для нас, мальчишек, все обаяние железной дороги, ее мощи, скорости, деловитости, ее строгого уклада. Зеленые, желтые, синие билеты, плотные и аккуратно обрубленные, напоминали нам своей формой и цветом вагоны — третьего, второго и первого класса. Мы знали, что билеты эти уже использованы и не имеют никакой силы, но цифры, пробитые в них кондуктор-

скими щипцами, только увеличивали для нас их ценность. Бережно хранили мы каждый билет, на котором черными, четкими буковками были обозначены названия станций:

Острогожск — Лиски
Воронеж — Графская
Харьков — Москва

И почему-то все эти города казались нам куда интереснее и привлекательнее нашего, хоть и наш уездный город представлялся мне чуть ли не столицей по сравнению с пригородной слободой, где не было ни одного двухэтажного дома, если не считать заводских построек.

А заводы в те времена были так неуютны и мрачны, что мне иной раз бывало до боли жаль отца, когда в утренних сумерках он торопливо надевал свое будничное, старое, порыжевшее пальто и отправлялся на работу — в копоть и грязь, в жар и сырость, в лязг и грохот завода.

НА МАЙДАНЕ

Первое знакомство с новыми местами всегда было для нас, ребят, праздником. Еще не отдохнув с дороги, мы живо обега́ли свои новые владения, открывая то полуразрушенный завод, который может служить нам крепостью, то овраг в конце двора, то большой, кипящий своей сокровенной жизнью муравейник за сараем.

Такую радость открытия испытали мы и на этот раз, приехав в Острогожскую пригородную слободу.

У самого дома начинались луга и рощи. На большом и пустынном дворе было несколько нежилых и запущенных служебных построек с шаткими лестницами и перебитыми стеклами. Из окон верхних этажей с шумом вылетали птицы. Все это было так интересно, так загадочно.

А в конце двора прямо на земле лежали полосатые зеленочерные арбузы и длинные, желтые, покрытые сетчатым узором дыни.

В первый раз увидел я их не на прилавке и не на возу, а на земле. Должно быть, здесь их так много, что девать некуда. Потому-то они и разбросаны у нас по двору.

Я попробовал взять обеими руками самый крупный и тяжелый арбуз, но оказалось, что он крепко держится за землю.

— Мама! — крикнул я во все горло.— Смотри, арбузы валяются!

Но мама не обрадовалась.

— Не трогай,— сказала она,— это чужие!

— Да ведь двор-то теперь наш!

— Двор наш, а дыни и арбузы не наши.

В тот же день за воротами меня и брата окружила целая орава мальчишек, которые сразу же принялись нас дразнить.

— Где вы живете? — спросил я одного из них.

— Где живете? У черта на болоте! — ответил косоглазый мальчишка и показал мне язык. Другие засмеялись.

— А есть у вас альчики? — спросил косоглазый.

— Что такое альчики?

— Ну, лодыжки.

— А что такое лодыжки?

Косоглазый рассердился и плюнул.

— Вот чумовой! Ну бабки!

— Нет,— сказал я.— Мы в бабки не играем.

— А хочешь кобца? — спросил другой мальчишка, широкоплечий и скуластый.

Мне было совестно признаться, что я и этого слова не знаю. Я подумал немного, а потом сказал тихо и нерешительно:

— Хочу.

— Ну, коли хочешь, так получай!

И мальчишка проехался по моей голове суставом большого пальца.

Я закричал от боли. Брат вступился было за меня, но его схватили и для острастки насыпали ему за шиворот несколько горстей земли.

После этого первого знакомства с улицей мы долго не выходили за ворота без старших и водили знакомство только со взрослым парнем — слепым горбуном, который жил по соседству с нами.

Горбун был степенный, серьезный и очень добрый малый. Буйная и озорная молодежь соседних дворов не принимала его в компанию, да и сам он чуждался своих ровесников и проводил целые дни совсем один.

Это был первый слепой, которого я встретил на своем веку.

Помню, после знакомства с ним я крепко-накрепко зажмурил глаза, чтобы представить себе, как должны чувствовать себя слепые и что́ стоит перед их невидящими глазами.

Долго держать глаза закрытыми я не мог — это было очень, очень страшно!

Но отчего же наш слепой так спокоен, добродушен и приветлив? Чему улыбается он, сидя в ясную погоду на скамейке у своей хаты?

Об этом я часто думал в постели перед сном, перебирая в памяти все, что прошло передо мной за день.

Дома у нас во всех комнатах тушили на ночь свет. Однако я никогда не боялся темноты. В семье нашей я считался бес-

страшным малым, удальцом. И, если порой мне в душу закрадывался страх, я никому об этом не говорил.

Но вот однажды мне случилось проснуться в самую глухую пору осенней безлунной ночи, когда, как говорится, «хоть глаз выколи». Тут я сразу вспомнил слепого и с невольным страхом подумал: «А что, если я тоже ослеп?» Сердце у меня похолодело.

Повернувшись лицом в сторону, где было окно, я стал пристально и напряженно вглядываться, надеясь увидеть в щели между ставнями хоть слабый просвет или, по крайней мере, не такую уж черную тьму. Нет, куда бы я ни поворачивался, всюду стояла та же густая чернота, в которой глаза становились бессильными и ненужными.

Что же делать? Ждать рассвета? Но когда еще он наступит! Стенные часы в соседней комнате только что мягко и глухо пробили один раз. Либо это час ночи, либо половина какого-то другого часа. Может быть, ночь только начинается? У меня не было ни малейшего представления, в котором часу я заснул и сколько времени проспал... Нет, невозможно ждать так долго!

Ах, как было бы хорошо, если бы удалось разыскать спички, хоть одну-единственную спичку и коробок! Все было бы так просто: чиркнул раз — и узнал бы, ослеп я или нет. Но пройти на кухню, не разбудив кого-нибудь из нашей большой семьи, было невозможно. Да и найдешь ли коробок спичек в полной тьме!

И все же я решился. Тихо ступая босыми ногами и стараясь ничего не задеть по пути, направился я к двери. Но там, где была дверь, оказалась глухая стена. Значит, я заблудился в своей же комнате? Я уже готов был вернуться в постель и как-нибудь потерпеть до утра, но и кровать не так-то просто было найти. Долго блуждал я по комнате, вытянув руки вперед, пока наконец не наткнулся на большой сундук, на котором спал старший брат.

— Что это? Кто это? — забормотал он спросонья.

— Это я, я!

Услышав мой тревожный шепот, брат спросил — тоже шепотом:

— Что ты бродишь? Почему не спишь?

Я сказал, что хочу пить, но не выдержал и тут же решил открыть ему страшную правду. Может быть, от этого мне станет хоть немножечко легче.

— Понимаешь, я, кажется, ослеп... Ничего не вижу!

— Совсем ничего?

— Ни-че-го!

— Ну, так знаешь, мы оба с тобой ослепли! Я тоже ничего не вижу.

И брат засмеялся.

Мне сделалось стыдно. Я сказал, что пошутил, и, найдя свою постель, юркнул с головой под одеяло.

От этого не стало ни светлей, ни темней, но зато тише, теплее, уютнее.

Счастливый тем, что беда миновала, я скоро уснул.

Днем никакие страхи не тревожили меня.

Каждое утро открывало передо мной необъятный день, в котором можно было найти место для чего угодно. Хочешь — носись по двору, пока ноги носят, хочешь — заберись на стропила под самую крышу заброшенного заводского строения и, сидя верхом на балке, распевай во все горло:

Ой, на го́ри
Та женци́ жнуть,
Ой, на го́ри
Та женци́ жнуть,
А по-пид горою
Яром-долиною
Козаки йдуть,
Козаки йдуть!

Голос твой гулко отдается во всех углах пустого здания, ему вторит эхо, и тебе кажется, что твою песню подхватывает целый полк, который на рысях движется за тобой, за своим храбрым командиром.

А то можно спуститься в глубокий овраг, искать клады, рыть пещеры.

Чего-чего не успеешь до обеда, если только тебя не пошлют в лавочку или в пекарню.

А впрочем, бегать в пекарню, зажав в кулаке гривенник,— тоже дело не скучное.

Пекарня у нас турецкая. Черноусый, белозубый пекарь, ловко перебросив с руки на руку огромный каравай с коричневым глянцевитым верхом, кроил его на прилавке широким, острым, как бритва, ножом, похожим на разбойничий.

Весело подмигнув своим карим — в мохнатых ресницах — глазом, он щедро прикидывал к весу лишнюю осьмушку и легким, почти незаметным движением скатывал мне на руки полкаравая с довеском.

И вот уже я иду назад, прижимая к животу теплую, мягкую краюху ситного, и с наслаждением жую пухлый довесок, полученный мною в знак дружбы от черноусого турка.

Но все эти радости разом исчезали, как только нас принима-

лась трепать лихорадка. Нам и в голову не приходило, что зеленые луговины и рощицы, в которых терялись улицы нашей окраины, веяли болотистым дыханием малярии.

Чуть ли не через день метались мы в жару и в ознобе на своих кроватках, а мать терпеливо переходила от одной постели к другой, укрывая нас чем придется — шалями, платками, пальтишками.

— Нет, надо поскорее бежать отсюда, надо перебраться в город, ведь на детях лица нет! — без конца повторяла мать, подавая ужин усталому после заводского дня отцу.

— Скоро, скоро! — отвечал отец, не отрывая глаз от объемистой — должно быть, скучной — книги без картинок, а только с буквами и цифрами.

— Да ты не слушаешь меня,— с горечью говорила мать.— «Скоро, скоро!» — а мы все на том же месте.

Отец смущенно и растерянно снимал очки и смотрел на мать кроткими, какими-то безоружными глазами.

— Ну потерпите еще немного,— говорил он, будто обращаясь сразу ко всей семье.— Еще полгода, ну, самое большее — год, и все у нас пойдет по-другому. Я тут кое-что начал — совершенно новое... И если только дело удастся, это будет...

Отец не успевал договорить.

Безнадежно махнув рукой, мать принималась собирать со стола тарелки. Мы видели по выражению ее лица, по усталому взмаху ее руки, что она давно уже не верит отцовским обещаниям и надеждам.

А мы верили. Без отцовских надежд жизнь у нас была бы во много раз беднее и бесцветнее. В худшие времена, которые переживала наша семья, мы не сомневались в том, что нас ждет самое счастливое, самое замечательное будущее. И оно уже тут, за порогом.

Мы с братом любили играть в это будущее.

Лежа в постели — один на кровати, другой на сундуке,— мы наперебой сочиняли длинную и необыкновенную историю.

Отцовские опыты, о которых ни я, ни брат не имели ни малейшего понятия, наконец удались. Приходит телеграмма. Отца вызывают в Петербург. Мы второпях укладываем вещи, зовем извозчика — нет, двух! — и катим на вокзал. Носильщики в белых фартуках, с большими бляхами на груди несут наш багаж. Вот мы уже заняли места в зеленом вагоне — родители и младшие дети на длинных скамьях, а мы с братом на коротких по обе стороны окошка. Первый звонок, второй, третий. Свисток, гудок...

Продолжение этой истории каждый из нас по-своему видел во сне.

Время показало, что отец был прав в своих надеждах и ожиданиях.

Его открытия и опыты не принесли нашей семье богатства, но через несколько лет в ее жизни и в самом деле произошли большие перемены.

Мне же судьба готовила такие неожиданные, почти сказочные приключения, каких я не видел и во сне.

Да и жизнь вокруг меня тоже не стояла на месте. Она держала курс на 1905, а потом на 1917 год.

Наш двор был как будто нарочно предназначен для мальчишеских игр. Два этажа покинутого и запущенного завода, обветшалое здание какого-то склада с шаткими площадками без перил и трясущимися от каждого шага лестницами, овраг в конце двора — все это как нельзя более подходило для непрерывной игры в войну, в индейцев, в пиратов, в рыцарей.

Но была у нас еще одна игра, которую выдумали мы сами — я и мой старший брат. Впрочем, брат к ней скоро охладел и даже подтрунивал надо мной, когда я упорно и увлеченно продолжал играть в нее один, без его участия.

В этой игре наш двор превращался в какую-то огромную, еще не до конца исследованную страну. Овраг был морем, заросли лопухов и бурьяна вставали непроходимыми лесами. А на всем пространстве двора были разбросаны деревни, сложенные из маленьких дощечек или щепочек, уездные городишки, построенные из мелких обломков кирпичей, и, наконец, большие города с рядами домов в четверть или даже в половину кирпича. На подготовку к игре, то есть на постройку всех этих бесчисленных деревень, городишек и городов, соединенных воображаемыми дорогами — проселочными, шоссейными и железными,— уходила добрая половина дня. И только тогда, когда вся страна становилась обитаемой, можно было спокойно приниматься за игру.

А суть ее заключалась в следующем. Где-то в одной из самых глухих деревушек, затерянных среди просторов нашего двора, рождался на свет мальчик, главный герой этой повести-игры. Он подрастал и отправлялся в первое свое путешествие — в ближайший уездный городок. Там он учился, а затем его ждали бесконечные странствия и приключения. Постепенно на его пути вставали все бóльшие и бóльшие города. В конце концов он попадал в столицу, о которой, по правде сказать, у меня у самого было в то время весьма смутное представление.

Судьба моего героя складывалась каждый раз по-иному. Он становился то путешественником, то великим полководцем,

то капитаном корабля, то знаменитым дрессировщиком львов, тигров, пантер, мустангов и орангутангов.

Но во всех этих разнообразных вариантах игры было и нечто общее. Преодолевая препятствия, герой выходил из дремучей глуши, из нужды и безвестности на широкую дорогу жизни.

Очевидно, мне и самому мерещился в это время где-то за тесными пределами нашей слободы — Майдана — еще неизвестный мир: большие города, полная приключений жизнь, в которой человек перестает чувствовать себя существом незаметным и затерянным.

Историю этого человека я придумывал целыми часами, сочинял молча, про себя, и все же не мог обойтись в своей игре без чего-то вещественного — без разбросанных по двору щепочек и кирпичей, без палки, которой я водил по земле, бродя от деревни до деревни, от города до города.

Подшучивая надо мной, брат грозил снять моего героя с конца палки, а иной раз даже делал вид, будто и в самом деле снимает его кончиками пальцев. И — как это ни странно — игра сразу теряла для меня всякую достоверность, и мне уж не к чему было водить по земле палкой, на которой больше не было моего воображаемого человечка...

В сущности, в ту пору я еще не знал никакого мира, кроме нашей слободской улицы да нескольких улиц уездного города, где, запрокидывая голову, я разбирал на вывесках непонятные мне слова: «Нотариальная контора», «Общество взаимного кредита» или «Коммерческие номера». (Кстати, по ошибке, я долго читал «ко́мера» и никак не мог понять, почему на этой вывеске слово «камера» пишется через «о» — «ко́мера».)

Впрочем, город в течение первых лет нашей жизни на Майдане был от нас за тридевять земель.

Жили мы в это время обособленно и одиноко. Матери было не до знакомых — так погружена она была в свои домашние заботы. Да и у нас, ребят, не сразу нашлись на слободке сверстники и товарищи.

Хоть семья наша подчас нуждалась в самом необходимом и обстановка нашей призаводской квартиры была более чем скромной — несколько венских стульев, столов, дешевых железных кроватей, самый простой буфет и ни одного кресла или дивана, ни одной картины на стенах в просторных и почти пустых комнатах,— все же босоногие ребята с нашей улицы относились к нам, как к барчукам.

Мы не играли ни в бабки, ни в карты, не занимались меной голубей. Да и одевались не так, как все.

Не подозревая, на какое глумление обрекает нас, мама сшила мне и брату по журнальной картинке пальтишки из материи кремового цвета с пелеринками. Много раз становилась она перед

нами во время примерки на колени, что-то подшивая и перешивая, то отрывая рукав, то снова приметывая его к плечу.

Наконец пальтишки были готовы. В первый же праздничный день мы вышли в них на улицу, отправляясь в город, и тут только с ужасом почувствовали, до чего мы смешны!

Косоглазый мальчишка из компании, игравшей у ворот в карты, подскочил к нам и, скривив в усмешке щеку, спросил:

— Чего это вы балахончики такие надели?

А другой, взлохмаченный, черный, с лицом, измазанным грязью,— будто он только что умылся землей,— дернул меня за пелеринку и заорал во все горло:

— Ну-ка, скидавай юбку! Я ее бабке нашей снесу!

— Это певчие, певчие из ихней церквы! — послышался чей-то голос.— А ну-ка спойте нам чего-нибудь, копеечку дадим!

Больше мы в этих пальтишках без сопровождения взрослых за ворота не выходили. Но прозвище «певчие» надолго осталось за нами.

Не мудрено, что в первую пору нашей слободской жизни мы почти все дни проводили у себя на дворе и на улицу выглядывали редко.

На дворе-то я и познакомился с первым моим приятелем — слепым горбуном Митрошкой. Ни он у меня, ни я у него никогда не бывали, а встречались мы у плетня, который отделял наш двор от соседнего. Плетень был невысокий — не то что деревянный забор со стороны улицы. Во время наших разговоров Митрошка пристраивался по одну сторону плетня, я — по другую. Мне было тогда лет семь-восемь, а ему не меньше восемнадцати, но мы были почти одного роста. Может быть, потому-то я и считал его своим сверстником и вел с ним долгие душевные беседы обо всем на свете — о мальчишках, которые обижали его и меня, о том, что люди должны обращаться друг с другом по-доброму, по-хорошему и что, может быть, когда-нибудь так оно и будет... Говорили о разных странах, о боге, о земле, о звездах, о хвостатой комете, про которую тогда было так много толков.

— Как ты думаешь, что будет с землей, если она столкнется с кометой?..— спрашивал я.

— Даст бог, цела останется,— говорил горбун, немного помолчав.— В ней ведь камня да железа много. Она прочная — авось выдержит.

Разговор с горбуном всегда успокаивал мои детские страхи и тревоги. Я верил ему — может быть, потому, что он отвечал на мои вопросы не сразу, а после серьезного раздумья.

А главное, он всегда надеялся, что все обернется к лучшему.

В ненастную погоду горбун сидел где-нибудь в уголке, нахохлившись и плотно сжав бледные губы.

Когда же светило яркое солнце, он обращал к нему свои незрячие глаза, и рябое лицо его светлело, будто улыбалось.

Ходил он медленно, говорил тихо, вкладывая в каждое слово свой особенный смысл.

По воскресеньям, когда его брат Матюшка, вихрастый, озорной парень, играл со своим приятелем Колькой Гамаюно́м в карты, пересыпая разговор нехорошими словами, Митрошка стоял рядом, слушал и сосредоточенно молчал, но вид у него был такой, будто и он участвует в игре.

Жизнь у горбуна была до отупения унылая, скучная, и все же он никогда ни на что не жаловался, не сердился, не выходил из себя.

Его отец, сапожник, человек угрюмый и несловоохотливый, вполне оправдывал старую поговорку «пьет как сапожник». Во хмелю бывал буен и частенько бил жену и сына Матюшку смертным боем. Жена металась по двору и выла, а Матюшка одним махом перелетал через забор, спасаясь у нас на дворе.

Один только горбун никуда не бежал, а сидел на завалинке с окаменевшим лицом, с которого никогда не сходило выражение равнодушной покорности. Обычно отец не трогал его, но однажды, взбешенный кротким видом Митрошки, ударил его изо всей силы кулаком по горбу. Митрошка как-то смешно засеменил по земле, пробежал немного, а потом пошел дальше своим обычным степенным шагом.

Таким он и запомнился мне на всю жизнь — тихим, солидным, в поношенном, но чистом коричневом пиджаке почти до колен, в жилетке и брюках навыпуск, в старом синем картузе на слегка запрокинутой из-за переднего горба голове.

Постепенно к нам стали привыкать и те соседские ребята, которые еще недавно не давали нам на улице проходу. Примирению нашему особенно помогло одно неожиданное происшествие.

Мальчишки на улице поссорились между собой. Перебранки и даже драки возникали у них за игрой в орлянку, в карты или же тогда, когда кто-нибудь переманивал у другого породистых голубей. Не знаю, из-за чего загорелся сыр-бор на этот раз, но только вся наша улица восстала против двух своих главных коноводов, которым до тех пор беспрекословно подчинялась.

По отдельным выкрикам, доносившимся издалека, мы смогли догадаться, что Гришку — младшего брата Кольки Гамаюна, и Саньку Косого обвиняют в каком-то тяжком преступлении против всего товарищества.

В самый разгар драки калитка наша настежь распахнулась,

и к нам во двор заскочили Гришка и Санька, разгоряченные, расцарапанные, в разодранных рубахах. Наш дворовый пес с лаем бросился на них, но брат поймал его за веревку, которой он был привязан, а я успел вовремя запереть калитку. По ней сразу же забарабанила дюжина кулаков. Через минуту несколько лохматых мальчишеских голов показались над забором.

— Тут они! Тута! — послышались голоса, но перемахнуть через забор среди бела дня мальчишки, как видно, не решились— то ли боялись нашей собаки, то ли ожидали подкрепления.

Знаками показали мы Гришке и Саньке на старый разрушенный завод за оврагом. Там можно было отлично укрыться на тот случай, если вся эта орава все-таки отважится проникнуть к нам во двор. Гришка и Санька поняли нас без слов и пошли за нами по направлению к заводу, то и дело оборачиваясь и угрожая кулаками своим преследователям, которые остались по ту сторону забора.

По шаткой, трясучей заводской лестнице мы взобрались на второй этаж, который давно уже перестал быть вторым этажом, так как пола у него не было и только балки отделяли верхнее помещение от нижнего, загроможденного железным хламом.

На всякий случай мы заперли щелявую дверь на крючок, а сами устроились на балках, с тревогой поглядывая вниз. Да и было чего опасаться. Сорвешься с балки на груду железа в нижнем этаже — и поминай как звали!

При нашем появлении где-то в углу захлопала крыльями, а потом вылетела через окошко какая-то большая птица, ютившаяся под крышей. Всполошилась она до того шумно и неожиданно, что мы все так и замерли на месте. Скоро наш страх прошел, но еще долго не могли мы отделаться от какой-то смутной тревоги, которую нагнала на нас эта жилица заброшенного чердака. Несколько минут мы даже говорили друг с другом шепотом. Но постепенно у нас завязался самый спокойный, мирный разговор. В конце концов брат предложил Гришке и Саньке зайти к нам в дом, пообещав показать им какую-то большую книгу о птицах, в которой были нарисованы голуби всех пород — дутыши, хохлатые, трубастые, бородавчатые и т. д. Гришка и Санька, которые были завзятыми голубятниками, заинтересовались этой книгой.

— Ладно, придем другим разом! — пообещал Гришка.

Нам очень не хотелось расставаться с нашими новыми приятелями, но уговаривать их было бесполезно: нельзя же в самом деле ходить в чужой дом с царапинами и синяками под глазами и на лбу, в разодранных рубахах и штанах.

На прощанье Гришка поклялся нам, что он будет не он, если завтра же не кликнет на помощь своего брата Кольку и не рассчитается со всеми обидчиками.

Не знаю, как добрались он и Санька в этот вечер до дому, но на другой день прятаться на задворках пришлось уже не им, а тем ребятам, которые загнали их к нам во двор.

В этот день на улицу вышел сам Колька Гамаюн, старший брат Гришки. Он давно уже работал у сапожника подмастерьем, турманов больше не запускал, а в праздничные дни ходил по слободке в пиджаке и красной рубахе навыпуск, с новенькой гармошкой, поблескивающей черным лаком и ярко-белыми клавишами.

Сильнее его не было на нашей улице никого — разве что Матюшка, брат горбуна. Но с Матюшкой у него давно уже был уговор «не замать» друг друга.

Неторопливо и тяжело ступая, прошелся Колька вместе с младшим братом раз-другой по улице, грозно поглядывая по сторонам, и этого немого предупреждения было вполне достаточно. Мальчишки сразу поняли, что оно значит. Несколько дней после этого они далеко обходили Гришку и Саньку при встрече, потом долго и осторожно мирились с ними и наконец снова признали их власть.

А меня с братом Гришка и Санька взяли с тех пор под свое покровительство.

Скоро нам удалось зазвать их к себе в гости.

Пришли они утром в одно из воскресений, умытые, гладко причесанные, в новых, чистых рубахах, в целых, хоть и заплатанных штанах с карманами, полными жареных семечек.

Мы опять побывали с ними на старом заводе — и наверху и внизу,— а потом Гришка вызвался научить нас ловить на дворе тарантулов. Дело это нехитрое. Надо опустить в норку кусочек воска, привязанный к нитке. Тарантул обязательно за него ухватится, и тут-то наступит самая страшная минута: нужно вытащить живого тарантула из норки и посадить его в спичечную коробку с такой быстротой и ловкостью, чтобы он не успел укусить вас.

Правда, поймать тарантула нам так и не удалось. То ли он в это время спал, то ли отлучился по какому-нибудь делу, а может быть, его никогда и не было в этой норке... Зато Санька Косой обучил нас другому искусству. Он отлично мастерил из папиросной бумаги и пробки парашютики, которые необыкновенно красиво поднимались вверх, пока наконец не исчезали где-то в вышине. Жаль только, что улетавшие парашюты к нам уже не возвращались, а папиросной бумаги и пробок было у нас мало.

В конце концов мы очень подружились с Гришкой и Санькой, на которых даже и прежде, во времена нашей вражды, смотрели с невольным восхищением — такими ловкими, лихими и бывалыми они нам казались. Дружба с ними льстила нашему само-

любию. И когда мама позвала нас пить чай, мы стали горячо убеждать их пойти с нами.

Мама несколько удивилась таким нежданным гостям, но усадила их вместе с нами за стол и дала каждому из нас по блюдечку еще теплого, только что сваренного вишневого варенья.

Гришку и Саньку нельзя было и узнать. Переступив порог нашего дома, эти отчаянные парни, которые на улице за игрой в орлянку так смачно переругивались между собой и так далеко плевались, вдруг сделались смирными, робкими ребятами и заговорили какими-то не своими, тоненькими голосами.

После чая мы привели их в другую комнату, где они почувствовали себя немного свободнее. Брат показал им книжку с птицами, глобус и географическую карту на стене.

— «Соединенные Штаны»,— прочел Санька, и это нам так понравилось, что мы еще долго после этого называли Штаты штанами.

С тех пор мы не раз встречались с Гришкой и Санькой. Но пришло время, и оба они стали редко появляться на улице. Саньку отдали в уездное училище, а Гришку — в ученики к тому самому сапожнику, у которого был подмастерьем его брат, Колька Гамаюн.

Однако наша дружба с ними, хотя и довольно кратковременная, как-то сразу помирила нас со всей улицей. Во всяком случае, мальчишки перестали нас дразнить. А ведь они были великими мастерами этого дела. Помню, какой невообразимый гомон подымали они, когда в нашем пригороде появлялся кто-нибудь из местных юродивых — тихая, робкая, еще довольно молодая женщина, дурочка Лушка, толстая, краснолицая Васька Макодёриха, отличавшаяся весьма строптивым и буйным нравом, или же старый Хрок, безбородый, сморщенный, хмурый человечек с нахлобученным на голову по самые брови медным котлом. Прозвище свое он получил из-за того, что, приплясывая, издавал какие-то хриплые звуки, вроде: «Хрок! Хрок! Хрок! Хрок!»

Гулом восторга приветствовали мальчишки юродивых, особенно Хрока.

Даже петрушечника, изредка приходившего на Майдан с пестрой ширмой на спине, не встречали и не провожали таким неистовым гомоном и хохотом, как угрюмого Хрока, когда он принимался топтаться, кружиться на месте, подпрыгивать и приседать. И все это с такой невозмутимой и торжественной серьезностью!

Ребята свистели, улюлюкали, колотили по медному котлу Хрока палками, пока их не разгоняли взрослые, которые любили и жалели «блаженненьких». Из всех калиток подавали юродивым ломти хлеба, бублики, бросали медные гроши и копейки.

Глубокая, дремучая старина окружала мое детство на слободке. Хрока с котлом на голове или Ваську Макодёриху так легко можно было бы представить себе на улицах времен Ивана Грозного, а то и в еще более ранние времена. Да и крытые соломой хаты, в которых обитало большинство жителей пригорода, вряд ли намного отличались от жилищ их дальних предков.

НЕДОЛГОВЕЧНЫЕ ЛАВРЫ

Работа на маленьком, почти кустарном заводишке была слишком мелка для отца и не могла утолить его постоянной жажды нового. Он любил изобретать, делать опыты, а должен был с утра до глубокой ночи простаивать у горячих котлов сырого и полутемного завода. Приходил он домой поздно, но пользовался любой минутой отдыха, чтобы раскрыть книгу и уйти в нее с головой. Читал он так самозабвенно, что мать, которая весь вечер ждала его, чтобы поговорить о самых насущных делах — о том, что надо заплатить долг в лавку, сшить детям новые пальтишки к зиме,— не решалась оторвать его от книги. Сама она весь день, безо всякой помощи, стряпала, мыла некрашеные полы, стирала белье, одевала и обшивала пятерых, а потом шестерых ребят. Ей-то уж совсем не удавалось передохнуть и почитать книжку. Даром пропадали ее прекрасные способности, ее редкая память.

Только вечером, под стук швейной машинки, она иногда вполголоса пела, но пела грустные песни.

Помню время, когда работа на заводе приостановилась и отец надолго уехал из дому искать счастья.

Мы одни на пустынном дворе. Ставни у нас наглухо закрыты да еще приперты железными болтами. Со всех сторон доносится яростный, хриплый лай собак, да изредка за нашим забором постучит колотушкой обходящий свой круг ночной сторож.

Мать, склонясь над шитьем, поет песню про чумака, ходившего в Крым за солью и погибшего в пути, и про его товарища, который пригнал домой пару волов, оставшихся без хозяина.

Я лежу, съежившись, в постели, и слова этой простой песни наполняют мое сердце страхом и тоской. Мне почему-то кажется, что в песне говорится о нашем отце, что это он шел-шел «тай упав» где-то в дороге, и кто-то чужой принес нам весть о его гибели...

Рано утром во всех наших комнатах открывались ставни. Вместе с темнотой уходили ночная грусть и ночные тревоги,

и для нас, ребят, начинался новый день — огромный, как бывает только в детстве, до краев наполненный дружбой, дракой, игрой, беготней...

Но вот наступила для нас новая пора: мне с братом наняли репетитора, веснушчатого гимназиста седьмого — предпоследнего — класса, и мы стали готовиться к экзамену.

Старший брат поступил в гимназию первым. Это был не по летам серьезный мальчик. Задолго до гимназии успел он прочесть множество книг, не истрепав, в противоположность мне, ни одной из них. Книги он бережно хранил в окованном железном сундуке, куда мне не было доступа. Помню, как, забравшись в сундук, брат приводил свои книги в порядок. В эти минуты он напоминал мне пушкинского «Скупого рыцаря». Мы часто с ним дрались из-за книг или еще из-за чего-нибудь,— но вдруг ни с того ни с сего он прерывал самую бешеную нашу схватку совершенно необычным в борьбе приемом: принимался осыпать меня нежными и горячими поцелуями. Смущенный и обезоруженный, я бывал, конечно, вынужден в этих случаях мириться, так и не додравшись до конца, хоть и чувствовал в братских объятиях не то военную хитрость, не то обидную снисходительность старшего.

Поступив в гимназию, брат как бы совершенно переродился. Это был уже не прежний, не домашний мальчик, не мой сверстник в коротких штанишках и в детской курточке, а гимназист с блестящим гербом на фуражке и с двумя рядами серебряных пуговиц на серой, почти офицерской шинели. Возвращался он из гимназии, как со службы. Обедал один, окруженный всеми домочадцами, и между одной ложкой супа и другой торопливо и взволнованно рассказывал о гимназических порядках, о строгих и добродушных, толстых и тонких учителях в синих сюртуках с золотыми погонами, о товарищах по классу, отличавшихся друг от друга и ростом, и возрастом, и наружностью, и характером.

Я жадно слушал рассказы брата и старался представить себе всех этих незнакомых людей и обстановку, так мало похожую на все, что мне случалось видеть до тех пор.

Каждый день там происходили какие-нибудь события — не то что у нас на Майдане.

Казалось, мой брат, который был старше меня всего двумя годами, уже вошел в настоящую, деятельную жизнь, в мир, где каждый человек на виду и каждый час полон событий и происшествий.

И этот особенный, не всем доступный мир, блещущий форменными пуговицами и лакированными козырьками, назывался гимназией.

А через год после того, как брат надел фуражку с гербом и серую шинель с темно-синими петлицами, должен был держать экзамен и я.

Всю осень и зиму, в дождь и снег, к нам на слободку ходил из города наш репетитор-гимназист, так успешно подготовивший в гимназию брата. Со мной занятия у него шли не совсем гладко. Я был беспечен и рассеян, не всегда готовил уроки, пропускал в диктовке буквы и целые слова, ставил в тетради кляксы. Кроткий и терпеливый Марк Наумович мне все прощал. А я мало думал о том, что только ради меня шагает он каждый день через лужи или снежные сугробы, пробираясь на Майдан и обратно в город, и что родителям моим не так-то легко платить ему за уроки по десять целковых в месяц.

Только иногда среди ночи я просыпался в тревоге и начинал считать остающиеся до экзамена дни. Я давал себе клятву не тратить больше ни одной минуты даром и на следующее утро просыпался, полный решимости взяться наконец за дело как следует и начать жить по-новому. Весь день у меня был расписан по часам.

Но чуть ли не ежедневно происходили события, которые налетали, как вихрь, и разбивали вдребезги это старательно составленное расписание.

Как будто нарочно, чтобы помешать мне, у самых ворот нашего дома останавливался любимец слободских ребят — петрушечник. Мог ли я усидеть на месте, когда над яркой, разноцветной ширмой трясли головами, размахивали руками и со стуком выбрасывали наружу то одну, то другую ногу знакомые мне с первых лет жизни фигуры: длинноносый и краснощекий Петрушка в колпаке с кисточкой, тощий «доктор-лекарь — из-под каменного моста аптекарь» в блестящей, высокой, похожей на печную трубу шляпе, усатый и толстомордый городовой с шашкой на боку... Я знал и все же не верил, что шевелит руками кукол и говорит за них то пискливым, то хриплым голосом этот пожилой, мрачный, небритый человек, надевающий их на руку, как перчатку.

А на другой день ребята соседнего двора запускали большого бумажного змея — да не простого, а с трещоткой. На третий — я как-то нечаянно, между делом, зачитывался «Всадником без головы» или какой-нибудь другой заманчивой книжкой из сундука, который был в полном моем распоряжении до прихода из гимназии брата.

Но вот однажды мой репетитор объявил мне, что должен поговорить со мной серьезно.

Я насторожился. До этого времени серьезные разговоры — о книгах, об экспедициях на Северный полюс, о комете, про которую в те дни так много писали в газетах,— бывали у Марка

Наумовича только с моим старшим братом, а со мною он добродушно пошучивал — даже тогда, когда объяснял мне правила арифметики или грамматики. Он был теперь уже учеником последнего — восьмого — класса и обращался со мною, как взрослый с ребенком.

Но на этот раз он уселся за стол не рядом со мною, а напротив меня и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

— Послушай-ка, ты и в самом деле хочешь держать экзамены в этом году? Или, может быть, собираешься отложить это дело на будущий год?..

— Нет, не собираюсь,— как-то нерешительно ответил я, еще не понимая, к чему он клонит.

— Ну так вот что, голубчик. Пойми, что ты, в сущности, не учишься, а только играешь в занятия. Не думай, что экзамены — это тоже игра. Отвечать ты будешь не так, как отвечаешь мне. Сидеть вот этак, развалясь на стуле, тебе не позволят. Ты будешь стоять у стола, и экзаменовать тебя будет не один, а несколько учителей. Может быть, инспектор и даже сам директор! И на каждый заданный вопрос ты должен будешь ответить коротко, четко, без запинки. Понял?

Я задумался.

Нет, отвечать коротко, четко, без запинки я вряд ли смогу...

А Марк Наумович продолжал смотреть на меня в упор, то и дело мигая красными от бессонницы глазами (он и сам в это время готовился к экзаменам, да еще каким — к выпускным, на аттестат зрелости! — и работал чаще всего по ночам).

— Ну да ладно, попробуем! — сказал он уже менее строго.— Только знай: с нынешнего дня и я начну спрашивать тебя, как спрашивают у нас в гимназии. А ты забудь, что перед тобою Марк Наумович, и вообрази, что тебя экзаменует сам Владимир Иванович Теплых или Степан Григорьевич Антонов!

Об этих учителях, приводивших в трепет всю гимназию, я много слышал от брата. Но представление о них никак не вязалось у меня с образом доброго Марка Наумовича, такого худого, веснушчатого, в серой гимназической блузе с тремя пожелтевшими пуговичками по косому вороту и в поношенных серых брюках, из которых он давно уже вырос.

И все же после этого серьезного разговора я почувствовал ту же острую тревогу, которая охватывала меня по ночам при воспоминании о предстоящих экзаменах. Ну, конечно же, я провалюсь! Разве такие в гимназию поступают? Да я, чего доброго, разом позабуду все, что знаю, когда меня вызовут к большому столу, за которым будут сидеть учителя в золотых погонах, инспектор, директор... Может быть, мне и готовиться уже не сто́ит? Как хорошо было бы сейчас простудиться и заболеть

на все время, пока идут экзамены. Это все же лучше, чем провалиться. Да нет, нарочно не заболеешь!..

У меня уже подступали к горлу слезы, когда на пороге неожиданно появился отец, который вчера только вернулся домой на несколько дней и сейчас отдыхал в соседней комнате.

— Простите меня, Марк Наумович,— сказал он, протирая очки.— Конечно, вы абсолютно правы: готовиться к экзамену надо серьезно и основательно. Однако вы нарисовали сейчас такую мрачную картину, что и я, пожалуй, не отважился бы после этого идти на экзамен! Но знаете, дорогой, поговорку: «Своих не стращай, а наши и так не боятся». Уверяю вас, мы выдержим, да еще на круглые пятерки! Я в этом нисколько не сомневаюсь.

— Ах, ты никогда ни в чем не сомневаешься! — с горечью прервала его мать, вошедшая в комнату вслед за ним.— Марк Наумович дело говорит, и я так благодарна ему за то, что он беспокоится о своем ученике. А ты только портишь его. Вот увидишь, теперь он и совсем забросит книжки и уж наверное провалится.

— Нет,— сказал отец,— вы его не знаете!

— Это я-то его не знаю? — удивилась мать.

— Ну, может быть, знаешь, да не веришь в то, что у него есть сила воли. А я верю. Ведь ты не подведешь меня, а?

Я молчал.

До экзамена оставался всего один месяц. Меня перестали посылать в лавку и в пекарню. Сестрам и маленькому брату было строжайше запрещено отрывать меня от занятий. Они проходили мимо моего стола на цыпочках и говорили друг с другом шепотом.

С самого раннего утра я сидел за столом, как приклеенный. Сидел час, другой, третий, пока меня не начинало клонить ко сну.

Помню, как однажды около полудня, когда солнце смотрело с вышины прямо в наши окна, я встал, чтобы размяться немного, и как-то нечаянно заглянул в соседнюю комнату, где сияли белизной и свежестью застланные с утра кровати.

Младшие ребята играли в это время на дворе. Мать ушла на рынок.

«Отчего бы мне не прилечь на несколько минут? — подумал я и сам удивился этой неожиданной мысли.— Все равно за столом я сейчас трачу время даром и только клюю носом».

Никогда еще в жизни не случалось мне ложиться в постель в такую пору дня. Вероятно, от новизны ощущения этот дневной отдых казался мне чертовски соблазнительным.

Поколебавшись немного, я лег на одну из кроватей, сладко жмурясь от солнца, бившего мне прямо в глаза. Но и сквозь

плотно закрытые веки я видел солнце. В радужной полутьме так отчетливо доносились ко мне все звуки со двора: протяжный петушиный крик, резвый лай собачонки, звонкие голоса детей... Я заснул крепким, блаженным сном и проспал несколько часов подряд.

Вернувшись домой, мама пожалела меня и не стала будить. Вот, мол, до чего доработался бедный ребенок!

Более шестидесяти лет прошло с тех пор, но в памяти моей этот счастливый и безмятежный дневной сон запечатлелся ярче и сильнее, чем даже экзамены, стоившие мне так много тревог и волнений.

В последние дни перед экзаменом я то и дело переходил от одной крайности к другой: то непоколебимо верил в свой успех (это я-то провалюсь? Нет, такого и быть не может!), то впадал в отчаяние и считал себя неспособным ответить на самый простой вопрос, который зададут мне восседающие за столом экзаменаторы.

Должно быть, я унаследовал в равной мере и счастливую веру в будущее, присущую моему отцу, и вечные тревоги матери.

Когда мною овладевала эта мучительная, бросающая то в жар, то в холод лихорадка тревоги, я с ужасом представлял себе свое возвращение домой после провала на экзамене. Понурив голову, я плетусь за матерью. Избегаю расспросов соседей. Не слушаю утешений отца, который уверяет меня, что в будущем году я уж непременно выдержу на круглые пятерки.

И вот опять тянутся унылые дни за днями, и ко мне по-прежнему каждый день шагает из города Марк Наумович,— если только он не поступит в этом году в университет...

Ну, а если не Марк Наумович, то какой-нибудь другой гимназист-репетитор, которому тоже надо будет платить за меня десять целковых в месяц!

Наконец наступил день Страшного суда — первый день моих экзаменов. Мама надела темное праздничное платье и соломенную шляпку с вуалью, аккуратно причесала меня, одернула на мне курточку, и мы отправились пешком в город.

Ночной дождь сменился ясным солнечным утром. За длинными плетнями и заборами доцветали яблони. Кусты сирени наклонялись, будто предлагая прохожим сорвать густую, тяжелую гроздь.

Мама отломила влажную ветку, и я видел, что на ходу она старательно ищет звездочку с пятью лепестками — «счастье».

На этот раз мама была или, по крайней мере, казалась бодрой и веселой. Против своего обыкновения, она всю дорогу

убеждала меня, что я отлично подготовился и непременно выдержу.

Я совершенно иначе представлял себе это шествие в гимназию на экзамен — думал, что мама будет беспокойно поглядывать на меня и спрашивать по пути таблицу умножения или «слова на ять». И мне было приятно, что сегодня она такая спокойная и ласковая.

Мы говорили с ней о посторонних вещах, о которых никогда не разговаривали раньше: о том, когда открываются в городе магазины, когда зажигают и тушат на улицах фонари и сколько примерно в Острогожске извозчиков — сто или больше...

Вот наконец и гимназия — белое одноэтажное здание со множеством чисто вымытых, голых окон и с тяжелой входной дверью.

Я много раз до того проходил мимо каменной ограды, которой был обнесен гимназический двор, но никогда еще не открывал этой заповедной двери. Гимназия казалась мне каким-то особым царством, живущим своей загадочной жизнью. У нее была даже своя домовая церковь с маленькой звонницей, в которой так уютно жили колокола и голуби.

Этот майский день, когда мы с мамой без конца ходили взад и вперед по длинному, гулкому коридору или стояли у окна в ожидании минут, решающих мою судьбу, был для меня не только первым днем экзаменов.

Впервые я очутился в большом городском каменном доме, где было столько дверей, окон и просторных комнат с высокими потолками.

В первый раз я видел так много ребят, и почти все они казались такими чистенькими, умытыми, старательно причесанными. А все взрослые, кроме родителей, пришедших с детьми, были здесь одеты в форменные синие сюртуки с золотыми квадратиками на плечах и с двумя рядами блестящих пуговиц. Поодиночке или по двое, по трое, они с деловым видом, словно пчелы из улья, появлялись из какой-то таинственной комнаты, на дверях которой была дощечка с надписью: «Учительская». Одни из этих людей добродушно улыбались — не знаю, нам или солнечному свету, щедро затопившему в это утро весь коридор,— другие смотрели хмуро, озабоченно и как будто даже не замечали наших поклонов.

Первый человек, которому я поклонился при встрече, был маленький старичок с лицом, изборожденным морщинками, и реденькой седовато-рыжей бородкой. Он осклабился и приветливо закивал мне головой. По широким золотым галунам на рукавах я принял его за директора или, по крайней мере, за инспек-

тора гимназии и очень удивился, когда через несколько минут увидел его со шваброй в руках. Позже я узнал, что это был гимназический сторож Родион, надевший по случаю начала экзаменов свою парадную форму.

Понемногу ребята, теснившиеся в коридоре и в небольшой комнате, которая называлась «Приемной», стали знакомиться друг с другом; толстый мальчик в крахмальном отложном воротничке и пестром галстуке бантом, собрав вокруг себя ребят, показывал фокусы: глотал копейки и большие пуговицы, а потом вынимал их из кармана пиджачка или из-за воротника сзади.

Я смотрел на него и думал: какой удивительный мальчик!.. Сейчас начнутся экзамены, а он, ничуть не тревожась, потешает ребят фокусами.

Высокая нарядная дама в широкой шляпе с цветами то и дело строго и настойчиво звала его к себе:

— Степа!

Он подбегал к ней на минуту, торопливо кивал ей головой, словно что-то обещая, а потом вновь оказывался в толпе ребят, строил невероятные гримасы или жонглировал маленьким костяным шариком, который то вертелся, словно живой, у него на ладони, то внезапно исчезал.

В другом конце коридора увидел я своего старого знакомого — долговязого и вихрастого Сережку Тищенко, сына лавочника с нашего Майдана.

Сережка и в прошлом году держал экзамены, провалился чуть ли не по всем предметам, а теперь рассказывал ребятам о гимназических порядках так, будто был здесь своим человеком.

— Нет,— говорил он,— если по русскому будет спрашивать Сапожник — крышка: хоть кого срежет!..

— Сапожник?..— испуганно спрашивали ребята.

— Ну, Антонов Степан Григорьевич. Прозвище у него такое, кличка. А вот ежели экзаменовать будет Пустовойтов...

— Это тоже прозвище?

— Да нет, фамилие. Так вот, если спрашивать будет Пустовойтов Яков Константиныч, тогда другое дело. Он даже сам подскажет, коли собьешься. А самый злющий из всех учителей — это, уж конечно, Барбоса.

— И вовсе не Барбоса, а Барбаросса,— поправил его мальчик в бархатной курточке.— Я его знаю, мой брат у него в седьмом классе учится.

— Ну, все равно — Барбоса или Бабароса, а только он такие задачки подбирает, что и семикласснику не решить. Они так и называются: «неопределенные»... Всех до одного проваливает!

Я слушал Сережку, и у меня от страха сосало под ложечкой.

Но вот наконец нас построили в ряды и развели по классам. Сейчас должны были начаться письменные экзамены.

Мама проводила меня до самых дверей, еще раз одернула на мне курточку и пригладила мои волосы.

— Только будь спокоен и не торопись,— сказала она, но я видел, что и сама она не слишком-то спокойна.

В первый раз в жизни сел я за парту — желтую, с черной блестящей крышкой и с двумя чернильницами в углублениях. Рядом со мной оказался Сережка Тищенко, а сзади — тот веселый, круглощекий мальчик, который показывал в коридоре фокусы, Степа Чердынцев.

В полуоткрытую дверь еще заглядывали родители. Широкая шляпа Степиной матери совсем заслонила мою маму. Я стал искать ее глазами, но тут дверь плотно закрыли, и все мы почувствовали, что с этой минуты предоставлены самим себе.

Скоро в класс вошел медленной, тяжеловесной походкой пожилой, темнобородый, широкоплечий человек в очках. Кое-кто из ребят при его появлении встал. Потом, один за другим, поднялись и остальные.

— Сапожник! — шепнул мне в ухо Тищенко.— Беда!..

Учитель привычным, равнодушным взглядом окинул пестрые ряды ребят в курточках, матросках, пиджачках, косоворотках.

— Здравствуйте,— сказал он, четко произнося все буквы, в том числе и оба «в».— Приготовьтесь писать диктант!

И он, не торопясь, роздал нам листки линованной бумаги.

Мы обмакнули перья в чернила и с тревогой уставились на этого спокойного, медлительного человека в форменном сюртуке.

Не переставая ходить по классу — от двери до окна, от окна до двери и по всем проходам между партами,— он начал диктовать громко и отчетливо, но как бы скрадывая те гласные, в которых было легче всего ошибиться.

— Белка жила в чаще леса...

— «Белка» через «ять» или через «е»? — шепотом спросил меня Тищенко.

— Ять,— так же тихо ответил я.

— А «лес»?

— Тоже.

Не знаю, уловил ли Сапожник этот почти беззвучный шепот, но только вдруг он остановился и сказал спокойно и твердо, обращаясь ко всем нам:

— Предупреждаю: тот, кто будет подсказывать другим или списывать, получит неудовлетворительный балл и не будет допущен к следующему экзамену. Понятно?

В классе и до того стояла тишина, а тут стало еще тише.

Не дожидаясь ответа, Антонов продолжал тем же ровным, монотонным голосом:

— ...На самой верхней ветке дерева... Повторяю: на самой верхней ветке дерева.

— «Верхней» — «ять» или «е»? — еле слышно спросил Тищенко.

Я написал на промокашке букву «е» и с ужасом подумал, что Сережка будет, чего доброго, донимать меня до конца диктовки.

— Сеня спал в сенях на свежем сене...— слышался из дальнего угла гудящий голос Сапожника.

Я знал, что «свежий» и «сено» пишутся через «ять», «Сеня» — через «е». А вот как пишутся «сени»?..

Тищенко упорно шептал что-то в самое мое ухо, но мне было не до него...

«Ять» или «е»? Как будто «е». Нет, конечно, «ять»!

Вдруг я почувствовал, что кто-то сзади дышит мне в затылок. На мгновенье обернувшись, я увидел, что Степа Чердынцев, приподнявшись, заглядывает в мой листок.

Антонов находился в это время далеко от нас, но, должно быть, у него было какое-то особенное чутье. Грузно шагая, направился он прямо в нашу сторону и — как видно, надолго — остановился перед партой, где сидели мы с Тищенко.

Сережка больше ни о чем меня не спрашивал, а Степа оказался хитрее. Он то и дело брал у меня промокашку, потом возвращал ее мне и при этом каждый раз бросал беглый, почти неуловимый взгляд на мой листок.

— Ты что там делаешь?..— строго окликнул его Сапожник.

Степа с самым невинным видом показал ему промокашку.

— А глаза твои куда глядят?..

Степа затряс головой.

— Ей-богу, я ничего не вижу. Я близорукий. Мне даже очки доктор прописал.

Сапожник недоверчиво посмотрел на него, потом направился к кафедре, взял розовый листок промокательной бумаги и торжественно вручил его Степе.

— Большое спасибо,— сказал Степа.

Снова в классе стало тихо. Слышался только однообразный и непрерывный, как жужжание большой мухи, голос Антонова.

Но вот диктовка кончилась, и Сапожник сразу же стал собирать наши листки. Я отдал свой, так и не успев его проверить, и с тревогой смотрел, как Антонов, аккуратно сложив листки, уносит их из класса со всеми нашими ошибками, кляксами и помарками... Вот он идет по коридору, медленно и важно, будто сознавая, что держит в руках наши судьбы.

Теперь уже ничего не вернешь. Ну, будь что будет!

Я бросаюсь к маме и пытаюсь припомнить все слова, в которых сомневался. Но одни из них совершенно вылетели у меня из головы, а в других мама и сама как будто не слишком уверена. Может быть, она даже и не задумалась бы, если бы ей пришлось написать с разбегу какую-нибудь фразу, в которой встречаются

эти слова. А тут ее берет сомнение. Она пытается припомнить, сообразить, что как пишется, а мне уже не до диктовки.

Пора думать о следующем экзамене — письменном по арифметике. Говорят, экзаменовать будет Макаров — тот самый злющий учитель, которого Тищенко называл «Барбосой», а другой мальчик «Барбароссой».

Ждать нам приходится очень долго — так по крайней мере кажется мне. Мама уговаривает меня съесть бутерброд, который она принесла из дому, но я только головой мотаю.

— Нет, нет, потом, после экзамена!

И вот мы снова в том же классе, где писали диктовку. Опять закрываются плотные двери, отделяя нас от всего мира. Но теперь рядом со мной уж не Сережка Тищенко, а спокойный, неторопливый голубоглазый мальчик в косоворотке. Нам с ним не до разговоров, но я все же спрашиваю:

— Как тебя зовут?

— Зуюс.

— Это что же — имя такое?

— Нет, фамилия. Имя — Константин.

Но вот в класс входит Барбоса, или Барбаросса, высокий, с огненно-рыжей бородой. Борода его сверкает золотом в ярком солнечном свете, как и пуговицы вицмундира.

На этот раз ребята все сразу поднимаются с мест.

Макаров милостиво кивает головой, разглаживает пышную бороду и, бодро постукивая мелом, пишет на классной доске две задачи: одну для тех, кто сидит на партах справа, другую — для сидящих слева. Мне выпала на долю задача, в которой надо разделить груши между четырьмя братьями так, чтобы первому досталось больше, чем второму, второму больше, чем третьему, и так далее. А Костя Зуюс должен решить задачу про купца, который купил и продал сколько-то цибиков чая.

Разные задачи даются нам, должно быть, для того, чтобы мы не списывали у соседа по парте.

В первые минуты я ровно ничего не могу сообразить, хоть с Марком Наумовичем не раз делил между братьями и яблоки, и груши, и орехи. Но тогда я решал такие задачи не торопясь, не волнуясь, а теперь особенно раздумывать некогда: того и гляди, у тебя отберут листок, решишь ли ты задачу или не решишь.

А тут еще перед самой твоей партой торчит этот рыжебородый учитель, так похожий на генерала, портрет которого я видел в цветном календаре. Он благодушно улыбается в бороду, и все же под его взглядом мысли путаются у меня в голове. Мой сосед по парте тоже, видно, никак не может подступиться к своей задаче. Он ерзает, сопит, и уши у него горят от волнения.

Наконец Макаров отходит от нашей парты и, бережно расправив фалды сюртука, величаво усаживается на кафедре.

Я облегченно вздыхаю и только теперь принимаюсь за дело, забыв и учителя, поглядывающего на нас с высоты своей кафедры, и соседей по парте, и быстро бегущее время. Наконец мне как будто удается справиться с задачей: верно или неверно, а груши между братьями поделены. Прежде чем приняться за проверку, я оглядываюсь по сторонам. Все ребята в классе еще сидят, хмурые и озабоченные, низко наклонившись над своими листками. Степа Чердынцев, чуть привстав, просит у соседа, сидящего впереди, промокашку. Макаров, задумчиво поглаживая бороду, смотрит с кафедры в окно, за которым живет своей жизнью еще безлюдный в эти часы сад со всеми своими птицами, шмелями, жуками, стрекозами.

Меня охватывает тревога. Неужели я и в самом деле первым решил задачу? Уж нет ли где-нибудь ошибки? А времени остается, должно быть, совсем немного. С бьющимся сердцем, уже торопясь, я снова складываю, множу, вычитаю, делю... Нет, как будто все правильно — ответ получается тот же, что и в первый раз. Должно быть, верно! Смотрю — и у Кости Зуюса лицо прояснилось, даже появилась на губах улыбка.

— Решил? — спрашиваю я тихонько.

— Ага! — отвечает он одним дыханием.

А Матвей Иванович уже отбирает листки у тех, кто довел дело до счастливого конца, и у тех, кто запутался во всех этих грушах и цибиках.

Ну, если только я не провалился по русскому письменному, значит, у меня все в порядке. Правда, самое трудное еще впереди. Завтра на устных экзаменах спрашивать меня будет не один учитель, а целая комиссия в сюртуках с золотыми пуговицами, и отвечать надо будет быстро, отчетливо, без запинки...

После тревожной ночи мы опять отправились с мамой в гимназию.

В этот день ребят экзаменовали не в классе, а в просторном зале, где со стен смотрели на нас изображенные во весь рост царь в военной форме с широкой голубой лентой через плечо и царица в высоком жемчужном венце вроде кокошника, в нарядном платье, похожем на сарафан, и тоже с лентой через плечо.

Нас, ребят, по очереди вызывали к длинному, покрытому тяжелым сукном столу, за которым среди учителей в синих вицмундирах сидел сам директор, безбородый, моложавый, в темно-зеленом форменном фраке без наплечников. Во всей его повадке было нечто такое, что отличало его от учителей. Он держался свободнее, проще и смотрел на нас как будто приветливее.

И все же я с трепетом ждал той минуты, когда меня вызовут. Как это я буду стоять совсем один перед огромным столом, за которым сидит столько взрослых, важных людей в форме!

В ту пору я был очень мал ростом — меньше всех ребят, которые пришли экзаменоваться. А тут, в этом высоком зале с большими окнами, с большими дверями и портретами, я почувствовал себя совсем затерянным. Да меня, чего доброго, и не услышат, когда я начну говорить!..

Поглядывая по сторонам, я видел, что и другие ребята боятся не меньше, чем я. Один только Степа Чердынцев и здесь не унывал: он показывал ребятам, как шевелить ушами. Для этого он морщил лоб и старательно поднимал и опускал брови, пока уши у него и в самом деле не начинали слегка шевелиться. В другое время ребятам, наверно, очень понравился бы новый фокус и каждому захотелось бы обучиться этому искусству, но сейчас Степа не имел никакого успеха. Мельком поглядев в его сторону, ребята отворачивались и опять впивались глазами в стол, покрытый зеленым сукном.

Мне тоже было не до Степиных ушей. Очередь уже дошла до буквы «м». Передо мной пошел отвечать высокий, стриженный наголо мальчик в длинных брюках, в косоворотке, подпоясанной шелковым шнурком и вышитой по вороту и подолу. Когда назвали его фамилию — Малафеев,— он тайком, торопливо перекрестился, одернул косоворотку и с какой-то отчаянной решимостью ринулся к столу.

Антонов скрипучим, безучастным голосом предложил ему прочесть вслух сказку «Лиса и Журавль».

Малафеев взял раскрытую книгу и медленно, по складам, будто ворочая камни, прочел несколько строк.

— Довольно,— прервал его Сапожник.— Скажите мне, какого рода существительное «журавль».

— Женского,— нерешительно ответил Малафеев.

— Почему женского?

— Потому что кончается на мягкий знак.

Директор улыбнулся.

— Но ведь слово «учитель» тоже кончается на мягкий знак. Или, скажем, слово «парень». Что же, по-твоему, и «парень» женского рода?

— Нет, мужеского,— виновато сказал Малафеев.

В голосе его уже слышались слезы.

— Ну, ладно, не робей! — приободрил его директор.— Со всяким случается... Прочитай-ка лучше какое-нибудь стихотворение.

— Какое? — спросил Малафеев.

— Да какое хочешь.

Малафеев помолчал, подумал немного и вдруг загудел, слов-

но заиграл на дудке, не повышая и не понижая голоса и не останавливаясь на знаках препинания:

— «Школьник». Стихотворение Некрасова.

Ну пошел же ради бога
Небо ельник и песок
Невеселая дорога
Эй садись ко мне дружок...

Тут он перевел дух и опять понесся вперед без удержу:

Ноги босы грязно тело
И едва прикрыта грудь
Не стыдися что за дело
Это многих славный путь.

— Славных путь! — поправил Антонов.

— Славных путь,— повторил Малафеев.

Я слушал его и думал: ну разве так читают стихи? Вот я бы им показал, как надо читать!

И вдруг мне страстно захотелось, чтобы меня поскорее вызвали. На вопросы я как-нибудь отвечу,— только пускай дадут мне прочитать стихи...

В ту минуту громко — на весь зал — прозвучала моя фамилия.

Хорошо, что именно в эту минуту, пока еще мой задор не успел остыть.

Не помню, о чем спрашивали меня Сапожник и другой учитель с длинными, опущенными книзу усами, но только отвечал я на этот раз и в самом деле без запинки, как никогда не отвечал Марку Наумовичу. А когда дело дошло до стихов, я, не задумываясь, сказал, что прочту отрывок из «Полтавы» — «Полтавский бой».

— Пожалуйста,— согласился директор.

Я набрал полную грудь воздуха и начал не слишком громко, приберегая дыхание для самого разгара боя. Мне казалось, будто я в первый раз слышу свой собственный голос.

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.

Стихи эти я не раз читал и перечитывал дома — и по книге и наизусть,— хотя никто никогда не задавал их мне на урок. Но здесь, в этом большом зале, они зазвучали как-то особенно четко и празднично.

Я смотрел на людей, сидевших за столом, и мне казалось, что они так же, как и я, видят перед собой поле битвы, застланное дымом, беглый огонь выстрелов, Петра на боевом коне.

Идет. Ему коня подводят.
Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могучим седоком...

Никто не прерывал, никто не останавливал меня. Торжествуя, прочел я победные строчки:

И за учителей своих
Заздравный кубок подымает...

Тут я остановился.

С могучей помощью Пушкина я победил своих равнодушных экзаменаторов. Даже Сапожник — Антонов не сделал мне ни единого замечания и не предложил разобрать отдельные слова поэмы по родам, числам и падежам. Длинноусый, похожий на украинца учитель, сидевший рядом с ним, сказал «Славно», а директор подозвал меня, усадил к себе на колени и стал расспрашивать, какие еще стихи я люблю и знаю наизусть.

Я сказал, что больше всего люблю пушкинского «Делибаша» да еще «Двух великанов» Лермонтова и с полной готовностью предложил тут же прочитать оба стихотворения.

Директор засмеялся.

— В другой раз! — сказал он.— А сейчас беги к своим, скажи, что получил пятерку.

Не помня себя от радости, я выбежал в коридор.

Домой мы ехали на извозчике. По дороге остановились у магазина и купили гимназическую фуражку — темно-синюю, с блестящим козырьком и белым кантом. Тут же купили и герб с буквами «О. Г.» над двумя скрещенными лавровыми веточками из какого-то светлого, серебристого металла. Мы сразу же прицепили герб к фуражке, и я вернулся к себе на Майдан гимназистом. Отец и старший брат увидели нас из окна и бросились нам навстречу. По моей гимназической фуражке они сразу поняли, что дело в шляпе — я выдержал!

— На круглые пятерки? — спросил отец.

— На круглые!

— Ну, а что я говорил? — сказал он, победоносно улыбаясь.

Сестры и младший брат стали по очереди примерять мою новенькую фуражку, но мама отняла ее и спрятала в шкаф.

А мне так хотелось показаться в ней соседским ребятам.

— Погоди,— сказала мама.— Мы еще не знаем, принят ли ты в гимназию.

— Как это не знаем? Ведь у меня круглые пятерки!..

Увы, через несколько дней выяснилось, что мама сомневалась не зря.

Первые мои «лавры» оказались недолговечными. Какая-то непонятная мне «процентная норма» закрыла для меня доступ в гимназию. Приняли и Степу Чердынцева, и Сережку Тищенко, и Саньку Малафеева, и Костю Зуюса, а меня не приняли.

Своими руками сняла мама герб с моей фуражки и спрятала у себя в шкатулке.

ДОСУГ ПОНЕВОЛЕ

Погоревав немного, я по-прежнему втянулся в будничную слободскую жизнь — дрался с босыми мальчишками, пускал змея, смотрел, как наши голубятники швыряют в небо своих турманов. Гимназия в городе, учителя, директор, так обласкавший меня на экзамене,— все это отошло куда-то далеко и стало казаться не то сном, не то страницей из прочитанной и полузабытой книги.

И вдруг я опять увидел всех учителей гимназии во главе с директором. И где увидел? У нас, на Майдане, за стеклами новенькой витрины фотографа, который, видимо, недавно поселился на слободке.

Среди множества довольно бледных фотографических карточек «визитного» и «кабинетного» формата, изображавших молодых людей с выпученными глазами и застывших в оцепенении девиц со взбитыми прическами и буфами на плечах, была выставлена большая групповая фотография, на которой красовался весь педагогический совет гимназии во главе с директором. Учителей фотограф расположил тремя рядами. Я стал внимательно разглядывать эту поразившую меня фотографию. Тут оказался и классный наставник моего брата — латинист Владимир Иванович Теплых, которого я видел мельком в гимназическом коридоре перед экзаменом, и рыжебородый Барбаросса, и Сапожник, и толстый географ.

Я не верил своим глазам. На этот раз я мог спокойно, в упор рассматривать этих необыкновенных людей, от которых зависела судьба стольких ребят.

А нельзя ли купить фотографию? Наверно, она сто́ит,— если только продается простым смертным,— никак не меньше ста рублей!

Я отважился зайти к фотографу и робко справился о цене. Рыхлый и бледный человек спокойно и деловито ответил мне:

— Один рубль.

Ах, это было очень, очень дешево — двадцать или тридцать учителей гимназии в полной парадной форме за один рубль!.. Но и такая цена была мне не по карману. Гривенник еще можно было попросить у мамы на тетради или на воскресное гулянье в саду, но где же достать десять гривенников — рубль, целый рубль?

Вовсе не надеясь раздобыть такую крупную сумму, я как-то рассказал отцу, что видел у фотографа на карточке всю гимназию, и, если бы мне посчастливилось найти на улице рубль (ведь это же бывает — некоторые находят, правда?..), я бы непременно купил себе такую карточку...

Отец ласково потрепал меня по голове, порылся в карманах и, не говоря ни слова, высыпал мне на ладонь целую горсть монет, медных и серебряных. Я пересчитал их: ровно рубль, копеечка в копеечку.

В тот же день большая фотография была изъята из витрины и перешла в мои руки. Я не был принят в гимназию,— зато сама гимназия оказалась у меня дома. Жаль только, что некоторые учителя вышли на фотографии без ног, то есть ноги их были заслонены головами незнакомых мне учителей, сидевших в нижнем ряду.

Я решил поправить дело и, вооружившись ножницами, аккуратно вырезал и директора Владимира Андреевича Коноров а, и латиниста Владимира Ивановича Теплых, и математика — Барбароссу, и географа Павла Ивановича Сильванского. Кому не хватало ног, я приделал их, пожертвовав нижним рядом учителей. Меня мало смущало то, что на брюках у них оказались чьи-то головы или части голов. Зато все теперь были с ногами.

Вырезанных учителей я положил в коробку и на досуге разыгрывал целые сцены из жизни гимназии, которая так незаслуженно отвергла меня, несмотря на все мои пятерки.

Постепенно и я — по примеру старшего брата — пристрастился к чтению. Доставать книги было нелегко, и читал я все, что попадалось под руку. Не меньше двадцати раз подряд перечел роман Жюля Верна «Север против Юга», где изображались подвиги, поражения и победы северных американцев в борьбе за освобождение негров.

Снабжал меня книгами наш сосед, сивоусый, строгий и рассудительный красильщик, у которого был большой выбор третьесортных, изобилующих дешевыми приключениями «ро́манов» из приложений к мещанскому журналу «Родина». Сосед очень гор-

дился своими книгами, от которых за версту несло мышами и затхлостью. И до сих пор журнал «Родина» и даже фамилия его редактора-издателя Каспа́ри неразрывно связаны у меня в памяти с этим едким и душным запахом.

Другим моим поставщиком литературы был молодой парень с красивым, по-девичьи нежным лицом, похожий на царевича из тех русских сказок, которые он сам же мне давал. Целые дни проводил он в лабазе своего отца или дяди за конторкой, на которой, как на аналое, всегда лежала раскрытая книга. От книги молодой Мелентьев отрывался только тогда, когда нужно было отсы́пать покупателю-извозчику овса или ячменя. Пощелкав на счетах и получив деньги, он опять садился на свой высокий табурет и погружался в роман, пьесу или в сборник сказок.

Читая запоем книги, он зачастую не знал имени автора и даже заглавия, так как обложки большинства его книг были потеряны.

Таким образом, не имея ни малейшего представления, что за «ро́ман» дал мне Мелентьев, прочел я знаменитого «Рокамболя» и еще десяток переводных книжек с иностранными именами героев, с тайными интригами, заговорами, погонями и убийствами.

Но в том же лабазе я впервые нашел среди книг «Тысячу и одну ночь», и с тех пор волшебные сказки Шехерезады овеяны для меня едва уловимым запахом овса и ячменя.

Внимательно перебирая воспоминания, связанные с первыми годами жизни, видишь, как глубоко и сильно врезается в нашу память каждое услышанное в детстве слово.

Мне было лет шесть-семь, когда я впервые прочел или услышал басню Крылова «Волк и Кот».

Волк из лесу в деревню забежал,
Не в гости, но живот спасая...

До сих пор я отчетливо помню — будто сам, своими глазами, видел — этого забежавшего в деревню волка. Помню и высокий дощатый забор, на котором сидит кот. Низко наклонив серую с черными полосами голову, мудрый и спокойный, он деловито разговаривает с усталым, затравленным волком, за которым по пятам гонятся охотники.

И все соседи, чьи имена называет кот (Степан, Демьян, Трофим, Клим), кажутся мне знакомыми людьми, живущими на Майдане где-то поблизости от нас.

Ведь в басне так и сказано: «Беги ж, в о н т а м живет Трофим». Это «вон там» придавало особую реальность словам крыловского кота.

Сквозь каждое слово, как сквозь прозрачное стекло, ребенок

видит названный предмет, видит живую и подлинную действительность.

Даже сюжеты книг, прочитанных в более позднем возрасте — лет в десять-одиннадцать,— переплелись у меня в памяти с реальными событиями нашей жизни.

В эти годы скитавшийся по Руси в поисках работы отец познакомился где-то с обедневшим помещиком, отставным подполковником Адамом Николаевичем Лясковским. Имение его было заложено-перезаложено. И вот отец обнаружил по каким-то признакам в этом имении железную руду. У помещика не было и сотни рублей на то, чтобы начать изыскания. Отец на последние свои деньги привез к нему горных инженеров, серьезно заинтересовавшихся этим делом.

Когда же отец навестил Лясковского через несколько месяцев, он нашел у него за богато накрытым столом целую ораву прихлебателей, которые называли теперь отставного подполковника не иначе, как «па́не полковни́ку» или «господин полковник». Самолюбивый и вспыльчивый отец сразу же перессорился со всей этой разношерстной и подозрительной компанией дельцов, и расчетливому хозяину пришлось потратить немало усилий, чтобы успокоить и умиротворить отца, который в то время все еще был ему нужен.

Месяц тянулся за месяцем. Изыскательские работы в имении шли полным ходом. И отец ни на минуту не терял уверенности в том, что его труды будут в конце концов достойно вознаграждены, хотя у него не было не только официального договора с подполковником, но даже и простой записки, подтверждающей щедрые обещания Лясковского.

А между тем вся наша семья жила в это время только отцовскими надеждами да еще той скудной помощью, которую оказывали ей родственники. Я был тогда слишком мал, чтобы запомнить все подробности этой печальной истории. Но у меня остались в памяти два письма — гневные строки отца, в которых он спрашивает у Лясковского: «Адам Николаевич, где бог, где совесть, где честь?» — и спокойно-скептический ответ подполковника: «Ах, Яков Миронович, бог высо́ко, совесть далёко, а честь — это дело растяжимое».

Помню, как тяжело пережила наша семья полное крушение всех надежд. А мне было обидно, что мой умный и видавший виды отец позволил так легко обмануть себя и теперь никакими усилиями не может добиться самой простой правды и справедливости.

В эти дни я зачитывался «Дубровским». И как-то незаметно в сознании моем слились помещик Троекуров с помещиком Лясковским, а Владимир Дубровский — с моим отцом. Правда, отец не стал атаманом разбойников и ничем не отомстил вероломному

подполковнику, но события, происшедшие в действительности, и эпизоды пушкинской повести так тесно переплелись между собой, что и до сих пор живут в моей памяти рядом.

ГИМНАЗИЯ

Совершенно неожиданно пришла весть о том, что я принят в гимназию. Не бывать бы счастью, да несчастье помогло. В один и тот же день за какую-то провинность из мужской гимназии исключили ученика, а из женской — ученицу. Оба они были не то в последнем, не то в предпоследнем классе.

И вот вакансия, освободившаяся в мужской гимназии, была предоставлена мне. На фуражке у меня снова заблестел герб, и я среди учебного года очутился за партой.

Мне купили такой же мохнатый, покрытый седой барсучьей щетиной ранец и такую же серую шинель с двумя рядами светлых пуговиц, как у моего старшего брата, и я был бесконечно горд, когда мы с ним — два гимназиста — шагали рядом по дороге в город, разговаривая об учителях, о товарищах по классу, о школьных новостях. Моя шинель была новее, герб и пуговицы блестели ярче, но зато у брата был вид старого, заправского гимназиста. Верх его фуражки был нарочно примят по бокам, как у Марка Наумовича, а у меня он пока что упрямо топорщился. Да и все гимназическое обмундирование еще выглядело на мне, как на вешалке в магазине. С первого же взгляда можно было узнать, что я новичок.

В классе я встретил много старых знакомых — тех самых ребят, которые держали со мной вместе экзамены. Почти все они очень изменились за эти несколько месяцев — подросли и утратили что-то свое, домашнее, детское.

Длинный, сухопарый Сережка Тищенко усвоил повадки матерого, стреляного волка, побывавшего во многих переделках. Учителей называл он — конечно, за глаза — уменьшительными именами или прозвищами: «Пашка», «Яшка», «Швабра», «Губошлеп». Отвечать выходил нехотя, неторопливо и, получив очередную двойку, медленно, вразвалку возвращался на место, задевая ногами и локтями сидевших за партами товарищей или строя такие невообразимые рожи, что даже самые примерные из ребят не могли не прыснуть громко, на весь класс.

Степа Чердынцев тоже за это время вполне освоился с гимназической обстановкой и чувствовал себя в классе как дома: на уроках играл со своим соседом в шашки, а на переменах выменивал почтовые марки разных стран на перья, а перья — на марки.

На нем уже не было пышного, пестрого галстука бантом и на-

рядного отложного воротничка. В гимназической форме он казался еще толще, чем в прежнем пиджачке и коротких штанишках, был коротко острижен и от других ребят отличался только тем, что из рукавов серой блузы выглядывали у него белые накрахмаленные манжеты с блестящими запонками. Как я узнал позже, манжены он носил не из одного щегольства: они были нужны ему для фокусов и для шпаргалок.

К счастью для меня, моим соседом по парте оказался спокойный и толковый Костя Зуюс, с которым я впервые встретился на письменном экзамене по арифметике.

Он подробно рассказал мне, что́ прошли в классе с начала учебного года по каждому предмету, и самым обстоятельным образом познакомил меня с гимназическими порядками и правилами.

Если бы не Костя, я бы не раз стоял в углу. Накануне того дня, когда по расписанию была у нас география, он заботливо напоминал мне, чтобы я не забыл принести атлас. Всех, кто являлся в класс без атласа, Павел Иванович неукоснительно ставил к стенке и записывал в классный журнал.

Атлас был очень велик и не влезал в ранец, а носить его под мышкой было неудобно. В ненастную погоду его мочил дождь, в мороз из-за него коченели руки. Но Павел Иванович был неумолим.

Перед началом урока этот грузный человек, казавшийся нам настоящим великаном, бесшумно, чуть ли не на цыпочках, обходил ряды парт в поисках очередной жертвы.

Ребята, уже прошедшие осмотр, пытались иной раз передать из-под парты свои атласы тем, у кого их не было, но зоркий Павел Иванович рано или поздно обнаруживал этот маневр и выстраивал вдоль стены добрую половину класса.

Впрочем, такое наказание сулило и некоторые выгоды: стоящих в углу наш географ почти никогда не вызывал отвечать урок. Этим пользовались самые заядлые лодыри. Угол спасал их от двойки.

Павел Иванович учил нас географии несколько лет, пока прямо из гимназии не угодил в сумасшедший дом. Говорили, что на одном из уроков он взобрался на подоконник и пытался пролезть сквозь форточку. После долгой борьбы сторожа сняли его с подоконника и увезли на извозчике.

Больше мы никогда его не видали.

В первые годы моего пребывания в гимназии нашим классным наставником, переходившим с нами из класса в класс, был Владимир Иванович Теплых, о котором я столько слышал от старшего брата.

И до сих пор я бережно храню в своей памяти навсегда отпечатавшийся в ней облик этого особенного, не совсем понятного, но по-своему необыкновенно привлекательного человека.

Как сейчас, вижу его высокую, стройную фигуру в отлично сшитом форменном сюртуке. Белоснежно поблескивает грудь его крахмальной рубашки, безупречно свежи воротничок и манжеты. Светло-русые волосы уже слегка поредели, но зачесаны так, что лысина почти не видна, хоть он и любит шутливо повторять латинскую поговорку: «Calvitium non est vitium sed prudentiae judicium» — «Лысина не порок, а свидетельство мудрости».

Легкими и уверенными шагами поднимается он на кафедру, свободным, красивым движением раскладывает книги и открывает классный журнал. Даже отметки он ставит красиво — изящным, тонким почерком. А как умеет он радовать нас метким, шутливым словцом, веселой, чуть лукавой улыбкой в те минуты, когда хорошо настроен. От этой улыбки и сам он светлеет — светлеют глаза, волосы, острая золотистая бородка — да и вокруг как будто становится светлей.

Ни один учитель не умел так держать в руках класс, как умел Владимир Иванович. Он никого не ставил в угол, не оставлял без обеда, но ученики боялись его проницательных, слегка прищуренных глаз, его холодного и спокойного неодобрения больше, чем ворчливой ругани Сапожника или визгливых и резких выкриков Густава Густавовича Рихмана, учителя немецкого языка.

До моего поступления в гимназию любимцем Владимира Ивановича был мой старший брат. Как бы по наследству его расположение перешло и ко мне.

Он преподавал нам с первого класса латынь, а с третьего и греческий язык, но, в сущности, ему, а не учителям русского языка — Антонову и Пустовойтову — обязаны мы тем, что по-настоящему почувствовали и полюбили живую, некнижную русскую речь.

Не много встречал я на своем веку людей, которые бы так талантливо, смело, по-хозяйски владели родным языком. В речи его не было и тени поддельной простонародности, и в то же время она ничуть не была похожа на тот отвлеченный, малокровный, излишне правильный, лишенный склада и лада язык, на котором объяснялось большинство наших учителей.

Отвечая ему урок, мы чувствовали по выражению его лица, по легкой усмешке или движению бровей, как оценивает он каждое наше слово. Он морщился, когда слышал банальность, вычурность или улавливал в нашей речи фальшивую интонацию. В сущности, таким образом он постепенно и незаметно воспитывал наш вкус.

Не знаю, был ли Владимир Иванович хорошим педагогом

в общепринятом значении этого слова. Занимался он главным образом со способными и заинтересованными в изучении языка ребятами. К тупицам и неряхам относился с нескрываемым пренебрежением. Зато лучшие ученики шагали у него семимильными шагами. Они изучали латинский и греческий языки как бы на фоне истории Рима и Греции,— так увлекательно рассказывал Теплых в промежутках между грамматическими правилами о героях Троянской войны, о походах Юлия Цезаря, об одежде, утвари и обычаях древних времен.

Однажды он явился к нам на урок географии вместо отсутствовавшего в этот день Павла Ивановича. Он не стал проверять, есть ли у нас атласы, никого не вызвал к доске, а рассказал нам о своем путешествии в Японию.

Уж одно то, что рассказывал он о далекой, почти сказочной стране не с чужих слов, должно было покорить нас, ребят уездного городка, которым даже поездка в Москву или в Харьков представлялась далеким и заманчивым путешествием. Мы читали книги о дальних плаваниях, но впервые видели перед собой человека, который сам пересек на корабле синие пространства, занимавшие столько места на нашей карте. Незадолго перед тем я и Костя Зуюс не отрываясь прочли «Фрегат «Паллада» Гончарова и даже проследили по карте весь путь этого корабля. И вот теперь Владимир Иванович так приблизил к нам все, о чем мы узнали из книги, словно подал надежду, что и нам доведется когда-нибудь постранствовать по белу свету.

Среди учителей Теплых держался особняком. Он почти не скрывал своего презрения к Сапожнику — Антонову, к недалекому и невежественному Густаву Густавовичу Рихману, к словоохотливому и самодовольному географу, а водил дружбу только со скромным учителем рисования Дмитрием Семеновичем Коняевым, которого большинство сослуживцев, в сущности, и за преподавателя не считало,— экий, подумаешь, важный предмет — рисование!

С этим мягким, простодушным, чуждым служебного честолюбия и далеким от всяких дрязг человеком, которому судьба помешала стать художником, Владимира Ивановича связывали какие-то общие интересы и вкусы. Они вместе ездили на охоту или на рыбную ловлю.

Но чаще всего Владимир Иванович бывал один.

Почему этот одаренный, тонкий, знающий себе цену человек жил безвыездно в нашем уездном городе, отказываясь от перевода в другие города, где ему предлагали должность инспектора и даже директора,— понять трудно.

Нас, учеников, пленяли его гордость и независимость. Когда к нам в гимназию пожаловал однажды сам попечитель Харьковского учебного округа, впоследствии товарищ министра, тайный

советник фон Анреп, во фраке с большой орденской звездой, Владимир Иванович продолжал как ни в чем не бывало свой очередной урок и будто нарочно вызывал к доске самых посредственных, не блещущих способностями и познаниями учеников. Фон Анреп, долго сохранявший на своем лице благосклонную улыбку вельможи, в конце концов нахмурился и важно удалился, не сказав ни слова.

Теплых был загадкой для всего города. Толки и пересуды сопровождали каждый его шаг. Рассказывали, будто изредка он заходит в городской клуб и в полном одиночестве выпивает бутылку шампанского или рюмку коньяку с черным кофе. Но ничего более предосудительного в его поведении обнаружить не могли.

Очевидно, он не был по своему происхождению аристократом (об этом свидетельствовала его сибирская, крестьянская фамилия), но как не похож он был на других учителей провинциальной гимназии, которые давно опустились, забыли о своих университетских годах и стали чиновниками и обывателями.

До поступления в гимназию я слышал много разговоров о его строгости, о том, что заслужить у него пятерку труднее, чем Георгиевский крест на войне.

Но, видно, моему старшему брату и мне повезло. Нас обоих он называл «триариями» (отборными воинами римской армии), редко вызывал к доске, а с места спрашивал только тогда, когда долго не мог добиться от других верного ответа. В таких случаях он шутливо говорил: «Res venit ad triarios!» — «Дело доходит до триариев!»

Каждую субботу я приносил домой заполненную и подписанную им страницу ученического дневника, пестревшую тщательно, с удовольствием выведенными пятерками и даже пятерками с крестом.

Меня — в отличие от старшего брата — он обычно звал «Маршачком».

— А ну-ка, пусть Маршачок расскажет нам про двух Аяксов — Аякса Теламоновича и Аякса Оилеевича!

Героев «Илиады» я знал в то время не хуже, чем многие из нынешних ребят знают наших чемпионов футбола, хоккея, бокса. Я мог, не задумавшись, сказать, кто из ахеян и троянцев превосходит других силой, весом, ловкостью, кто из них первый в метании копья и кому нет равного в стрельбе из лука.

Еще в младших классах гимназии я перевел стихами целую оду Горация «В ком спасение» — «In quo salus est».

До сих пор помню несколько строчек из этого перевода:

Когда стада свои на горы
Погнал из моря бог Протей,—
В лесных деревьях, бывших прежде

Убежищем для голубей,
Застряли рыбы. Лани плыли
По Тибру. Тибр поворотил
Свое течение и волны
На храм богини устремил
И памятник царя...

Так сумел заинтересовать нас Владимир Иванович древними языками и античной литературой — предметами, столь ненавистными большинству учеников классических гимназий.

Но как ни уважали мы нашего латиниста, мы все же порядком побаивались его.

Гораздо проще и свободнее чувствовал себя наш класс на уроках Якова Константиновича Пустовойтова, который временно заменял у нас Антонова. Он еще не дослужился до чина, и потому на его золотых наплечниках не было ни одной звездочки. Говорил он грудным, хриплым, словно надсаженным голосом. Часто покрикивал на ребят и давал им самые невероятные прозвища — по большей части из Достоевского — «Свидригайлов», «Лебезятников» и проч. Однако все мы чувствовали, что на самом-то деле наш мрачноватый Яков Константинович сердечен и незлобив и только из какой-то понятной детям застенчивости, а может быть, и ради самозащиты скрывает свою душевную мягкость и доброту. Роста он был небольшого, и синий форменный сюртук его казался непомерно длинным, даже как будто мешал ему ходить.

Не знаю, сколько лет было в это время Пустовойтову. Должно быть, он был еще довольно молод, но уже производил впечатление неудачника, который давно махнул на все рукой и не надеется больше ни на какое будущее.

Но почему-то таких, не слишком счастливых, людей ребята особенно любят.

Мне нравился его добродушно-ворчливый юмор, его хмурая улыбка и глуховатый голос. Я жалел его до глубины души, когда он приходил в класс на пять минут позже обычного, чем-то огорченный (видимо, какими-нибудь объяснениями с директором или инспектором). Не раз хотелось мне выразить ему свою нежность, но для этого не было подходящего случая.

Однажды весной вся наша гимназия отправилась за город на традиционную прогулку со своим духовым оркестром, с корзинами, полными бутербродов, и сверкающими на солнце большими самоварами. Все мы — от директора до самого младшего приготовишки — были в том счастливом, приподнятом настроении духа, когда исчезают преграды между людьми разных возрастов и положений.

В чуть позеленевшей загородной роще я отозвал Пустовойтова в сторону и после минутного молчания сказал ему, задыхаясь от волнения:

— Яков Константинович, я вас люблю!

Он пожал плечами, чуть-чуть улыбнулся и ответил мне своим негромким, с легкой хрипотцой голосом:

— Ну и что же нам теперь делать?

Я смутился. Он заметил это и ласково похлопал меня по плечу.

— Ладно, ступайте, ступайте, побегайте!

Так окончилось первое мое объяснение в любви.

Пробыл у нас в гимназии Яков Константинович недолго и ушел как-то незаметно.

Из учителей, у которых не было чина и звездочек на погонах, запомнился мне еще один. Это был преподаватель уездного училища, явившийся к нам однажды на урок вместо заболевшего математика Макарова.

Ребята знали, что Барбароссы в этот день не будет, и, как всегда на «пустом» уроке, уютно занялись самыми разнообразными делами: одни читали книгу, другие играли в перышки, третьи, сдвинув парты, проделывали между ними замысловатые акробатические упражнения. Как вдруг дверь открылась, и на пороге появился толстый, тяжело отдувающийся надзиратель, по прозвищу «Самовар». Он велел всем сесть на свои места и привести в порядок парты, а потом громогласно объявил, что заниматься с нами будет в этот день Серафим Иванович Кобозев.

В ответ послышался гул неодобрения, но быстрый и энергичный Самовар сразу же водворил порядок.

Едва он удалился, в класс вошел, сияя улыбкой, завитой и напомаженный молодой человек в синем вицмундире, ничем не отличавшемся от вицмундиров наших гимназических учителей. Только пуговицы и золотые наплечники были у него, пожалуй, поярче и поновее.

Ученики с насмешливым любопытством разглядывали этого белокурого франта с задорным хохолком и шелковистыми усиками.

Большинство гимназистов смотрело свысока на «уездников» — учеников местного уездного училища, которые нередко появлялись на улицах босиком, без формы, с дешевыми желтыми гербами на помятых картузах. Из них чаще всего выходили приказчики, конторщики, счетоводы.

Да и преподаватели уездного училища казались гимназистам птицами невысокого полета.

При появлении Кобозева всего лишь пятеро или шестеро ре-

бят встало с мест; остальные даже не пошевелились или только слегка приподнялись..

Серафим Иванович покраснел, но не сделал никому замечания. Взойдя на кафедру, он уселся поудобнее,— будто он и в самом деле был учителем гимназии,— и спросил, что нам на сегодня задано.

— Ничего не задано! — коротко и хмуро ответил за всех Тищенко.

Кобозев недоверчиво пожал плечами.

— Ну, а что же вы в последнее время проходили?

— Пройденное повторяли! — глухо отозвался Колька Дьячков, сосед Тищенко по парте.

Кобозев нахмурился.

— Ах, вот как? Пройденное? Ну так не угодно ли вам, господа, решить задачку? На пройденное...

Этого никто не ожидал. Кажется, еще никогда не бывало такого случая, чтобы учитель, временно заменяющий другого, давал классу письменную работу.

— Итак,— продолжал Серафим Иванович,— раскройте, пожалуйста, свои тетрадки и запишите условие.

И он принялся диктовать медленно и четко.

У нас не было ни малейшего желания решать задачу, но и не хотелось ударить в грязь лицом перед этим красавчиком из уездного училища. Чего доброго, он и пришел-то к нам только для того, чтобы посрамить ненавистных гимназистов.

Ребята перестали перешептываться и склонились над тетрадками. Каждый понимал, что, если мы не решим задачи, это будет позором не только для нашего класса, но и для всей гимназии.

На первый взгляд задача казалась довольно простой, но почему-то, как я ни бился над ней, она мне не давалась. Несколько раз перечитывал я условие и с каждым разом все больше запутывался.

Искоса поглядел я по сторонам. Все сидели озабоченные и смущенные. Только Степа Чердынцев беспечно посматривал в окно: списывать было ему пока еще не у кого. Даже наш лучший математик, маленький Митя Лихоносов, сердито покусывал ноготь большого пальца, вместо того чтобы выводить у себя в тетрадке всегда послушные ему цифры.

— Что же вы задумались, господа? — слегка усмехаясь, спросил Кобозев.— Кажется, я вас немного озадачил этой задачкой? Ну, подумайте, подумайте!

И, довольный своей шуткой, он сошел с кафедры и, поскрипывая новыми, до блеска начищенными ботинками, прошелся между рядами парт.

— А вы как будто и вовсе сложили оружие? — спросил он, остановившись у парты, за которой сидели Дьячков и Тищенко.

— Да уж очень трудная! — пробормотал Дьячков.

— Ну, разве? — удивился Серафим Иванович.— А вот у нас в Уездном и потруднее задачки решают!

Это уже был прямой вызов.

Мы представили себе, с каким удовольствием будет рассказывать этот белокурый Серафим своим «уездникам» о том, как оскандалились у него на уроке гимназисты.

Все головы снова склонились над тетрадками. Перья заскрипели. Однако никто не поднимался с места, чтобы положить на кафедру тетрадку и сказать: «Готово, Серафим Иванович! Я решил».

Но вот в конце класса послышалось какое-то движение. Стукнула крышка парты. Мы разом обернулись: неужели у кого-то задача решена?

Да, так и есть. Толстый Баландин поднял руку и весь тянется к Серафиму Ивановичу.

Кобозев, слегка улыбаясь, шагнул в его сторону.

— Додумались? Вот и прекрасно!

Баландин смущенно потупился.

— Да нет, выйти позвольте!

В классе засмеялись. Усмехнулся и Кобозев.

— Ступайте! — сказал он небрежно.— А вы, господа, поторапливайтесь. До звонка уже немного осталось.

Но нас всех словно кто-то заколдовал. Мы делили, множили, вычитали, складывали, но всё без толку.

И вот в ту минуту, когда мне наконец со всей ясностью представилось решение, по всему коридору пронесся длинный дребезжащий звонок.

Серафим Иванович взял с кафедры классный журнал, озарил нас лукаво-приветливой улыбкой и сказал на прощанье громко и отчетливо:

— До свиданья, господа! Советую вам еще разок повторить пройденное!

Я дружил почти со всеми ребятами моего класса, особенно с мечтательным, голубоглазым Костей Зуюсом, но чаще всего проводил свободное от уроков время в обществе старшеклассников и чувствовал себя среди них довольно свободно. Это была молодежь конца девяностых годов, много читавшая и горячо спорившая. Молодые люди зачитывались Добролюбовым и Чернышевским, ревностно занимались естествознанием, рассуждали о смысле жизни и о призвании человека. Но все это не мешало им веселиться, петь хором студенческие песни и даже влюбляться. Вот только танцы были у них тогда не в моде: это считалось делом легкомысленным и даже пошлым. Ведь они были люди

серьезные! Про одного из них — рослого, широкоплечего и скуластого восьмиклассника Вячеслава Лебедева — в городе рассказывали, будто он для изучения анатомии вырыл ночью на городском кладбище скелет. Не знаю, были ли справедливы эти слухи. А впрочем, по внешнему облику Вячеслава, такому решительному и загадочному, можно было предположить, что он способен перекопать во славу науки не одну могилу, а целую кладбищенскую аллею.

Но, пожалуй, душой кружка молодежи был не он, а его белокурая сестра — семиклассница Лида Лебедева. Несмотря на то, что она еще носила школьную форму — коричневое платье и черный передник, а под скромным плоским бантом ее круглой шляпки стыдливо прятался крошечный гимназический герб, Лида была больше похожа на столичную курсистку, чем на гимназистку из глухой провинции. Она была не менее серьезна, чем ее брат, но гораздо мягче, приветливее и даже в самых ожесточенных спорах сохраняла веселое изящество.

Когда собравшиеся на домашнюю вечеринку рослые гимназисты, окружив рояль, увлеченно, до самозабвения, тянули «Дубинушку» или «Назови мне такую обитель», Лида по слуху подбирала аккомпанемент, но стоило ей уступить место кому-нибудь другому, хор почему-то сразу редел, и песня уже не звучала так истово и горячо.

Я был очень горд тем, что старшеклассники так радушно и дружелюбно принимают меня в свою среду, и ради их скромных вечеринок с шумными спорами и разноголосым пением готов был отказаться даже от вечернего гуляния в городском саду.

А ведь еще недавно мне казалось, что на свете нет большего наслаждения, чем это воскресное гуляние, за которое надо было платить гривенник. Раздобыть гривенник было не так-то легко. Иной раз приходилось целых два дня отказываться на большой перемене от бутерброда с колбасой, стоившего всего только пять копеек. Но эта жертва так щедро вознаграждалась, когда с билетом в руке вы свободно и уверенно входили в охраняемые контролером ворота и вас мгновенно подхватывали размеренные, сверкающие серебром и медью звуки духового оркестра.

Под музыку, то бодрую, то задумчиво-печальную, вы неслись, как на крыльях, по широким, освещенным поверху аллеям в дальнюю глубь сада, где можно было бродить в полутьме и в прохладе, не рискуя попасться на глаза шнырявшим в поисках очередной жертвы гимназическим надзирателям.

Если бы в придачу к единственному гривеннику у вас в кармане оказалось еще три-четыре, вы могли бы проникнуть в таинственное двухэтажное здание в самом начале сада, откуда до вас случайно долетали то мужские, то женские голоса, то раскатистый хохот, то неудержимые, захлебывающиеся рыдания.

У входа в этот необыкновенный дом были расклеены большие разноцветные листы тонкой бумаги, на которых — во всю ширину — красовалось непонятное слово «Трильби», а под ним напечатанные разными шрифтами — то крупным, то мелким — ряды фамилий, по большей части двойных.

Это был театр, летний городской театр. Играли в нем иной раз приезжие актеры, но чаще всего местные врачи, адвокаты, чиновники, жены аптекарей, офицерские дочки, а режиссером у них был пламенный любитель театрального искусства — земский начальник, капитан в отставке Левицкий.

Как они играли, хорошо или плохо, я не знаю. Да в те времена такого вопроса у меня и не возникало. С восхищением и благодарностью смотрел я на сцену, когда передо мною взвивался театральный занавес.

Все пленяло меня в театре: и частые огоньки рампы, и торопливый перестук молотков перед поднятием занавеса, и смена довольно примитивных декораций, изображавших то гостиную с атласной мебелью и золочеными столиками, то перекресток дороги, то аллею в саду, а иной раз и нечто совершенно неопределенное.

Но больше всего меня поражало то, что взрослые люди, суетящиеся на сцене, заняты игрой, словно серьезным и важным делом.

Мне казалось, что самое трудное в актерском искусстве — это умение как будто по-настоящему смеяться и плакать. Но, пожалуй, еще труднее удерживаться от смеха там, где смеяться не положено.

А как удивляла меня необычайная память актеров, быстро обменивавшихся репликами и произносивших без единой остановки и запинки длиннейшие монологи.

Впрочем, удивление мое несколько ослабело, когда до моего слуха донесся сиплый, но довольно явственный шепот из будки перед сценой.

Почти каждая фраза, которую должны были произнести актеры, долетала до меня заранее из этой загадочной будки.

Эх, не умеют подсказывать! Поучились бы у нашего Степки Чердынцева.

ПРИГЛАШЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРУ

Начало двадцатого века было и началом резкого перелома в моей жизни.

Через некоторое время после того, как я поступил в гимназию, семья наша навсегда покинула заводскэй двор и пригород-

ную слободку и переселилась наконец в городскую квартиру — в двухэтажный деревянный дом, над калиткой которого было написано крупными буквами:

ДОМ АГАРКОВЫХ

С переездом в город кончилось, в сущности, мое детство.

Быстрее понеслось время. Как будто кто-то придал часовым стрелкам новую скорость.

На заводском дворе мне порой некуда было девать часы и целые дни. Лето тянулось бесконечно долго — куда дольше, чем летние каникулы моей гимназической поры.

Хоть прямое, сознательное любование природой было мне, как и другим ребятам в этом возрасте, чуждо, но как-то на ходу, на бегу, между делом и среди игры я в глубине души радовался, как никогда потом, нашим старым, ветвистым деревьям, о корни которых столько раз спотыкался, оркестру кузнечиков в жаркий полдень, кружению ласточек на закате и даже предвечерней перекличке ворон над мрачным, полуразрушенным заводом...

После нескольких лет жизни на Майдане город с десятком тысяч жителей показался мне настоящей столицей. Он поразил меня не только своими каменными домами (изредка даже двухэтажными!), но и какой-то своеобразной свободой, которой пользуются горожане по сравнению с жителями пригорода.

Город гораздо меньше зависит от погоды, чем слободка, где после проливного дождя улица становится непроходимой. В городе вы не связаны с какой-нибудь одной хлебопекарней или лавочкой: столько здесь булочных и пекарен — выбирай любую!

Здесь вам не надо, как на слободке, просить лошадь у соседа, чтобы съездить куда-нибудь. По улицам катят взад и вперед, зазывая седоков, извозчики в пролетках с двумя прозрачными фонарями по бокам. За гривенник вы можете проехаться барином, разглядывая вывески лавок по обеим сторонам улицы.

А как сочно, как вкусно называются эти городские лавки — бакалея, галантерея, торговля москательными товарами. И в каждой лавке свой запах, свой уклад, свои особенные повадки у продавцов. Солидный, неторопливый, упитанный приказчик отпускает крупу, отвешивает сахар или режет для вас колбасу в бакалейной лавке. Гораздо более гибкий, проворный, обладающий светскими манерами продавец обслуживает покупательниц в галантерее. И такие рослые, степенные, неразговорчивые дядьки грохочут своим товаром в железоскобяных лавках.

В самом сердце города живет своей особой жизнью целый каменный городок, состоящий из множества лавок и крытых

переходов. Это Гостиный ряд, так приветливо манящий прохожих нарядными витринами днем — и такой неприступный, замкнутый на все замки и охраняемый цепными псами ночью.

А есть на одной из главных улиц большой, двухэтажный дом, где в любое время суток — и днем и ночью — радушно встречают приходящих и приезжающих. Над крышей этого дома, во всю ее длину, прибита вывеска, которую я с таким трудом разбирал в те времена, когда приходил в город с Майдана:

КОММЕРЧЕСКИЕ НОМЕРА

Я знал, что этот дом — гостиница и что люди здесь живут не так, как в других домах, не постоянно, а день-другой, самое большее — неделю или две. У дверей гостиницы всегда стоят и разговаривают между собой или со швейцаром приезжие. Среди них часто встречаются люди, бреющие не только бороду, но и усы (что в то время было еще редкостью). Люди эти завязывают галстуки широким бантом и говорят какими-то особенными — звучными и раскатистыми — голосами. С ними — дамы в больших шляпах с перьями и в нарядных платьях, каких не носят у нас в городе.

Это — те самые приезжие актеры и актрисы, которые так великолепно рыдают и смеются в театре.

Но чаще всего из дверей гостиницы выходит усатый и бородатый народ — в картузах, в поддевках и в сапогах бутылками.

У тех, кто носит только усы,— поддевки несколько более щеголеватые, в талию, да и картузы у них поаккуратнее, с высоким верхом наподобие военных фуражек. А у людей бородатых картузы помягче, пониже, поддевки потолще и пошире в поясе.

Усачи — это мелкие помещики нашего уезда или управляющие имениями. Бородачи — купцы.

Я не раз заглядывал в открытую дверь гостиницы, стараясь представить себе, как живут все эти незнакомые люди в таинственных комнатах, называемых «номерами».

Неожиданно мне представился случай побывать в «Коммерческих номерах». Произошло это так.

На одной из вечеринок в квартире у Лебедевых, где чаще всего собиралась молодежь — гимназисты и гимназистки старших классов,— увидел я как-то необычного гостя, петербургского студента. Это был первый встреченный мною, однако же совсем незаурядный студент. Он был сыном богатого, но весьма либерального помещика Бобровского уезда и приезжал из отцовского имения на собственной тройке с колокольчиками и бубен-

цами. Носил студенческую фуражку с голубым околышем и щегольскую шинель офицерского покроя с широкой пелериной (такую шинель называли «николаевской»).

Собою он был хорош, статен, высок. Черты лица были у него строгие, правильные, глаза — веселые, блестящие, светло-голубые. Небольшая русая бородка была аккуратно расчесана.

Наши серьезные и самолюбивые гимназисты-старшеклассники глядели на него искоса, исподлобья — отчасти потому, что считали его баричем и «белоподкладочником», отчасти, может быть, из ревности,— так представителен и великолепен был он в своем форменном студенческом сюртуке, так непринужденно и весело смеялся, сверкая ровными белыми зубами. А бородку он как будто нарочно отпустил для того, чтобы всем было видно, что он давно уже перешел из юношеского в более солидный возраст.

Впрочем, он всячески старался держаться с нашими усатыми гимназистами запросто, на равной ноге, пел с ними вольные и задорные студенческие песни, вроде:

У студента под конторкой
Пузырек нашли с касторкой.

Динамит — не динамит,
А без пороха палит.

У курсистки под подушкой
Нашли пудры фунт с осьмушкой...

Или:

Там, где тинный Булак
Со Казанкой-рекой,
Точно братец с сестрой,
Обнимаются,

От зари до́ зари,
Лишь зажгут фонари,
Вереницей студенты
Шатаются.

А Харлампий святой
С золотой головой,
Сверху глядя на них,
Улыбается.

Он и сам бы не прочь
Погулять с ними ночь,
Да на старости лет
Не решается...

Аккомпанировала, как всегда, Лида Лебедева. Однако присутствие петербургского гостя ее немного смущало. Она сбивалась и, покраснев, уступала место у рояля студенту, который легко и ловко подбирал любой мотив длинными, сильными пальцами с двумя перстнями — на указательном и безымянном.

Я был значительно моложе всех присутствующих и в пении участия не принимал — стыдился показать, что голос у меня еще совсем детский.

Однако студент обратил свое внимание и на меня. Узнав от кого-то — вероятно, от Лиды Лебедевой,— что я пишу стихи, он дружески похлопал меня по плечу и предложил пристроить несколько моих стихотворений в одном из петербургских толстых журналов — по моему выбору — например, в «Русском богатстве» или в «Мире божьем»... Но предварительно он и сам бы хотел познакомиться с моей поэзией.

В конце концов мы условились, что я приду к нему на следующее утро в «Коммерческие номера». На всю жизнь запомнил я номер, в котором проживал мой студент: пятнадцатый.

Еще бы не запомнить! Взрослый человек, остановившийся в гостинице, студент петербургского университета (это звание казалось мне тогда равным чуть ли не званию профессора или академика) приглашает меня к себе в номер, чтобы послушать мои стихи и потолковать об устройстве их в одном из столичных журналов... Все это было так невероятно, что я решил ничего не рассказывать своим домашним до завтрашнего дня.

Вернувшись домой, я долго ходил по комнате, раздумывая о том, какие из моих стихов больше всего подошли бы для толстых журналов. Это была неразрешимая задача. Петербургских журналов я еще никогда не читал, а только видел на столах в библиотеке. Кто знает, какие стихи могут понравиться редакторам «Русского богатства» и «Мира божьего»!..

После долгих сомнений и размышлений я решил переписать начисто всю тетрадку стихов.

Бережно и старательно до глубокой ночи переписывал я стихотворение за стихотворением, тут же на ходу исправляя строчки, которые мне казались слабыми.

Утром я проснулся позже, чем предполагал, и, захватив с собой тетрадку, опрометью помчался в гостиницу, где, как мне представлялось, меня уже давно поджидает мой великолепный студент в том же самом щегольском, застегнутом на все пуговицы сюртуке, в каком я его видел накануне.

Вот они наконец — эти «Коммерческие номера»!

Вместе с несколькими взрослыми людьми — с двумя офицерами и дамой в широкой шляпе — вошел я в подъезд гостиницы. Бородатый старик швейцар в поношенной ливрее с давно по-

тускневшими пуговицами и позументами поклонился вошедшим взрослым, а меня спросил:

— Ты к кому, мальчик?

Я назвал студента.

— А, в пятнадцатый! — сказал бородач.— Только их, кажись, дома нету. С вечера не вернулись.

И он указал рукой на доску, на которой под номерами висели ключи от комнат.

Я поколебался немного, но все-таки решил постучаться к студенту. Не может быть, чтобы такой серьезный человек меня обманул.

По обе стороны длинного полутемного коридора я увидел множество дверей. Одни из них были полуоткрыты — так, что я мог разглядеть бреющегося перед стенным зеркалом толстого человека в синих штанах с красными кантами и с болтающимися сзади подтяжками или целую компанию мужчин и женщин, завтракавшую за столом, уставленным графинами, тарелками, чайниками и пестрыми чашками.

Другие двери были плотно и таинственно закрыты, и перед ними, точно на страже, стояли туфли, ботинки или высокие сапоги со шпорами.

Вот и номер, где живет мой студент. Я тихонько постучался, но ответа не было. Подождав минуты две, я постучался сильней, но и на этот раз никто не ответил. Неужели студент и в самом деле не вернулся с вечера? Где же и когда я его теперь найду?

Вот тебе и «Мир божий»!

Я был не на шутку огорчен. Не оттого, что терял надежду увидеть свои стихи напечатанными в толстом журнале. Нет, мне было жаль какого-то обещанного и несостоявшегося праздника...

Пробегавший мимо меня с подносом на вытянутой руке молодой парень в белой рубахе навыпуск и в белых штанах крикнул мне на ходу:

— А вы заходите без стука! Чего стучать — соседей будить? Нонче воскресенье — проезжающие спят допоздна!

От его подноса, накрытого салфеткой, вкусно пахло блинами, топленым маслом и какой-то копченой рыбой. У меня даже засосало под ложечкой — ведь я ушел из дому без завтрака.

Послушавшись совета, я нажал ручку двери и вошел в номер.

Первое, что попалось мне на глаза в просторной и все же душной комнате, была роскошная шинель студента, небрежно брошенная на спинку кресла. Со спинки другого кресла свешивались синие студенческие брюки со штрипками.

Значит, он дома, в номере. Но почему же его не видно?

Тут только я услышал громкий храп из-за пестрой ширмы,

которая была похожа на те, что носят на спине бродячие петрушечники.

Спит. Я тихонько уселся на стул у небольшого, накрытого узорчатой скатертью стола, на котором стояли пустой графин, бутылка темно-красного вина с черно-золотым заграничным ярлыком и сифон сельтерской воды.

Я стал внимательно разглядывать номер: умывальник с большой фарфоровой чашкой и кувшином, несколько позолоченных стульев с потертыми плюшевыми сиденьями и такой же диванчик. А над диванчиком на стене — картина в золотой раме, изображающая румяную красавицу в красном платье с распущенными по плечам пышными волосами. Почему-то по одну сторону пробора волосы были иссиня-черные, а по другую — белокурые.

Под изображением было напечатано крупными золотыми буквами: «Туалетное мыло Ралле и К°».

Осмотрев все, что было в номере, я стал невольно прислушиваться к храпу. Он вовсе не был так однообразен, как показалось мне вначале: в нем было и хрипение, и мурлыканье, и бульканье, и свист.

Как-то незаметно я и сам задремал и выронил из рук толстую книгу, между страницами которой была у меня моя новенькая тетрадка со стихами. Я заложил ее в книгу, чтобы она не помялась дорогой.

— Ммм... кто там? — сонным и недовольным голосом спросил студент.

Я не знал, что и ответить. Вряд ли он запомнил мою фамилию.

— Это я... Вы помните, вчера у Лебедевых... Вы просили занести вам стихи для журналов...

— А, поэт! — уже более бодрым голосом сказал студент.— Отлично. Сейчас я буду весь к вашим услугам!

Через несколько минут он вышел из-за ширмы в каком-то полосатом халате, подпоясанном шнурком с красными кистями. Волосы прилипли у него ко лбу, нерасчесанная бородка сбилась и смотрела куда-то вкось.

После долгого умыванья с фырканьем и плеском он пригладил свои, уже слегка поредевшие, волосы, расправил бородку и, поморщившись, сказал:

— Фу, какой вкус во рту противный!.. Будто всю ночь медный ключ сосал... Сельтерской, что ли, выпить?

И, нажав ручку сифона, он нацедил себе полный стакан щипучей, пенистой воды.

— Так-с,— сказал он, усаживаясь в кресло, на котором висели его брюки.— Самоварчик закажем, а?.. И, может быть, осетринки с хреном...— добавил он медленно и задумчиво.

Вызвав звонком полового и заказав самовар, осетрину и графинчик зубровки, он снова уселся в кресло и уставился на меня своими голубыми, но на этот раз несколько мутноватыми глазами с красными прожилками в белках.

— Значит, вы мне стишки принесли? Вот и отлично. Давайте-ка их сюда, давайте!

Я молча протянул ему свою тетрадку. Он небрежно раскрыл ее и перевернул страницу, другую.

— Так, так,— сказал он.— Почерк у вас отличный. Превосходный. Вероятно, по чистописанию пятерка? А?

Немного обиженный, я пробормотал, что чистописания у нас уже давно нет.

— Ах, простите! Конечно, нет... Но пишете вы все-таки прекрасно,— сказал он, вновь раскрывая мою тетрадку.

— Вы сами прочтете стихи или мне вам прочесть? — нерешительно спросил я, видя, как рассеянно перебрасывает он страницы.

— Нет, зачем же?..— сказал студент, позевывая.— Кто же это с самого утра — да еще натощак — стихи читает? Стихи приятно декламировать вечером и, разумеется, в обществе женщин. Не так ли?

И он с размаху бросил мою бедную тетрадку в раскрытый чемодан, где лежали носки, платки, крахмальные воротнички и сорочки.

В это время дверь отворилась, и в номер, скользя на мягких подошвах и поигрывая подносом с графинчиком и тарелками, вбежал половой.

— Что ж, закусим? — спросил студент, разворачивая салфетку.— Присаживайтесь, поэт!

— Спасибо, не хочу,— сказал я сдавленным голосом и, неловко поклонившись, вышел в коридор.

Я уже ясно понимал, что стихи мои не увидят ни «Мира божьего», ни «Русского богатства»... Но взять их обратно у меня не хватило храбрости.

«ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ»

Если бы судьба случайно не свела меня с этим столичным студентом, мне бы и в голову не пришла мысль послать свою рукопись в редакцию какого-нибудь журнала.

Насколько я себя помню, пристрастие к стихам появилось у меня с самого раннего возраста.

В сущности, «писать стихи» я начал задолго до того, как научился писать. Я сочинял двустишия, а иногда и четверостишия устно, про себя, но скоро забывал придуманные на лету

строчки. Постепенно от этого «устного творчества» я перешел к письменному.

Мне было лет пять-шесть, когда я впервые участвовал в детском утреннике. На маленькой сцене, специально построенной по этому случаю в саду у наших знакомых, старшие ребята представляли какую-то пьеску, а мы, младшие, выступали в дивертисменте — пели, читали стихи или плясали русского в красных рубашках, подпоясанных шнурками. Публика разместилась на стульях, расставленных перед сценой. Когда очередь дошла до меня, я быстро сбежал по лесенке со сцены и, шагая по проходу между рядами стульев, стал громко и размеренно читать стихи, отбивая шагами такт. Где-то в задних рядах публики меня наконец задержали и вернули на сцену, объяснив мне, что во время чтения стихов надо не ходить, а стоять смирно. Это меня очень удивило и даже огорчило. Разве устоишь на месте, когда строчки стихов так и подмывают двигаться, шагать, отстукивать такт...

По совести говоря, я и до сих пор думаю, что был тогда прав. Известно, что в греческом театре хор не стоял на одном месте, а мерно двигался. Да и самое деление стиха на «стопы» оправдывает мое детское представление о том, как надо читать стихи.

Но переубедить взрослых пятилетнему человеку нелегко. Мне пришлось дочитать стихотворение со сцены, но уже безо всякого удовольствия.

Однако придумывать стихи я не перестал.

К двенадцати-тринадцати годам я сочинял целые поэмы в несколько глав и был сотрудником и соредактором литературно-художественного журнала «Первые попытки».

Другим редактором этого рукописного журнала был мой приятель Леня Гришанин. Как и большинство друзей моего детства, он был значительно старше меня — лет на шесть, на семь, по крайней мере. В школе он никогда не учился, так как с малых лет был калекой: ноги у него были согнуты в коленях, и ходил он будто на корточках, сильно шаркая на ходу ногами. Из дому он почти никогда не отлучался и учился в одиночку — по гимназической программе. И все же успевал куда больше своих сверстников-гимназистов, а книг прочел столько, сколько иной не прочтет за целую жизнь.

Пальцы обеих рук были у него тоже сведены и не разгибались. Но он каким-то чудом ухитрялся вкладывать левой рукой в сложенные щепоткой пальцы правой перо, рейсфедер или карандаш и не только писал и чертил, но даже и рисовал превосходно. Недаром каждый номер нашего журнала выходил с красочным заголовком и с тонкими рисунками пером в тексте.

Леня был не только редактором журнала, но и нашей типогра-

фией: все номера от первой до последней строчки переписывал начисто он один, так как считал мой почерк слишком детским. Хорошо еще, что номера состояли всего лишь из нескольких страничек и выходили в одном-единственном экземпляре. Впрочем, больше и не требовалось. Журнал читали, кроме Лени и меня, только мои товарищи по классу, мой брат и Лёнина сестра.

Семья у Гришаниных была маленькая, но тесно спаянная одиночеством и каким-то особенным умением понимать друг друга с полуслова. Я очень любил бывать в этом доме, где как будто совсем не было старших,— так просто, по-дружески, шутливо и в то же время серьезно относились друг к другу Леня, его мать и шестнадцатилетняя сестра-гимназистка Маруся. Леня подчас едко подтрунивал над веселым и прихотливо-изменчивым нравом своей младшей сестры, но к его добродушно-насмешливым замечаниям она уже давно привыкла и никогда на них не обижалась.

Приехали Гришанины в наш город откуда-то с Украины, где служил в последние годы своей жизни отец семьи, армейский офицер. Похоронив мужа, Александра Михайловна, оставшаяся с двумя маленькими детьми на руках, долго бедствовала и не могла вовремя полечить больного сына. После многих мытарств ей удалось получить место сиделицы винной лавки в городе Острогожске, когда торговля водкой стала монополией государства. Как ни жалка была эта должность, добиться ее было не так-то легко. Нужно было солидное поручительство, чтобы бедной офицерской вдове была наконец предоставлена честь отпускать покупателям бутылки, запечатанные белым или красным сургучом. «Белые головки» стоили дороже, чем красные.

Винная лавка, которую в просторечии именовали «казенкой», «монополькой» или «винополькой», была нисколько не похожа на обыкновенные лавки.

Над входом ее красовалась темно-зеленая вывеска с двуглавым орлом и строгой, четкой надписью:

КАЗЕННАЯ ВИННАЯ ЛАВКА

Частая железная решетка разделяла помещение на две половины. В одной, куда не было доступа посторонним, царил чинный и даже торжественный порядок, точно в аптеке, в казначействе или в банке. На многочисленных полках стояли, выстроившись, как солдаты по ранжиру, сороковки, сотки и двухсотки, которым потребители дали свои, более сочные и живописные прозвища — шкалики, мерзавчики, полумерзавчики и т. д.

А по ту сторону решетки толклась самая разношерстная публика. Людям, которые были, как говорится, «на взводе» или «под мухой», отпускать водку не полагалось, но завсегдатаи казенки не сдавались и подолгу, заплетающимся языком, убеждали сиделицу, что они «как стеклышко». Если уговоры и мольбы не действовали, они переходили к угрозам и к самой отборной ругани.

В таких случаях сиделица имела право вызвать городового, который всегда дежурил неподалеку от казенки. Но, кажется, Александре Михайловне не пришлось ни разу прибегнуть к содействию властей. Из маленькой двери, которая вела в жилые комнатки, выходил, с трудом переступая согнутыми в коленях и далеко выставленными вперед ногами, Леня. Этот человек, поднимавшийся всего на полтора аршина от пола, никогда не ввязывался в споры с покупателями. Но было, должно быть, нечто устрашающее в строгом юношеском лице с пронзительными голубыми глазами и в придавленном к земле паучьем теле. Во всяком случае, поглядев на него, даже самый отъявленный буян умолкал и пятился к дверям.

Обычно, пока торговля в казенке шла тихо и мирно, Леня относился к своим обязанностям и к тому хмельному заведению, которое обслуживала его семья, с трезвым и печальным юмором. Только такое снисходительное, философское отношение и могло примирить его с делом, которым ему приходилось заниматься отнюдь не по влечению сердца.

Напряженно думая о чем-то своем, он живо и ловко расставлял по полкам сотни бутылок, которые привозили со склада в корзинах, разделенных на гнезда, или взбирался на лесенку, чтобы достать для покупателя сороковку или шкалик, если нижние полки были уже пусты.

После обеда Леню сменяла на посту мать или Маруся, а он уходил в свою комнату рисовать что-нибудь или читать книжки.

От него я впервые узнал о Писареве, которого он читал не отрываясь, со страстным увлечением.

И когда года через три-четыре я сам стал читать Писарева, я понял, кому был обязан мой приятель своим умением спорить остро и колко, хотя, впрочем, какая-то едкая, подчас горькая ирония была присуща и ему самому.

Со мной он обращался, как старший с младшим,— ведь у него было гораздо больше знаний и житейского опыта, чем у меня. И все же ему, видимо, нравилось подолгу болтать со мной о самых разных материях. Может быть, он просто отдыхал от своих мыслей и тревог в обществе мальчика, который нисколько не досаждал ему обидным сочувствием и с открытой душой встречал каждую его шутку, каждое меткое словцо.

Наш рукописный журнал «Первые попытки» был для меня

важным и серьезным делом, а для него, по всей вероятности, только забавой. Однако он старательно рисовал заголовки журнала и аккуратно снабжал его прозой — коротенькими юмористическими рассказами и заметками «из мира науки» — в то время как я мог предложить журналу только стихи.

В комнате, где мы работали, всегда стоял острый водочный запах, которым была пропитана насквозь вся квартира.

Иногда под вечер, когда на столе у Лени уже горела керосиновая лампа, нашу редакционную работу неожиданно прерывала Маруся. Некоторое время она неподвижно, с закрытыми глазами сидела в старом кресле, отдыхая от гимназии и от занятий с учениками, которых она репетировала. А потом, как-то сразу стряхнув с себя усталость, приносила брату мандолину и начинала упрашивать его еще разок повторить с ней романс, который она готовила для гимназического вечера. У Лени был прекрасный слух, и Маруся никогда не выступала на вечерах без его одобрения.

Поворчав немного, Леня все же брал мандолину и, наклонившись над ней, принимался теребить струны, а Маруся становилась в позу, складывала руки коробочкой, как это делают профессиональные певицы, и пела:

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты...

Не знаю, нравилось ли Марусино пение клиентам «казенной винной лавки», до которых долетал такой неожиданный для этого заведения лирический романс Чайковского, но мне казалось, что лучше петь нельзя.

— Фальшивите, фальшивите, сударыня,— говорил ей Леня и опять наклонялся над мандолиной.

Я смотрел на его быстро мелькающие руки и думал о том, как отлично справляются с любым делом эти уродливо скрюченные, несгибающиеся пальцы.

Брат и сестра были очень похожи друг на друга — те же немного прищуренные голубые глаза, те же мягкие светло-русые волосы. Должно быть, Леня был бы очень хорош собой, если бы его не изувечила болезнь.

Когда в лавке не было покупателей, в комнату к Лене приходила Александра Михайловна, темноволосая, худощавая, преждевременно состарившаяся женщина в очках. Она пристраивалась где-нибудь в углу, видимо радуясь возможности побыть с детьми,— ведь эта маленькая семья так редко бывала в сборе.

Но раздавался резкий, назойливый звонок из лавки, извещавший о приходе покупателя.

— Вот вам и «тревога мирской суеты»! — с усмешкой говорил Леня и, шаркая ногами, отправлялся торговать казенным вином.

Как из горного озера река, так из детства, которому весь мир представляется извечно неизменным и неподвижным, вытекает своенравная, стремительная юность.

В первые годы жизни мы обходимся без календаря да, в сущности, и без часов. В календарь заглядываем главным образом перед днем рождения, а часы напоминают нам о себе только тогда, когда время идет к обеду или ко сну.

Все в детстве кажется нам устойчивым, незыблемым, первозданным: город, улицы, названия улиц и лавок, да и самые лавки, где продают крупу и соль в «фунтиках», а сахарные головы в обертке из плотной синей бумаги. Мороженщики с тарахтящими на ходу ящиками на колесах, петрушечники с пестрыми ширмами — все это как будто существует с незапамятных времен, чуть ли не с начала мира...

В эти годы жизни вполне полагаешься на взрослых, которым известно, что́ бывает и чего не бывает на свете, что̀, когда и как надо делать. Мир представляется нашему воображению загадочным, но вполне разумным, хоть пока еще нам знакома только очень небольшая его частица — наш двор да еще несколько прилегающих к нему улиц. Мы забрасываем взрослых бесчисленными вопросами, но далеко не всегда получаем от них вразумительные, утоляющие ответы.

Но вот наступает юность. Мир с необыкновенной быстротой разрастается — в него входят уже целые страны, материки и далекие звездные миры. Время становится считанным и раздвигается в обе стороны — в прошедшее и будущее.

Все на свете оказывается непостоянным, изменчивым и не всегда разумным. Мы начинаем замечать, что взрослые не так уж надежны — они часто ошибаются, колеблются, не согласны друг с другом, а иной раз даже противоречат себе самим и далеко не все на свете знают.

Нам теперь часто приходится действовать на свой собственный страх и риск. Дороги разветвляются, и на каждом перекрестке перед нами встает трудная задача выбора пути. Кое-какой житейский опыт у нас уже накоплен, и мы с нетерпением ждем и жаждем нового опыта.

Весь мир приходит в движение за какие-нибудь два-три года.

Он становится огромным и в то же время — хоть это и может показаться странным и даже противоречивым — как-то уменьшается в нашем сознании.

Нам больше не кажутся великанами деревья на дворе. Не

так заметен теперь замшелый камень, глубоко вросший в землю за старым заводом. Мы уже не следим с таким пристальным вниманием за катящимися по оконному стеклу дождевыми каплями, которые делятся и дробятся по пути вниз, словно блестящие шарики ртути.

Зато перед нами открывается даль, как в бинокле, который повернули другой стороной.

К тому же, с приходом юности наши дни наполняются несметным множеством разнообразных впечатлений, навсегда заслоняющих от нас первоначальную пору жизни.

ГОЛОС НОВОГО ВЕКА

Юность людей моего поколения была особенно напряженной и тревожной, потому что совпала с началом нынешнего века, а этот век с первых же дней показал свои львиные когти.

Во время моего детства и отрочества мы еще не знали (как странно представить себе это сейчас!) ни электрического света, ни телефона, ни трамваев, ни автомобилей, ни аэропланов, ни подводных лодок, ни кинематографа, ни радио, ни телевидения.

В столичных журналах рассказывали, как о чуде, об электрическом освещении на Парижской всемирной выставке. А среди иллюстраций к новостям техники время от времени появлялись изображения прадедушек и дедушек нынешнего автомобиля.

Говорить по телефону мне впервые довелось только через несколько лет — после переезда в Питер. На моих глазах по петербургским улицам покатили первые, еще новенькие вагоны трамвая, заменившие собою медленно ползущую, громоздкую конку.

Первые годы столетия были временем напряженного ожидания новых открытий. Не сегодня завтра должен был родиться подводный корабль, который мелькал уже на страницах романов Жюля Верна; со дня на день ждали, что вот-вот оторвется от земли летающий аппарат тяжелее воздуха. Все более возможным и вероятным казалось открытие Северного полюса.

И хотя в небольшом уездном городке, где я встретил начало века, не было еще сколько-нибудь заметных перемен, люди чувствовали, что скоро наступят какие-то новые времена.

То и дело до нас доходили ошеломительные известия о последних изобретениях.

Я хорошо помню, как нам, ученикам острогожской гимназии, однажды объявили, что двух последних уроков у нас не будет, а вместо этого нас куда-то поведут. Мы построились парами на дворе гимназии, и вышедший к нам преподаватель математики

и физики, прозванный Барбароссой, пообещал продемонстрировать перед нами нечто весьма любопытное.

Мы пошли по главной улице и остановились перед дверью какого-то магазина, куда нас начали впускать по очереди. В просторном, почти пустом помещении мы увидели столик, на котором стоял загадочный продолговатый ящик с двумя шнурами.

Один за другим мы подходили к ящику, строя всякие догадки о том, что́ в нем таится.

Барбаросса долго молчал и только поглаживал рыжую бороду.

— Вы видите перед собой,— заговорил он наконец,— недавно изобретенный аппарат, который воспроизводит любые звуки, в том числе и звуки человеческой речи. Изобретатель этого аппарата Эдисон дал ему греческое название «фонограф», что по-русски значит «звукописец». Соблаговолите присесть к этому столику и вложить себе в уши концы проводов. Всех же остальных присутствующих здесь я попросил бы соблюдать абсолютную тишину. Итак, начинаем!

От старшеклассников мы знали, что физические опыты редко удаются нашему степенному преподавателю математики и физики, и поэтому не ждали успеха и на этот раз. Вот сейчас он вытрет платком лысину и скажет, сохраняя полное достоинство: «Однако этот прибор сегодня не в исправности», или: «Очевидно, нам придется вернуться к этому опыту в следующий раз!»

Но на самом деле вышло иначе. В ушах у нас что-то зашипело, и мы явственно услышали из ящика слова: «Здравствуйте! Хорошо ли вы меня слышите? Аппарат, с которым я хочу вас познакомить, называется фонограф. Фо-но-граф...»

После короткого объяснения последовала пауза, а затем раздались звуки какого-то бравурного марша.

Мы были поражены, почти испуганы. Никогда в жизни мы еще не слышали, чтобы вещи говорили по-человечьи, как говорит этот коричневый, отполированный до блеска ящик. Музыка удивила нас меньше — музыкальные шкатулки были нам знакомы.

А Барбаросса поглаживал рыжую бороду и торжествующе поглядывал на нас, как будто это он сам, а не Эдисон изобрел говорящий аппарат.

Конец прошлого и начало нынешнего столетия как-то сразу приблизили нашу уездную глушь к столицам, к далеко уходящим железным дорогам, к тому большому, полному жизни и движения миру, который я еще так смутно представлял себе,

играя на просторном заводском дворе в города из обломков кирпича и в деревни из щепочек.

Понаслышке я знал, что в этом большом мире есть люди, известные далеко за пределами своего города и даже своей страны. Там происходят события, о которых чуть ли не в тот же день узнает весь земной шар.

Сам-то я жил с детства среди безымянных людей безвестной судьбы. Если до нашей пригородной слободы и долетали порой вести, то разве только о большом пожаре в городе, об очередном крушении на железной дороге или о каком-то знаменитом на всю губернию полусказочном разбойнике Чуркине, лихо ограбившем на проезжей дороге почту или угнавшем с постоялого двора тройку лошадей.

Но вот до нас стали докатываться издалека отголоски и более значительных событий.

Мне было лет семь, когда царский манифест, торжественные панихиды и унылый колокольный звон возвестили, что умер — да не просто умер, а «в Бо́зе почил» — царь Александр Третий.

Еще до того в течение нескольких лет слышал я разговоры о каком-то таинственном покушении на царя и об его «чудесном спасении» у станции Бо́рки, где царский поезд чуть было не потерпел крушение.

А вот теперь царь «почил в Бо́зе». Я решил, что «Боза» — это тоже какая-то станция железной дороги. В Борках царь спасся от смерти, а в Бо́зе, как видно, ему спастись не удалось.

Года через полтора я услышал новое слово «иллюминация». В Острогожске, как и в других российских городах, зажгли вдоль тротуаров плошки по случаю восшествия на престол нового царя, и все население окраин — Майдана и Лушниковки — прогуливалось в этот вечер вместе с горожанами по освещенным, хоть и довольно тускло, главным улицам. Даже наш сосед — слепой горбун — шагал по городу в шеренге слободских парней. Любоваться огоньками плошек он не мог, но долго с гордостью вспоминал день, когда «ходил на люминацию».

Однако празднества были скоро омрачены новыми зловещими слухами. Из уст в уста передавали страшные и загадочные вести о какой-то «Ходынке». Страшным это слово казалось оттого, что его произносили вполголоса или шепотом, охая и покачивая головами. Из обрывков разговоров я в конце концов понял, что Ходынка — это Ходынское поле в Москве, где во время коронации погибло из-за давки великое множество народа. Рассказывали, что несметные толпы устремились в этот день на Ходынку только ради того, чтобы получить даром эмалированную кружку с крышечкой и с вензелями царя и царицы под короной и гербом.

Неспокойно начиналось новое царствование.

Встречаясь на улице или переговариваясь через плетень, соседи толковали о холере, о голоде, о комете. А приезжие привозили известия о том, что в больших городах — в Питере, в Москве, в Киеве, в Харькове — все чаще и чаще «фабричные» бастуют, а студенты бунтуют и что студентов сдают за это в солдаты.

Одни из наших соседей — особенно соседки — жалели студентов, другие говорили, что так им и надо,— пускай, мол, не бунтуют, а учатся!

Все новости разносила в то время устная молва. Газета была редкой гостьей на Майдане да и в городе.

Маленькую газетку «Свет» получал ежедневно из Питера усатый красильщик — тот самый, что зачитывался приложениями к журналу «Родина». Отец говорил, что эта газетка все врет и «скверно пахнет». Я понимал его слова совершенно буквально — может быть, потому, что от книг, которые давал мне красильщик, и в самом деле веяло затхлостью чулана, набитого всяким хламом.

Презрительно морщился отец и тогда, когда при нем упоминали другую столичную газету гораздо большего формата и объема, которая печаталась на бумаге лучшего качества и носила название, набранное крупным, четким и красивым шрифтом,— «Новое время».

И когда я впервые заметил широкие листы «Нового времени» в руках у нашего классного наставника Теплых, я даже не решился рассказать об этом отцу, который никогда и в глаза не видал Владимира Ивановича, но давно уже влюбился в него по моим рассказам.

В нашей семье газета появлялась редко — только в те дни, когда дома бывал отец. Помнится, чаще всего читал он «Неделю», которую называли «Неделей» Гайдебурова. За газетой велись жаркие споры.

Особенно часто и шумно спорили одно время о событиях во Франции, хотя от нашего Майдана до Парижа было так же далеко, как от тех мест, откуда, по словам Гоголя, «три года скачи, ни до какого государства не доедешь».

У меня о Франции и французах было в те времена довольно смутное представление. Помню песню, которую надрывными голосами распевали девицы на соседнем дворе:

Жил-был во Хранцыи
Король молодой,
Имел жену-красавицу
И двох дочерей.
Одна была красавица,

Что царская дочь,
Другая смуглявица,
Что темная ночь...

Знал я о нашествии Бонапарта на Москву. А еще память моя сохранила несколько названий парижских бульваров и предместий да десяток французских имен из тех «ро́манов», которыми снабжали меня торговавший в лабазе Мелентьев и сосед-красильщик.

Но все это казалось мне таким далеким — либо вымышленным, книжным, либо относящимся к давним временам. А тут разговор шел о делах, которые творились во Франции в наши дни, и о́ людях, в самом деле существующих.

Целый пото́к звучных иностранных фамилий ворвался в нашу будничную жизнь и запомнился на долгие годы.

Генерал Кавеньяк, генерал Буадефр, полковник Пикар, офицер генерального штаба Эстерга́зи, Клемансо, Лабори́, Берна́р Лаза́р, Пати де Клам, Эмиль Золя...

Но чаще всего упоминалось одно имя: Дрейфус. Капитан Альфред Дрейфус.

Мы, ребята, прислушивались к разговорам взрослых и жадно ловили все, что могли узнать от них о суде над Дрейфусом, о его разжаловании и ссылке на Чертов остров.

Казалось, мы читаем повесть, у которой еще нет конца.

Виновен ли Дрейфус в измене или не виновен? Будет ли он в конце концов оправдан или останется навеки на пустынном острове?

В том возрасте, в каком я был тогда, достаточно нескольких самых незначительных подробностей, чтобы представить себе вполне зримо незнакомую обстановку и неизвестных людей, о которых говорят вокруг.

Совершенно отчетливо видел я пред собой сцену разжалования Дрейфуса.

Черноволосого, бледного офицера, невысокого, но стройного, выводят под барабанную дробь на плац. С него срывают эполеты, ломают над его головой шпагу. Мне очень жаль офицера и, признаться, даже немного жалко сломанной пополам шпаги.

Я никогда не видел Дрейфуса на портретах и не имел ни малейшего понятия о его наружности. Но почему-то — может быть, только потому, что он был офицер,— я невольно представлял его себе в образе нашего знакомого военного врача Чирикове́ра, который когда-то лечил нас в Воронеже...

И вот корабль-тюрьма везет осужденного на вечную ссылку офицера на Чертов остров, который находится, как сказал мне брат, где-то недалеко от берегов Южной Америки.

Чертов остров! Само это название как бы говорит о том,

что попавший туда человек обречен на гибель. Посреди острова высится башня, раскаленная от солнечного жара днем и веющая холодом и сыростью ночью. Долго в такой клетке не проживешь.

Правда, отец уверяет, что во Франции все больше и больше людей требуют отмены приговора. Особенно часто упоминается в газетах имя французского писателя Эмиля Золя, который написал в защиту осужденного письмо в газету под названием: «Я обвиняю». Но и Эмиля Золя приговорили за это письмо к тюрьме.

Видно, недаром наша мама так часто говорит, что добиться на этом свете справедливости нелегко.

Помню, к нам на Майдан приехали как-то двое приятелей отца. Для нас их приезд всегда был настоящим праздником. Оба они были люди веселые, любили поесть, выпить, поболтать, пошутить, да к тому же никогда не являлись в дом без щедрых подарков для нас, детей. Обычно приезжали они порознь, а тут случайно нагрянули вместе.

Один из них был землемер Семен Семеныч Ничипоренко, высокий, бородатый, худощавый, в поношенной форменной тужурке со светлыми пуговицами, человек бывалый, обошедший пешком и объездивший чуть ли не всю Россию. Другой — пышноусый Егор Данилыч Селезнев, плотный, широкоплечий, в темно-синей поддевке и в ярко начищенных высоких сапогах. Был он, кажется, управляющим каким-то маслобойным заводом и приезжал к нам без кучера на узких беговых дрожках.

Семен Семеныч привез брату альбом марок со всех концов света — там была даже марка острова Мартиника,— а мне большую коробку оловянных солдатиков, среди которых были и пешие, и конные, и артиллеристы с пушечками на колесиках, и стрелки́, и трубачи, и знаменосцы.

Егор Данилыч не успел ничего купить нам и попросил у наших родителей позволения подарить нам по целковому, чтобы мы сами купили для себя конфеты или игрушки.

Отец никогда не позволял нам брать деньги у чужих, но на этот раз вынужден был согласиться.

Как всегда, весь наш дом ожил, едва только из передней послышались голоса этих добрых, разговорчивых и таких беззаботных с виду людей.

Обедали долго. За столом Егор Данилыч рассказывал анекдоты, а после обеда Семен Семеныч пел шутливые украинские песни.

Жалилася попадья,
Що пип з бородою...
Запрягала попадья
Гуси та индыки,
Поихала попадья
У Киив до владыки...

Перед вечерним чаем гости прилегли на часок отдохнуть, а потом все опять собрались за столом, на котором уже пел свою песенку большой, светло начищенный самовар с чайником на макушке.

Мы с братом сидели с края стола и с нетерпением ждали от мамы клубничного варенья, а от гостей — новых смешных рассказов и песен. Но вместо этого гости завели долгий, шумный разговор, в котором снова и снова повторялись все те же, уже знакомые нам, имена: Дрейфус, Эстергази и Эмиль Золя, которого Егор Данилыч называл по-русски: «Зола́». Его могучий, густой бас гремел на весь дом, а Семен Семеныч отвечал ему своим высоким, звонким тенором, в котором слышались и задор, и насмешка, то веселая, то злая.

Мой брат и я давно уже считали себя настоящими «дрейфусарами» и сейчас были целиком на стороне Семена Семеныча, но вмешаться в разговор по молодости лет не смели и только поминутно поглядывали на отца, который на этот раз, против своего обыкновения, не принимал участия в споре и только постукивал по столу пальцами да хмурил брови. Но вот и его терпению пришел конец. Он отодвинул от себя недопитый стакан чая и так напустился на Егора Данилыча, что тому стало невмочь отбиваться на обе стороны. Он вытер лоб и шею красным платком и пробасил, видимо желая положить конец пререканиям:

— А ну их к шуту, вашего Дрейфуса вместе с Емилем Золой! Вас двоих не переспоришь.

Спор на время утих, а потом как-то незаметно разгорелся снова. Но на этот раз заспорили о студенческих беспорядках. Егор Данилыч и тут оказался в одиночестве. Он сердито махнул рукой и, ни на кого не глядя, буркнул:

— А я бы их всех тоже отправил к чертовой матери — на Чертов остров, и дело с концом!

Никто ничего ему не ответил. Наступило долгое напряженное молчание. Разрядить его попыталась мама.

— Довольно вам горячиться,— сказала она спокойно.— Давайте-ка лучше свои стаканы. Я вам налью еще чайку.

И разговор опять принял как будто бы самый мирный оборот. Странные люди эти взрослые! Как это они могут после такого спора разговаривать как ни в чем не бывало обо всяких пустяках?

Нет, ни я, ни мой брат не могли так скоро простить Егора Данилыча. И когда он наконец собрался домой и протянул мне на прощанье свою большую широкую руку, я втиснул ему в ладонь подаренный мне целковый и сказал, задыхаясь от волнения:

— Возьмите, пожалуйста... Мне не надо!..

— И мне не надо! — сказал брат и тоже протянул Егору Данилычу свой целковый.

— Это еще почему? — спросил Егор Данилыч и даже слегка покраснел.

— Вы очень нехороший человек.— сказал я.— Вот почему.

А брат только молча кивнул головой

Егор Данилыч криво усмехнулся:

— Эх вы, Емели Зола!

Он положил оба новеньких целковых на столик в передней и, холодно простившись со взрослыми, переступил порог.

Мама была ужасно смущена и даже огорчена. Она побранила нас и сказала, что больше не позволит нам сидеть за общим столом, когда приезжают гости, и слушать, что говорят взрослые.

Отец ничего не сказал, но по легкой усмешке, которую он старался скрыть от нас, мы поняли, что он не сердится.

Почти так же много и горячо, как о деле Дрейфуса, говорили в течение нескольких лет о войне между англичанами и бурами в Южной Африке.

Войны, в которых участвовали наши, русские, казались мне очень давними. Сердитый старик, сторживший арбузы на бахче, рассказывал нам, мальчишкам, в редкие минуты благодушия, как он оборонял Севастополь.

На лавочке у лабаза, где торговал Мелентьев, часами просиживал инвалид с деревянной ногой и двумя серебряными медалями на груди. Он еще помнил Шипку и «белого генерала», но по его сбивчивым рассказам мы не могли уразуметь толком, что это была за война. Одно было ясно, что русские всегда побеждали. И когда у нас на улице играли в войну, мальчишки обычно делились на русских и турок.

Но с того времени, как взрослые вокруг нас заговорили о войне в Трансваале, мы, ребята, превратились в буров и англичан, хоть и не слишком ясно представляли себе, где он находится, этот самый Трансвааль. А так как охотников быть англичанами всегда оказывалось меньше, то побеждали чаще всего буры.

Буром был и я, играя в войну сначала на улицах слободки, а потом и на гимназическом дворе.

ПРОИСШЕСТВИЯ И СОБЫТИЯ

Многое менялось вокруг нас. Не менялась только гимназия. Ничто в мире не казалось таким прочным и неизменным, как издавна установившиеся в ней порядки.

Надев гимназическую форму, мы с малых лет начинали жить по расписанию.

Так чувствует себя человек, когда садится в поезд или на пароход. Он уже не располагает своим временем, а подчиняется общему распорядку. То же было и с нами. Гимназические уроки чередовались с переменами в точно определенные часы и минуты, как в дороге остановки следуют за перегонами.

Привыкнуть к строгому расписанию было нелегко после беспорядочной и довольно вялой домашней жизни. Гимназия как бы подстегивала нас и заставляла быть бодрее. Да к тому же дома мы никогда не переживали таких волнений, какие испытывали почти ежедневно на уроках в ожидании вызова к доске или перед письменной работой.

Школа, как поезд, мчала нас из спокойного детства в жизнь, подчиненную времени, полную заботы и тревоги.

По сравнению с неприглядным бытом пригородной слободы и уездного города тогдашнего времени гимназия казалась необыкновенно богатой и парадной.

Портреты в золотых рамах, блещущие лаком кафедры, учителя в форменных сюртуках, а в особые дни даже в орденах и при шпагах, торжественные молебны и церемонные «акты», на которых выдавались аттестаты зрелости и произносились пышные речи, а вслед за тем устраивался «силами учащихся» концерт, где старшеклассники в праздничных мундирах играли на скрипке какой-нибудь ноктюрн или «berceuse»[1] и декламировали стихи Апухтина,— все это не могло не поражать новичков, в особенности тех, кто впервые переступал порог гимназии.

Но постепенно, день за днем ребята привыкали к новой обстановке и начинали видеть за показной ее стороной унылые гимназические будни.

Будничным и однообразным было большинство уроков. Такие учителя, как Степан Григорьевич Антонов или Павел Иванович Сильванский, оживлялись только тогда, когда в них просыпалась страсть охотника, преследующего ускользающую добычу. Так, Павел Иванович из года в год охотился на тех, у кого не было атласа. Да и «немая» карта на стене служила этому зверолову западней, куда попадала чуть ли не половина класса. Океаны, моря, острова, проливы, горы, пампасы, джунгли — все то, что так увлекает подростков в книгах о путешествиях, становилось на уроках географии волчьей ямой, в которую каждый из нас мог угодить.

У Степана Григорьевича была своя западня — грамматика. Вызывал он обычно тех, на чьем лице видел явные признаки беспокойства, неуверенности. Ребята это давно уже поняли и

---

[1] «Berceuse» — колыбельная песня (франц.).

намотали себе на ус. Тот, кто хотел, чтобы его вызвали, ерзал на месте и тревожно перелистывал страницы учебника, уклоняясь от взгляда учителя. А его сосед, не приготовивший урока, принимал самую невозмутимую позу и не сводил с Антонова глаз.

В конце концов в западню попадал сам охотник.

Заядлыми егерями — или, вернее сказать, охотничьими собаками — были и два гимназических надзирателя, которые официально именовались «помощниками классного наставника». Они проводили весь день в коридоре, а в классы заглядывали только во время перемен или на «пустых» уроках.

Один из них — по прозвищу «Самовар» — служил до поступления в гимназию полицейским надзирателем. Но, в сущности, он и на новой службе оставался полицейским.

Он ловил гимназистов в городском саду или зимою на катке, если они задерживались на десять минут дольше дозволенного правилами часа, ловил их в театре, если они приходили на спектакль без особого разрешения начальства; на улице требовал от них предъявления «ученического билета», а иной раз даже навещал их на квартире, чтобы узнать, как они живут, с кем встречаются и что почитывают.

Особенно придирался он к ученикам-евреям. Однако это ничуть не мешало ему напрашиваться к ним на праздничные дни в гости.

Переваливаясь с ноги на ногу, подходил он во время большой перемены к тем, кто побогаче, и шутливо, будто между прочим, спрашивал:

— А правду ли говорят, будто твой батька получил к праздникам хорошую «пейсахóвку»?

Ссориться с надзирателем было невыгодно, и добрый стакан «пейсаховки» (пасхальной водки) всегда ожидал его прихода.

Гораздо свободнее чувствовали себя гимназисты, когда в коридоре дежурил другой надзиратель, Аркадий Константинович Мигунов, прозванный «Шваброй».

Длинный и тощий Аркадий Константинович тоже ловил нас на улице и в театре, но он не был так энергичен, как Самовар. А на перемене или на «пустом» уроке мы заблаговременно узнавали о приближении Швабры по его громкому и судорожному кашлю, который был слышен издалека.

Однажды во время «пустого» урока ребятам удалось каким-то образом похитить из учительской классный журнал и пронести его по коридору под самым носом Аркадия Константиновича.

У нас было два классных журнала — большие плоские книги в аккуратных черных переплетах. Переплеты были такие плотные, что их крышки откидывались со стуком. Журналы эти казались нам книгами наших судеб. В одном отмечались наши

успехи и поведение, в другом — заданные на дом уроки. Заглядывать в журнал с отметками нам было строго запрещено, и только по движению руки учителя опытные второгодники иной раз догадывались, какую цифру вывел он в графе журнала.

И вот этот неприкосновенный и таинственный журнал очутился на короткое время в руках у Чердынцева, Баландина и Дьячкова. Первые двое раскрыли его на кафедре, а третий остался сторожить у дверей.

Сначала Чердынцев огласил отметки, полученные нами за последние дни. Потом он и Баландин настолько расхрабрились, что стали переправлять плохие отметки на хорошие или ставить рядом с единицами и двойками тройки и даже четверки, похожие на те, что ставили учителя. Особенно щедро дарили они хорошие отметки по предметам, которые преподавали рассеянные и забывчивые педагоги. Такими были, например, географ Павел Иванович, историк Кемарский и «француз» Леонтий Давыдович, который никак не мог запомнить ни одной фамилии и вызывал нас при помощи указательного пальца.

Добрых полчаса Чердынцев и Баландин трудились над поправками в журнале.

Несколько раз во время этой опасной операции Дьячков подавал из коридора тревожные сигналы, и журнал мгновенно исчезал под крышкой кафедры.

Наконец Чердынцев сказал: «Ну, на этот раз хватит!» — и отложил перо. Классный журнал со всеми новенькими пятерками, четверками и тройками отнесли обратно в учительскую, но только после того, как Дьячков объявил, что путь свободен.

В этот день у нас было еще несколько уроков. Однако никто из учителей не заметил в журнале никаких перемен.

Казалось, все обойдется благополучно. Но вот наш географ, придя в класс на следующий день, откинул крышку журнала и стал пристально вглядываться в страницу, прищурив один глаз.

— Елкин! — сказал он удивленно.— Разве я тебя спрашивал на этой неделе?

Смущенный и перепуганный Елкин не успел встать с места, как за него ответило несколько голосов.

— Спрашивали, Павел Иванович,— сказал Баландин.

— Конечно, спрашивали! — подтвердил Чердынцев.

— И я поставил тройку?

— Откуда ж я знаю,— пробормотал Елкин.— Я же не смотрел в журнал!..

Павел Иванович покрутил головой.

— Нет, тут что-то неладно! В прошлый раз я у себя отметил, кого из отстающих надо вызвать до конца четверти, чтоб они могли переправить двойку на тройку. Первым у меня в

списке стоял Елкин... И вдруг — извольте радоваться! — против его фамилии уже стоит троечка.

Елкин неловко поднялся с места и сказал заикаясь:

— Я не виноват, Павел Иванович, ей-богу, не виноват! Вы просто забыли...

После урока Елкина потребовали к директору, а на другой день вызвали в гимназию его отца. Но на все вопросы Елкин-младший отвечал только одно:

— Что ж, я сам себе тройку поставил, что ли?

Елкин-старший, крупный человек с головой, как бы вросшей в плечи, молча выслушал директора и Павла Ивановича, а потом высказал твердое убеждение, что сын его и в самом деле ни при чем. Будь он хоть малость виноват, он бы непременно сознался до того, как получил свою порцию сполна. А «порция», ежели правду сказать, была на этот раз солидная!

На это отвечать было уже нечего, и начальство в конце концов решило отпустить Елкина-младшего с миром.

Тем дело и кончилось. Только на всякий случай — в виде предупреждения — весь наш класс оставили «без обеда». Вот и все.

Как ни требовало начальство от гимназистов дисциплины, справиться с буйной вольницей ему не удавалось. Самых отчаянных ребят ставили в угол, «под часы», к стенке, оставляли на час, на два, на три после уроков, но все было напрасно. В классах по-прежнему играли в «тесную бабу» или «жали масло», то есть усаживались по пять, по шесть человек на одну скамью и так сильно тискали сидящих посередине, что у них перехватывало дух. Чуть ли не каждый день происходили во время большой перемены жаркие кровопролитные сражения. Шли класс на класс, не щадя ни носов, ни зубов, ни стекол, ни парт. Бывали и конные сражения: ребята мчались в бой верхом на своих товарищах, которые с полным удовольствием изображали резвых боевых коней.

А изредка, когда поблизости не было надзирателей, чуть ли не вся гимназия строила на перемене «слона».

Делалось это таким образом. На плечи к самым рослым парням усаживались ребята поменьше, к ним на плечи взбирались те, кто был еще меньше, и, наконец, на самый верх взлезали малыши-приготовишки, почти упиравшиеся головами в потолок. Нужно было ухитриться выйти целым и невредимым из такой игры, когда все это огромное живое сооружение внезапно рассыпалось при появлении начальства или по прихоти верзил-старшеклассников, составлявших его основу.

Иногда устраивали поединок между двумя «слонами». Это

была опасная забава. В лучшем случае кое-кто из участников набивал себе шишку на лбу, в худшем — дело кончалось вывихом, а то и переломом ноги или руки.

Еще более удалые игры и развлечения затевались в гимназии тогда, когда в пятый класс поступали ребята, окончившие четырехклассную прогимназию в городе Боброве. Это были дюжие добродушные парни, которым некуда было девать свою силушку. Они устраивали настоящие, нешуточные бои — «стенка на стенку», а ночью выворачивали в саду и на улице скамейки и фонари.

Таких «мальчиков» не оставляли без обеда и не ставили «под часы», а вызывали к директору и после двух-трех предупреждений отсылали восвояси.

Чаще всего жаловался на поведение гимназистов учитель немецкого языка, которого наш латинист за глаза шутливо называл «немца́».

В часы, когда все преподаватели покидали учительскую и, один за другим, шли по длинному коридору в классы, впереди всех несся Густав Густавович Рихман. Высокий, не слишком полный, но довольно-таки упитанный, он шел, озабоченно приподняв правое плечо и крепко прижимая к груди оба журнала — для отметок и для записи заданных уроков. Лицо у него было свежее, розовое, губы сочные. Мягкая, закругленная каштановая бородка аккуратно подстрижена. Пуговицы ярко блестели, на вицмундире — ни пылинки. Выражение лица такое, будто он только что проглотил очень вкусную и ароматную конфету.

Но стоило Густаву Густавовичу войти в класс, как настроение его мгновенно менялось.

Ученики все разом, как по команде, вставали с мест, а когда Рихман милостивым кивком головы позволял им сесть, парты начинали медленно, чуть заметно двигаться по направлению к учительской кафедре. Густав Густавович подозрительно и тревожно оглядывал ряд за рядом. Ученики чинно и спокойно сидели на своих местах, а парты все-таки двигались. Это было какое-то почти бесшумное, но грозное наступление. Прекращалось оно только тогда, когда Густав Густавович, распахнув свой сюртук, вынимал из кармашка жилета с золотыми пуговичками крошечную записную книжечку и говорил:

— На, довольна! Я хорошо знай, кто тут есть глявни машинист. Я запишу его в эта маленькая книжечка, а потом он будет беседоваль с господин директор!

— Густав Густавович! Это не мы, это парты сами двигаются. Пол очень скользкий, только сегодня натерли!..

Если немецкий урок шел первым, дежурный по классу должен был читать перед началом занятий короткую молитву.

Но, желая затянуть время, эту молитву обычно повторяли два, три, а то и четыре раза подряд.

Убедившись, что Густав Густавович ничего не замечает, молитву стали постепенно удлинять, прибавляя к ней слова других молитв, в том числе и заупокойных.

Рихман терпеливо слушал это странное попурри, стоя перед кафедрой и низко наклонив — из уважения к чужому вероисповеданию — слегка лысеющую голову.

Наконец ребята совсем обнаглели и начали служить перед немецким уроком целые молебны и панихиды.

Дежурный возглашал дьяконским голосом:

— Паки, паки, миром господу помолимся!

А все другие ребята торопливо, скороговоркой подхватывали:

— Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй!

Но Густав Густавович уже ясно видел, что его водят за нос.

— На, довольна! Никакой больше паки! Это не есть молитва перед урок!

— Да ведь теперь же у нас великий пост, Густав Густавович! — оправдывался самый старший из ребят, второгодник, пытавшийся петь басом.— Вот мы и читаем великопостную!

Но Густав Густавович твердо решил положить конец этим песнопениям. Он достал у нашего законоучителя, священника Евгения Оболенского, подлинный текст молитвы и, придя на урок, торжественно вынул свою шпаргалку из кармана.

— На, теперь шитайт ваша молитва. Я буду провериаль каждый слёво!

Что бы ни происходило в городе или в стране,— гимназия, как заведенная, жила по своему уставу и расписанию. Однако по временам и она ощущала какие-то подземные толчки — отзвуки больших событий.

В один из февральских дней 1901 года среди уроков нас выстроили в коридоре и повели в гимназическую церковь. Пропустить один-два урока ребята были рады, но терялись в догадках, по какому поводу назначено богослужение. День был не праздничный, не царский, не юбилейный.

Только в церкви мы узнали, что молебен будет о здравии министра народного просвещения Боголепова, на жизнь которого было совершено в Санкт-Петербурге «злодейское покушение».

Помню, как бледно горели в этот снежный февральский полдень церковные свечи и как равнодушно крестились мои сокласники, молясь о выздоровлении человека, имя которого слышали первый раз в жизни. Ученики старших классов о чем-то

перешептывались, вызывая явное неодобрение начальства, стоявшего впереди с благочестиво склоненными головами.

После молебна занятия возобновились. Мы ждали, что наш классный наставник, Владимир Иванович Теплых, придя на урок, объяснит нам, кто же и за что «злодейски покушался» на министра. Сами же начать разговор не решались — тем более что Владимир Иванович был в этот день как-то особенно холоден, сух и несловоохотлив. Обычно он позволял себе надолго отвлекаться от предмета занятий и беседовать с нами на темы, очень далекие от грамматических правил и от латинского текста, который мы переводили. Но на этом уроке он как будто нарочно занимался одними только неправильными глаголами, которых в латинском языке больше чем достаточно.

Мы слыхали от старшеклассников, что Владимир Иванович не слишком одобрительно отзывается о «студенческих беспорядках» в Петербурге и в ближайшем к нам университетском городе — Харькове. Но в то же время мы не могли не заметить, с какой презрительной брезгливостью относится он к тем из учителей, которые, подобно Сапожнику — Антонову, первыми являлись поздравлять директора в день его ангела и первыми же протискивались на панихидах и молебнах в передний ряд — к самому иконостасу.

Когда Теплых бывал не в духе, никто не смел и приступиться к нему. В глазах у него появлялось выражение хмурой волчьей скуки, лоб прорезала глубокая морщина, а щеки как-то втягивались, отчего лицо казалось еще худощавее, чем обычно.

Он покинул класс после звонка, так ничего и не сказав нам о событиях, которые взбудоражили нашу гимназию и весь город.

А недели через две с лишним всех гимназистов — от приготовишек до восьмиклассников — опять построили в ряды и повели в церковь. Так же горели среди бела дня свечи, но на этот раз священник служил уже не молебен о здравии, а панихиду по тому же министру Боголепову.

— Во блаженном успении вечный покой!..

О том, кто и за что убил Боголепова, я узнал позже.

В классе у нас не было по этому поводу никаких особых разговоров. Ребята простодушно радовались, что по случаю кончины министра народного просвещения их отпустили по домам раньше обычного. Степа Чердынцев даже сказал, что хорошо бы каждую неделю устраивать по такой панихидке.

Прямо из гимназии я отправился к Лебедевым. Уж у них-то я наверное кое-что узнаю.

И в самом деле, когда я вошел в знакомую, беспорядочно заваленную книгами комнату Вячеслава, там говорили о минист-

ре, за упокой души которого только что молились в гимназической церкви.

Вячеслав крупно шагал из угла в угол. На стульях, на кровати, на подоконнике разместилось несколько его товарищей-старшеклассников.

В стороне за столиком сидела Лида Лебедева и, подперев ладонью лоб, с увлечением читала какую-то книгу в зеленоватой обложке. Но время от времени и она, не выпуская из рук раскрытой книги, поднимала голову и вмешивалась в разговор.

Здесь министра поминали не так, как в гимназии. Называли его не Боголеповым, а Чертонелеповым и рассказывали, что это именно он приказал отдать в солдаты сто восемьдесят студентов Киевского университета и разогнал лучших профессоров.

А застрелил его студент Карпович.

Я не мог точно представить себе, каков он с виду, но воображению моему рисовалась какая-то в высшей степени героическая фигура — некто, похожий на легендарного стрелка Вильгельма Телля, о котором я недавно читал.

Я не думал тогда, что через одиннадцать лет мне доведется встретить в Лондоне, в русском клубе имени Герцена, живого Карповича — бывшего студента, который когда-то убил всесильного царского министра и был приговорен к двадцати годам каторжных работ.

Карпович оказался совсем не похожим на того Вильгельма Телля в студенческой фуражке, которого я выдумал в юности. Это был еще довольно молодой, темноволосый, смуглый, крепкий с виду украинец. Он громко и весело смеялся и ни разу при мне не напомнил, что он-то и есть тот самый Карпович, о котором говорила в начале девятисотых годов вся Россия.

Уходя от Лебедевых, я бегло посмотрел на обложку книги, которую держала в руках Лида. Мне бросилось в глаза имя автора: «*М. Горький*».

ОТЦОВСКИЕ ПОДАРКИ

В те годы, когда литературой снабжали меня сосед-красильщик и румяный юноша Мелентьев, я был глубоко убежден, что все без исключения писатели — покойники, а все книги напечатаны в какие-то незапамятные времена,— недаром же они были так истрепаны, так покоробились и пожелтели.

Наши домашние книжки выглядели чуть-чуть попригляднее, но и они были далеко не первой молодости. Приобрели их в лучшую пору, когда у родителей была еще возможность тратить деньги на книги да и время для того, чтобы их читать. По мере того как мы росли, книжки постепенно переходили

с отцовских полок в окованный железом сундук моего старшего брата. Кое-что перепадало и мне.

Помню, как брату подарили ко дню рождения — ему исполнилось тогда тринадцать лет — большой и толстый том сочинений Глеба Успенского в старом, но прочном коричневом переплете, а мне — такой же увесистый том, состоявший из нескольких номеров журнала «Северный вестник», переплетенных вместе.

Старый журнал девяностых годов, в котором печатались превыспренние и туманные рассуждения Акима Волынского, густо пересыпанные иностранными словами и многосложными философскими терминами, вряд ли мог в это время заинтересовать даже самого усердного литературоведа, а уж для меня, одиннадцатилетнего мальчика, он был таким же подходящим чтением, как синтаксис древнеассирийского языка. Подарили же мне его только потому, что ничего другого под рукой не оказалось, а по внешнему виду «Северный вестник» ничем не отличался от «Сочинений Глеба Успенского», подаренных брату,— ни объемом, ни весом, ни прочностью переплета.

Я принял подарок с благодарностью, но, конечно, ни одной страницы не прочел. Однако гордился тем, что и у меня есть настоящая книга в настоящем переплете.

Это был первый журнал в моей личной библиотеке. Я и не знал в то время, что на свете есть другие журналы, более понятные и привлекательные для моего возраста, чем «Северный вестник».

Но вот вскоре после нашего переезда в город, в дом Агарковых, отец с каким-то таинственным видом подозвал меня и брата и объявил нам, что выписал для нас из Петербурга журнал. Не старый журнал вроде «Северного вестника», а новый, который печатается сейчас и называется «Вокруг света». Получать его мы будем каждую неделю, а кроме того — за те же деньги — нам пришлют еще сочинения Фенимора Купера и Густава Эмара и две картины (олеографии): одну — художника Айвазовского, другую — Лагорио. Какими звучными показались мне все эти имена — Купер, Эмар, Лагорио, Айвазовский!

День за днем провожали мы жадными глазами хромого почтальона, который упорно обходил наши ворота. Но однажды, когда мы его вовсе не ждали, он деловито завернул к нам во двор и сунул мне в руки что-то вроде тонкой книжки в белой обертке с наклейкой, на которой значился напечатанный в типографии адрес.

Много писем и посылок получал я на своем веку и продолжаю получать до сих пор, но никогда я так не радовался, как в тот день, когда была получена эта первая почта, предназначенная не для наших родителей, а для меня и брата: свеженький номер «Вокруг света» с четким, черным шрифтом на белой

блестящей бумаге, со множеством рисунков, а главное — с нашими именами и фамилией на бандероли.

Для ребят, выросших в глуши, это было событием, запоминающимся на всю жизнь.

Вы только подумайте! Для вас печатается где-то в Петербурге особый — детский — журнал. Какие-то неизвестные друзья заботливо преподносят вам каждую неделю новую главу повести и два-три рассказа с картинками, которые вы долго рассматриваете, прежде чем приступить к чтению. Вас, точно взрослого, обслуживает почта, посылающая к вам на дом такого занятого человека, как почтальон. Вам присвоено звание — «подписчик», и вы числитесь где-то в Петербурге, в «конторе редакции» под определенным номером — 3709-м. Вашу фамилию и адрес печатают в типографии, чтобы наклеить на бандероль, опоясывающую номер журнала. Все это повышает ваше уважение к себе и приобщает вас к большой жизни.

День, когда мы наконец получили первый номер «Вокруг света», был праздником не только для нас, но и для отца, который умел входить во все наши радости и огорчения. Не так-то легко было ему уделить из своих скудных заработков деньги на журнал, но он готов был отказывать себе в самом необходимом, чтобы хоть на несколько дней или часов скрасить чем-нибудь нашу довольно однообразную жизнь.

Все, что мы получали от матери, которая не жалела последних сил для того, чтобы мы были сыты, одеты, обуты, казалось нам таким будничным, насущно необходимым по сравнению с подарками отца.

В этом сопоставлении таилась какая-то глубокая несправедливость. Чем щедрее бывал отец, тем более расчетливой приходилось быть матери. В сущности, она была единственным в нашей семье взрослым человеком, беспокоившимся о завтрашнем дне. До самой старости отец оставался в душе ребенком, увлекающимся, непрактичным, способным придумывать себе и другим радости даже тогда, когда суровая и трудная жизнь в них отказывала.

Я никогда не забуду, как однажды зимой я и мой старший брат — в то время еще совсем маленькие ребята — ехали с ним в поезде. На каком-то полустанке мы увидели за окном вагона старика в дубленом полушубке, продававшего пестро и весело раскрашенные глиняные игрушки — лошадок с золотыми гривами, уточек, петушков, человечков. Я не удержался и со вздохом сказал отцу, что мне очень, очень нравятся такие лошадки. Ничего не ответив, отец схватил шапку и выбежал из вагона.

Но как раз в эту минуту продавец, словно нарочно, отошел от нашего вагона вместе со своим лотком, уставленным такими

заманчивыми яркими вещицами, и зашагал куда-то вдоль поезда. Мы видели, как отец бросился его догонять и тоже исчез.

Раздался третий звонок, и поезд тронулся.

Мы так и замерли от ужаса. Что-то теперь будет с отцом, с нами?..

Соседи по вагону стали успокаивать нас. Они наперебой говорили, что отец, наверно, успел вскочить в один из последних вагонов и скоро придет к нам.

Но он не пришел.

Шуба его, раскачиваясь на крючке, ехала вместе с нами, и я с отчаянием думал о том, что́ я натворил. Ведь это из-за меня, по моей вине отец отстал от поезда и теперь, должно быть, бредет вслед за нами по шпалам пешком, без пальто, под холодным зимним ветром. А с нами что будет? Ведь у нас нет ни билетов, ни денег... Вот тебе и лошадка с золотой гривой!..

Брат, кажется, думал то же, что и я. Он ничего не говорил, только смотрел на меня печально и укоризненно. Но вот в вагон пришел главный кондуктор поезда и высадил меня и брата, а заодно и отцовскую шубу на какой-то станции...

Эта станция — Козлов — глубоко запечатлелась у меня в памяти. Здесь мы должны были ждать отца, который послал вдогонку телеграмму с просьбой задержать нас.

Никогда за всю мою жизнь мне не было так чертовски скучно, как в Козлове, в маленьком зале буфета первого и второго класса, где мы сидели, точно арестованные, на жестком диванчике у окна.

Буфетчик, сонный человек с бледными, одутловатыми щеками, получил от начальника станции строжайшее приказание никуда не отпускать нас до приезда отца. Днем это ожидание еще не было так томительно. Мы с любопытством разглядывали сверкающий и кипящий, невиданных размеров самовар на буфетной стойке, смотрели, как суетится, прислуживая компании офицеров, смуглый, черноглазый человек с переброшенной через руку салфеткой, как за другим столиком пьет чай с домашними булочками и вареньем семья священника.

Почему-то мы привлекали к себе внимание всех входящих в зал. Одни обращались с вопросами к буфетчику, другие — непосредственно к нам.

Буфетчик сначала отвечал довольно охотно и подробно. Говорил, что нас высадили из скорого по телеграмме отца, который должен приехать за нами ночью почтовым. Другим отвечал коротко и сухо: отца, мол, ожидают — отстал в дороге. А напоследок уже еле-еле цедил сквозь зубы: «Папашу ждут!»

С нами пассажиры разговаривали ласково и так жалостливо, что нам начинало казаться, будто мы навсегда останемся здесь на диване и никто за нами не приедет. И когда большая, толстая попадья в лисьей шубе сунула нам по сдобной булочке, я чуть не заплакал от жалости к себе.

Наконец зал опустел. Последним вошел, отряхиваясь от снега и топая ногами, высокий, жилистый жандарм в длинной шинели. Подойдя к стойке, он мигом опрокинул себе в рот под усы большую рюмку водки и, уходя, сказал буфетчику, что почтовый опаздывает на три часа.

Стало совсем тихо. Только с платформы время от времени слышались то протяжные, то короткие гудки, шипение пара и гул колес. За большим окном проносились паровозы, метавшие в воздух красные искры, а за ними покорно бежали бесконечные вереницы томительно однообразных товарных вагонов. Промелькнул как-то и пассажирский поезд.

Но нас теперь даже и поезда не интересовали. Смуглый человек, прислуживавший пассажирам, рассчитался с буфетчиком и, позевывая, ушел, а буфетчик запер дверь, ведущую на платформу, просунув сквозь дверную ручку половую щетку, и скоро захрапел за своим огромным, давно уже остывшим самоваром.

Потянулись последние и самые тоскливые часы ожидания. Нас клонило ко сну, но мы всячески боролись с дремотой, так как должны были сторожить отцовскую шубу, корзину и чемодан. Разговаривать друг с другом вслух мы не решались, боясь разбудить угрюмого буфетчика, а делать нам было решительно нечего... В конце концов я все-таки уснул, оставив на попечение брата шубу и наш багаж.

Только глубокой ночью прикатил на станцию отец, взволнованный, растерянный, но с двумя глиняными лошадками в руках.

Об этом происшествии в дороге мы рассказали одной только матери. Нам не хотелось, чтобы родные и знакомые посмеивались над нашим добрым, щедрым без оглядки отцом.

И без того уже они считали его неисправимым мечтателем, фантазером, чудаком. Но, в сущности, только немногие из них знали и понимали его.

Он был простодушен, а не прост, по-юношески горяч и по-детски доверчив, способен бесконечно увлекаться новыми людьми и новыми идеями, но умел управлять своими чувствами и свято держал слово, данное себе самому и другим.

Это был человек неукротимой воли и стойкого терпения. Всякое дело он изучал серьезно и досконально. Казалось, легче

разбудить спящего самым крепким сном человека, чем вывести его из того глубокого внимания, с каким он погружался в химическую формулу или даже в газету. Когда мы его спрашивали, почему он читает так медленно, он отвечал не то в шутку, не то всерьез:

— Вы небось только строчки читаете, а я и между строчек.

Так же сосредоточен бывал он в лаборатории или на заводском помосте у громадных клокочущих котлов. Напряженно думая о чем-нибудь, он бывал рассеян и нередко попадал в беду: то обожжет о горячее стекло пальцы, то нечаянно хлебнет вместо воды щелоку. Но всякую боль, как бы сильна она ни была, он переносил кротко и мужественно.

Гораздо больше страдал он от неудач и разочарований, которые преследовали его на каждом шагу. У него не было той житейской сноровки, которая помогает иной раз и безденежному человеку выбиться на дорогу. Мелкие дельцы-предприниматели, в руки которых он нередко попадал, сулили ему золотые горы, а потом, воспользовавшись его находками, всячески старались избавиться от человека, в котором больше не нуждались.

Оставалось одно: смириться, махнуть рукою на все неосуществленные замыслы и несбывшиеся надежды и пойти на какой-нибудь мыловаренный или маслоочистительный завод обыкновенным мастером. Служить, а не изобретать. Это давало хоть и скромное, да зато определенное жалованье. Так отец впоследствии и сделал. Проработав многие годы в провинции и в Питере и уже перевалив за пятьдесят, он поступил на завод под Выборгом, принадлежавший старой и солидной фирме братьев Сергеевых.

Название этой фирмы («Sergejeff») можно было увидеть и на ящиках мыла, и на пивных бутылках, и на вывеске лесопильного завода. Во главе дела стоял сухой, крепкий старик, сочетавший облик русского церковного старосты со сдержанно-деловитыми манерами богатого финского коммерсанта. Его подчиненные, среди которых было много финнов с русскими фамилиями (Ма́кеефф, Ефимофф), обычно начинали службу с должности «мальчика» и не теряли почтительности и расторопности даже тогда, когда становились бухгалтерами и «прокуристами».

Все служащие Сергеева вместе составляли как бы единую семью, возглавляемую хозяином-патриархом. Среди этой публики мой отец всегда оставался одиноким и чужим. И хоть в своем деле он считался знающим и опытным мастером, хозяева после нескольких лет работы уволили его — под предлогом, что он, дескать, становится староват, а производство расширяется и требует руки́ помоложе и покрепче.

Больше года отец искал работы. Странно и горько было ви-

деть праздным поневоле этого еще полного сил и энергии человека, который и сам знал себе цену, и с давних пор заслужил уважение своих товарищей по профессии.

Теперь у него хватало досуга, чтобы читать книги, но чтение уже не шло ему на ум. В его близоруких, доверчивых глазах появилось такое несвойственное ему выражение озабоченности.

Наконец, уже незадолго до революции, он попытался устроиться на Кубани. Там в это время начинал работать большой нефтеперегонный завод, оборудованный на заграничный лад.

Долго пришлось ему ждать ответа.

Как стало известно потом, дирекция боялась доверить новые шведские машины русскому мастеру и собиралась выписать специалиста-шведа.

Но, по всей видимости, в Швеции не нашлось охотника ехать в Россию во время войны. К немалому удивлению администрации завода, шведы порекомендовали ей обратиться к мастеру, которого они знали по своим делам с фирмой Сергеевых,— к моему отцу.

Тут только администрация согласилась взять его на работу.

До последних своих дней работал отец на заводах. В советское время он служил в Нижнем Новгороде — в нынешнем Горьком, и когда мой старший брат, узнав о его тяжкой болезни, поехал за ним из Ленинграда, он застал старого мастера на высоком заводском помосте — у кипящих котлов.

Он мало изменился, наш отец. Голову держал все так же прямо и гордо, как во дни молодости, по-прежнему зачесывал вверх свои черные, почти не тронутые сединой волосы. И только в минуты усталости одна прядка льнула к его большому и чистому лбу, прорезанному у переносицы такой умной и доброй, издавна знакомой нам морщинкой.

Я говорю здесь так подробно о своем отце не только из желания запечатлеть, сохранить дорогие мне черты. Но мне кажется, что я ничего не мог бы рассказать о ранних годах моей жизни, не уделив несколько страниц человеку, который как бы пережил со мною свое второе детство.

Он знал весь мой класс от первой до последней парты. Знал, конечно, с моих слов. Но рассказывал я ему обо всем так охотно и подробно, что от него не ускользала ни одна мелочь нашей школьной жизни. Сам он ни в каких гимназиях не учился. Однако слушал меня не из простого любопытства. По его вопросам и замечаниям, то одобрительным, то негодующим, я чувствовал, что он видит в моей жизни как бы «исправленное, дополненное и улучшенное издание» своей, которая началась в глухом захолустье и в глухие времена. Вместе со

мною и моим братом он как будто и сам проходил гимназию класс за классом и потому так глубоко вникал во все наши школьные дела, придавая значение даже тем событиям, которые показались бы всякому взрослому человеку мелкими и ничтожными.

Правда, некоторые эпизоды отец оценивал по-своему и проявлял иной раз свои особые, не всегда мне понятные предубеждения и пристрастия. Так, например, он неизменно одобрял все, что бы ни делал и что бы ни говорил пришедшийся ему по сердцу Владимир Иванович Теплых. Зато он заранее осуждал все, что исходило от Сапожника — Антонова. Всячески выгораживал и брал под свою защиту нашего немца Густава Густавовича, хотя и не мог удержаться от улыбки, когда слышал в моей передаче рассказ словоохотливого Рихмана о том, как он хотел было «фехтовайт» с ворами, похитившими у него ночью из погреба «клюбничкино» варенье, но только, к сожалению, не мог вовремя отыскать свою шпагу.

Одним моим товарищам по классу отец прощал даже самые озорные проделки, других подозревал во всех смертных грехах.

Ничего не поделаешь — таков был характер моего отца.

У него ни в чем не было середины. Людей он делил на две категории. Одна состояла сплошь из «светлых личностей», другая — из отъявленных злодеев. Любопытно было то, что очень многие из людей, которых мы знали, по очереди побывали в обеих категориях — и в «светлых личностях» и в злодеях.

Но, может быть, именно это по-детски горячее, неровное, пристрастное отношение ко всему окружающему и сближало его с нами — ребятами.

После разговоров с отцом и гимназическая жизнь казалась нам гораздо богаче, разнообразнее, и прочитанная книжка интереснее, и вся жизнь шире и заманчивее.

Он редко приезжал домой на долгий срок. Вероятно, поэтому недели и месяцы, которые он проводил с нами, казались нам особенно праздничными и заполненными. Не только мы, но и мать становилась в его присутствии спокойнее и веселее и даже позволяла себе иной раз уходить с ним на целый вечер в гости или в театр.

Он придавал всему дому какую-то бодрость и уверенность. Все яркое, необычное исходило от него: первые стихи, первые рассказы из истории, первые вести о событиях за пределами нашего дома и города.

И, наконец, тот первый детский журнал, который как бы открыл нам ворота в большой мир и назывался

«ВОКРУГ СВЕТА»

Я верил тогда названиям, и мне казалось, что журнал

«Вокруг света» со всеми его бесплатными приложениями — Купером, Эмаром, картинами Айвазовского и Лагорио — в самом деле обещает мне кругосветное путешествие.

НОВОСТИ В ГОРОДЕ И В ГИМНАЗИИ

Я еще не знал тогда, что журнал можно критиковать, находить в нем недостатки. Нам не с чем было его сравнивать. Мы принимали все, как должное: вот, думали мы, какие бывают журналы.

Не только я, но и мой старший брат прочитывали каждый номер от первой строчки до подписи редактора в конце последней страницы и были от души благодарны за все, что журнал нам дарил.

Я и сейчас помню — хоть с тех пор прошло уже более шестидесяти лет — печатавшуюся с продолжениями переводную повесть о двух мальчиках, которых в разное время похитил бродячий цирк. Мальчики эти становятся самыми близкими друзьями и в конце концов оказываются родными братьями, сыновьями французского офицера. Младший из них, Жан, прозванный в цирке Фанфаном, благополучно возвращается домой, а старшего — по имени Клодинэ — родители находят слишком поздно: он безнадежно болен и красиво умирает на глазах у читателя,— как те бледные мальчики в бархатных курточках, чью безвременную смерть с таким удовольствием изображала Лидия Чарская.

Трудно понять, как могла эта сентиментальная мелодрама заинтересовать меня в ту пору жизни, когда я уже читал и перечитывал Пушкина, Гоголя, Лермонтова. Но, как это ни странно, «Капитанская дочка», «Шинель», «Герой нашего времени» мирно уживались у меня на полке, да и в моем сознании, с такими детскими книгами, как «Маленький лорд Фаунтлерой» Бернет или «Князь Илико» Желиховской.

Вероятно, эти повести привлекали меня тем, что их герои были моими ровесниками, а читатель-ребенок, при всем своем жадном интересе к жизни взрослых, все же нуждается и в книге, рассказывающей о приключениях и переживаниях юности.

А может быть, детские романтические повести, лишенные особой глубины, но полные событий, были для меня в известной мере отдыхом и развлечением. Во всяком случае, Густав Эмар, Майн Рид, а несколько позже Александр Дюма более всего увлекали меня и моих сверстников тем стремительным развитием сюжета, которое современные дети и подростки находят на экране.

Да, эти сюжетные книги с иллюстрациями были нашими фильмами до изобретения кинематографа.

Я проглатывал их залпом, пропуская подчас строчки и даже

целые страницы, чтобы поскорее узнать развязку запутанного клубка событий.

Подобно американцам, я любил «счастливые концы» и потому предпочитал книги, в которых рассказ ведется от первого лица. Это давало мне уверенность, что герой романа, рассказывающий о самом себе, не умрет от чахотки, не утонет и не застрелится. Но оказалось, что и это не всегда гарантирует герою безопасность. Бывает и так, что рассказ от первого лица где-то на последних страницах внезапно прерывается несколькими рядами точек, а затем — уже от третьего лица — спокойно сообщается, что герой приказал долго жить...

Наиболее острые, загадочные, запутанные сюжеты я находил в переводных романах. Одолев такой роман, я мог пересказать довольно подробно его содержание, но в памяти моей редко удерживались строчки подлинного текста, реплики действующих лиц.

А из Пушкина, Гоголя, Лермонтова, из «Кавказского пленника» Льва Толстого запоминались не только отдельные строчки, но иной раз целые страницы. На всю жизнь врезались мне в память тихие слова Акакия Акакиевича Башмачкина из «Шинели», которую я прочел в десятилетнем возрасте: «Зачем вы меня обижаете?..»

Вероятно, в ту же пору жизни я накрепко запомнил диалог из лермонтовского «Маскарада».

— Что стоят ваши эполеты?
— Я с честью их достал,— и вам их не купить...

Меня пленяла четкость и острота этих двух беглых реплик, похожих на звонкие удары скрестившихся рапир. Правда, мне было не совсем понятно, что́ значит «с честью их достал», но я чувствовал и едкий цинизм насмешливого вопроса и молодое, эффектно-благородное негодование в ответе офицера.

«Маскарад» я читал еще в пригороде — на Майдане. У меня не было да и не могло быть тогда ни малейшего понятия о нравах светского общества, и единственным офицером, которого я знал до того времени, был все тот же воронежский военный врач, лечивший меня в раннем детстве. И все же до меня полностью дошла сущность колкого разговора между князем Звездичем и его партнером по карточному столу.

Детских библиотек и читален в это время у нас в городе еще не было, если не считать той маленькой библиотечки, которая целиком умещалась в небольшом книжном шкафу, стоявшем у нас в классе под «научной» картиной с надписью: «Тропиче-

ский лес». Такие же скромные библиотечки были и в других классах.

Книги выдавал раз в неделю — по субботам — наш «законоучитель», еще довольно молодой священник, отец Евгений Оболенский, носивший шелковую лиловую рясу и заботливо холивший свои темно-каштановые, кудрявые, не слишком длинные волосы и небольшую бородку.

Книг в его шкафу было очень мало, а интересных и того меньше. И объяснялось это, как я узнал позднее, не бедностью, а строгим отбором, не допускавшим в гимназические библиотеки книг, в которых были малейшие признаки вольного духа.

Басни Крылова, «Детские годы Багрова-внука» и «Тарас Бульба» стояли здесь рядом с «Юрием Милославским», «Ледяным домом» и «Аскольдовой могилой», а дальше шли книги авторов, имена которых я забыл или никогда не знал,— о «белом генерале», о «царе-освободителе» да еще о каком-то «Мехмед-Бее, мамелюке тунисском».

Были здесь и сборники детских пьес, по своему языку и стилю запоздавших более чем на полвека. И все же названия некоторых из этих пьес остались у меня в памяти. Наверно, это потому, что я со своими одноклассниками тщетно и долго искал среди них что-нибудь такое, что можно было бы разыграть на гимназическом вечере.

Почему-то авторы этих пьес скрывались под инициалами — «С-н» или «Э. Гр-р»,— а пьесы назывались:

«Избалованное дитя. Комедия в 1 действии».

«Ленивица. Драма (!) в 1 действии».

«Бедность, честность, счастье, или Марсельская сирота. Драма в 5 действиях». И все в таком же роде.

Как-то недавно мне попала в руки книжка, тоже оказавшаяся моей старинной знакомой. Прочитав заглавие «Очерки жизни и сочинений Жуковского, составленные П. Басистовым», я сразу вспомнил, что видел точно такую же в нашем классном книжном шкафу. Тогда она мало заинтересовала меня, а теперь даже ее поблекший переплет и старинный шрифт так трогательно напомнили мне давние времена, что у меня возникло желание познакомиться с ней поближе.

Одна из ее глав называлась торжественно и таинственно: «История души Жуковского по его стихотворениям».

Другую главу составитель назвал короче: «Черта благотворительности Жуковского». В ней обстоятельно рассказывалось, как Жуковский, получив от одной дамы-писательницы в подарок книжку, послал ей с камер-лакеем сто рублей, а затем лично навестил эту даму и долго беседовал с ее прелестной в своей наивности маленькой дочкой о пользе изучения русской грамматики.

С необыкновенной деликатностью и грацией говорит автор

книги о происхождении Василия Андреевича Жуковского, который, как известно, был незаконнорожденным сыном богатого помещика Бунина и пленной турчанки Сальхи.

«У помещика... Афанасия Ивановича Бунина,— пишет этот биограф,— было несколько взрослых дочерей, но ни одного сына,— и он охотно усыновил мальчика, родившегося почти сиротою (!); мать Жуковского, Лизавета Дементьевна, была также принята в дом Афанасия Ивановича...»

По счастью, не многие из моих соклассников довольствовались тем запасом книг, которым заведовал отец Евгений Оболенский. Мы охотились за книгами где только могли и обменивались своими находками друг с другом.

Пожалуй, я был счастливее в своих поисках, чем очень многие из моих сверстников. Меня снабжали книгами и Лебедевы и Гришанины. Да к тому же я читал все, что доставал для меня и для себя старший брат.

Скоро я свел знакомство с владельцем нового, только что открывшегося у нас в городе «Писчебумажного и книжного магазина». Здесь я впервые обнаружил «Библиотечку Ступина», а потом и целую серию изданий «Посредника» и «Петербургского комитета грамотности».

Помимо того, что эти книжки были дешевы, они казались мне — особенно «Библиотечка Ступина» — необыкновенно привлекательными.

Ребята любят все маленькое. Вернее сказать, они любят видеть маленьким то, что обычно бывает большим. При этом маленькое должно быть настоящим, то есть сохранять все черты и пропорции большого.

Такими казались мне издания Ступина при всей их миниатюрности. Вероятно, издатель нашел удачный формат, шрифт, цвет обложки и хорошо выбрал рассказы, подходящие для дешевой общедоступной библиотечки.

Самая фамилия издателя не казалась мне случайной. Как-то невольно и подсознательно я осмыслил ее, связав со словом «ступенька». Каждая книжка этой библиотечки была для меня ступенькой какой-то лестницы.

Я помню далеко не все имена авторов книг, прочитанных в этом возрасте, а вот фамилию издателя почему-то хорошо запомнил.

Не я один сохранил добрую память о книжечках Ступина. Многие из моих современников рассказывали мне, что их тоже радовали эти маленькие, словно игрушечные, но вполне «всамделишные» книжки.

Дети знают, что такое благодарность, и умеют сохранять ее надолго.

До сих пор, закрыв глаза, я могу совершенно отчетливо, до

мельчайших подробностей, представить себе острогожский «Писчебумажный и книжный магазин». Впервые в жизни увидел я там на полках так много превосходной чистой бумаги — целые стопы аккуратно обрубленных белых, гладких листов с голубоватыми линейками и клеточками и безо всяких линеек и клеточек.

Да и кроме бумаги чего-чего там только не было! Толстые книги в тисненных золотом переплетах и тонкие в ярких, лихо разрисованных обложках, объемистые общие тетради в глянцевитой клеенке. И тут же на прилавке под прозрачным стеклом еще более заманчивые вещи: перочинные ножички — нарядные, перламутровые и темненькие, попроще,— раскрашенные пеналы, альбомы для стихов, резинки с напечатанными на них черными или красными слонами, линейки, циркули, перышки — богатейший набор перьев от маленького, тоненького, почти лишенного веса, до крупных, желтых, с четко выдавленным номером: «86».

Ни один магазин в городе не казался мне таким интересным и богатым, как этот, хоть вывеска у него была поскромнее и помещение потеснее, чем у бакалейщиков и галантерейщиков. Да и народу бывало в нем меньше.

Забежит, бывало, на несколько минут шумная компания гимназистов, гимназисток или «уездников», потолчется у прилавка, накупит всякой всячины — тетрадок с розовыми промокашками, бумаги для рисования и черчения, блестящих, гладких, так вкусно пахнущих деревом и лаком карандашей, а заодно и полюбуется переводными картинками. Впрочем, маленькие гимназистки предпочитали картинки «налепные» — штампованные, выпуклые, изображавшие ярко-пунцовые венчики роз и пухлых ангелочков.

Таким покупателям владелец магазина — тихий и серьезный человек, с виду похожий на поэта Некрасова,— долго задерживаться у прилавка не давал. Зато любителям книг он благосклонно и беспрепятственно разрешал проводить у книжных полок целые часы. Они спокойно, не торопясь, раскрывали книгу за книгой и вели между собой и с хозяином долгие разговоры о том, что́ именно «хотел сказать» автор своей повестью или романом.

Меня владелец магазина на первых порах причислял к той категории покупателей, которые интересуются перышками да картинками, и только потом — через полгода или год,— почувствовав во мне страстного читателя, милостиво допустил меня к полкам. Я бережно перелистывал толстые романы и повести, а томики стихов проглатывал тут же, не сходя с места.

Чуть ли не через день заглядывал я в «Писчебумажный и книжный магазин».

Книгами торговали у нас в городе и прежде. А вот такого просветителя, как владелец нового магазина, у нас еще не бывало. Это было своего рода знамение времени.

Знамением времени было и появление у нас в гимназии нового преподавателя русского языка и литературы — Николая Александровича Поповского.

Старый преподаватель словесности Антонов был несловоохотлив, сух и не допускал никакой вольности — ни в мыслях, ни в стиле изложения. Его пугал малейший отход от буквальности. Встретив в работе восьмиклассника выражение «глубокая мысль», он дважды подчеркивал его и писал на полях: «Глубокой может быть только яма».

Почему только яма, а не море, не океан,— это было понятно одному лишь Степану Григорьевичу. Может быть, он и не верил в существование океанов, которых поблизости от Острогожского уезда нет и никогда не было.

Он был глубоко прозаичен, презрителен и грубоват, наш учитель словесности. Во время урока лицо его казалось окаменевшим. Он мало интересовался тем, как относятся к нему гимназисты, которых он едва удостаивал беглым взглядом из-под очков.

Так смотрит на пассажиров, подходящих к окошечку, старый усталый железнодорожный кассир, который замечает своих клиентов только в случае каких-нибудь недоразумений или пререканий.

Степана Григорьевича было трудно вообразить без мешковатого форменного сюртука с золотыми наплечниками. Он отнюдь не был безобразен: напротив, черты его лица отличались правильностью и отсутствием особых примет — достоинствами, которые он так ценил в классных работах учеников.

Сидел он на своем преподавательском стуле прочно и неподвижно до самого конца урока, и если шевелил рукой, то только для того, чтобы почесать в раздумье щеку, погладить бороду или поставить в классном журнале двойку, тройку, в лучшем случае четверку. Пятерками он своих учеников баловал редко. Зато излюбленной его отметкой была единица. Кол.

Нам казалось, что Сапожник будет неразлучен с нами до конца наших гимназических дней. Но вышло иначе. Классы поделили между ним и новым преподавателем.

Новый появился у нас в одно прекрасное утро безо всякого предупреждения. Он весело и бодро взошел на кафедру — молодой, прямой, высокий, чуть ли не на голову выше своего предшественника, тоже отличавшегося немалым ростом, но как-то раньше времени осевшего.

Молодой преподаватель был родом с юга. Это было видно по матово-смуглому цвету лица, по черным блестящим волосам и бородке, по темно-карим глазам, глядевшим смело и открыто из-под крутых сросшихся бровей.

В первые же дни после прихода в наш класс Николая Алек-

сандровича Поповского гимназистам стали известны мельчайшие подробности его жизни.

Они разведали, где он живет и у кого столуется, узнали, что окончил он духовную семинарию, а затем и университет, что в наш город он приехал не один, а со своей сестрой-курсисткой, очень похожей на него, и что между собой эта пара чаще всего говорит по-молдавски, на своем родном языке, хоть и русским владеет в совершенстве.

В классе нового учителя встретили с интересом, даже с некоторым любопытством. Да и было чему удивляться. Поповский был так не похож на своего предшественника и на других сослуживцев по гимназии! С учениками был вежлив, всем говорил «вы».

После первой письменной работы очень скоро возвратил тетрадки, не поставив ни одной отметки.

Вместо цифры, выведенной красными чернилами, каждый из моих соклассников нашел под своей работой несколько кратких замечаний Поповского. В тетради Коли Ястребцева, одного из первых наших учеников, было написано:

«Все правильно, ни одной ошибки, но язык беден, бесцветен. Надо больше читать. Н. П.»

На первых своих уроках Николай Александрович попросту разговаривал с нами обо всякой всячине и только потом начал «спрашивать» — да и то с места, то есть без вызова к доске или кафедре. Тем, кто знал урок не слишком твердо, это было на руку, так как с места легче и подсказку услышать и заглянуть в раскрытую, лежащую под крышкой парты книгу. Так многие и делали: отвечали Поповскому то под суфлера, то по книге. А другие, глядя на них, посмеивались над простоватым новичком-учителем и были уверены, что он ничего не видит перед собой, кроме книги, которую держит в руках, ничего не слышит, кроме звуков собственного голоса.

Понемногу самые искусные и опытные мастера подсказки и шпаргалки совершенно перестали церемониться на уроках Поповского.

Особенной изворотливостью отличался наш Степа Чердынцев. Все свои способности он тратил на то, чтобы водить за нос учителей и поражать товарищей неожиданными и дерзкими проделками. Дома его баловали, учителя с великим трудом перетаскивали из класса в класс. В первый же год своего пребывания в гимназии Степа отличился тем, что, обжигаясь и дуя на руки, украл из печки сторожа Родиона горшок гречневой каши. Украл, конечно, не с голоду, а так, скорее из удальства. Но все же кашу уплел до последней крупинки. Несколько лет после этого его дразнили «Кашей».

Товарищи подтрунивали над ним и в то же время искренне

восхищались его непревзойденной ловкостью. С искусством и усердием паука опутал он чуть ли не весь класс нитками, по которым передвигались от одной парты к другой шпаргалки. Отвечая урок, он каким-то образом ухитрялся приклеивать шпаргалку к стенке кафедры под самым носом преподавателя.

В конце учебного года учитель математики обычно предоставлял ему возможность переправить двойку на тройку. Но, готовясь к вызову, Чердынцев не занимался, как другие, зубрежкой или решением задач, но и не сидел без дела, а старательно исписывал цифрами всю оборотную сторону классной доски, перенося на нее со шпаргалки решение задач, которые — по неизвестно откуда добытым сведениям — мог предложить ему учитель. А когда его наконец вызывали, он так яростно и энергично выводил на доске цифру за цифрой, что мел крошился у него в руке и он должен был чуть ли не каждую минуту заглядывать за доску, где хранились запасные кусочки мела. После этого он более или менее благополучно справлялся с задачей и получал тройку. Больше ему и не нужно было.

Когда задачу приходилось решать не на доске, а в тетради, Степу выручала шпаргалка, спрятанная в рукаве. Она была на резинке и при первой же опасности мгновенно уходила в рукав. Вероятно, специально для этой цели Степа — один во всем классе — носил накрахмаленные манжеты.

Впрочем, на уроках Поповского никто не торопился прятать шпаргалки, и секретный телеграф, по которому Степа Чердынцев переговаривался с другими партами, действовал вовсю.

Но вот однажды, когда урок отвечал долговязый Сыроваткин, а Степа спокойно и почти беззвучно подсказывал ему, глядя в раскрытую на парте книгу, Николай Александрович вдруг нахмурился, покраснел и сказал громко и твердо:

— Садитесь, Сыроваткин. Довольно. Вам я ставлю двойку за ответ, а Чердынцеву двойку за поведение.

И, со стуком откинув толстую крышку классного журнала, Поповский решительным движением вывел на его странице две крупные двойки. Первые двойки с тех пор, как он пришел в наш класс.

Никто этого не ожидал. Класс затих, а Сыроваткин и Чердынцев почти в один голос спросили:

— За что, Николай Александрович?.. За что?

Поповский поднялся с места.

— Как за что? И вы еще осмеливаетесь спрашивать! Больше месяца терпел я это издевательство. Ведь я все видел, но только мне было стыдно — понимаете ли, стыдно — ловить вас за руку, как мелких воришек. Кого вы обманываете?.. Если вы хотите остаться безграмотными, оставайтесь — воля ваша. Но в таком случае вам незачем занимать эти места за партами. Ведь на них

могли бы сидеть честные и способные юноши, из которых вышел бы толк.

Николай Александрович немного помолчал, а потом заговорил более спокойно:

— Вот что, господа. Не для того я стал учителем, чтобы донимать учеников единицами и двойками, оставлять без обеда, выгонять из класса. Дайте мне возможность учить вас, а не воевать с вами!

Он опять помолчал, как будто ожидая ответа. Молчали и мы.

И вдруг он улыбнулся и сказал своим обычным ровным и звучным голосом:

— Итак, я надеюсь, вы прекратите эту нелепую комедию, и мы будем жить с вами в мире. А вас, Чердынцев, я попрошу на первой же перемене убрать подальше все ваши хитроумные изобретения. Надеюсь, они вам больше не понадобятся. Попробуйте жить честно. Я предлагаю вам такой уговор. Завтра у нас в классе будет письменная работа. Я освобождаю вас от нее, но зато вы должны будете тут же, при мне, выучить урок, который я вам задам. Не бойтесь — всего две-три странички, не больше! За это я поставлю вам в году тройку, а может быть, и четверку, и вы перейдете в следующий класс без переэкзаменовки. Идет? Согласны?

Чердынцев кивнул головой.

— Ну вот и хорошо. А пока прощайте.

За дверью уже заливался, обегая все коридоры, гулкий звонок. Урок был окончен.

На следующий день наш новый учитель пришел в класс в самом лучшем настроении. День был весенний — ветреный, но теплый. Деревянные дома, которых в городе было немало, потемнели от сырости. Почернели и голые деревья. Казалось, весь город был нарисован черным угольным карандашом.

В классе у нас была открыта форточка в еще влажный городской сад. Легкий ветер то и дело вздувал на стенах огромные карты Европы и Азии с темно-коричневыми горами, зелеными низменностями и синими морями.

От весеннего тепла и крепкого, свежего воздуха нас одолевала дремота, и минутами нам чудилось, что сверкающая желтым и черным лаком кафедра вместе с учителем уплывает куда-то вдаль, становясь все меньше и меньше. Нужно было усилие воли, чтобы преодолеть это приятное оцепенение.

Вдруг из городского сада явственно донесся какой-то низкий, лениво-добродушный женский голос:

— Мишутка, а, Мишутка, где же ты? Хочешь молочка, детка?..

Почему-то во время школьного урока все постороннее, неожиданное, частное, врывающееся в класс из вольного, живущего своей жизнью мира, всегда кажется странным и смешным. Так было и на этот раз. Ребята засмеялись, а кто-то на последней парте проговорил нараспев таким же густым голосом:

— Мишутка, а, Мишутка!..

Николай Александрович не обратил никакого внимания на эту вольность. Он только слегка улыбнулся и захлопнул журнал, в котором уже успел отметить, кого нет в классе. После этого он задал нам письменную работу, прошелся раз-другой по комнате и подсел к Степе Чердынцеву.

— Ну вот, Чердынцев,— сказал он,— сегодня мы с вами докажем всему классу, что умеем работать. Верно? Давайте-ка выучим до конца урока эти полторы странички. Если вы ответите мне хоть на тройку, лето у вас не будет испорчено. Но дело, в сущности, даже не в этом, а в том, чтобы вы научились наконец ходить прямыми дорогами, а не петлять, как заяц. Ну, в добрый час!

В классе было тихо. Слышался только скрип наших перьев да спокойные шаги Николая Александровича, который, заложив руки за спину, медленно прохаживался по классу.

Время от времени мы все невольно прерывали работу и с любопытством поглядывали на Степу, учившего урок. Это было невиданное зрелище! Он сидел, не подымая головы, подперев кулаками пухлые щеки и зажмурив свои и без того узкие, обычно такие лукавые глаза. Наши взгляды, видимо, смущали его. Он так любил козырять перед нами своей бесшабашной удалью, а теперь сидел тихо и смирно, как сдавшийся в плен и обезоруженный наездник-головорез.

Урок приближался к концу. Один за другим отдавали мы свои тетрадки Николаю Александровичу или сами несли их на кафедру. Окончив работу, мы уже не отрывали глаз от Степы.

В книгу он больше не смотрел, а занимался самыми разнообразными делами: то с трудом вытаскивал из тесного переднего карманчика брюк новенькие черные часы, то засовывал их обратно и принимался тщательно оттачивать карандаш.

Эх, не попадись он вчера так глупо, не пришлось бы ему сейчас сидеть без дела. Не теряя ни одной минуты зря, он бы ловко и быстро орудовал испытанным арсеналом своих шпаргалок. Да уж теперь ничего не поделаешь! Сам свалял дурака — поддался на уговоры этого хитрого халдея, который целый месяц прикидывался блаженным только ради того, чтобы вернее поймать на удочку бедного Степу.

Но вот Николай Александрович подошел к парте, за которой сидел Чердынцев, и остановился, вопросительно на него поглядывая.

Чердынцев молчал.

— Ну, как дела? Надеюсь, вы готовы? — спросил Поповский.

Степа только ниже опустил свою круглую, коротко остриженную голову.

— Что же вы молчите? Я спрашиваю, можете ли вы уже отвечать?

Степа тяжело встал с места и, глядя куда-то в сторону, сказал сквозь зубы:

— Не могу...

— Но хоть что-нибудь вы за этот час приготовили? — все еще с надеждой спросил Поповский.— Ну, страницу, полстраницы?

Степа как-то странно надулся, засопел, и вдруг неудержимые слезы горохом посыпались у него из глаз. Он заревел, как маленький,— всхлипывая, захлебываясь, вытирая глаза кулаками.

Николай Александрович даже испугался.

— Что с вами, Чердынцев?..

— Не могу, Николай Алексаныч! Ей-бо, не могу!

— Чего не можете?

— Ничего запомнить не могу!

— Но ведь вы же не тупица, Чердынцев! Подумать только, сколько труда, хитрости, изобретательности тратили вы на то, чтобы несколько лет обманывать своих учителей!... А на честную работу вы не способны?

— Не способен! — едва слышным шепотом сказал Чердынцев.

БЕЗ СТАРШИХ

В те дни, когда на пустынном заводском дворе я водил палочкой по земле, переходя от одного построенного мною городка к другому и сочиняя историю некоего странствующего героя, я и не предполагал, что эта игра была как бы предчувствием моей собственной судьбы.

Разница была только в том, что мой герой выходил из глуши и безвестности в большой, полный событий мир, уже достигнув зрелого возраста, а в моей жизни такой перелом произошел гораздо раньше.

После переселения нашей семьи с окраины в город мы не прожили на месте и двух лет, как стали готовиться к новому переезду — и не куда-нибудь, а прямо в столицу, в Питер, в Санкт-Петербург! Это не было осуществлением широких планов нашего отца. Просто ему предложили в Петербурге работу на небольшом, еще только строившемся в то время заводе.

Я и мой старший брат уже успели мысленно обойти все улицы столицы, известные нам по Пушкину и Гоголю, когда выяснилось, что нам обоим придется остаться в Острогожске, так как нет никакой надежды добиться нашего перевода в какую-нибудь из петербургских гимназий.

Мать утешала нас тем, что в Питер мы будем ездить два раза в год — на летние и зимние каникулы. Остальное же время будем жить в Острогожске, у дяди.

И вот, как мы когда-то мечтали, к вокзальной платформе шумно подкатил поезд, но увез он из Острогожска не всю нашу семью, а только мать, сестер и маленького брата (отец был уже в это время в Петербурге).

Впервые я и старший брат были оторваны от большой и дружной семьи. Мы оба очень скучали, но в то же время у нас было какое-то новое, непривычное ощущение свободы и самостоятельности. Без старших мы зажили почти по-студенчески. Правда, брат считал своим долгом следить за тем, чтобы я не слишком поздно ложился спать и не пропускал уроков. Это давалось ему нелегко, так как он был по горло занят своими собственными уроками — всякими там греческими глаголами и тригонометрическими формулами — и к тому же в первый раз в жизни влюблен.

Я знал или, вернее, догадывался об этом только по обрывкам его разговоров с товарищем. Меня в свою тайну он не хотел допустить — должно быть, по привычке все еще считал меня маленьким.

Он был так скромен и застенчив, мой старший брат, что даже не пытался познакомиться с веселой, смуглой и кудрявой гимназисткой, завладевшей его сердцем. Он считал себя вполне счастливым, если ему удавалось бросить на нее беглый взгляд в городском саду или на улице.

Мне было обидно, что от меня что-то скрывают, и я решил доказать брату и его товарищу, что давно уже вышел из младенческого возраста.

Я познакомился с двоюродным братом черноглазой гимназистки (он был одним классом старше меня), потом и с нею самой — и очень скоро получил приглашение на ее именины.

Трудно передать, как был ошеломлен мой брат, когда я как-то вскользь, мимоходом, сказал ему, где собираюсь провести вечер.

Карманных денег у нас с ним было очень мало, и все же он купил мне ради этого торжественного случая крахмальный бумажный воротничок, а потом — к вечеру — нанял для меня за гривенник извозчичью пролетку с двумя великолепными фонарями.

Помню, с каким грохотом покатил я по булыжной мостовой,

а брат остался на перекрестке, грустно и задумчиво глядя мне вслед.

Вернулся я в этот вечер довольно поздно — часов в двенадцать,— но брат еще не спал.

Долго и осторожно расспрашивал он меня обо всех, кто был на именинах, стараясь не показать виду, что больше всего его интересует сама именинница.

Уже засыпая, я отвечал ему нехотя и невпопад.

Таким допросам подвергал он меня каждый раз, когда мне случалось бывать в этом доме. «Ну, а она что? А ты что? А он что?»

Скоро я стал настолько своим человеком в семье моих новых знакомых, что мне уже ничего не стоило намекнуть, чтобы туда пригласили и брата.

Он долго готовился к этому посещению, гладил брюки, чистил ботинки себе и мне.

Но на первых порах визит был не слишком удачен. Брат стеснялся, молчал, а на черноглазую гимназистку, которая и всегда была смешлива, ни с того ни с сего напал такой бешеный порыв беспричинного смеха, что она только кусала губы, и на ее густых ресницах дрожали крупные капли слез. Мать укоризненно поглядывала на нее, а брат мой краснел и хмурился, видимо подозревая, что виновником этого бурного веселья был именно он.

Чтобы как-нибудь спасти положение, я на правах старого знакомого хозяев предложил брату прочесть что-нибудь вслух. Я чувствовал, что это избавит его от необходимости поддерживать вялый, натянутый разговор и поможет ему преодолеть застенчивость. В гимназии он считался отличным чтецом и не раз участвовал в литературных вечерах. Но, должно быть, он гораздо меньше волновался, выступая перед публикой в актовом зале, чем здесь, в маленькой, скромной гостиной под взглядом любопытных и насмешливых черных глаз.

Долго перелистывал он томик Чехова, не зная, на чем остановиться.

Я тихонько толкнул его под локоть:

— «Хирургию» прочти!

Брат благодарно кивнул головой, слегка откашлялся, и вот в комнате неожиданно зазвучали, перебивая друг друга, два голоса: один — ноющий, гнусавый, другой — хриплый, басистый.

С первых же строк внимание слушателей было завоевано.

Я гордился братом, а наша юная хозяйка была, должно быть, от души благодарна ему за то, что могла наконец дать волю неудержимому смеху, не боясь кого-нибудь обидеть.

В общем, все остались очень довольны, хвалили брата и, провожая, просили заходить почаще.

На этот раз, укладываясь в постель, мы почти не разговари-

вали друг с другом. Брат был погружен в свои мысли, а я радовался тому, что не должен, борясь со сном, отвечать на его бесконечные вопросы.

Я был совершенно уверен, что в ближайшее время он непременно воспользуется приглашением заходить почаще, но этого не случилось. Только изредка бывал он у новых знакомых, да и мне не советовал «злоупотреблять гостеприимством».

Я смотрел тогда на вещи гораздо проще, и мне была непонятна такая чрезмерная щепетильность. Только много лет спустя я понял, как бережно относился брат к этим встречам. Каждая из них была для него настоящим событием.

В эти месяцы моей вольной, почти самостоятельной жизни я стал все чаще и чаще заглядывать в наш новый «Писчебумажный и книжный магазин», где можно было не только найти свежую, только что полученную из столицы книжку, но и поговорить о современной литературе с любителями чтения, среди которых особенно рьяным был, пожалуй, сам длинноволосый и остробородый хозяин лавки.

В сущности, только теперь, в первые годы нынешнего столетия, я и мои сверстники узнали, что такое «современная литература».

В гимназии литературу проходили не дальше Тургенева и Гончарова, да и то в самых старших классах, но добирались мы до них — а еще раньше до Жуковского, Пушкина и Гоголя — медленно и долго через Антиоха Кантемира, Сумарокова, Хераскова. Для нас это было путешествием по унылой пустыне, в которой почти не было оазисов.

Если в гимназии оказывался умный и талантливый учитель, нас еще могли заинтересовать отдельные, наименее устаревшие отрывки из Ломоносова и Державина. С удивлением различали мы в этих старинных строчках могучие и своеобразные голоса.

А у заурядных преподавателей словесности даже Державин казался продолжением кантемиро-херасковской пустыни.

Да и не только Державина, но и Пушкина заодно с Лермонтовым и Гоголем ухитрялись состарить и притушить такие словесники, как наш тяжеловесный и скрипучий Степан Григорьевич Антонов, недаром получивший от своих благодарных учеников пожизненное прозвище «Сапожник».

Как прививают людям вакцину, для того чтобы они не заболели по-настоящему, так постепенно — скучной зубрежкой отрывков из «Евгения Онегина» (главным образом о временах года) да еще писанием сравнительных характеристик Онегина и Ленского или Татьяны и Ольги — вырабатывали у нас иммуни-

тет к Пушкину, как бы заботясь только о том, чтобы мы не «заболели» им всерьез.

И это нашим словесникам удавалось в полной мере. Нелегко было после них почувствовать прелесть и свежесть строчек, вырванных из пушкинских поэм. Словно какие-то мозоли оставались у нас в мозгу от бесконечного повторения лирических отрывков из гоголевской прозы.

Однако все же, хоть по казенному шаблону, с классикой гимназия нас кое-как знакомила. А вот литературы наших дней она и совсем не признавала — будто дойдя до «Обрыва» Гончарова, кончалась обрывом и вся наша изящная словесность!

Новых, современных изданий пуще огня боялась гимназическая библиотека. Она была похожа на остановившиеся часы, показывающие давно прошедшее время.

Но вот наши крылья настолько подросли и окрепли, что мы сами пустились на поиски чтения, которое могло бы утолить юношеский жадный интерес к новым чувствам и мыслям. Где только можно было, у товарищей и знакомых, искали мы последние издания классиков и современных писателей — книги, пахнущие не пылью и затхлостью чулана, а свежей типографской краской.

Не помню, как и когда попал в руки брату, а потом и мне тонкий, большого формата номер еженедельного журнала с крупным узорным заголовком «Нива». В этом номере на видном месте была напечатана глава из нового романа Толстого «Воскресение» с рисунками художника Пастернака. О Толстом толковали тогда много и противоречиво. Его жизнью, ученьем, спорами с церковью и правительством интересовались самые разные люди. Одни называли его учителем, подвижником, другие ни за что не хотели поверить в искренность этого графа, который почему-то сам себе шьет сапоги и ходит босой.

Не мудрено, что мы с жаром ухватились за эту случайно попавшую нам на глаза главу толстовского романа. Не так-то легко было собрать роман целиком, разыскать все тетрадки «Нивы» от первой до последней. И, однако же, мы нашли их и были щедро вознаграждены за свои старания: впервые открылась нам в книге та самая жизнь, которая окружала нас, как воздух.

Самые увлекательные из романов, прочитанных нами до того — Тургенева, Гончарова, Григоровича,— все-таки относились к прошлому, хоть и к недавнему. А тут современность подступила к нам вплотную, к самым нашим глазам, да еще современность, прошедшая перед суровым и мудрым судом такого художника, как Толстой.

В сущности, именно с толстовского «Воскресения» и началось для нас знакомство с новой литературой, которую так осторожно обходила наша гимназия.

Одно за другим узнавали мы новые имена, различали голоса, которых раньше не слышали.

Увлечение писателями-современниками начиналось для нас почти так, как обычно начинается любовь. Вот среди прочих лиц мелькнуло незнакомое, но чем-то привлекательное лицо. Мы еще не выделяем его из множества других, а наша память уже бережет его на всякий случай, почти без участия сознания. Но вот вторая встреча, и мы уже радуемся знакомым чертам и всматриваемся в них гораздо пристальнее. А там, глядишь, знакомство, которое еще недавно казалось таким случайным, уже становится частью нашей жизни, определяет нашу судьбу, и мы даже представить себе не можем, как это мы могли существовать без того, что теперь для нас так дорого и важно.

Помню, как впервые для меня прозвучал со сцены насмешливый, полный веселого задора голос молодого Чехова. Я еще не знал тогда, что такое Чехов, и раньше запомнил названия его маленьких пьес — «Медведь», «Предложение»,— чем имя их автора. Потом как-то незаметно у нас вошло в обычай читать вслух короткие чеховские рассказы. Мы наслаждались их легкостью, простотой, безупречной верностью наблюдения.

Трудно припомнить, когда и как научились мы узнавать в каждой новой чеховской странице тот пристальный, серьезный и внимательный взгляд, устремленный в самую глубь нашего времени, который, пожалуй, стал для нас вернейшей приметой Чехова.

Он входил в нашу жизнь исподволь, легкой поступью, как будто бы ничего особенного не обещая, но оставляя в нашем сознании все более глубокий и прочный след.

Такой постепенности не было в нашем знакомстве с другим большим писателем, появившимся на рубеже двух веков,— с Горьким.

Это имя я услышал задолго до того, как впервые раскрыл небольшой томик в зеленоватой обложке.

Было что-то тревожащее и притягательное в доходивших до нас обрывках биографии этого нового писателя, в самом облике его и даже в имени.

Горький. Имя это как бы говорило о горькой судьбе, родственной многим судьбам на Руси. И в то же время оно звучало как протест, как вызов, как обещание говорить горькую правду.

А какой причудливой, разнообразной, правдивой до грубости и в то же время поэтической жизнью пахну́ло на нас со страниц его молодых рассказов. Словно ветер, прилетевший откуда-то из степи или с моря, разом распахнул у нас все окна и двери.

Мы вдруг узнали и поверили, что и в наше время есть на зем-

ле смелые, вольнолюбивые люди, непоклонные головы, и что жизнь свою можно выбирать, а не идти по готовым, давно проложенным дорожкам.

Самые имена горьковских героев пленяли нас своим неожиданным, непривычным для слуха, почти сказочным звучанием.

Многие из взрослых недоверчиво покачивали головами, пытаясь уверить нас, что Горький — это какой-то самозванец, насильно вторгшийся в тургеневские сады русской литературы, что краски его грубы, а герои надуманны.

Но никакие скептические замечания не могли расхолодить уже влюбленную в него молодежь.

Помню, как прочли мы впервые широкие, полные сдержанной силы, неторопливо размеренные строчки «Буревестника»:

Над седой равниной моря ветер тучи собирает...

Набрав полную грудь воздуха, мы читали эти стихи во всю силу голоса, стараясь передать то пронзительные, то глубокие трубные звуки, которые мы так явственно различали в этих зовущих словах:

Он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы...
...То кричит пророк победы: «Пусть сильнее грянет буря!..»

Мне было лет тринадцать-четырнадцать, когда я вместе со старшеклассниками внимательно разглядывал переходившую из рук в руки открытку, на которой был изображен широкоскулый молодой человек с мечтательно-хмурым лицом, с крутым изломом прямых, падающих на висок волос. На нем была белая косоворотка, подпоясанная ремешком.

Это был Горький.

В то время я и не предполагал, что скоро мне доведется встретиться с ним и эта встреча окажет решающее влияние на всю мою дальнейшую судьбу.

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

Наконец наступили каникулы — те самые, которые нам предстояло провести в Петербурге.

Невский проспект, набережные с памятником Петра по одну сторону Невы и сфинксами по другую, Петропавловская крепость и Адмиралтейство, Зимний дворец и Летний сад — вот что рисовалось нам, когда мы пытались вообразить этот великолепный, такой знакомый и такой загадочный город — Санкт-Петербург.

Впрочем, мы уже знали, что жить нам придется не на Английской или Французской набережной и не на Невском проспекте. Но и проспект, который был обозначен на конвертах писем, полу-

ченных нами от родных, представлялся нам блестящим и праздничным. Как-никак, а все-таки это не простая улица, а проспект! И какое у него звучное название — «Забалканский»!

Родные ни разу не писали нам, как выглядит Забалканский проспект и дом, в котором они поселились. На открытках, полученных от матери, едва умещались ее бесчисленные вопросы о нашем здоровье, о том, как мы учимся, и не протерлись ли у нас рукава, и не износились ли подметки.

А в редких, но пространных письмах отца было много щедрой ласки, много добрых наставлений, но ни слова о том, в котором этаже они живут, во дворе или в квартире, выходящей окнами на улицу, в центре или на окраине.

Все это оставалось для нас загадкой до самого приезда в Питер.

Собрались мы в дорогу легко и быстро — не так, как собиралась когда-то наша семья, начинавшая укладывать вещи чуть ли не за две недели до отъезда.

Всю заботу об упаковке взял на себя брат, никогда не доверявший мне дел, требующих особого порядка и аккуратности. Однако и для меня нашлось ответственное поручение: сторговаться с извозчиком и позаботиться о том, чтобы он рано утром без малейшего опоздания был у наших ворот.

Я обошел целую шеренгу извозчиков, прежде чем мне удалось найти такого, который согласился отвезти нас на вокзал за шесть гривен.

Было еще совсем темно, когда копыта извозчичьей лошади застучали по настилу моста неподалеку от вокзала. В пролетке вместе с нами ехали две спутницы, неожиданно вызвавшиеся проводить нас до ближайшей станции Копанище,— черноглазая гимназистка, которая так нравилась моему брату, и ее подруга. Всю дорогу мы болтали, смеялись, пели и не заметили, как перед нами внезапно выросло одноэтажное кирпичное здание с высокими и узкими окнами. Это и был вокзал.

Спуская с козел нашу корзину, извозчик покрутил головой и сказал:

— Ну и веселые господа! Сколько вожу, а таких не видывал. Надо бы по этому случаю прибавить гривенничек!..

И мы прибавили.

Кажется, еще никогда так стремительно и шумно не подкатывал к платформе паровоз, никогда еще так ярко и весело не блестели желтые вагонные скамейки, как в это утро.

С беззаботной легкостью — не так, как другие пассажиры, долго прощавшиеся и хлопотавшие около своих вещей,— сели мы в поезд. Впрочем, пассажиров было на этот раз немного.

В нашем вагоне, кроме нас четверых, не оказалось ни души. Мы чувствовали себя свободно и непринужденно, и спутницы наши вздумали даже потанцевать друг с дружкой между рядами скамеек. Однако они тут же вспомнили, что времени у нас не слишком-то много, и предложили нам наскоро позавтракать вместе с ними. В корзинке у них оказались завернутые в бумагу тарелочки, вилки, ножи, а еще глубже были аккуратно уложены пирожки, котлеты, бутерброды, яблоки. К нашим припасам они запретили нам даже прикасаться — ведь у нас впереди была еще такая долгая дорога.

Солнце только всходило за окнами, обещая ясную погоду. Как жалко, что мы не можем провести вместе весь этот чудесный майский день!

Длинный и гулкий гудок паровоза внезапно напомнил нам, что пора прощаться.

Провожая наших приятельниц до вагонной площадки, брат обещал часто писать им и дал каждой из них наш петербургский адрес. Но они обе только покачали головой. Неужели мы будем помнить о них, очутившись в шумной столице!

Они уже говорили с нами, как скромные, затерянные в глуши провинциалки — с людьми, живущими в Петербурге светской, рассеянной жизнью.

Брат не успел еще ничего ответить им, когда наш поезд остановился, подался назад, чуть не свалив нас всех с ног, и остановился снова.

Девочки быстро пожали нам руки и сбежали со ступенек на платформу.

В петербургской извозчичьей пролетке с поднятым над нашими головами кожаным верхом — в это время моросил дождь — въехали мы во двор дома на Забалканском проспекте.

Это был двор, каких мы еще не видывали — чистый, просторный, гладко вымощенный, с двухэтажным каменным домом, садиком в углу и со множеством статуй из белого и черного мрамора, разбросанных в беспорядке от ограды до ограды. Статуи чаще всего изображали печальных, склонившихся перед алтарем женщин в покрывалах, спадающих волнистыми складками, и маленьких кудрявых ангелов, грациозно простирающих ввысь круглые, в мраморных жилках, ручонки.

Неужели же мы будем жить на этом дворе, в этом небольшом, уютном и нарядном доме? Нет, оказывается, здесь живет сам хозяин, владелец скульптурной мастерской, итальянец Ботта. А мы едем дальше — во второй двор. Дома здесь похуже. Кирпичные их стены не облицованы гладкими розовато-серыми плитами, как хозяйский дом, и даже не оштукатурены. Но и это

еще не наш двор. Извозчик везет нас дальше — на третий, окруженный невысокими флигелями и весь загроможденный огромными телегами с поднятыми кверху оглоблями.

Едва только мы въехали на этот третий двор, нас оглушил разноголосый шум: удары молотка по железу, надрывный плач ребенка, хриплая песня гармошки, ржанье и дробный топот лошадей в конюшне.

По узкой, полутемной, грязноватой лестнице поднимаемся мы во второй этаж одного из флигелей.

Это и есть наша столичная, петербургская квартира! О том, что она наша, можно догадаться и безо всяких объяснений: достаточно взглянуть на плюшевую — слегка потертую — скатерть, памятную нам еще со времен Майдана, на старый комод, украшенный знакомой парой серебряных подсвечников, на висящую над столом большую керосиновую лампу.

Отец замечает наше разочарование и, как всегда, бодрым, полным уверенности голосом говорит нам, что это жилье — только временный привал и что скоро мы отсюда переедем. У нас будет прекрасная, просторная квартира при заводе за Московской заставой.

А пока он обещает показать нам Петербург. Для этого он освободится завтра пораньше и, если только не будет дождя, прокатит нас на пароходике по Фонтанке и по Неве, поведет в зоологический сад, угостит на Невском знаменитыми филипповскими пирожками.

По старой памяти он, видно, считает нас еще маленькими и предлагает нам программу, которая года два тому назад привела бы нас в полный восторг. А впрочем, откровенно говоря, мы и сейчас не прочь проехаться на пароходе и отведать филипповских пирожков, хоть и знаем, что Петербург может дать гораздо больше того, что обещает нам от своего щедрого сердца отец.

Мы и в самом деле чувствовали себя чуть ли не детьми, во всяком случае моложе своего возраста, в тот чудесный праздничный день, когда отец впервые возил нас по Петербургу, покупал для нас билеты на плавучей, слегка покачивающейся под ногами пристани, усаживал за мраморный столик открытого кафе и заботливо спрашивал, не хотим ли мы еще мороженого. За несколько месяцев разлуки мы успели отвыкнуть от такой заботы, и теперь она особенно трогала нас.

Но сколько ни увидели мы в тот первый день, пожалуй, гораздо полнее и глубже узнал и почувствовал я город через несколько дней, когда решился постранствовать по его улицам совсем один.

Само путешествие доставляло мне радость. Взобравшись по

узкой лесенке на империал конки, я скользил глазами по стройным рядам высоких строгих домов, как бы сливающихся в один огромный дом от перекрестка до перекрестка.

Конка движется так неспешно, что я успеваю прочесть чуть ли не все вывески парикмахерских, кондитерских, ресторанов, банков, страховых обществ, бюро похоронных процессий, винных погребков и ломбардов.

В Острогожске у нас только один книжный магазин, а здесь их целые кварталы. Есть огромные, с зеркальными витринами, а попадаются и такие, где еле-еле умещаются продавец и покупатель.

Меня так и подмывает соскочить на ходу с подножки конки и нырнуть в эту непроходимую книжную чащу. Но мне некогда. Меня ждут Невский проспект, Сенатская площадь, Нева.

И вот уже я шагаю по Невскому. Впереди бледным золотом сияет игла Адмиралтейства с кружевным корабликом на острие. Невский так широк, что дома по обеим его сторонам кажутся ниже, чем на самом деле. Да они и вправду не слишком высоки, и от этого здесь светлее, просторнее, чем на других улицах. А как весело и празднично звучит перестук множества копыт на торцо́вой мостовой!

Два потока людей движутся навстречу один другому по широким панелям из каменных плит.

Я совсем один в этой пестрой толпе куда-то спешащих или чинно прогуливающихся людей. И оттого, что меня здесь никто не знает да и сам я не знаю никого, я чувствую себя свободным — будто кто-то подарил мне шапку-невидимку.

Я брожу по незнакомому городу без провожатых, но все узнаю: мосты, статуи, соборы, дворцы, арки. Можно подумать, что я когда-то уже бывал здесь и потому так уверенно нахожу дорогу к Сенатской площади, к Неве и памятнику Петра.

И если несколько дней тому назад, разъезжая по Питеру с отцом, я казался самому себе маленьким, то здесь, у гранитной ограды Невы или у подножия скалы, на которой застыл на всем скаку Медный Всадник, я чувствую себя вполне взрослым человеком, причастным к жизни взрослых, к истории, к поэзии.

Северные летние сумерки обманули меня: я и не заметил, как подошла белая ночь. Улицы стали понемногу пустеть. Я шел домой, прислушиваясь к четкому стуку своих шагов, вглядываясь в серовато-голубой сумрак, легкий, прозрачный, не мешающий глазам видеть.

В скверах над стрижеными газонами лежали белые волокнистые полосы тумана. Пахло сыростью и землей, будто я не в Петербурге, а где-то на окраине, на огородах.

И этот простой, неожиданный запах делал еще более странной эту ночь без темноты, так непохожую на другие ночи.

Пока я шел, край неба заалел. Ранняя заря заиграла на стеклах верхних окон.

До́ма в тревоге ждали меня родные. Они так обрадовались моему возвращению, что не стали меня бранить, а я был благодарен им за то, что они ничем не омрачили мою первую белую ночь.

Наши каникулы кончались, а мы и сами не знали, радует нас или печалит предстоящее возвращение в Острогожск.

Грустно было снова расставаться с родными, жалко покидать только что открывшийся нам во всем своем великолепии Петербург. Но с каждым днем все милее казался и брату и мне далекий, маленький, почти сплошь деревянный Острогожск, где была наша гимназия, где жили все наши сверстники, товарищи, друзья.

Не знаю, куда, в какую сторону побежал бы я сначала, кого из товарищей повидал бы первым, если бы внезапно очутился в Острогожске. Хотелось увидеть все и всех сразу, снова оказаться по горло занятым, всем и каждому нужным, каким был я до отъезда в Питер.

Так чувствует себя, должно быть, человек, возвращающийся из отпуска в далекий полк, где у него есть определенное положение, точные обязанности, издавна установившиеся отношения с людьми.

Мы и сами не заметили, как стали считать остающиеся до отъезда дни. Особенно не терпелось брату. Он аккуратно переписывался с Острогожском и бережно хранил приходившие оттуда на его имя письма. Я был гораздо легкомысленнее и за все время каникул не написал ни одного письмеца.

Вспоминая об этом, я мучился угрызениями совести и еще больше скучал по затерянному где-то вдалеке Острогожску.

Этот скромный город, где не было ни одного дворца, ни одной триумфальной арки и памятника на площади, казался мне в те времена гораздо более жилым, населенным, чем торжественный и многолюдный Петербург.

Я уже довольно свободно разбирался в петербургских улицах, многие из них измерил шагами из конца в конец, наблюдал их и в дневные часы, и вечером при свете газовых фонарей. Но за каменными стенами многоэтажных зданий я не чувствовал еще живущих там людей, не представлял себе их обстановки и уклада.

Те семьи, с которыми успели познакомиться в столице мои родители, в сущности, оставались и здесь провинциальными и жили во временных, случайных и неуютных квартирах.

А вот настоящих, коренных петербуржцев я еще не встречал.

Однако вскоре — еще до отъезда нашего в Острогожск — мне довелось познакомиться и даже коротко сойтись с ними.

Вот как это случилось.

Один из новых знакомых нашей семьи прочел мои стихи и рассказал обо мне известному в городе меценату. А тот, в свою очередь, расхвалил мои поэмы и переводы — да не кому-нибудь, а самому Стасову.

Владимир Васильевич Стасов позвал меня к себе.

Этот человек, которому шел в то время — летом 1902 года — семьдесят девятый год, встретил меня приветливо, по-стариковски ласково, но с какой-то скрытой настороженностью. Должно быть, не раз приводили к нему всяких малолетних музыкантов, художников, поэтов, и он прекрасно знал, как редко они оправдывают те большие надежды, какие на них возлагают друзья и родственники.

А может быть, он попросту был очень утомлен после долгого, наполненного разнообразными встречами дня. Во всяком случае, начиная читать свои стихи, я видел его крупные опущенные веки, и мне казалось, что он спит.

И вдруг его глаза открылись, и я увидел перед собой совсем другое лицо — оживленное, помолодевшее. Таким он становился всегда, когда был чем-нибудь заинтересован или растроган.

Я начал с переводов, потом читал собственные стихи и, наконец, расхрабрившись, прочел целую шуточную поэму о нашей острогожской гимназии. Слушая меня, Стасов громко хохотал, вытирая слезы, и некоторые, особенно хлесткие места заставлял повторять дважды.

С этого дня в моей жизни и начались события, круто изменившие весь ее ход.

Петербург перестал быть для меня чужим, незнакомым городом, однообразным строем многоэтажных, наглухо закрытых домов. Дом Стасова, такой петербургский по своему характеру и вкусу, широко открыл передо мной двери и сразу породнил меня с этим строгим и умным городом.

Чуть ли не каждый день бывал я у Владимира Васильевича то дома, то в Публичной библиотеке.

С каким жадным любопытством, с каким счастливым ожиданием чего-то нового поднимался я всякий раз по широкой, устланной красным ковром лестнице, которая вела не в читальный зал, а в просторные, тихие комнаты книгохранилища, где по одному, по двое работали ученые сотрудники библиотеки.

У Стасова не было своего отдельного служебного кабинета. Перед большим окном, выходившим на улицу, стоял его тяжеловесный письменный стол, огороженный щитами. Это были стенды с гравированными в разные времена портретами Петра Пер-

вого. На одних гравюрах он был изображен по пояс, в стальных латах, на других — в мантии, во весь рост. На третьих — это был всадник на вздыбленном коне. Гневные, полные воли и энергии черты Петра и его боевой наряд придавали мирному уголку книгохранилища какой-то своеобразный, вдохновенно-воинственный характер. Впрочем, стасовский уголок библиотеки никак нельзя было назвать «мирным». Здесь всегда кипели споры, душой которых был этот рослый, широкоплечий, длиннобородый старик с крупным, орлиным носом и тяжелыми веками. Он никогда не сутулился и до самых последних своих дней высоко нес непреклонную седую голову. Говорил громко и, если даже хотел сказать что-нибудь по секрету, почти не снижал голоса, а только символически заслонял рот ребром ладони, как это делали старинные актеры, произнося слова «в сторону».

Со мной Стасов обращался безо всякой снисходительности, как со взрослым, хоть и говорил мне «ты» и называл меня «Маршачком». Впоследствии при каждой встрече он прибавлял мне какое-нибудь новое шутливое прозвище: «Маршачок-Судачок-Чудачок-Усачок» и т. д.

Впрочем, чаще всего он называл меня короче — «Сам» (уменьшительное от «Самуил») и на книге, которую он мне подарил, написал: «Сам, пожалуйста, будь всегда с а м и меня никогда не забывай. Желаю поскорей большой рост — в сажень!»

Помню, в одну из первых наших встреч я задержался в библиотеке у Владимира Васильевича до конца его занятий.

Вместе мы вышли из подъезда библиотеки и свернули на Невский, продолжая разговаривать.

Было уже около пяти часов вечера, но все еще ярко светило солнце. На улицах было много народу. Прохожие то и дело оглядывались на идущего большими шагами седобородого великана и еле поспевающего за ним мальчика в гимназической фуражке с гербом, в котором поблескивают две буквы «О. Г.» («Острогожская гимназия»).

Пройдя несколько шагов, Стасов нанял извозчика на Пески, на Седьмую Рождественскую, где была его квартира, но по дороге остановился у книжного магазина Суворина.

Продавцы встретили его как старого знакомого. Пошутив с ними (Владимир Васильевич редко обходился без шутки), он попросил подобрать для него целую библиотечку дешевых суворинских изданий. Тут были томики Пушкина, Лермонтова, Баратынского, Гоголя — все в одинаковых картонных переплетах.

Когда мы вышли на улицу, Владимир Васильевич сказал мне своим громким шепотом:

— Это все тебе. Повезешь в свой Острогожск!

С тех пор я не раз заходил за Стасовым, чтобы вместе ехать к нему на Седьмую Рождественскую.

Как запомнились мне эти наши поездки! Мне нравилось сидеть в широкой пролетке рядом с Владимиром Васильевичем, разговаривать с ним, посматривая по сторонам и невольно прислушиваясь к мягкому постукиванию копыт по торцовой мостовой и звонкому — по булыжной.

Вот перед нами подъезд многоэтажного серого дома на Песках.

Щедро расплатившись с извозчиком, Стасов выходит из пролетки и быстро поднимается по лестнице, обгоняя меня и продолжая на ходу, через плечо, начатый разговор.

Сильно дергает он ручку звонка, и домашние сразу догадываются, что это возвратился хозяин.

Перекинувшись с ними несколькими приветливыми, шутливыми словами, он проходит к себе в кабинет — в довольно тесную, узкую комнату, уставленную строгой старинной мебелью и увешанную портретами. Больше всего мне запомнились два репинских портрета: один Льва Толстого, другой — сестры Владимира Васильевича, Надежды Васильевны, замечательной женщины, одной из основательниц Бестужевских женских курсов. Стенная лампа с рефлектором мягко освещает умное, сосредоточенно-суровое лицо, гладкие волосы под темной наколкой, скрещенные худые руки.

Владимир Васильевич укладывается на старинный неширокий диван с намерением отдохнуть до обеда, но отдыхать он не любит и не умеет. Через полчаса он опять на ногах, и мы усаживаемся обедать за большой стол, за которым не раз сидели Мусоргский, Бородин, «Римлянин» (как называл Стасов Римского-Корсакова), Репин, Шаляпин.

Пожалуй, еще больше любил я бывать у Стасова за городом — в деревне Старожиловке, близ Парголова.

На даче Владимир Васильевич укладывал меня на ночь в своей комнате, наверху, и часто будил меня громовым, стасовским, шепотом:

— Сам, ты спишь?

После этого обращения я уже, конечно, не спал и, пользуясь стариковской бессонницей хозяина, забрасывал его множеством вопросов.

Кого только не знал он на своем веку! Мне даже не верилось, что эта рука, которую я так часто держу в своей, пожимала когда-то руку баснописца Ивана Андреевича Крылова, руку автора «Былого и дум» и редактора «Колокола» Александра Ивановича Герцена.

У Стасова была давняя дружба со «Львом Великим», как он неизменно называл Льва Толстого. Он был близко знаком с Гончаровым и с Тургеневым, с которым вел бесконечные споры о музыке, о литературе.

Он рассказывал мне, как однажды он и Тургенев завтракали

вместе в ресторане (Стасов говорил: «в трактире»). Беседуя о чем-то, они неожиданно сошлись во мнениях. Тургенева это так удивило, что он тут же вскочил из-за стола, подбежал к открытому окну и крикнул своим очень высоким, почти женским голосом:

— Вяжите меня, православные! Тургенев с ума спятил — он согласился со Стасовым!

На все мои бесчисленные вопросы Владимир Васильевич отвечал охотно и подробно.

Но один вопрос ошеломил его.

Не подумав, я как-то брякнул:

— А с Державиным вы встречались, Владимир Васильевич?

— С Державиным?! — медленно и удивленно повторил Стасов.— Да ты еще, чего доброго, спросишь, знал ли я старика Мафусаила!

С тех пор я старался не задавать Владимиру Васильевичу таких опрометчивых вопросов.

Уж очень было бы жаль, если бы он махнул на меня рукой и решил, что не сто́ит толковать со мной о далеких временах, о которых у меня имеется самое смутное представление.

А между тем эти устные рассказы Стасова были для меня мостом к очень давней и великой эпохе. Владимир Васильевич родился в 1824 году, в год смерти Байрона. Во время его детства и юности взрослые говорили еще об Отечественной войне, как о событии, лично ими пережитом. И еще совсем свежа была память о восстании декабристов со всеми допросами, доносами и карами, которые за ним последовали. Когда погиб Пушкин, Владимиру Васильевичу было тринадцать лет. Юношей — студентом Училища правоведения — читал он многие, впервые напечатанные страницы Гоголя. Он был единственным человеком, провожавшим вместе с Людмилой Ивановной Шестаковой ее брата, Михаила Ивановича Глинку, когда тот в последний раз уезжал за границу. А уж о Мусоргском и Бородине Стасов мог бы рассказать больше, чем кто-либо из оставшихся в живых современников.

К сожалению, я был еще слишком молод и не мог как следует воспользоваться щедрой готовностью Владимира Васильевича делиться со мною тем, что хранила его необъятная память.

С трогательной заботливостью старался он приобщить меня ко всему, что было ему самому дорого.

Он повез меня в Академию художеств и попросил Ивана Ивановича Толстого, вице-президента Академии, показать мне библейские рисунки Александра Ива́нова. Он брал меня с собой на органные концерты, где исполнялась музыка композитора, которого он ставил выше всех других,— Баха.

Помню, как после одного из таких концертов он решительно тряхнул головой и сказал:

— И после всего этого помирать? Нет, не согласен!

В то время, когда я готовился к отъезду из Петербурга, Стасов тоже собирался в путь — ко Льву Николаевичу Толстому в Ясную Поляну. Для Владимира Васильевича это не было простой поездкой в гости, а настоящим паломничеством.

«Лев Великий» занимал в его жизни особое — значительное и важное — место. Знакомство их было давнее. Они постоянно переписывались друг с другом, и всякий раз Стасов по-детски радовался, увидав на конверте крупные, тонкие, не вполне разборчивые буквы толстовского почерка.

Не жалея времени и сил, подбирал он для Льва Николаевича исторические материалы, относящиеся то к следствию по делу декабристов, то к войне с Шамилем. Толстой не скупился на просьбы, зная, что добрый, издавна влюбленный в него Владимир Васильевич готов добыть все необходимые ему документы хоть со дна морского. На стасовском столе в Публичной библиотеке мне часто случалось видеть объемистые пакеты, предназначенные к отправке в Ясную Поляну.

Впрочем, с такой же самоотверженной заботливостью подбирал когда-то Стасов материалы для Бородина и Мусоргского, а в мое время — для совсем еще молодых, никому не известных композиторов и художников.

За несколько дней до нашего расставания Владимир Васильевич повел меня к известному и модному в то время фотографу, Карлу Карловичу Булла, мастерская которого помещалась на Невском в двух шагах от Публичной библиотеки.

Старый и совершенно лысый Карл Карлович, сохранивший на память о своей давно минувшей молодости только густые, черные как смоль брови, чрезвычайно обрадовался приходу Стасова и сразу же направил на него чуть ли не всю тяжелую артиллерию своих аппаратов.

Но Владимир Васильевич закрыл лицо обеими руками и сказал, что на этот раз он привел сниматься своего молодого приятеля.

Приветливый Булла, у которого даже лысина сияла весело и празднично, выразил по этому поводу живейшее удовольствие и двинул свои аппараты на меня.

Вероятно, если бы я пришел к нему в ателье один, он поручил бы мою особу заботам своих младших помощников. Но так как привел меня Стасов, Булла счел своим долгом заняться мною лично. Он много раз пересаживал меня с кресла на диван, а с дивана — на пуф, легкими, осторожными движениями наклонял

мою голову то направо, то налево и долго следил за выражением моего лица, прежде чем открыл и снова закрыл круглой крышкой блестящий глаз большого аппарата.

Через несколько дней мы вместе с Владимиром Васильевичем зашли в фотографию за снимками. Они ждали нас в конверте, четко отпечатанные и тщательно отретушированные.

Много лет в доме у нас хранилась ничуть не выцветшая и не потускневшая карточка, изображающая мальчика в белой гимназической блузе, глубоко задумавшегося над толстой книгой. Книгу эту заботливо раскрыл передо мной Карл Карлович Булла, и называлась она, сколько мне помнится, «Каталог новейших фотографических аппаратов и объективов фирмы Цейс».

Другую — точно такую же — карточку получил Стасов. Он бережно положил ее в свой бумажник и спрятал во внутренний карман сюртука.

А через два дня мы расстались.

Я простился с Владимиром Васильевичем до зимних каникул. Однако нам довелось увидеться гораздо раньше.

Три дня пути с пересадками и долгими остановками, и мы опять очутились в Острогожске. По-прежнему живем у дяди в узкой комнате с окошком во двор — будто и не было в нашей жизни Петербурга, будто он нам только приснился. Через несколько дней мы начнем ходить в гимназию, и время потянется так, как тянулось и в прошлом и в позапрошлом году.

И все же за эти два-три летних месяца что-то вокруг меня неузнаваемо изменилось. Не тот стал Острогожск, не те дома и люди.

Чуть ли не прямо с поезда обежал я всех своих друзей и товарищей, побывал у Лебедевых, у Гришаниных, точно на крыльях облетел весь город — и в первый раз почувствовал, какой он маленький, как легко исходить его вдоль и поперек.

В Петербурге мне казалось, что все мои новые встречи, впечатления, события только для того и выпали на мою долю, чтобы мне было о чем рассказывать в Острогожске. А здесь я почувствовал, что все мои мысли в Петербурге и я жду зимних каникул еще до начала осенних занятий.

Да тут еще вдобавок на нас свалилось неожиданное огорчение. Наши приятельницы-гимназистки, с которыми брат так усердно переписывался летом, не пожелали даже встретиться с нами.

Это было так странно и необъяснимо,— ведь еще совсем недавно они сами вызвались проводить нас, и даже не до вокзала, а до ближайшей станции.

Вскоре выяснилось, что эти-то проводы и были всему виной. Кто-то из знакомых увидел девочек на станции, когда они садились в вагон вместе с нами, и толки об их поездке пошли по всему городу. Об этом сами они узнали только перед началом занятий, когда их матерей вызвали для объяснения к гимназическому начальству.

В первые дни мы всячески искали случая поговорить с девочками, уверить их, что мы готовы на любую жертву, чтобы только защитить их от сплетен и пересудов. Но все было напрасно — они словно отгородились от нас непроницаемой стеной.

Особенно горевал мой брат. Он ходил из угла в угол по комнате, упорно думая, как восстановить справедливость и спасти так внезапно и нелепо прерванную дружбу. Но он слишком ясно понимал, что всякий неосторожный шаг может только повредить нашим и без того напуганным приятельницам.

Что касается меня, то я по-настоящему сочувствовал и брату и девочкам, но в самой глубине души были у меня другие тревоги и заботы. Я догадывался, что не сегодня завтра в жизни моей должен произойти решительный поворот.

Однако я исправно ходил в гимназию, сочинял шутливые стихи для журнала, который мы по-прежнему выпускали с Леней Гришаниным, бывал у Лебедевых, где старшеклассники вели ожесточенные споры о литературе и политике, но со дня на день ждал чего-то, сам не зная чего.

И вот однажды, придя домой из гимназии, я нашел на столе конверт, на котором необычным, похожим на узор почерком было написано:

Его высокородию
Самуилу Яковлевичу
Маршаку

Торопливо вскрыл я конверт и в правом верхнем углу листа почтовой бумаги увидел надпись:

Москва, 15 августа 1902 г.

Письмо было от Стасова.

Он писал, что в одном из разговоров с Толстым упомянул и о встрече со мной.

«...среди всех наших разговоров и радостей я нашел одну минуточку, когда стал рассказывать ему про новую свою радость и счастье, что встретил какого-то нового человечка, светящегося червячка, который мне кажется как будто бы обещающим что-то хорошее, чистое, светлое и творческое впереди. Он слушал —

но с великим *недоверием*, как я вперед ожидал и как оно и должно быть. Он мне сказал потом, с чудесным выражением своих глубоких глаз и своею мощною, но доброю улыбкою: «Ах, эти мне «Wunderkinder»! Сколько я их встречал и сколько раз обманывался! Так они часто летают праздными и ненужными ракетами! Полетит, полетит светло и красиво, а там и скоро лопнет в воздухе и исчезнет! Нет! Я уже теперь никому и ничему между ними не верю! Пускай наперед вырастут, и окрепнут, и докажут, что они не пустой фейерверк!..

Слово «вундеркинд» было мне до тех пор незнакомо, но все же я догадался, что́ оно значит, и немного обиделся.

Зато конец письма не только утешил, но и взволновал меня чуть ли не до слез.

Стасов писал:

«Я и сам то же самое думаю,— и я тоже не раз обманывался. Но на этот раз немножко защищал и выгораживал своего н о в о п р и б ы л о г о, свою новую радость и утешение! Я рассказывал, что, на мои глаза, тут есть какое-то в самом деле золотое зернышко. И мой ЛЕВ как будто склонял свою могучую гриву и свои царские глаза немножко в мою сторону. Тогда я ему сказал: «Так вот что сделайте мне, ради всего святого, великого и дорогого: вот, поглядите на этот маленький портретик, что я только на днях получил, и пускай Ваш взор, остановясь на этом молодом, полном жизни личике, послужит ему словно благословением издалека!» И он сделал, как я просил, и долго-долго смотрел на молодое, начинающее жить лицо ребенка-юноши».

Трудно сказать, что больше всего тронуло меня в этом письме: молчаливое ли благословение Толстого или эта удивительная просьба доброго и восторженного Владимира Васильевича, не забывшего обо мне и в Ясной Поляне.

А через месяц он уже добился моего перевода в петербургскую гимназию, и я навсегда распрощался с Острогожском.

Провожало меня на этот раз много народу — родственники, товарищи, друзья. Но в вагон со мною вошел только мой брат. И тут я по-настоящему понял, что первый раз в жизни мы с ним расстаемся надолго. Мне хотелось сказать ему на прощанье какие-то особенные, нежные слова, но он не слушал меня. Задвигая одну корзинку под лавку вагона и пристраивая другую на верхней полке, он умолял меня не выходить на станциях, не терять денег и билета и немедленно телеграфировать ему по приезде в Петербург.

Только четкие и гулкие три звонка на платформе заставили его наконец покинуть вагон.

ТРИ ПЕТЕРБУРГА

И вот я снова в столице.

Если в прошлый приезд я считал себя в Петербурге гостем и, осматривая город, старался увидеть и запомнить как можно больше, то на этот раз я уже не проявлял такой жадности. Я был здесь дома и знал, что от меня никуда не уйдут ни Сенатская площадь, ни сфинксы над Невой, ни Острова.

Но зато теперь мне открылась новая, еще не знакомая часть Питера, его рабочая окраина — Московская застава.

Огромные чугунные триумфальные ворота, построенные по проекту архитектора Василия Петровича Стасова, отца Владимира Васильевича, завершали собой Петербург дворцов, памятников, казарм, гранитных набережных и узорных решеток с золочеными копьями и львиными масками.

А за Московскими воротами и за железнодорожным Путиловым мостом уже начиналось широкое и пустынное шоссе, по сторонам которого тянулись ряды однообразных деревянных домов вперемежку с кирпичными, такими же однообразными, высились фабричные трубы, пыльно зеленели кусты сирени в палисадниках.

Здесь, неподалеку от Чесменской богадельни, окруженной старыми редкими деревьями, находился завод, где работал отец, и скромная квартира в переулке, куда незадолго перед тем переселилась наша семья.

Сейчас, когда я припоминаю первые годы моего пребывания в Петербурге, мне кажется, что жил я здесь не в одном, а в трех различных, таких несхожих между собой и почти не соприкасающихся мирах.

Один был тот, в который ввел меня седобородый великан — бурный, кипучий, но бесконечно заботливый Владимир Васильевич Стасов. О его щедрой доброте лучше не скажешь, чем говорит в своих воспоминаниях Шаляпин:

«Этот человек как бы обнял меня душою своей».

С первых дней моего приезда я проводил целые часы то у него дома, то в просторных залах Публичной библиотеки. Брал он меня с собою и к своим друзьям — композиторам, художникам, писателям.

Так, нежданно-негаданно, попал я в круг взрослых людей, у которых было достаточно свободы и досуга, чтобы подолгу, среди бела дня, с жаром толковать о какой-нибудь новой симфонии, опере, картине или книге. Эти известные и вполне уверенные в себе люди рассуждали об искусстве смело, серьезно и

весело, как хозяева, как мастера, его создающие. Имена многих из них доходили до меня еще в Острогожске — задолго до моей встречи с ними. И теперь, прислушиваясь к их шумным спорам, я чувствовал себя так, будто раскрыл какую-то очень интересную книгу где-то на середине и по отдельным беглым намекам должен догадываться, что же было раньше, кто такие герои этой книги и чем они связаны между собой.

Каждый из них занимал такое большое место в жизни да и в моем представлении, что мне было даже как-то странно видеть их так близко перед собою в самых обыкновенных костюмах и ботинках, в самой обычной обстановке.

Неужели же этот невысокий, добродушный человек с маленькими, лукаво прищуренными глазами, с волнистой шевелюрой и подстриженной клинышком, слегка седеющей бородкой — и в самом деле Илья Ефимович Репин? Ведь если бы я встретил его на улице в этой же самой мягкой шляпе и в крылатке, мне бы и в голову не пришло, что передо мной знаменитый на всю Россию художник. Скорей уж он похож на служащего земской управы или на нашего острогожского библиотекаря.

А вот строгий, длиннобородый, остро и сосредоточенно поглядывающий на своих собеседников сквозь двойные стекла очков Римский-Корсаков. Волосы его щеткой стоят над высоким лбом, сюртук наглухо застегнут. Со мною он сдержанно учтив и приветлив, но я все-таки почему-то немножко побаиваюсь его, почти как директора нашей гимназии.

Гораздо проще держится большой, грузный, смущенно улыбающийся Глазунов. У него тяжелые плечи, короткая шея, а косой разлет бровей и небольшие, опущенные книзу усы придают лицу что-то монгольское.

Стасов за глаза любовно называет его «Глазун».

Почти у всех в стасовском кружке свои домашние, ласковые прозвища.

Я еще не знал музыки Мусоргского, а уже слышал так много о «Мусорянине» или «Мусиньке», что мне казалось, будто он сам только что побывал здесь, оставив в комнатах отголоски своего громкого смеха и тепло своих рук на клавишах рояля.

В сущности говоря, квартира Стасова на Песках могла бы с полным правом называться по-нынешнему «Домом искусств» и прежде всего — музыки.

Здесь всегда были раскрыты настежь двери для старых и молодых мастеров — композиторов, певцов, пианистов. Отсюда они уходили с новыми силами, а подчас и с новыми замыслами.

Я был моложе большинства этих людей лет на двадцать, тридцать, сорок, а то и на шестьдесят с чем-то, но почти все

они разговаривали со мною, как с младшим членом своей семьи, а не как с ребенком. От этого я как будто и в самом деле становился взрослее, свободнее, увереннее.

Но совсем другим казался я своим товарищам и самому себе за партой в казенных и строгих стенах гимназии, куда меня перевели по ходатайству Стасова.

Тут я был школьником, да еще и новичком среди тридцати мальчиков, которые уже несколько лет учились вместе, дружили, дрались и вели исподтишка бесконечные войны с учителями и надзирателями. Сойтись с ними поближе было не так-то легко. Наши острогожские ребята могли подставить новичку ножку, дать ему «кобца» или «загнуть салазки», но очень скоро привыкали к нему, как волчата к приблудному волчонку, и уже не отличали его от своих.

А петербургские мои соклассники изводили новичка еще похлеще, чем острогожцы, но и после всех испытаний далеко не сразу принимали в свою среду.

Эта столичная гимназия, просуществовавшая уже более полувека и сохранившая после недавней реформы полный курс древних языков, считалась гимназией аристократической.

В Острогожске на весь наш класс был один только князек, да и тот захудалого кавказского рода. А здесь в мое время учились и графы Шереметевы, которые очень обижались, если их фамилию писали с мягким знаком после «т», и князь Вяземский, и сын адмирала Дубасова. Впрочем, были у нас ребята и не столь знатного происхождения — сыновья профессоров, инженеров, врачей, коммерсантов, но и они по большей части при встрече с новичками напускали на себя какую-то гвардейскую чопорность и надменность.

Может быть, мне было бы легче сблизиться со своими одноклассниками, если бы мое появление в гимназии прошло незамеченным. Но наш добрейший классный наставник Вячеслав Васильевич Щербатых, имевший обыкновение свободно и по-приятельски беседовать с классом о последних новостях, счел необходимым представить меня моим новым товарищам.

Толстый и всегда благодушно настроенный, он уселся на скрипящий под ним стул и начал урок примерно такими словами:

— А у нас, господа, приятная новость. К нам переведен из провинции юный поэт, подающий, как говорят, ба-а-альшие надежды. Прошу любить его и жаловать!

Этого было вполне довольно, чтобы я стал мишенью для нескольких самых заядлых гимназических остряков. Выражение «подающий большие надежды», почему-то показавшееся им

очень забавным, повторялось несколько дней на все лады. Меня так и звали: «подающий большие надежды» или «приятная новость». К счастью, эти прозвища скоро забыли.

Гимназия, как и казарма, не терпит ничего нарушающего общий строй. А я выделялся из всего класса не только тем, что сочинял стихи, но и своим внешним видом. Гимназическая форма, которой когда-то при поступлении в острогожскую гимназию я так радовался, сильно отличалась от столичной. Да к тому же мой форменный костюм был далеко не первой молодости: блестящие пуговицы, которыми застегивался косой ворот моей серой блузы, давно пожелтели, кожаный пояс потрескался, а из брюк я уже порядком вырос.

В довершение всего я был в то время не по возрасту мал и худощав. (Только впоследствии, уже на границе юности, догнал я своих ровесников и ростом и шириною плеч.) Среди новых моих соклассников, в большинстве своем бойких, плотных, хорошо упитанных мальчиков в черных брюках и в ладных черных куртках, туго стянутых в талии лакированными поясами, я чувствовал себя одиноким и беззащитным, как в те далекие дни, когда впервые встретился с буйными босоногими мальчишками в Острогожске на Майдане.

Еще больше отличался я от столичных гимназистов на улице или на школьном дворе. У них были голубовато-серые, почти офицерские шинели, а на фуражках красовались очень маленькие, изящные гербы из какого-то металла, похожего на матовое серебро.

Какой нескладной, будто дубовой, казалась мне теперь моя шинель грубого, шершаво-серого сукна! Каким нелепым и неуклюжим был огромный герб на моей помятой фуражке!

Правда, через некоторое время меня одели по форме, но в первые дни я выглядел рядом с моими щеголеватыми петербургскими товарищами каким-то очень невзрачным провинциалом.

А ведь всего только несколько недель тому назад — на платформе Острогожского вокзала и в грохочущем, уносящем меня на север поезде — я уже воображал себя настоящим, коренным петербуржцем.

Впрочем, этот великолепный город не казался мне чужим и теперь, когда по праздникам или после уроков я бродил по его прямым и широким проспектам или сидел на гранитной скамье в полукруглом выступе ограды над Невой.

И только в гимназии я все еще оставался новичком — и для товарищей и для всех учителей, начиная с молодого, только что выписанного из Парижа француза, весело поблескивающего стеклами пенсне, и кончая старым, желчным учителем греческого языка Цинзерлингом.

В Острогожске я несколько лет шел в классе первым, и даже самые придирчивые из учителей обращались со мною уважительно и учтиво, редко беспокоили меня вопросами и того реже вызывали отвечать урок. А здесь у меня еще не было сколько-нибудь установившейся репутации, и заработать ее мне было трудновато: из-за переезда я отстал от класса, да и учебники, за исключением одного-двух, были в петербургских гимназиях другие.

Первым учеником считался тут большой и очень толстый мальчик с круглой головой, гладко причесанный на косой пробор,— Ваня Передельский. Он был сыном какого-то выслужившегося чуть ли не из нижних чинов генерала.

Я слушал, как обстоятельно, плавно и красноречиво отвечает он на все вопросы учителей, и невольно думал о том, что Владимир Иванович Теплых, пожалуй, не одобрил бы ни его усердия, ни красноречия.

Вероятно, у него и в самом деле были все основания числиться первым учеником — незаурядные способности, отличная память, редкая усидчивость. Но учителя гимназии, пожалуй, больше ценили в нем другие качества: он казался таким положительным, степенным, воспитанным. Его легко можно было представить себе будущим прокурором или докладчиком в сенате, а может быть, профессором, выступающим с лекцией перед большой аудиторией. Для этого ему даже не надо было меняться,— разве только дать установиться еще ломающемуся голосу.

Такой примерный ученик был как нельзя более под стать всей этой классической казенной гимназии, где среди учителей не было таких ископаемых, как Сапожник — Антонов, но зато нельзя было найти и молодых, пылких, только что со студенческой скамьи педагогов нового типа вроде Поповского.

Однако бывали здесь и по-настоящему образованные, заинтересованные в своем предмете учителя, оставившие по себе добрую память. Многие поколения гимназистов с благодарностью вспоминали латиниста Реймана. До сих пор я четко вижу перед собой чистенького, седенького старичка на кафедре, слышу его тихий, ровный голос, вспоминаю приветливый, внимательный взгляд из-под золотых очков. С незапамятных времен преподавал он в этой сугубо классической гимназии древние языки, не теряя терпения даже тогда, когда ученики варварски искажали эллинскую и латинскую речь. По душе нам был и географ Николай Федорович Арефьев, человек спокойный, умный и простой. Несмотря на свой форменный вицмундир, он не был чиновником и не сводил географию к перечню островов и полуостровов, заливов и проливов. На уроках он охотнее рассказывал сам, чем вызывал нас, а во время объяснений читал нам целые

страницы из дневников экспедиций и записок путешественников. И уж совсем ничего казенного не было в Павле Григорьевиче Мижуеве. Автор книг о Новой Зеландии, сотрудник передовых толстых журналов, он почему-то преподавал у нас немецкий язык.

Однако же не эти учителя задавали в гимназии тон. Вместе с древними языками она сохранила в полной неприкосновенности свой сложившийся за полвека чинный порядок, от которого веяло холодом.

Нашего директора, строгого и суховатого Шебеко, дослужившегося до первого генеральского чина, мы редко видели во время уроков, а когда он появлялся в коридоре на одной из перемен, гимназические надзиратели мигом водворяли тишину в классах на всем пути его следования.

И все-таки, несмотря на дисциплину, которой славилась гимназия, ребята позволяли себе здесь иной раз такие проделки, какие и не снились самым отчаянным головорезам в Острогожске.

Чаще всего это бывало на уроках «грека» Роберта Августовича Цинзерлинга, с которым гимназисты вели ожесточенную войну в течение целых десятилетий. Он подозревал своих учеников во всех смертных грехах, а они, в свою очередь, всей душой ненавидели его геморроидально-поджарую фигуру, его узкую, длинную, прямоугольную бороду, которую он то засовывал куда-то под воротник, то с трудом вытаскивал наружу. Невозможно сосчитать, сколько единиц и двоек наставил он на своем веку в классных журналах и сколько воды и лампадного масла было подмешано в его чернила.

В гимназии ходили легенды о тех бесконечных «розыгрышах», которые устраивали Цинзерлингу его щедрые на выдумки ученики. Рассказывали, будто однажды старшеклассники, сыновья состоятельных родителей, в складчину заказали для Роберта Августовича в самом богатом бюро похоронных процессий пышный катафалк с вереницей траурных карет и целой армией факельщиков в черных ливреях и цилиндрах. У наших острогожцев не хватило бы на такую затею ни денег, ни дерзости.

Говорят, что Цинзерлинг и в самом деле чуть не умер от ужаса и злости, когда увидел у себя под окнами черных лошадей, мерно покачивающих траурными султанами, а потом услышал из передней незнакомый торжественно-печальный голос, возвещающий о прибытии погребальной колесницы.

Шел месяц за месяцем, а я все еще не мог привыкнуть к новой гимназии. Каждое утро, подходя к ее дверям, я невольно сравнивал с ней свою прежнюю — острогожскую. Та стояла

в городе особняком, за белой каменной оградой. Окна ее с одной стороны выходили на просторный двор, с другой — противоположной — смотрели в городской сад.

А здание нашей петербургской гимназии с виду ничем не отличалось от соседних, вплотную примыкающих к нему домов. Такой же фасад в несколько этажей, такой же сумрачный парадный подъезд с темно-коричневой дубовой дверью и с бородатым швейцаром в длинной ливрее. Правда, эта гимназия была несравненно лучше обставлена, ее библиотека, физический кабинет и гимнастический зал значительно богаче, ее паркетные полы блестели гораздо ярче, и завтракали мы здесь не в классах и не в коридоре, а в специальной столовой, где служители в форменных сюртуках неторопливо обходили длинные столы, накрытые скатертями, предлагая каждому из нас по очереди блюдо с кушаньем.

И все же мне было здесь как-то неуютно,— может быть, потому, что я попал в класс, где давно уже установились отношения и репутации, да при этом еще начал ходить на занятия среди учебного года.

Казалось, будто на какой-то промежуточной станции я вскочил в поезд, где все уже успели удобно устроиться, перезнакомиться между собой и с неудовольствием встречают нового, нежданного пассажира.

Сильнее всего я чувствовал свою отчужденность, когда кончался школьный день и гимназисты наперегонки устремлялись к выходу.

Из ворот острогожской гимназии мы почти всегда высыпали целою гурьбой и долго провожали один другого до дому, перепрыгивая то через канаву, то через тумбу и болтая обо всем, что только взбредет на ум или попадется на глаза.

Особенно много провожатых бывало у меня, так как по дороге я обычно рассказывал товарищам какую-нибудь выдуманную тут же на ходу историю, которая у моих соклассников называлась «суматохой».

— А ну, Маршак, рассказывай дальше свою «суматоху»!— торопил меня самый постоянный из моих слушателей, добрый, мечтательный Костя Зуюс.

Такое название дали моим устным рассказам потому, что первая выдуманная мною история начиналась словами: «Суматоха страшная...

Из подъезда петербургской гимназии я выходил один. Да и почти все мои товарищи по классу обычно расходились порознь.

За одними присылали щегольскую коляску с важным, толстым кучером на козлах, другие нанимали на углу извозчика или шагали до ближайшей конки пешком.

Я добирался до родительского дома на двух конках. Одна везла меня по Литейному и Загородному, другая — по бесконечному Забалканскому через Обводный канал, мимо двух огромных железных быков, стоявших перед городскими бойнями, мимо пустынного Горячего поля, на котором ночевали питерские золоторотцы.

Несколько оживленнее становилось наше путешествие перед Обводным каналом. Здесь в тяжелую двухэтажную конку на помощь клячам впрягали пару более резвых запасных лошадей. Эта процедура сопровождалась обыкновенно криком, свистом, звонким щелканьем кнута.

Дребезжа, громыхая и позванивая на ходу, конка добиралась наконец до Московских ворот. Тут лошадей выпрягали и переводили на противоположную сторону вагона, так что задняя его площадка становилась передней. После этого конка пускалась в обратный путь, а я, потуже подтянув ремни ранца, шагал по высокой деревянной панели в три доски к Путилову мосту.

Здесь со всех сторон обступал меня тот третий мир, который открылся мне в Петербурге наряду с первыми двумя, гораздо более благоустроенными.

Эта питерская окраина, будничная и деловитая, чем-то напоминала те пригороды, предместья, слободки, в которых протекало мое провинциальное детство. Правда, дома здесь были чаще всего двухэтажные, а по сторонам дороги, вымощенной крупным крутолобым булыжником, тянулись водосточные канавы с переброшенными через них мостками и дощатые панели.

Но тот же озабоченный, скудный, суровый быт чувствовался во всем. Здесь люди так же рано просыпались, так же много работали, так же пьяно гуляли по праздникам. И лавки, насквозь пропахшие селедкой, керосином, карамелью и огуречным рассолом, были почти такие же, как на Майдане.

Да и квартира, где поселилась наша семья, мало чем отличалась от всех прежних квартир, в которых мы жили в провинции. Вопреки надеждам и обещаниям отца, она была неприглядна и неуютна. Маленькие, тесные комнатки в первом этаже деревянного флигеля, затерянного в глубине густо заселенного двора; низкие окна, в которые может заглянуть любой прохожий; дощатые некрашеные полы... Зато у моих младших сестер и брата полон двор подруг и товарищей, с которыми можно играть с утра до вечера в колдуны, в золотые ворота или в пятнашки и прятаться в закоулках полуразрушенного дома, как мы со старшим братом прятались когда-то в развалинах заброшенного здания на острогожском дворе.

Я возвращался из гимназии уже под вечер. В столовой горела знакомая мне с давних лет висячая лампа под белым абажуром, отбрасывая на середину стола светлый круг. По кругу, как по поверхности воды, все время ходила легкая рябь от еле заметной дрожи заключенного в ламповом стекле огонька.

В этой единственной освещенной комнате коротала вечер вся наша семья. Примостившись у нагретой печки, шила, вязала или штопала мать, а младшие дети — две сестренки и меньшой брат — сидели у стола, каждый со своей книжкой. Кто читал про себя, кто шепотом, но все были одинаково захвачены чтением. Забавно и трогательно было смотреть со стороны, как эти маленькие читатели, из которых старшим было одиннадцать и девять лет, а младшему — семь, подперев кулачками щеки, водят глазами по строчкам, ничего не замечая вокруг. Старшая сестра озабоченно хмурит лоб, другая плачет над своей книгой, а брат так и подпрыгивает на стуле и громко хохочет: он в первый раз читает «Приключения Макса и Морица».

Одного только отца нет дома.

Он еще на заводе.

Завод, на котором служил теперь отец, был значительно больше прежних. Но и здесь люди работали чуть ли не с самого рассвета дотемна, и все делалось вручную. На высокий деревянный помост, охватывавший со всех сторон огромный котел, рабочие вкатывали тяжело груженные тачки и носили ушаты со щелоком.

В котле бурлило, как море, обдавая людей острым, горячим дыханием, жидкое синее мыло. Сверху оно было похоже на пышное атласное, сшитое из лоскутьев разного оттенка одеяло. Когда мыло начинало вздуваться и брызгать едкой пеной, рабочие помешивали его длинными железными шестами, а мастер — мой отец — то и дело брал деревянной лопаточкой пробу. Для этого ему приходилось подниматься по железной отвесной лесенке, которая вела с помоста к самому краю котла. Рыжее его пальто, щеки, брови, усы, бородка клинышком, даже очки — все это было в белых налетах застывшего мыла. Сквозь густые мыльные пары трудно было при входе сразу различить людей на помосте.

Я смотрел на отца, берущего пробу, и с тревогой думал о том, как легко потерять равновесие на скользких от налипшего мыла ступеньках.

Гораздо легче дышалось и веселее шла работа в цеху рядом, где худощавый и усатый Василий Иванович Простов, бывший унтер-офицер лейб-гвардии полка, резал еще не вполне затвердевшее «мраморное» или «кокосовое» мыло тонкой проволокой, а его сподручные, оборванные, вихрастые подростки с Горячего

поля, проворно, как заправские фокусники, заворачивали куски мыла в бумагу с печатью фирмы и складывали в ящики. Работали они сдельно и потому не теряли времени зря. Но стоило Василию Ивановичу отвернуться, как фунт мыла, а то и целый брусок мгновенно исчезал у кого-нибудь из них за пазухой. При выходе с завода их частенько обыскивали, но они только ухмылялись, когда из-под рубахи у них вытаскивали кусок разогретого и слегка размякшего мыла. Терять им было нечего: их выгоняли, а через несколько дней брали снова, если нужны были рабочие руки.

Я с любопытством разглядывал этих столичных жителей, бесшабашных, вороватых, грязных, голодных, битых, живущих на птичьих правах и никогда не унывающих. До приезда в Питер я таких не видывал. Завести с ними разговор мне никак не удавалось,— они только шмыгали носом, передергивали плечами да перемигивались между собой. Я пытался расспрашивать о них Василия Ивановича Простова, но он отделывался только короткими отрывистыми фразами:

— Да что тут говорить! Шатуны. Погиблый народ. Голо, босо, беспоясо!

И, однако же, он обращался с этими лукавыми, озорными оборванцами по-человечески. Делился с ними махоркой, давал им в долг без отдачи пятиалтынный или двугривенный, если они еще не успевали заработать на обед, хоть сам еле дотягивал до ближайшей получки. Впрочем, по крайней мере, половину своего заработка он пропивал. Пил главным образом по воскресеньям, а иной раз прихватывал и понедельник. В остальное же время был хмур, серьезен и работал аккуратно, как машина.

Каждое воскресенье, перед тем как выбить ладонью пробку из первой сороковки, он долго и тщательно чистил свои сапоги и праздничную черную «тройку», хоть никуда в этот день не собирался.

— И зачем только ты пьешь, Василий? — спрашивал я его.

— А что же еще холостому человеку в праздник делать?

— Ну почитал бы книжку, что ли. Ведь ты же грамотный!

— К чтению, милый человек, привычка нужна, а я только мыло резать привычен. Во сне и то режу.

— А хочешь, я тебе что-нибудь почитаю? — предлагал я и, усевшись на ящик от мыла, принимался читать ему вслух «Севастопольские рассказы» Толстого.— Да ты слушай! Это тебе, как военному человеку, интересно будет!

Страницу-другую он еще выдерживал, а потом его черная с проседью, коротко остриженная голова начинала опускаться все ниже и ниже.

Я обиженно умолкал, а он, встрепенувшись, будто его застали спящим на посту, смущенно оправдывался:

— Прошу прощения! Да только не в коня корм. Говорил же я тебе, что не приучен книжки читать, а приучаться уже поздно.

Почти так же отвечал он, когда кто-нибудь спрашивал, почему он не женится.

— Опоздал малость. Для семейной жизни, братец, время нужно иметь. Ну и средства́ тоже!

Мне почему-то очень нравился этот одинокий, суровый, всегда подтянутый человек, даже в нетрезвом виде не теряющий степенного достоинства.

Зря он слов не тратил, и только его слегка насмешливые черные глаза из-под нахмуренных бровей, гвардейские усы да глубокие, резкие складки вдоль щек говорили о пережитых им годах военной службы и о десятке лет фабричного труда, оставлявшего так мало досуга, что его и девать было некуда.

Это был первый питерский рабочий, с которым мне довелось познакомиться за Московской заставой. Завод этот был довольно захудалый, и его немногочисленные рабочие стояли в стороне от кружков, которых было уже тогда немало на крупных заводах Питера.

НОВЫЕ ТОВАРИЩИ

Не всегда по окончании уроков я сразу же возвращался домой за Московскую заставу.

Когда погода казалась подходящей,— а она часто казалась мне подходящей, потому что я любил и ветер с Невы, и летящие вдоль аллей Летнего сада осенние листья, и легкие звездочки сухого снега, и крупные хлопья влажного,— я отправлялся бродить по городу.

Стоя перед памятником Петра или у сфинксов, спокойно лежащих друг против друга над каменными, полого спускающимися к реке ступенями, я старался одним взглядом охватить бегущие по небу рваные облака, ширь Невы и строгие линии гранитных набережных. И мне казалось, что я уже не школьник, не подросток, только что вырвавшийся из тесно уставленного одинаковыми партами класса, а и в самом деле поэт, на чью долю выпало счастье видеть перед собою величавые дороги, по которым шла и до сих пор идет история.

Вскоре для моих прогулок нашелся спутник. Как-то незаметно у меня завязалась молчаливая дружба с одним из моих соклассников, сыном художника, Баулиным. Белокурый и очень

бледный, словно вылепленный из воска, Баулин был неутомимым пешеходом и отлично знал город. Скоро, безо всякой просьбы с моей стороны, он стал для меня неизменным и незаменимым проводником по питерским улицам, закоулкам, мостам и набережным каналов.

Это он впервые показал мне Новую Голландию с великолепными, огромными воротами, через которые мог пройти по водной дороге многопарусный корабль.

Он научил меня видеть деловитую прелесть петровской архитектуры и в маленьком двухэтажном дворце, примостившемся в углу Летнего сада между Фонтанкой и Невой, и в двенадцати звеньях университета, напоминающих о том, что это здание было когда-то построено для «двенадцати коллегий».

Вдвоем мы прошли с ним немало верст по Петербургу. Как бы ни был занят мой новый товарищ — рисовал ли он или читал какую-нибудь книгу по искусству,— он никогда не отказывался отправиться со мною пешком в Гавань или на Острова.

Подчас мне было трудно угнаться за ним. Легкий, не знающий устали, несмотря на свою кажущуюся хрупкость, он с малых лет привык шагать по бесконечным проспектам этого широко раскинувшегося города, а мне еще так недавно расстояние от Острогожска до нашего пригородного Майдана или до железнодорожной станции казалось непомерно большим.

Изредка бывал я у Баулина дома. Это был необычный дом. В маленьких светлых комнатах уютно и спокойно разместились на стенах картины, гравюры, лубки, старинные иконы. В невысоких шкафах стояли за стеклом фарфоровые и костяные фигурки — танцовщицы, пастушки, солдаты в киверах, китайские уличные торговцы со своими корзинами и жаровнями. А у противоположной стены на дубовых полках громоздились большие, тяжелые книги.

Мы снимали с полки один том за другим и, усевшись в углу дивана, принимались осторожно перелистывать огромные страницы, рассматривая собрания русских, итальянских, французских, испанских картин. Многие из них мы уже видели в Эрмитаже или в Русском музее — тогда он назывался Музеем Александра III,— и узнавать их было особенно интересно.

В этом путешествии по книгам и альбомам Баулин тоже был моим проводником, как и в странствованиях по городу. Он знал чуть ли не каждую страницу и, не пускаясь в долгие объяснения, обращал мое внимание на самое характерное для каждого художника и его времени.

Казалось, во всем доме мы одни. Но вот кто-то тихонько стучится к нам в дверь и, слегка приоткрыв ее, протягивает

Баулину поднос с двумя стаканами чая и мягкими, еще теплыми, напудренными белой мукой калачами. Значит, взрослые дома, но только не хотят стеснять нас.

Я чувствовал себя здесь спокойно и свободно, и каждый раз мне было жалко расставаться с Баулиным, с его картинами, книгами и причудливыми фигурками в прозрачном шкафу.

Этот первый мой петербургский товарищ и тихая, строгая обстановка квартиры, где он жил, навсегда неразрывно связаны в моей памяти с городом, который я в те дни по-настоящему узнал и полюбил.

Полной противоположностью дому Баулиных был другой дом, не менее для меня привлекательный, куда я попал совершенно случайно.

Как-то на империале конки, который шутливо называли в те времена «верхотурой», моим соседом оказался рослый и худощавый гимназист. Слово за слово, мы разговорились. Он был уже в последнем классе и всеми своими повадками напоминал прежних моих приятелей — острогожских старшеклассников. Держался он так же серьезно и просто и, несмотря на свою гимназическую фуражку, производил впечатление вполне взрослого, положительного, думающего человека, хоть ни в малейшей степени не пытался казаться старше своих лет, как многие из моих теперешних товарищей по классу.

За полчаса нашего путешествия на «верхотуре» мы успели не только познакомиться, но даже и подружиться. Под звон, грохот и дребезжанье конки он рассказал мне, что больше всего на свете интересуется ботаникой и уже твердо решил пойти на естественный факультет университета, а я, еще не решаясь признаться, что пишу стихи, сказал ему о своем пристрастии к поэзии.

В этой области он был не слишком сведущ и, кроме Пушкина и Лермонтова, знал, кажется, одного только Некрасова.

На прощанье мой новый приятель Володя Алчевский посоветовал мне непременно прочесть замечательную книгу Тимирязева «Жизнь растения», дал свой адрес и, уже спускаясь по крутой железной лесенке, крикнул мне наверх:

— Обязательно приходите!

В первое же воскресенье я отправился к нему в гости, на Выборгскую сторону, в один из корпусов Военно-медицинской академии.

Среди многочисленных флигелей, в которых помещались клиники и лаборатории, я с трудом отыскал квартиру Алчевских и уже из передней услышал громкие молодые голоса и смех.

— У вас гости? — смущенно спросил я у моего приятеля, отворившего мне дверь.

— Да нет, все свои,— успокоительно ответил Володя.— А что, шумно очень? Это у нас всегда так. Заходите, не стесняйтесь!

Я переступил порог и очутился в большой, низкой комнате со старинными окнами в глубоких проемах. На столе кипел самовар, а за столом сидела целая компания молодых людей, на первый взгляд очень похожих друг на друга. Чай разливала пожилая женщина, сидевшая в кресле на колесах, а напротив нее читал газету сухощавый, сутуловатый, почти седой человек в старенькой военной тужурке без погон.

С первой же минуты меня встретили здесь как доброго, старого знакомого. Навстречу мне, одна за другой, протянулось из-за стола несколько сильных, твердых, крупных рук.

Мой приятель Володя был в этой семье самым младшим. Все его братья были уже студентами: один — медик последнего курса с двумя косыми серебряными полосами на погонах, двое универсантов в серых куртках с темно-синими петлицами и двумя рядами золоченых пуговиц, четвертый — «лесник» с блестящими вензелями на темно-зеленых бархатных погончиках.

Никогда в жизни я еще не видел за одним столом так много студентов. И даже их родители держались как-то по-студенчески, очевидно, сохраняя привычки той поры, когда отец был таким же студентом-медиком, как его старший сын, а мать, прикованная теперь болезнью к своему глубокому креслу, бегала на курсы, стриженая, в накинутом на плечи клетчатом пледе.

В этот день вся семья была в сборе.

За столом сидели долго, курили, шутили, спорили о политике, о статьях в последнем номере научного журнала. В спорах на равных со всеми правах участвовал и Володя. Но, пожалуй, самым горячим спорщиком был здесь отец, ничуть не обижавшийся, если его на полуслове перебивали сыновья.

Только впоследствии я узнал, что этот седоватый человек — один из самых популярных в студенческой среде преподавателей, любимец молодежи, ее неизменный друг и защитник.

Говорили, что в молодости он был так похож всем своим внешним обликом на Виссариона Белинского, что даже позировал художнику для известной картины, изображающей больного Белинского в минуту, когда за порогом его комнаты появляется усатый жандарм.

С того времени, как была написана эта картина, отец моего приятеля успел порядком измениться. Но и сейчас еще, если только он бывал чем-нибудь задет за живое, тронут или воз-

мущен, в его впалых щеках и утомленных, будто через силу поднятых веках можно было уловить это почти утерянное сходство.

После первого знакомства я не раз бывал в доме у Алчевских. Приходил я не только к Володе, а именно «в дом», потому что меня с одинаковым радушием встречали здесь и отец, и мать, и братья-студенты, такие решительные и резкие в своих суждениях, но, в сущности, очень простые и славные парни. Студенты просвещали меня, каждый по своей специальности. Но, кроме того, я узнал здесь, что слово *литература* означает иногда нелегальные издания, и впервые услышал о существовании газеты «Искра», издающейся за границей.

«КНИГОХРАНИЛИЩА, КУМИРЫ И КАРТИНЫ»

Пожалуй, эти годы на рубеже отрочества и юности — девятьсот второй, третий, четвертый — были одними из самых счастливых лет начала моей жизни.

Петербург, который я на первых порах увидел как бы «с черного хода» — с грязного, мрачного, оглушительно-шумного третьего двора на Забалканском проспекте,— повернулся ко мне парадной своей стороной.

Я учился в гимназии, которая считалась одной из лучших в городе, а в свободное время передо мной были широко открыты двери великолепного книгохранилища, где изо дня в день шла неторопливая, сосредоточенная работа над сухо шелестящими страницами рукописей и тяжелыми фолиантами в темной коже, но где был и такой уголок, куда, прерывая на час-другой размеренное течение обычных занятий, бурно вторгался сегодняшний день со своими толками, шутками, спорами, новостями и находками. В сущности, это было тоже работой — может быть, не менее важной, чем изучение рукописей, гравюр и толстых фолиантов.

У большого письменного стола в узкой комнате, образуемой высокими шкафами и стендами, шел оживленный разговор о вчерашнем концерте Гофмана, о гастролях московских «художников» (так называли тогда в Петербурге молодой Художественный театр), о русском многоголосом пении, о вологодских кружевах или о последних лихих статейках нововременских критиков Иванова и Буренина, которым обязательно нужно дать немедленный и решительный отпор.

Кого только не видел я на этой стасовской дозорной вышке! Вот неторопливо, но бодро входит старичок генерал в полной форме с аксельбантами. Золотые очки и довольно длинная, аккуратно подстриженная борода с густой проседью придают

ему ученый, профессорский вид. Глядя на его темно-зеленый сюртук с блестящими широкими погонами, я пытаюсь угадать, что́ привело этого генерала в художественный отдел библиотеки.

— А я опять к вам нынче с просьбой, Владимир Васильевич,— говорит генерал.

— Цезарь не просит, а повелевает,— с веселой готовностью отзывается Стасов, и я сразу же догадываюсь, что старичок в аксельбантах — это композитор и музыкальный критик Цезарь Антонович Кюи из той «Могучей кучки», о которой так много мне рассказывал Владимир Васильевич.

Не помню, о чем он просит Стасова. То ли ему нужны какие-то материалы для новой оперы, то ли редкостная книга по искусству, но не успевает он проститься с хозяином этого книжного заповедника, как уже на смену ему, легко ступая и шелково шурша на ходу, является дама в душистых мехах и в большой шляпе с пышными, кудрявыми перьями. Известная пианистка, она сама привезла Владимиру Васильевичу билеты на свой концерт, а так как я оказываюсь тут же, то и мне достается билет,— да еще с такой блистательной, ласковой улыбкой в придачу.

Точно в театре, мне любопытно смотреть, как эта нарядная женщина, не переставая болтать, стягивает с руки тесную перчатку, как усаживается в кресло, заботливо и ловко расправляя вокруг себя складки платья, а Владимир Васильевич шутливо и почтительно склоняет перед ней свою крупную седую голову и целует ей обе руки по очереди. А руки у нее большие, сильные, с длинными крепкими пальцами и коротко остриженными ногтями. И я уже заранее представляю себе, как эти руки взлетят над клавишами, ударят по ним и побегут, то встречаясь, то расходясь и заполняя все вокруг певучим и гулким рокотом.

Другая дама, которая приходит вслед за первой,— ничуть не похожа на нее. Это издательница женского журнала и поборница женского равноправия. Поэтому на ней скромная шляпа лодочкой, крахмальный воротничок с галстучком и платье, слегка напоминающее покроем мужской костюм. Это не мешает ей задорно и кокетливо смеяться, оживляя деловой разговор приправой из самых свежих новостей.

Ее беседу с Владимиром Васильевичем прерывает какой-то почтенный библиограф, весь заросший густым сивым волосом — бровями, усами, бородой. Лица его почти не разглядишь сквозь дебри этой буйной растительности. Она даже мешает ему говорить, и Владимир Васильевич внимательно и напряженно слушает его, приставив ладонь к ушной раковине.

Мне давно пора уходить, но так интересно видеть эту смену

разнообразных, новых для меня людей, что я никак не решаюсь покинуть удивительную комнату, которая, словно магнит, притягивает к себе археологов, музыкантов, художников, литераторов.

А какой неожиданный мир открылся для меня в огромном, великолепном здании Академии художеств на Васильевском острове!

Несколько раз, со своей обычной щедростью и готовностью подарить другим все, что дорого ему самому, приводил меня сюда Владимир Васильевич — сначала в библиотеку, где хранились акварели, рисунки и офорты замечательных русских мастеров, а потом и в мастерские своих друзей-художников.

Вскоре я и здесь почувствовал себя так же свободно, как в Публичной библиотеке. Я приходил сюда обычно не со стороны Невы, не с главного подъезда, над которым возвышались колонны и статуи, а через боковую дверь с Четвертой линии. В сумрачном, высоком коридоре было прохладно и пахло пылью. По сторонам стояли огромные гипсовые статуи античных богов и богинь. Сгибы мощных рук, складки туник, крутые завитки кудрей и бород были словно обведены серо-коричневой тенью давно скопившейся пыли. От пыльного налета у богов и богинь потемнели носы и округлые выступы мускулов.

Так неожиданно и странно было попадать из этого мрачного и холодного коридора прямо в мастерские художников. Сколько света и цвета бросалось в глаза, едва только вы переступали их порог. Я был еще подростком и, в сущности, очень мало понимал, что́ представляли собой живописцы или скульпторы, работавшие в этих мастерских. Но уж одно то, что из-под рук у них выходили картины или статуи, поражало меня свыше всякой меры. Мне так нравился запах свежей масляной краски, так интересно было следить по эскизам, как ищет и находит художник то или иное положение руки, поворот головы, выражение лица. А какой таинственной и даже страшноватой казалась мне обмотанная мокрыми тряпками глиняная фигура в мастерской скульптора! С жадным и тревожным любопытством смотрел я, как постепенно освобождается она от тяжелых влажных пелен, и вот уже перед глазами у меня встает небольшая, стройная фигура, в которой тем не менее угадывается огромный рост и повелительная сила человека в преображенской треуголке и с тростью в руке. По страстной напряженности круглых, почти выступивших из орбит глаз, по сжатым губам и туго обтянутым скулам я сразу узнаю Петра. И так странно, что мягкая зеленоватая глина, пористая и сырая, приняла этот строгий, величавый образ.

А рядом с мастерскими у художников обычно были свои маленькие приемные. После яркого света мастерской, ее суровой

наготы и деловитости эти маленькие комнатки казались такими жилыми и уютными. Тут стояли на столе цветы, на полу был разостлан ковер, на кресле валялась гитара. Сюда приходили друзья художника, острили, спорили, рисовали карикатуры.

Эта просторная, всегда приподнятая жизнь, где не было границ между истовым, страстным трудом и досугом, полным мысли, юмора, изобретательной выдумки, казалась мне необыкновенно счастливой.

Запомнилась мне еще одна мастерская — уже не в здании Академии художеств, а в сосновом финском лесу. В яркий зимний день мы поехали с Владимиром Васильевичем к Репину. Маленькая рыжая лошадка со светлым хвостом и такой же гривой так бойко бежала по накатанной дороге среди высоких сосен, будто она вовсе и не лошадь, запряженная в санки, а какая-то вольная лесная зверушка, которая бежит по своему делу и по своей охоте, радуясь солнцу и морозцу.

Странная вещь — память. Я не помню, какие гости были у Репина в тот день, о чем шли разговоры, но запомнил нашу поездку так, словно это было вчера. До сих пор вижу со всей яркостью игру сине-золотого зимнего света на стеклянных выступах — верандах, балконах, вышках — репинской дачи. Вижу, как заглядывают со всех сторон в окна его мастерской деревья и кусты, отягощенные хрупким, пышным грузом свежего снега, сверкающего искрами на солнце и голубого в тени.

Все здесь какое-то необычное. Я еще никогда не видел такого дома со множеством пристроек, внутренних лестниц, открытых и закрытых балконов, никогда не видел такого сада, где причудливые беседки разбросаны среди рослых, строгих сосен и заснеженных древних валунов.

Да и сам Репин здесь совсем не тот, что в городе. Он праздничный, благодушный, тихий. На нем финская меховая шапка-ушанка, теплая куртка, поверх которой наброшен плащ, пестрые узорные рукавицы. Кажется, будто он всю жизнь провел среди этих сугробов, камней, сосен и знает язык зверей, валунов и деревьев.

Так хорошо, вволю набродившись по морозному лесу, стряхнуть у порога снег и войти в уютное тепло этого причудливого деревянного дома, а потом, примостившись в углу мастерской, смотреть, как тонкая, легкая рука Репина набрасывает на лист картона знакомые черты Владимира Васильевича, белого и величавого, как зима за окном.

За работой Репин рассказывает Стасову что-то смешное — насколько мне помнится, про какого-то своего ученика, которому он с великим трудом достал билет на концерт Шаляпина.

— И что же вы думаете? Парень ровно ничего не слышал,

потому что весь вечер был занят очень важным делом: рисовал затылки сидящей впереди публики. Ну кому нужны эти затылки и как можно было променять Шаляпина на чьи-то лысины, которые так легко увидеть в изобилии на любом концерте несравненно менее талантливого артиста. А ведь он еще думал, что я похвалю его за такое усердие!

Мы приехали к Репину в среду — в единственный день недели, когда он принимал гостей и позволял себе отдохнуть от работы.

Но вот ему подают — не помню уже что — письмо или телеграмму из города. Один из его почитателей, которому какие-то обстоятельства помешали побывать в Куоккала в этот день, просит позволения приехать завтра.

Я не узнаю нашего радушного и тихого хозяина. Он весь багровеет — даже уши и шея у него залиты густой краской.

— Да что же это такое? Уж если он сам бездельник, так, верно, думает, что и другим делать нечего. Нет, благодарю покорно! Не успел в эту среду, милости просим в следующую!..

И, отведя душу, он сразу успокаивается и опять становится таким же, как был,— добродушным, спокойным, чуть задумчивым, чуть лукавым.

Публичная библиотека, Академия художеств, театральные и концертные залы, какие до приезда в Питер мне даже и во сне не снились,— все это так захватывало меня, что поздно вечером от избытка впечатлений мне трудно было уснуть.

Подумать только! После незатейливых любительских спектаклей в острогожском городском театре, куда я так редко проникал, с трудом раздобыв полтинник и рискуя попасться на глаза гимназическому начальству, мне — словно по волшебству — открылся доступ в самые знаменитые петербургские театры, где играли Варламов, Давыдов, Савина, Комиссаржевская. Я сидел здесь не на галерке, а в партере и чувствовал себя полноправным зрителем в этом нарядном бархатном, блещущем позолотой и хрусталем зале, который то погружался в мягкий полумрак, когда начиналось действие, то вновь озарялся сотнями огней во время антрактов.

Но, пожалуй, всего этого было чересчур много для подростка, попавшего в столицу из тихого уездного города. Жадно, без оглядки отдавался я всем разнообразным впечатлениям, можно сказать, захлебывался ими и не понимал, почему так озабоченно хмурится отец, когда я рассказываю ему о том, где побывал и кого видел.

Почему-то его, человека таких широких интересов, теперь больше всего занимало одно: успел ли я догнать свой класс. Он чувствовал, что гимназия заслонена от меня другими впечатлениями, несравненно более сильными, и это не на шутку тревожило его.

По старой памяти он ожидал, что я, как и в Острогожске, стану рассказывать ему самым подробным образом обо всех учителях, товарищах по классу, о своих школьных успехах и неудачах, и его гораздо больше радовала пятерка у меня в табеле, чем известие о том, что Глазунов и Лядов написали музыку на мои слова.

Мне было жаль огорчать отца, но гимназия и в самом деле как бы отступила для меня на второй план.

Со своими одноклассниками я встречался главным образом на уроках, а все самое увлекательное, праздничное ожидало меня за стенами класса.

Да и преподаватели в этой новой гимназии уже не могли всецело завладеть моими мыслями и чувствами, хотя в большинстве своем они были гораздо более знающими и умелыми людьми, чем острогожские учителя. Но там во всем городе не было для меня никого умнее, чем Владимир Иванович Теплых или Поповский. А здесь даже самые лучшие из педагогов уступали в талантливости и широте моим новым взрослым друзьям.

Какой гимназический учитель мог бы разговаривать со мною по поводу былин или «Слова о полку Игореве» так, как Владимир Васильевич Стасов, который был одним из лучших знатоков русского эпоса и дал Бородину тему и материал для оперы «Князь Игорь»? И разве узнал бы я в гимназии о русском театре столько, сколько мог рассказать мне актер Модест Иванович Писарев, современник и друг Островского?

Каждый день приносил мне что-нибудь новое, и всему этому новому надо было найти место, связать, соразмерить с тем немногим, что я знал раньше. Я стал уставать. А так как еще из Острогожска я вывез последствия малярии — малокровие и какое-то сердечное недомогание, давно уже тревожившее моих родителей,— то теперь, в пору особенно интенсивной, полной душевного напряжения жизни, да еще на переломе между отрочеством и юностью, я стал хворать не на шутку.

С беспокойством поглядывая на меня, Стасов хмурился, качал головой и говорил:

— Надо тебя отправить куда-нибудь в теплые края — только вот куда бы?

Вскоре этот вопрос решился сам собою, да так неожиданно и чудесно, как и я представить себе не мог.

ИЗ ОТРОЧЕСТВА В ЮНОСТЬ

Это случилось в конце лета, в теплый августовский день 1904 года на даче у Владимира Васильевича.

Из года в год — более двадцати лет подряд — проводил он летние месяцы в деревне Старожиловке, близ Парголова. Там он снимал всегда одну и ту же дачу у местных жителей Безруковых. Просторный бревенчатый дом в два этажа, со стеклянной верандой в каждом, был всегда открыт для друзей. Сколько бывало здесь импровизированных концертов, литературных чтений, семейных праздников со всякими затеями — с гирляндами флажков, цветными фонариками и прочей милой, причудливой бутафорией! Все дачники и зимогоры Старожиловки с любопытством следили за тем, что делается на этой необыкновенной даче. Бывало, во время стасовских домашних концертов множество людей собирается за оградой, прислушиваясь к звукам, вылетающим из открытых окон.

В тот день ждали гостей, которыми особенно дорожил Владимир Васильевич. К их приему готовились весело, затейливо и старательно, «не без страхов, испугов и опасений: а вдруг не приедут!» — как говорил Стасов.

Все домашние принимали деятельное участие в этих приготовлениях, которые уже и сами по себе были праздником.

Среди прочих затей Владимир Васильевич надумал поднести гостям шуточный и вместе с тем торжественный адрес. На большом листе картона скульптор Гинцбург нарисовал пером дачу Стасова, а под рисунком было оставлено место для текста. Написать приветствие поручили мне — и притом в самый короткий срок, потому что до прибытия гостей надо было еще переписать текст и украсить его узорными, золотыми и алыми заглавными буквами.

Не слишком задумываясь, я живо сочинил нечто вроде величания в старинном стиле, под названием «Трем богатырям». По былинному обычаю первое место занимал у меня Илья — только не Муромец, а Репин. За ним следовали новые, не былинные имена: Максим Горький и Федор Великий — Шаляпин.

Считая, что дело мое сделано, я с чувством облегчения съехал по перилам крыльца и побежал по песчаным дорожкам сада, пересеченным узловатыми корнями сосен, радуясь нежаркому августовскому солнцу и мягкому ветру, пропитанному запахом смолы и вереска. Как вдруг меня снова позвали в дом — на нижнюю веранду — и опять усадили за работу. Оказалось, что в тексте у меня пропущен еще один почетный гость — Глазунов. Как же быть? Ведь теперь уже нет времени переписать все заново. Но тут на помощь мне подоспел Владимир Василье-

вич. Он ободрил меня, или, как он сам выражался, «анкуражировал», и посоветовал прибавить к заголовку всего одно слово, а к тексту одну строфу.

И заглавие получилось даже занятнее, чем было: «Трем богатырям со четвертыим»,— а самое величание завершалось теперь строчками, относящимися к Глазунову:

Это брат меньшой, богатырь большой —
Александр-свет Константинович!

Ничего удивительного не было в том, что я забыл упомянуть в своем приветствии одного из самых именитых гостей. Больше всего ждал я в этот день встречи с Горьким. Репина я уже встречал, и не один раз. Да и Шаляпина мне довелось видеть — правда, только издали и в том обособленном, торжественном мире, каким представлялись мне театральные подмостки.

А вот Горький бывал в Петербурге редко, и у Стасова его ждали впервые. Но имя это значило для меня больше, чем имена других гостей, которые были старше Горького и возрастом и славой. Да и слава у него была какая-то особенная. Не только то, что он писал, но и самая фигура его привлекала всеобщее любопытство, горячее восхищение или такую же страстную ненависть.

Даже Владимир Васильевич Стасов, всегда отзывчивый на все сильное и самобытное, далеко не сразу признал его. На первых порах он отзывался о Горьком сдержанно, слегка недоверчиво. И неудивительно: это были люди различных эпох. Старик Стасов — младший современник Гоголя и Глинки, человек, который был на четыре года старше Толстого, на шесть лет моложе Тургенева и на двенадцать Герцена,— должен был проделать большую и сложную работу, чтобы оценить стиль и направление Горького. Он прошел этот путь и вскоре стал самым усердным читателем, а потом и почитателем горьковской прозы.

Читая томики в зеленоватых обложках, он как будто молодел. Угощал отрывками из Горького всех приходивших к нему знакомых и незнакомых людей и говорил радостно:

— Какая силища! Какой талант оригинальнейший! Да ведь это поэт и мыслитель первостатейный — под стать Байрону и Виктору Гюго.

Я слушал Владимира Васильевича и радовался, что в споре о Горьком он заодно с молодежью. А молодежи Горький казался самым современным из всех современных писателей. Его голос был для моего поколения голосом времени — и не только настоящего, но и будущего.

И вот этот человек, о котором мы столько думали и спорили, сейчас запросто войдет сюда, поднимется по этим ступенькам

и будет разговаривать, шутить, слушать музыку вместе со всеми нами. И может быть, мне удастся разглядеть в нем нечто такое, чего я еще не уловил ни в его книжках, ни в толках и пересудах о нем.

Они приехали втроем — Репин, Шаляпин и Горький. У ворот стасовской дачи затарахтели колеса финских таратаек, скрипнула калитка, и в сад вошли, весело разговаривая, не три богатыря, а три самых обыкновенных и в то же время таких необыкновенных человека.

Шутейный церемониал встречи был выполнен во всех подробностях. Шумно играли туш, если не ошибаюсь, на двух роялях. Поднесли адрес. Читать приветствие пришлось автору — самому младшему из гостей, подростку в гимназической куртке с блестящими пуговицами и резными буквами на пряжке пояса.

Меня хвалили, пожимали мне руку, обнимали. Только Горький не сказал ни слова. Да он и вообще-то был не слишком словоохотлив на первых порах и медленно вступал в общую беседу.

Я смотрел на всех троих, не спуская глаз. Репин и Шаляпин выглядели нарядно, особенно Шаляпин. Казалось, скуповатое осеннее солнце освещает его щедрее, чем всех. Так светлы были его легкие, словно приподнятые ветром волосы, его открытое, веселое, смелое лицо с широко вырезанными, как будто глубоко дышащими ноздрями и победительным взглядом прозрачных глаз. И одет он был в светлое — под стать солнечному дню. Летний костюм ловко и ладно сидел на этом красивом человеке, таком большом и статном.

Ни тени нарядности не было в облике Горького. Одет он был так, как одевается какой-нибудь железнодорожный мастер или строительный десятник. Наглухо закрытая темная куртка со стоячим воротником, брюки, вправленные в голенища мягких русских сапог. Но во всей его фигуре, сухощавой и стройной, несмотря на легкую сутуловатость, в небольшой, хорошо посаженной голове с крутым крылом падающих на висок каштановых волос, в пристальном взгляде серо-синих глаз, опушенных длинными ресницами, чувствовалась та подобранность, та целеустремленная и сдержанная сила, что придает каждому движению человека значительность, достоинство и даже изящество. Он ничуть не проигрывал рядом с великолепным Шаляпиным, а Репин даже в своем праздничном светло-сером костюме казался возле него не то немножко будничным, не то чуть-чуть простоватым.

Как это часто бывало в стасовском доме, весь вечер был заполнен пением, музыкой, «каляканьем велиим» — по шутли-

вому выражению Владимира Васильевича. И все время я невольно посматривал в сторону Горького, прислушивался к его глуховатому, окающему говору, примечал его особенную усмешку, подчас такую озорную и задорную, словно он затеял какую-то забавную мальчишескую каверзу.

Это был совсем не тот человек, какого мы знали по открыткам. Я предполагал увидеть мечтательно-хмурого длинноволосого юношу в косоворотке, а предо мною был зрелый, уверенный в себе человек. Все в нем было для меня неожиданно: и огромный рост, и этот глухой бас, и спокойная деловитость, с которой он говорил о современной литературе, о петербургских журналах, о новом издательстве, где он был руководителем.

Всякий раз, когда мне случалось гостить на даче в Старожиловке, дело не обходилось без чего-нибудь нового, занятного. Но такого удачного дня, как этот, на моей памяти еще не случалось. Владимир Васильевич был оживлен и приветлив, как никогда, и, должно быть, именно от этого все чувствовали себя удивительно свободно и легко.

Тяжеловесный и очень серьезный на вид Глазунов без тени улыбки рассказывал за обедом невероятную историю о том, как на улице какой-то пьяный принял его однажды за конку и даже пытался вскарабкаться на империал.

Скульптор Гинцбург, маленький, сухонький и необыкновенно подвижный человек, показывал в лицах местечкового портного за работой, извозчика-балагулу, дремлющего с вожжами в руках, спор двух старух соседок из-за яйца, которое курица снесла на чужом дворе.

Помнится, для этой сцены ему понадобился платок, чтобы скрыть бородку и лысину, удлинявшую его и без того высокий лоб.

Весь этот спектакль он разыгрывал с таким юмором, мастерством, с такой тонкой наблюдательностью, что в памяти у зрителя оставался каждый жест его маленьких рук, каждое движение бровей и приспущенных век. Недаром, по рассказам очевидцев, Лев Толстой, глядя на него, хохотал до слез и невольно вторил ему, то собирая морщины на лбу, то шевеля губами.

А потом пел Шаляпин. Пел щедро, много, выбирая то, что особенно любил Владимир Васильевич. Тут были такие разные вещи, как величавая, по-военному строгая и в то же время таинственная баллада «В двенадцать часов по ночам...», и разухабисто-отчаянный, зловещий «Трепак» Мусоргского, а вслед за ним рубленая скороговорка «Семинариста», повторяющего без смысла и толку латинские исключения — те самые, что и мне приходилось заучивать наизусть в гимназии:

Panis, piscis, crinis, fi
Ignis, lapis, pulvis, cinis...

Эта зубрежка постепенно переходила в простодушную, горькую и вместе с тем комическую жалобу великовозрастного бурсака, сетующего на свое незадачливое житье-бытье:

Вот так задал поп мне таску —
За загривок да по шее!..

И это пел тот же самый голос, в котором еще так недавно звенела колокольная медь, которому повиновалась могучая, мерная поступь призрачных войск, голос, в котором только что слышалось беснованье вьюги, ее колдовская песня, заставляющая убогого, пьяного мужичонку плясать до упаду, а потом убаюкивающая его навсегда.

Может быть, именно в этот вечер я впервые ощутил не только силу музыки, но и великую власть слова, когда оно понято до конца и стоит на своем месте, поддержанное всей широтой дыхания, всей мощью ритма, всей глубиной образа.

Мудрено ли, что у меня чуть не перехватило дух, когда после шаляпинского пения и музыки Глазунова Владимир Васильевич вдруг предложил мне прочесть мои стихи.

И все-таки я их прочел. Не помню, что́ именно,— ведь с тех пор прошло без малого шестьдесят лет. Кажется, это был отрывок из поэмы Мицкевича в моем переводе да еще какие-то лирические стихи. Одно только отчетливо запечатлелось у меня в памяти. С первых же строк я почувствовал то серьезное, доброе внимание, которое сразу придало мне уверенность и позволило овладеть собой.

Когда я кончил, Горький сел со мною рядом, ласково похлопал меня по руке и стал расспрашивать, что я читаю, какие книги люблю, откуда взялся и где учусь.

И вдруг я почувствовал, что мне как-то удивительно легко и просто разговаривать с этим человеком, который еще вчера был для меня только именем и книгой. С таким пристальным вниманием слушал он, слегка пригнувшись ко мне, мою короткую историю. Можно было подумать, что для него нет ничего более интересного, чем жизнь мальчика, которого он увидел впервые.

Но тут в наш разговор вмешался Владимир Васильевич. Обняв меня за плечи своей большой рукой, он стал подробно рассказывать Горькому, что в последнее время я часто хвораю и Питер мне, по всей видимости, вреден.

Хлеб, рыба, волос, конец,
Огонь, камень, пыль, пепел... (лат.)

Горький задумался, помолчал минутку, а потом спросил прямо и просто:

— Хотите жить в Ялте? Мы с Федором это устроим. Верно, Федор?

— Непременно устроим! — весело отозвался Шаляпин через головы окружавших его людей.

Прошел месяц-другой. И вдруг к нам за Московскую заставу, за Путилов мост, пришли три телеграммы: одна на имя отца и две — на мое.

Кажется, это были первые телеграммы, полученные мною в жизни. Обе от Горького из Ялты. До сих пор дословно помню их текст. Одна состояла всего из нескольких слов:

«Вы приняты ялтинскую гимназию подробно пишу *Пешков*».

Вторая была немного длиннее:

«Выезжайте остановитесь Ялте угол Морской и Аутской дача Ширяева спросите Катерину Павловну Пешкову мою жену *Пешков*».

Телеграмма, присланная отцу, была подписана: «Директор Готлиб». В ней сообщалась та же новость, но только в более официальной форме.

Имя директора было мне уже знакомо. Еще недавно этот крупный, осанистый человек с волнистой шевелюрой преподавал у нас в гимназии латынь.

Итак, все было решено. Оставалось собрать кое-какие вещи и книжки и пуститься в новое странствование — к Черному морю.

Почему-то в детстве мне казалось, что я увижу море, только когда вырасту. И вот оно уже на расстоянии всего каких-нибудь трех-четырех дней от меня.

Что ж, может быть, я и в самом деле уже вырос и только не заметил этого?..

В поезде я почти не отходил от окна. Северные леса сменились полями и перелесками средней России, и на меня пахнуло знакомыми с детства местами.

Поезд неутомимо бежал из осени в лето. В белом каменном Севастополе меня впервые ослепили южное солнце и дробящая его лучи морская синь. Еще несколько часов на пароходе — настоящем, морском, с двумя палубами, сверкающими свежей краской и медью,— и вот уже перед нами Ялта: полукруг набережной, многоярусный город, взбирающийся вверх по склонам гор, ржавые кудри виноградников и кипарисы, похожие на монахов, закутанных с ног до головы в темные плащи.

Объявляя о своем прибытии сиплым, нестерпимо-пронзительным гудком, пароход замедлил бег и, весь дрожа, стал боком-боком подбираться к молу. Винты его вспарывали морскую гладь, как бы выворачивая ее наизнанку. Теперь вместо переливчатой синевы между бортом и молом клубилась рваная, белая, шумная пена, блещущая на солнце цветными искрами.

В пестрой толпе приезжих сошел я по трапу на пристань и зашагал со своим легким багажом сначала по набережной, а потом по каменистой улице, идущей вверх. Все здесь было ново, неожиданно,— словно я не в настоящем городе, жилом, серьезном, деловитом, а где-то среди театральных декораций, праздничных, но временных. Так не похожи были на все, что я до сих пор видел, эти кружевные железные ограды, увитые плющом, уже забрызганным багряной краской осени, белые дачи с широкими балконами, нарядные сады с плотной, словно металлической, листвой лавров и длинными кистями лиловых глициний.

Вот наконец и дача Ширяева на углу Морской и Аутской.

Осторожно открыв железную калитку, я оказываюсь перед домом, сложенным из дикого камня, на площадке, окаймленной аккуратно подстриженным густым кустарником с мелкими жесткими листочками.

Поднимаюсь наверх, и на пороге меня встречает молодая женщина, легкая, энергичная, с гладко причесанными и все же пушистыми темно-каштановыми волосами. Лицо у нее как будто строгое, но губы чуть тронуты милой, приветливой улыбкой, и та же улыбка светится в глубине серо-зеленоватых — в темных ресницах — глаз.

Так вот она какая — Екатерина Павловна! В ней нет ничего кокетливого, нарочитого, дамского. И все-таки она кажется очень изящной, даже нарядной, несмотря на простоту ее платья и прически.

Пожав мою руку своей небольшой, крепкой рукой, она ведет меня в дом, весь пронизанный солнцем, морским ветром и сухим ароматом южного сада. Я иду за ней, еще не догадываясь, что эти несколько шагов ведут меня не только из комнаты в комнату, но и в другую пору моей жизни — из отронества в юность.

Здесь, в горьковской семье, в этом морском городе, довелось мне встретить годы, предчувствием которых были овеяны знакомые нам издавна широкие строчки стихов:

«Над седой равниной моря ветер тучи собирает...»

Сюда вскоре после заключения в Петропавловской крепости приехал и сам Горький, заметно похудевший и от этого казавшийся еще выше ростом. В тюрьме он оброс короткой и жесткой

рыжеватой бородой и стал чем-то похож на северного капитана-помора.

Да и весь горьковский дом напоминал в это время корабль, который еще стоит на приколе, но вздрагивает от каждой волны и все выше поднимается с нарастанием прилива.

Шел девятьсот пятый год — преддверье новой исторической поры, преддверье моей молодости.

Комментарии

Замечательный детский писатель, тонкий поэт-лирик, вдумчивый переводчик и редактор, Самуил Яковлевич Маршак очень серьезно и с большим чувством ответственности относился ко всему, что выходило из-под его пера. В письме к одному из своих читателей он утверждал: «Писать надо каждый раз от всего сердца и во весь голос». И действительно, занимался ли Маршак переводами поэзии Шекспира, Бернса, Родари, сочинял ли пьесу-сказку для самых маленьких читателей и зрителей или писал лирические стихи — он во всем и всегда выступал как взыскательный художник.

Заразительный оптимизм, тонкий юмор, яркость и красочность образов в сочетании с подлинной поэтичностью, проникновенным лиризмом обусловили чрезвычайную популярность произведений Маршака у читателей самых разных возрастов.

Книги Маршака в нашей стране издаются постоянно и очень большими тиражами как на русском, так и на других языках народов СССР. Всего на 1 января 1979 года в СССР книги Маршака вышли в 1336 изданиях общим тиражом 174 225 тыс. экз. на 90 языках народов СССР.

I. СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ

Как детский писатель Маршак заявил о себе в первые послереволюционные годы. В то время он был одним из немногих советских писателей, пишущих специально для детей, в том числе и для самого младшего возраста.

В 1920 году Маршак участвовал в организации и создании репертуара одного из первых советских театров для детей в Краснодаре. Переехав в Ленинград в 1924—1925 годах, он активно участвует в работе журнала для детей «Воробей», «Новый Робинзон», сыгравших важную роль в истории советской детской литературы. С 1924 года началась многолетняя деятельность Маршака — руководителя и редактора Ленинградского отдела детской литературы Огиз'а. Недаром Максим Горький назвал его «основоположником детской литературы у нас» и именно Маршаку поручил в 1934 году выступление с докладом «О большой литературе для маленьких» на Первом всесоюзном съезде советских писателей.

Автор веселых и забавных стихов для ребят, загадок, песенок, стихотворных сказок и повестей, Маршак всегда видел серьезные воспитательные, идейные и эстетические задачи, стоящие перед детским писателем. В статье, которая примечательным образом называется «Книга для детей должна быть произве-

дением высокого искусства», он пишет: «По-настоящему воспитывает юного читателя только подлинно художественная, поэтическая книга — в прозе и в стихах. Каждая книга, выходящая для детей, должна быть событием». И далее: «Детская литература не должна уступать лучшим образцам взрослой литературы в мастерстве, в тонкости, в свежести мыслей и образов».

К числу наиболее ранних произведений Маршака для детей относится его книжка для самых маленьких ребят, для тех, кто, может быть, еще и читать не умеет. Это книжка «Детки в клетке» (1923), которая была выполнена в виде рифмованных подписей к рисункам английского художника Остина Олдина. По своей обычной манере Маршак и много лет спустя после выхода первого издания книги постоянно над ней работал, пересматривая текст, улучшая его. Только в 40-е годы писатель счел работу над книжкой законченной. К этому времени и рисунки О. Олдина были в ней уже заменены иллюстрациями советского художника Е. Чарушина.

В те же примерно годы, когда появилось первое издание «Деток в клетке», были опубликованы первые пьесы Маршака по мотивам народных сказок, стихи «Сказка о глупом мышонке», «Пожар», «Дом, который построил Джек», «Пудель» и др. Уже в этих первых книгах наглядно выявилась творческая манера Маршака, все то, что так сильно и прочно привлекло к нему симпатии юных читателей. Маршак пишет просто, но не упрощенно, легким, часто даже разговорным языком, в его произведениях — четкий сюжет, много событий и мало рассуждений, нет назидательности, поучений, зато вдоволь смешного, комического, стихи Маршака легко запоминаются.

В последующие годы Маршак наряду с книгами для малышей, сказками, считалками, загадками пишет и для ребят постарше — школьников. Он создает такие циклы стихов, как «Хороший день», «Друзья-товарищи», «Веселое путешествие от А до Я» (1952), повести в стихах «Рассказ о неизвестном герое» (1937), «Война с Днепром» (1931), знаменитый сатирический памфлет «Мистер Твистер» (1933), лирический календарь природы «Круглый год» (1945) и многое другое.

Драматургия Маршака — пьесы-сказки — органичная часть его многообразного творческого наследия, она тесно связана с постоянным интересом писателя к фольклору, с его переводческой деятельностью.

Первые драматургические опыты Маршака относятся к началу 20-х годов, его пьесы, написанные в те годы, частично в содружестве с писательницей Е. И. Васильевой, предназначались для юных зрителей Краснодарского театра, они шли с неизменным успехом. Первый совместный сборник пьес был опубликован в Краснодаре в 1922 году.

К числу более поздних драматических произведений относится сказка «Двенадцать месяцев», написанная Маршаком в годы войны и впервые опубликованная в 1943 году.

В основе большинства пьес Маршака — сюжет народной сказки, персонажи пьес — обычно излюбленные герои народных сказок. Но на этой основе Маршак всегда создает оригинальные, самостоятельные произведения, по-своему переосмысляя и заостряя содержание сказки, вводя в ткань пьесы новые сюжетные коллизии, новых героев. Как справедливо писал другой крупнейший советский

детский писатель Корней Чуковский, пьесы Маршака — это «не мертвая стилизация под детский фольклор, не механическое использование готовых моделей — это самобытное, свободное творчество».

II. ЛИРИКА

Еще в 1900—1910-е годы появились публикации первых лирических стихов Маршака в различных журналах, альманахах и сборниках. Затем наступил многолетний перерыв, и вновь к лирике поэт вернулся уже только в 40-е годы. Так, в 1946 году в книге Маршака «Стихи. 1941—1946» был опубликован цикл из 17 лирических стихотворений под общим заголовком «Из лирической тетради». Глубина философских раздумий поэта, неподдельная искренность, совершенство поэтической формы сразу определили их успех у читателей и благосклонную оценку критики.

В последующие годы Маршак постоянно возвращался к лирической поэзии, и в вышедшем в 1958—1960-х годах четырехтомнике сочинений поэта лирические стихи уже занимают значительное место.

В 1962 году вышел сборник «Избранная лирика» Маршака, за который по совокупности со стихами для детей в 1963 году поэт был удостоен Ленинской премии.

Возрастной диапазон лирической поэзии Маршака чрезвычайно широк. Его стихи своей душевной чистотой, искренностью, жизнелюбием находят отклик в сердцах не только взрослых, но и юных читателей.

Большинство лирических стихотворений, входящих в данный сборник, написано в 1940—60-е годы; к раннему периоду творчества поэта (1906—1914) относятся: «Качели», «Чайки», «Луна осенняя светла».

«ВСЕ ТО, ЧЕГО КОСНЕТСЯ ЧЕЛОВЕК...

«О том, кто речь держал перед вокзалом» — 3(16) апреля 1917 года, возвращаясь из эмиграции, В. И. Ленин на площади перед Финляндским вокзалом в Петрограде обратился с речью «К рабочим, солдатам и матросам».

«ШАЛЯПИН»

Шаляпин Федор Иванович (1873—1938) — великий русский артист, певец; в 1922 году уехал на гастроли за границу и не вернулся на родину, по которой тосковал всю жизнь.

«Мефистофель, гений зла...» — Шаляпин пел партию Мефистофеля в опере французского композитора Ш. Гуно (1818—1893) «Фауст» по одноименной трагедии И. В. Гете и исполнял песню «Блоха», музыка М. П. Мусоргского (1839—1881) на текст из «Фауста» Гете в переводе А. Н. Струговщикова.

«Эй, ухнем!» — бурлацкая песня, слова и музыка народные.

«Поет он Годунова» — ария Годунова из оперы М. П. Мусоргского «Борис Годунов» по одноименной трагедии А. С. Пушкина.

«СКОЛЬКО РАЗ ПЫТАЛСЯ Я УСКОРИТЬ...»

Стихотворение, написанное в 1955 году, посвящено жене поэта — Софье Михайловне Маршак, умершей в 1953 году.

«НА РОДИНЕ БЕРНСА»

Стихотворение написано в 1956 году, вскоре после возвращения Маршака из поездки в Шотландию, на родину Бернса.

«Кто горевал, разрушив плугом...» См. стихотворение Р. Бернса «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом».

«На стекле окна в трактире...» — Имеется в виду стихотворение Р. Бернса «Надпись алмазом на оконном стекле в таверне».

«В ЛОНДОНСКОМ ПАРКЕ»

Констебль Джон (1776—1837) — английский художник, пейзажист.

«МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ»

Цветаева Марина Ивановна (1892—1941) — русская поэтесса, в 1922 году покинула родину, в 1939 году вновь получила советское гражданство и вернулась в СССР. Советские читатели познакомились с ее творчеством в основном по посмертным изданиям.

«У ПУШКИНА ВЛЮБЛЕННЫЙ САМОЗВАНЕЦ...

Автор имеет в виду трагедии Пушкина «Борис Годунов» (Самозванец и Марина Мнишек) и «Каменный гость» (Дон Жуан и Донна Анна).

III. ПЕРЕВОДЫ

Одной из примечательных сторон дарования Маршака была его переводческая деятельность, которую он не оставлял на всем протяжении своего творческого пути.

Его переводы сонетов Шекспира, поэзии Бернса, Гейне, английских, шотланд-

ских, чешских, латышских народных баллад, эпиграмм и детских песенок во многом продолжили традицию русского поэтического перевода, прославленного В. А. Жуковским («Лесной царь» И. В. Гете, «Кубок», «Перчатка» Ф. Шиллера), В. С. Курочкиным (песни Ж. П. Беранже), И. А. Буниным («Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло) и др.

Переводы Маршака, чуждые буквализма и слепого следования оригиналу, отличает глубокое проникновение в смысл и содержание произведения другого поэта, умение сохранить своеобразие его строя мыслей и образов, поэтическую тональность оригинала. В то же время все эти стихи, оставаясь произведениями Шекспира, Бернса, Блейка, Гейне, несут в себе черты поэтического мироощущения Маршака.

Его переводы — плод многолетнего упорного труда, результат неоднократных переделок, словесных поисков и находок. По собственному свидетельству автора, каждый перевод рождался из множества вариантов. В одном из писем Маршак замечает: «Переводя сонеты Шекспира, я делал по десять — двадцать вариантов каждого сонета».

Свое понимание задач и принципов поэтического перевода Маршак четко определил в статье «Поэзия перевода». Одинаково порицая «порочную точность» и «преступную вольность» в обращении переводчика с текстом, Маршак пишет: «Он [переводчик] должен как бы перевоплотиться в автора и, во всяком случае, влюбиться в него, в его манеру и язык, сохраняя при этом верность своему языку и даже своей поэтической индивидуальности».

АНГЛИЙСКИЕ И ШОТЛАНДСКИЕ НАРОДНЫЕ БАЛЛАДЫ

«КОРОЛЬ И ПАСТУХ»

Принц Джон — английский король из династии Плантагенетов (1167—1216) правил страной с 1199 года, был прозван Безземельным, потому что, в отличие от старших братьев, не получил владений во Франции.

Оксенфорд — старое название Оксфорда (примеч. С. Маршака).

«КОРОЛЕВА ЭЛИНОР»

Перевод старинной английской баллады, известной еще в XVII веке.

ТРИ БАЛЛАДЫ О РОБИН ГУДЕ

Робин Гуд — любимый герой английских народных баллад, непревзойденный стрелок из лука, защитник простых людей, веселый, «благородный» разбойник, который грабил только богачей.

АНГЛИЙСКИЕ ЭПИГРАММЫ РАЗНЫХ ВРЕМЕН

«СПОР ГОРОДОВ О РОДИНЕ ГОМЕРА»

Гомер — легендарный поэт Древней Греции, считающийся автором эпических поэм «Илиада» и «Одиссея»; честь называться родиной Гомера, по преданию, оспаривало семь городов.

«ЭПИТАФИЯ ШОФЕРУ»

Эпитафия — надгробное слово, надгробная надпись.

ИЗ ВИЛЬЯМА ШЕКСПИРА

Вильям Шекспир (1564—1616) — великий английский писатель эпохи Возрождения, драматург и поэт. Среди поэтических произведений Шекспира первенствующее место занимает цикл его сонетов, созданных им в последнее десятилетие XVI века.

Первые, еще журнальные публикации сонетов Шекспира в переводах Маршака появились в 1943 году. Отобрав вначале для переводов наиболее созвучные собственному духу сонеты, Маршак в дальнейшем предпринял поистине титанический труд и в течение целого ряда лет перевел 154 сонета.

Придирчиво и требовательно относясь к своей работе над переводами сонетов, Маршак рассчитывал и на серьезное отношение к ним читателя. В одном из своих писем он предупреждал: «Сонеты Шекспира — это книги для долгого вдумчивого чтения».

До Маршака сонеты Шекспира не пользовались популярностью в нашей стране, хотя их переводами занимались такие крупные поэты и переводчики, как В. Брюсов, Б. Пастернак, Н. Холодковский, Н. Гербель и др. Только Маршак привлек к ним внимание и любовь, лишь под его пером они, по меткому выражению А. Фадеева, стали «фактами русской поэзии». Маршаку первому удалось, сохранив сложную поэтическую форму сонетов, донести до современного читателя их глубокое философское звучание, раскрыть эмоциональный мир великого английского поэта, жившего в XVI веке, его душевный опыт, его суждения о жизни и смерти, о любви.

Один из крупнейших советских исследователей творчества Шекспира М. М. Морозов, говоря о переводах Маршаком сонетов Шекспира, писал: «Своими переводами Маршак показал, насколько разнообразны сонеты Шекспира. Каждый сонет имеет свое звучание, и каждый сонет так же несет свой мир образов».

Постоянная и кропотливая работа Маршака над улучшением переводов сонетов, поиски и находки философского ключа к ним не только привлекли внимание русского читателя к поэзии великого англичанина, но и значительно отточили поэтическое мастерство Маршака.

В 1948 году за переводы сонетов Шекспира Маршак был удостоен Государственной премии СССР.

СОНЕТЫ

СОНЕТ 25. «КТО ПОД ЗВЕЗДОЙ СЧАСТЛИВОЮ РОЖДЕН...

В ряде английских работ о сонетах Шекспира высказано суждение, что в сонете содержится намек на крушение карьеры придворного поэта конца XVI века сэра Уолтера Раллей.

СОНЕТ 27. «ТРУДАМИ ИЗНУРЕН, ХОЧУ УСНУТЬ...

Пилигрим — путник, паломник, странствующий богомолец.

СОНЕТ 66. «ЗОВУ Я СМЕРТЬ. МНЕ ВИДЕТЬ НЕВТЕРПЕЖ...

Один из наиболее насыщенных философским содержанием сонетов, во многом близкий идейной направленности высоких трагедий Шекспира. В нем отчетливо звучит мотив несовершенства окружающей действительности.

ПЕСНИ ШУТА ИЗ ТРАГЕДИИ «КОРОЛЬ ЛИР»

Фортуна — в древнеримской мифологии богиня счастья, судьбы, случая; в современном языке — счастье, удача.

Альбион — древнейшее название Британских островов.

ИЗ РОБЕРТА БЕРНСА

Роберт Бернс (1759—1796) — величайший поэт Шотландии. Творчество Бернса по своей идейной направленности и содержанию глубоко демократично, тесно связано с жизнью простого народа. Поэт охотно пользуется фольклорными мотивами, многие из его стихов основаны на сюжетах народных легенд, написаны в народно-песенной форме.

Впервые русский читатель имел возможность познакомиться с поэзией Бернса еще в первой половине XIX века, когда М. Ю. Лермонтов перевел четыре строки из бернсовской «Прощальной песни в Кларинде». Помимо Лермонтова с переводами Бернса выступали М. Л. Михайлов, В. С. Курочкин, Т. Л. Щепкина-Куперник, Эд. Багрицкий. Но только в переводах Маршака поэзия Бернса впервые предстала перед русскими читателями во всем своеобразии и очаровании.

Жизнерадостная, ироничная, мудрая поэзия Бернса во многом сродни

поэтическому дару Маршака. Присущие Бернсу любовь к природе, уважение к простым людям и их честному труду оказались созвучны мироощущению Маршака.

Он писал: «Я счастлив, что на мою долю выпала честь дать моим современникам и соотечественникам наиболее полное собрание переводов из Бернса». (С. Маршак. «Бессмертной памяти».)

В своих переводах Маршак сохранил ритмику стиха Бернса, простоту и красочность народного языка, непосредственность свободной поэтической речи, свежесть смелых сравнений, присущие шотландскому поэту. А. Твардовский в специальной статье, посвященной песням Бернса в переводах Маршака, отметил очень правильно: «Он сделал Бернса русским, оставив его шотландцем».

Как знаток творчества Бернса и один из лучших его переводчиков, Маршак получил широкое признание на родине поэта. Свидетельством тому послужил исключительно теплый и уважительный прием, который был оказан Маршаку, прибывшему в 1955 году на бернсовский юбилей в Шотландию. В выступлении на юбилейной сессии Маршак дал четкую характеристику основных черт творчества Бернса, определивших его признание в нашей стране. Он сказал: «Веселая и простая мудрость Бернса, его гордая независимость, его сыновняя верность своей стране, уважение к честному труду, наконец, умение любить, быть другом и находить счастье даже в несчастье — все это сделало шотландского поэта родным и близким для миллионов наших читателей».

«ЧЕСТНАЯ БЕДНОСТЬ»

Это стихотворение, написанное в манере народной песни, было создано в годы Великой французской революции XVIII века во многом под воздействием сочинения американского революционного публициста Томаса Пейна «Права человека». Современники часто называли его «Марсельезой простых людей».

«ДЖОН ЯЧМЕННОЕ ЗЕРНО»

Одно из ранних и наиболее популярных стихотворений Бернса по мотивам старинной народной баллады.

«МАКФЕРСОН ПЕРЕД КАЗНЬЮ»

В основу положен сюжет старинной народной песни о приговоренном к казни отчаянном пирате и храбром воине Макферсоне.

«ЗАЗДРАВНЫЙ ТОСТ»

Экспромт, произнесенный поэтом на званом обеде.

«ЗА ТЕХ, КТО ДАЛЕКО»

Стихотворение написано в форме приветственного тоста в честь борцов за национальную независимость Шотландии.

ИЗ ВИЛЬЯМА БЛЕЙКА

Вильям Блейк (1757—1827) — английский поэт и художник. Его поэзия заняла значительное место в переводческой деятельности Маршака. Уже в 1915—1916-е годы в петербургском журнале «Северные записки» было помещено 14 стихотворений Блейка из циклов «Песни невинности» и «Песни опыта» в переводах Маршака. И в дальнейшем поэзия Блейка, присущие ей глубокая лиричность, поэтическое восприятие природы, детские мотивы привлекали к себе внимание Маршака-переводчика. Он постоянно трудился над новыми переводами из Блейка, улучшал, редактировал, переделывал свои прежние работы. Особенно плодотворно поэзией Блейка занимался Маршак в конце жизни. В 50—60-е годы на страницах журналов «Новый мир», «Иностранная литература» и в сборниках произведений Маршака часто появлялись его новые переводы из Блейка.

Много лет Маршак мечтал собрать воедино и издать книгу стихов Блейка в своих переводах. Впервые мысль о таком издании была им высказана еще в 1917 году в письме к публицисту и издателю И. И. Горбунову-Посадову. В 1962 году в статье «Над чем работаю» он писал: «Перевожу стихи замечательного английского поэта Вильяма Блейка, которого до меня переводил только Бальмонт. Переводами из Блейка занимаюсь с 1913 года и надеюсь подготовить в недалеком будущем сборник избранных его произведений». Но этому заветному желанию поэта не суждено было сбыться при его жизни. Только в 1965 году, через год после смерти Маршака, в издательстве «Художественная литература» вышла книга «Вильям Блейк в переводах Маршака».

ИЗ ДЖОНА КИТСА

Джон Китс (1795—1821) — крупнейший английский поэт-лирик, выдающийся представитель романтического направления поэзии XIX века. Переводы Маршака относятся к числу лучших переводов стихов Китса на русский язык.

ИЗ РЕДЬЯРДА КИПЛИНГА

Редьярд Киплинг (1865—1936) — английский писатель, поэт и прозаик, автор романов, повестей, рассказов, поэтических произведений. Одной из примечательных сторон его творчества были произведения для детей и юношества. Это, в первую очередь, снискавшая ему мировую известность «Книга Джунглей» — история мальчика Маугли, вскормленного волчицей и живущего среди диких зверей в джунглях. Она многократно переводилась на русский язык под заглавием «Маугли».

Перу Киплинга принадлежит также целый ряд стихотворений для детей и сказок, которые писатель зачастую заканчивает стихами, дополнительно раскрывающими смысл всего произведения.

В своих переводах Маршаку удалось полностью сохранить своеобразие поэзии Киплинга, ее своеобразный ритм, близкий к ритму народных английских баллад и песен.

«НА ДАЛЕКОЙ АМАЗОНКЕ»

Амазонка — река в Южной Америке.

«ЕСЛИ В СТЕКЛАХ КАЮТЫ...

Норд, вест (нем.) — север, запад.

ИЗ РОБЕРТА ЛЬЮИСА СТИВЕНСОНА

Роберт Льюис Стивенсон (1850—1894) — английский писатель, прозаик и поэт. Наибольшую известность в нашей стране Стивенсон получил как автор приключенческого романа «Остров сокровищ», по которому советские кинематографисты дважды снимали фильмы, пользовавшиеся, как и роман, неизменным успехом.

Смелость, находчивость в трудных жизненных обстоятельствах, внутреннее благородство, мужество и стойкость при сопротивлении врагам, верность и постоянство в дружбе характерны для героев произведений Стивенсона любого жанра.

«ВЕРЕСКОВЫЙ МЕД»

Пикты — народ, в давние времена населявший Шотландию. В V в. н. э. они были завоеваны скоттами. По народному преданию, пикты не раскрыли завоевателям тайны приготовления вересового меда, которая с тех пор стала для них символом национальной независимости.

ИЗ ЭДВАРДА ЛИРА

Эдвард Лир (1812—1888) — английский поэт и художник. Маршак много и охотно переводил стихи Э. Лира для детей. Они привлекли его внимание оригинальностью сюжетов, мягким юмором, лиричностью.

Работая над переводами Э. Лира, Маршак писал в письме к художнику В. М. Конашевичу, иллюстратору многих своих книг: «...перевожу стихи Эдварда Лира, родоначальника английской детской поэзии, создателя жанра «нонсенс» — «чепушистых» стихов. Это — просто прелесть! Сколько в его книгах причуды, выдумки, душевной чистоты». А в другом случае, уже непосредственно обращаясь к своим юным читателям, Маршак пишет: «Эдвард Лир — один из классиков английской поэзии для детей. По профессии он был художник. Долгое время рисовал зверей и птиц для зоологического музея». И далее: «Стихи для детей Эдвард Лир писал сначала как подписи под собственными рисунками. Так возникли его книги небылиц и веселых нелепиц, ставших впоследствии знаменитыми во всем мире. Великолепный мастер стиха, он сочетает в своих книгах для детей неиссякаемый юмор с мягкой лиричностью».

ИЗ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА

Льюис Кэрролл (1832—1898) — английский детский писатель, профессор математики Оксфордского университета. Л. Кэрролл — автор знаменитых во всем мире книг «Алиса в Стране Чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Первая из них многократно издавалась в нашей стране. В рукописном наследии Маршака хранится неопубликованный отрывок перевода этого оригинального произведения.

В поэзии Л. Кэрролл избрал для себя излюбленный еще Э. Лиром жанр шуточных стихов — небылиц.

ИЗ АЛЕКСАНДРА АЛЛАНА МИЛЬНА

Александр Аллан Мильн (1882—1956) — английский писатель. Маршак называл его «классиком английской детской поэзии». Он так же, как и Л. Кэрролл, своими шуточными стихами продолжил в английской поэзии для детей линию Э. Лира.

ИЗ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

Генрих Гейне (1797—1856) — великий немецкий поэт, публицист и критик, несомненно, является одним из наиболее популярных в нашей стране зарубежных поэтов XIX века. К переводам его стихов обращались такие крупнейшие русские писатели, как Лермонтов, Тютчев, Фет, Михайлов, Блок.

Сочетание лиризма и юмора, свойственные поэзии Гейне, ее близость к народно-песенным мотивам издавна привлекли к себе внимание Маршака. Первые

опыты его переводов стихов Гейне относятся к самому началу творческого пути, первому десятилетию XX века. Уже на склоне лет, в 50-е годы, Маршак вновь обращается к поэзии Гейне и публикует несколько циклов переводов стихов немецкого поэта.

ИЗ ДЖАННИ РОДАРИ

Джанни (полностью — Джованни) Родари (1919—1980) — итальянский детский писатель, в годы войны был активным участником движения Сопротивления. Коммунист Родари — литературный сотрудник органа итальянской компартии газеты «Унита». Именно на страницах этой газеты впервые увидели свет его стихи для детей.

Советские читатели познакомились с поэзией Родари в переводах Маршака в начале 1950-х годов.

В заметке «Почему я перевел стихи Джанни Родари», предваряющей первую публикацию переводов стихов Родари («Лит. газета», 1952), Маршак говорит о том, что они привлекли его социальной направленностью, подлинным демократизмом, своеобразным юмором, фольклорной основой; пишет о том, что многое в творчестве Родари оказалось ему понятным, глубоко созвучным. Он замечает: «Лаконичные, действенные, полные огня и задора строчки прославляют честный труд, свободу, мир. Серьезная и значительная тема сочетается в этих стихах с живым своеобразным юмором». И далее: «В простых и немногословных стихах нашел свое правдивое отражение быт детей и взрослых из рабочих кварталов Италии».

Поэзия Маршака и советская детская литература, в свою очередь, привлекали к себе внимание Джанни Родари. Он много раз говорил о том значении, которое они имели для развития его творчества, а некоторые стихи Маршака Дж. Родари перевел на итальянский язык.

В 1964 году во время приезда Дж. Родари в СССР произошло знакомство и дружеская беседа советского и итальянского поэтов.

IV. «В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ». СТРАНИЦЫ ВОСПОМИНАНИЙ

Детство в маленьком провинциальном городке, годы учебы в острогожской и петербургской гимназиях, знакомство со Стасовым, Горьким, встречи с Шаляпиным, Репиным — все это оказало большое влияние на формирование личности Маршака.

Много лет С. Я. Маршак вынашивал замысел автобиографической повести. Еще в далекие дореволюционные годы он опубликовал в журнале «Всемирная иллюстрация» два рассказа, материалом для которых послужили воспоминания писателя о его детских и отроческих годах. В 1956—1957 годы Маршак вплотную работает над автобиографической повестью. В 1959 году два фрагмента этого произведения были напечатаны в книге «Советские писатели. Автобиографии». (т. 2. М., Гослитиздат). Полностью повесть «В начале жизни» была впервые опубликована в журнале «Новый мир» (1960, № 1, 2), затем в этом же году в четырехтомнике сочинений Маршака, в 1961 году вышла отдельной книгой. Последнее прижизненное издание — в Детгизе в 1962 году.

Повесть посвящена памяти Тамары Григорьевны Габбе (1903—1960), писательницы, литературного критика, многолетнего близкого друга Маршака. Рассказ о своей жизни Маршак предваряет собственным стихотворением «Сколько лет», впервые опубликованным в 1957 году. Эпиграфом к своим воспоминаниям писатель выбрал начальную строку стихотворения А. С. Пушкина, относящегося к 1830 году.

Гумбольдт Александр (1769—1859) — немецкий естествоиспытатель, географ, путешественник.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий поэт и мыслитель.

Андреев-Бурлак (наст. фам. Андреев) Василий Николаевич (1843—1888) — русский драматический актер.

«Давид Копперфильд» — роман английского писателя Чарльза Диккенса (1812—1870).

Севастопольские ветераны — солдаты, участники героической обороны Севастополя (1854—1855) во время Крымской войны 1853—1856 годов.

Бои под Шипкой и Плевной — места ожесточенных боев во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

«Всадник без головы» — приключенческий роман английского писателя Томаса Майн Рида (1818—1883).

Барбаросса — Фридрих I Барбаросса (1125—1190), германский король с 1152 года, император с 1155 года.

Цибик (устар.) — ящик с чаем, весом до двух пудов (32 кг).

«Лиса и журавль» — басня И. А. Крылова (1769—1844).

«Полтава» — поэма А. С. Пушкина (1799—1837).

«Родина» — популярный, красочно иллюстрированный журнал, выходил в Петербурге в 1879—1883 годах ежемесячно, в 1883—1917 годах еженедельно. Один из издателей — А. А. Каспари. В приложениях к «Родине» (частью бесплатных) печатались романы, повести, литература для детей.

Рокамболь — герой многочисленных авантюрных уголовных романов («Похождение Рокамболя», «Воскресший Рокамболь» и др.) французского писателя Пьера Алексиса Понсона дю Терайля (1829—1871).

«Дубровский» — повесть А. С. Пушкина, названная по имени героя — Владимира *Дубровского;* помещик *Троекуров* — один из главных персонажей повести.

Аяксы — имена двух древнегреческих героев.

«Илиада» — древнегреческая эпическая поэма, авторство которой приписывают легендарному поэту Древней Греции Гомеру (время жизни — от 12 до 7 вв. до н. э.).

Гораций — полностью Квинт Гораций Флакк (65—8 до н. э.), римский поэт.

Свидригайлов, Лебезятников — действующие лица романа Ф. М. Достоевского (1821—1881) «Преступление и наказание».

«Дубинушка» — бурлацкая песня, слова и музыка народные.

«Назови мне такую обитель...» — из стихотворения Н. А. Некрасова (1821—1878) «Размышления у парадного подъезда».

«Трильби» — приключенческий роман английского художника и писателя

Джорджа Дюморье (1834—1896); здесь имеется в виду, вероятно, постановка на сцене какой-либо инсценировки этого романа.

«Средь шумного бала...» — романс на слова А. К. Толстого (1817—1875), музыка П. И. Чайковского (1840—1893).

Почить в бозе (возвыш.) — скончаться, умереть.

Борки — село Харьковской губ.; близ железнодорожной станции Борки 17 октября 1888 года сошел с рельсов императорский поезд; Александр III остался жив.

«Свет» — ежедневная газета реакционного, буржуазно-националистического направления, выходила в Петербурге в 1882—1917 годы.

«Новое время» — газета политическая и литературная, выходила в Петербурге в 1868—1917 годы; в 1876—1912 годы — издатель А. С. Суворин, при котором «Новое время» стало прибежищем всяческой реакции, превратилось в совершенно беспринципную газету.

«Неделя» — еженедельная газета либерально-народнического направления, выходила в Петербурге в 1866—1901 годы.

Гайдебуров Павел Александрович (1841—1893) — русский публицист, один из издателей «Недели».

Дрейфус Альфред (1859—1935) — капитан, офицер французского Генерального штаба, еврей по национальности, был несправедливо обвинен в шпионаже. Дело Дрейфуса (1894), сфабрикованное французской военщиной, стало предметом ожесточенной политической борьбы, в результате которой Дрейфус был помилован в 1899 году и окончательно реабилитирован в 1906 году.

Кавеньяк Эжен Годефруа (1853—1905). В 1895—1896 годы военный министр Франции, ярый противник Дрейфуса.

Буадеффр, генерал — Рауль Франсуа Шарль Ле Мушон де Буадеффр (род. в 1839 году), в 1894—1895 годы начальник французского Генерального штаба, сторонник обвинения Дрейфуса.

Пикар, полковник — начальник Отделения французского Генерального штаба по делам шпионажа.

Эстергази, майор — офицер французского Генерального штаба, подлинный изменник родины.

Клемансо Альберт — адвокат, выступал в защиту Дрейфуса.

Лабори — адвокат, выступал в защиту Дрейфуса.

Бернар Лазар (1865—1903) — французский писатель и публицист, автор брошюры «Правда о деле Дрейфуса», в которой он отстаивал его невиновность.

Пати де Клам, полковник, вел следствие по делу Дрейфуса.

Золя Эмиль (1840—1902) — французский писатель, принимал активное участие в борьбе за освобождение Дрейфуса. Отстаивая его невиновность, Золя в 1898 году послал открытое письмо президенту Французской Республики Феликсу Фору, озаглавив его «Я обвиняю», за что был приговорен к тюремному заключению и штрафу.

Англо-бурская война 1899—1902 годов — империалистическая война англичан против бурских республик: Южно-Африканской Республики (Трансвааль) и Оранжевого свободного государства (Оранжевая республика).

«Белый генерал» — Скобелев Михаил Дмитриевич (1843—1882), русский

военачальник; в русско-турецкую войну 1877—1878 годов командовал взятием Плевны (см.). Отличался большой личной храбростью, был прозван «белым генералом», потому что часто появлялся перед войсками в белой бурке на белой лошади.

Боголепов Николай Павлович (1847—1901) — русский государственный деятель, реакционер; с 1898 года министр просвещения, ввел систему строжайших наказаний для участников студенческих волнений. В феврале 1901 года был смертельно ранен студентом П. Карповичем.

Вильгельм Телль — герой средневековой немецкой легенды, меткий стрелок из лука. Он попал стрелой в яблоко, положенное на голову его малолетнего сына. Этот сюжет использовал немецкий писатель Фридрих Шиллер (1759—1805) в своей драме «Вильгельм Телль».

Успенский Глеб Иванович (1843—1902) — русский писатель.

«Северный вестник» — журнал литературно-научный и политический, либерально-народнического направления, выходил в Петербурге в 1885—1898 годы. С 1891 года — трибуна декадентства.

Волынский Аким (наст. фам. и имя — Флексер Аким Львович) (1863—1926) — русский литературный критик и историк искусства, идеолог декадентства, сторонник идеалистической эстетики.

«Вокруг света» — журнал путешествий и приключений на суше и на море; выходил в Москве в 1885—1917 годы еженедельно; популярное издание, в котором постоянно печатались приключенческие романы и повести (Л. Буссенара, Т. Майн Рида, Жюля Верна).

Купер Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский писатель, автор приключенческих романов, в частности на тему о судьбе индейцев в Америке.

Эмар Гюстав (наст. фам. и имя — Глу Оливье) (1818—1883) — французский писатель, автор приключенческих романов.

Айвазовский (наст. фам.— Гайвазовский) Иван Константинович (1817—1900) — русский живописец, маринист.

Лагорио Лев Феликсович (1827—1905) — русский живописец.

Чарская Лидия (наст. фам. и имя — Чурилова Лидия Алексеевна) (1875—1926), русская детская писательница; ее повести из жизни институток отличались излишней сентиментальностью.

Бернетт Фрэнсис Элиза (1849—1924), американская детская писательница, автор популярного в конце XIX — начале XX веков романа *«Маленький лорд Фаунтлерой»*.

Желиховская Вера Петровна (1835—1896) — русская детская писательница; автор рассказа «Князь Илико, маленький кавказский пленник».

«Детские годы Багрова-внука» — повесть русского писателя С. Т. Аксакова (1791—1859).

«Юрий Милославский или Русские в 1612 г.», *«Аскольдова могила»* — исторические романы русского писателя М. Н. Загоскина (1789—1852).

«Ледяной дом» — исторический роман русского писателя И. И. Лажечникова (1792—1869).

«Царь-освободитель» — так после отмены крепостного права в 1861 году назвали Александра II (1818—1881), российского императора с 1885 года.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744) — русский поэт.

Сумароков Александр Петрович (1717—1777) — русский писатель, поэт и драматург.

Херасков Михаил Матвеевич (1733—1807) — русский писатель.

Филипповские пирожки — названы по фамилии купцов Филипповых, владельцев многих булочных заведений в Москве и Петербурге.

«Медный всадник» — памятник Петру I на Сенатской площади в Петербурге (открыт в 1782 году) французского скульптора Этьена Мориса Фальконе (1716—1791).

Стасов Владимир Васильевич (1824—1906) — один из виднейших деятелей русской демократической культуры XIX века, историк искусства, музыкальный критик, с 1872 года заведовал Художественным отделом Публичной библиотеки в Петербурге.

Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912) — русский издатель и журналист.

Бестужевские курсы — женское высшее учебное заведение, основано в Петербурге в 1878 году, названо по фамилии профессора русской истории К. Н. Бестужева-Рюмина.

Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — русский поэт.

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844—1908) — русский композитор, педагог, дирижер, общественный деятель.

Бородин Александр Порфирьевич (1833—1887) — русский композитор и ученый-химик.

Репин Илья Ефимович (1844—1930) — русский живописец.

Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) — русский композитор.

Мафусаил — по библейскому преданию, долговечнейший из людей, проживший 969 лет.

Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) — английский писатель, поэт, драматург.

Глинка Михаил Иванович (1804—1857) — русский композитор.

Иванов Александр Андреевич (1806—1858) — русский живописец.

Шамиль (ок. 1798—1871) — руководитель освободительного движения горцев Дагестана и Чечни, направленного против колониальной политики царского правительства.

Wunderkinder (нем. мн. ч.) — вундеркинд, талантливый, исключительно способный ребенок.

«Этот человек как бы обнял меня душою своей...» — цитата из воспоминаний Ф. И. Шаляпина.

Глазунов Александр Константинович (1865—1936) — русский композитор, дирижер, музыкальный педагог и общественный деятель.

Дубасов Федор Васильевич (1845—1912) — русский адмирал, реакционный государственный деятель.

«Приключения Макса и Морица» — юмористическая стихотворная повесть «Макс и Мориц» немецкого поэта и художника Вильгельма Буша (1832—1908).

Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) — естествоиспытатель-дар-

винист, один из основоположников русской школы физиологии растений; *«Жизнь растения»*, (1878).

Имеется в виду картина *«Некрасов и Панаев у больного Белинского»* русского художника А. А. Наумова (1840—1895).

«Искра» — первая общерусская политическая марксистская нелегальная газета, создана В. И. Лениным в 1900 году, издавалась за границей.

Буренин Виктор Петрович (1841—1926) — русский поэт и публицист, с середины 1870-х годов вошел в редакцию реакционной газеты «Новое время».

Варламов Константин Александрович (1848—1915) — русский драматический актер, с 1875 года в труппе Александринского театра в Петербурге.

Давыдов Владимир Николаевич (наст. фам. и имя — Горелов Иван Николаевич) (1849—1925) — русский драматический актер, в 1880—1924 годы — в Александринском театре в Петербурге.

Савина (урожд. Подраменцова) Мария Гавриловна (1854—1915) — русская драматическая актриса, с 1874 года в Александринском театре в Петербурге.

Комиссаржевская Вера Федоровна (1864—1910) — русская драматическая актриса.

Лядов Анатолий Константинович (1855—1914) — русский композитор, дирижер, музыкальный педагог.

Писарев Модест Иванович (1844—1905) — русский драматический актер, театральный педагог.

Гинцбург Илья Яковлевич (1859—1939) — русский скульптор.

Издательство, которым руководил М. Горький — товарищеское издательство *«Знание»*.

Империал — в конке — второй этаж с сиденьями.

«В двенадцать часов по ночам...» — строка из стихотворения «Ночной смотр» австрийского поэта И. Х. Церлица (1790—1862) в переводе В. А. Жуковского (1783—1852), положено на музыку М. И. Глинкой.

Мицкевич Адам (1798—1855) — польский поэт, участник национально-освободительного движения.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ С. Я. МАРШАКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

I

Веселое путешествие от А до Я. Стихи. Для младшего школьного возраста. М.— Л., Детгиз, 1953, 108 с.

Веселый день. Стихи и сказки. М.— Л., Детгиз, 1939, 127 с. (Школьная библиотека).

Детям. Стихи. Для дошкольного возраста. М., Детгиз, 1956, 112 с. Сборник переиздавался много раз, последнее издание: М., «Дет. лит.», 1973, 136 с.

Золотое колесо. Для дошкольного возраста. М., «Малыш», 1977, 124 с.

Рассказы в стихах. Для начальной школы. М., Детгиз, 1961, 125 с. Сборник был переиздан несколько раз, последнее издание: М., «Дет. лит.», 1978, 126 с.

Сказки, песни, загадки. Для младшего школьного возраста. М.— Л., Детиздат, 1939, 184 с. Сборник переиздавался более десяти раз; последнее издание: М., «Дет. лит.», 1977, 205 с.

II

Лирика. Для старшего возраста. Вступ. статья В. Берестова «Добрый ум и умное сердце». М., «Дет. лит.», 1968, 191 с. (Поэтическая библиотечка школьника).

III

Избранные переводы. Предисл. А. А. Аникста «Высокое искусство Маршака». М., Детгиз, 1959, 512 с. (Школьная библиотека).

Вересковый мед. Английские баллады, песни и различные стихотворения. Для старшего возраста. М.— Л., Детгиз, 1947, 208 л.

Бернс Р. В горах мое сердце. Песни, баллады, эпиграммы в переводах Маршака. Предисл. Ю. Болдырева «Большое сердце поэта». М., «Дет. лит.», 1971, 191 с. (Поэтическая библиотечка школьника).

Киплинг Р. Сказки. Пер. с англ. К. Чуковского. Стихи в пер. С. Маршака. Для младшего возраста. М., «Дет. лит.», 1975, 143 с.

Родари Д. Здравствуйте, дети! Стихи в переводах с итальянского С. Маршака. Для начальной школы. М., Детгиз, 1955, 64 с. (Школьная библиотека). Сборник был переиздан. М., «Малыш», 1976, 84 с.

IV

В начале жизни. Страницы воспоминаний. М., Детгиз, 1962, 212 с. Для старшего возраста.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие В. В. Смирновой 3
С. Маршак. О себе 6

СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ

РИСУНКИ В. В. ЛЕБЕДЕВА

Детки в клетке 24
Сказки, присказки 33
Круглый год 60
Хороший день 64
Разноцветная книга 75
Веселая азбука 78
Веселый счет 80
Что такое перед нами? Загадки 85
Стихи разных лет 88
Друзья-товарищи 91
Из лесной книги 119
Повести в стихах 123
Сказки разных народов 158
Пьесы 173
Петрушка-иностранец 174
Теремок 189
Горя бояться — счастья не видать 210
Двенадцать месяцев 251

ЛИРИКА

ГРАВЮРЫ А. Ф. БИЛЛЬ

«Все то, чего коснется человек...» 315
«И поступь и голос у времени тише...» 316
Встреча в пути . . . . . —
«Цветная осень — вечер года...» . . . . . —
«Декабрьский день в моей оконной раме...» 317
«Когда, изведав трудности ученья...» . . . . . —
«Как птицы скачут и бегут как мыши...» 318
«Не знает вечность ни родства, ни племени...» . . . . . —
Надпись на книге переводов 319
«Бремя любви тяжело, если даже несут его двое...» . . . . . —
Летняя ночь на севере . . . . . —
Пешеход 320
Дон-Кихот 321
После праздника 322
Корабельные сосны . . . . . —
«Замерзший бор шумит среди лазури...» 323
Лес . . . . . —
Вчера я видел 324
В поезде («Очень весело в дороге...») . . . . . —
«На всех часах вы можете прочесть...» 326
«Солнышко» . . . . . —

Ландыш 327
Гроза ночью («Мгновенный свет и гром впотьмах...») . . . . . —
«Когда вы долго слушаете споры...» 328
«Пустынный двор, разрезанный оврагом...» . . . . . —
Шаляпин . . . . . —
«Грянул гром нежданно, наобум...» 329
«Как поработала зима!..» 330
«Текла, извивалась, блестела...» . . . . . —
«Сколько раз пытался я ускорить...» 331
«Даже по делу спеша, не забудь...» . . . . . —
Бор . . . . . —
На родине Бернса 332
В дороге 333
«Не знаю, когда прилетел соловей...» 335
«В полутьме я увидел: стояла...» 336
«Апрельский дождь прошел впервые...» . . . . . —
«Неужели я тот же самый...» . . . . . —
Игра 337
«Как призрачно мое существование!..» 338
В лондонском парке 339
«Я помню день, когда впервые...» 340
«Ты много ли видел на свете берез?..» 341
«Быстро дни недели пролетели...» . . . . . —
Счастье 342
«Порой часы обманывают нас...» . . . . . —
Пожелания друзьям 343
«В столичном немолкнущем гуде...» . . . . . —
«Возраст один у меня и у лета...» 344
«Когда, как темная вода...» . . . . . —
«Чудес, хоть я живу давно...» . . . . . —
«Года четыре был я бессмертен...» 345
Рассвет в Финляндии . . . . . —
Марине Цветаевой 346
«Пусть будет небом верхняя строка...» . . . . . —
«За несколько шагов до водопада...» . . . . . —
«Только ночью видишь ты вселенную...» 347
«Мы принимаем все, что получаем...» . . . . . —
«Питает жизнь ключом своим искусство...» . . . . . —
«Читатель мой особенного рода...» . . . . . —
«Стояло море над балконом...» 348
«Небо, Море...» . . . . . —
«Над прошлым, как над горною грядой...» . . . . . —
«Так много ласточек летало...» 349
Разговор с малиновкой . . . . . —
Жаворонок . . . . . —
«Старайтесь сохранить тепло стыда...» 350
«Как зритель, не видевший первого акта...» . . . . . —
О моде . . . . . —
«У Пушкина влюбленный самозванец...» . . . . . —
«Сон сочиняет лица, имена...» 351
«Он взрослых изводил вопросом «Почему?»...» . . . . . —
«Береза тонкая подросток меж берез...» . . . . . —
«О чем твои стихи?.. Не знаю, брат...» . . . . . —
«Да будет мягким сердце, твердой — воля!..» 352
«Расти, дружок, и крепни понемножку...» . . . . . —
«Существовала некогда пословица...» . . . . . —
«Человек — хоть будь он трижды гением...» . . . . . —

«Под деревом — какая благодать!..» 353
«Мелькнув, уходят в прошлое мгновенья...» . . . . . —
«Все те, кто дышит на земле...» . . . . . —
Чайки 354
«Луна осенняя светла...» 355
«Мы жили лагерем в палатке...» . . . . . —

ПЕРЕВОДЫ

ГРАВЮРЫ В. А. ФАВОРСКОГО

Английские и шотландские народные баллады
Король и пастух 359
Три баллады о Робин Гуде 364
Королева Элинор 373
Английские эпиграммы разных времен 375
Из Вильяма Шекспира 378
Сонеты . . . . . —
Песни шута из трагедии «Король Лир» 390
Из Роберта Бернса 391
Из Вильяма Блейка 419
Из Джона Китса 424
Из Редьярда Киплинга 425
Из Роберта Льюиса Стивенсона 430
Из Эдварда Лира 433
Из Льюиса Кэрролла 435
Из А.-А. Мильна 437
Из Генриха Гейне 440
Из Джанни Родари 441
Из английской народной поэзии 443
Из чешской народной поэзии 456
Из латышской народной поэзии 459

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ. Страницы воспоминаний 461

РИСУНКИ Г. Г ФИЛИППОВСКОГО

КОММЕНТАРИИ 617

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 22, книга 1)

Самуил Яковлевич МАРШАК

СКАЗКИ, ПЕСНИ, ЗАГАДКИ
СТИХОТВОРЕНИЯ
В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

*

ИБ № 5455

Ответственный редактор
Г В. Быстрова

Художественный редактор
А. Б. Сапрыгина

Технический редактор
Л. П. Костикова

Корректоры
М. Ю. Мерперт и Э. Н. Сизова

Сдано в набор 09.02.81. Подписано к печати 16.10.81. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академ. Печать высокая. Усл. печ. л. 41,13. Усл. кр.-отт. 44,63. Уч.-изд. л. 35,68+9 вкл.=36,3. Тираж 407 000 (200 001—407 000) экз. Заказ № 3112. Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

РИСУНКИ НА ВКЛЕЙКАХ
ХУДОЖНИКА В. В. ЛЕБЕДЕВА

Маршак С. Я.

М30 Сказки, песни, загадки. Стихотворения. В начале жизни. Страницы воспоминаний/ Предисл.: В. Смирновой; Коммент. Ю. Кондратьевой. Рис. В. Лебедева, В. Фаворского, А. Билль, Г Филипповского.— М.: Дет. лит., 1981.— 639 с., ил.+9 вкл.— (Б-ка мировой литературы для детей, том 22, книга I).

В пер.: 2 р. 10 к.

В книгу входят сказки, песни, загадки, пьесы для детей, лирические стихотворения поэта, переводы, страницы воспоминаний о своем детстве — «В начале жизни», биографическая статья С. Маршака — «О себе».

М $\frac{70803—520}{М101(03)81}$ Подп. изд. Р2

2р. 10к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»